

**хаджи-мурат**

**Мугуев**



**ВЕСЕННИЙ  
ПОТОК**



**Отсканировано  
в феврале 2013 года  
специально для эл. библиотеки  
паблика «Бæрзæфцæг»  
(«Крестовый перевал»).**

---

**Скангонд æрцыд  
2013 азы февралы  
сæрмагондæй паблик «Бæрзæфцæг»-ы  
чиныгдонæн.**

<http://vk.com/barzafcag>

ХАДЖИ-МУРАТ МУГУЕВ

# **ВЕСЕННИЙ ПОТОК**



ВОЕННЫЕ МЕМУАРЫ, ПОВЕСТИ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИР“  
ОРДЖОНИКИДЗЕ \* 1983

Текст печатается по изданиям:

**Хаджи-Мурат Мугуев. Весенний  
поток.** Военные мемуары. «Советский пи-  
сатель». М., 1963.

**Хаджи-Мурат Мугуев. Господин  
из Стамбула.** Повести. «Советский писатель».  
М., 1966.

### **Мугуев Х.-М.**

M89

**Весенний поток: Военные мемуары. Повести.** —  
Орджоникидзе: Ир, 1983. — 446 с.  
В пер.: 1 р. 90 к.

Вошедшие в книгу повести «Весенний поток», «Господин из Стамбула», «Градоначальник» родственны по теме. Первая — военные мемуары писателя — об освобождении Астрахани, Ставрополя и Владикавказа в годы гражданской войны, в центре ее образ С. М. Кирова.

Вторая рассказывает о крымских днях господства «черного барона» — Врангеля. Повесть гротесковая, с острокомедийными ситуациями, зло обличает преступления белогвардейцев.

Действие повести «Градоначальник» относится к 1918 году, когда в Ростове-на-Дону бесчинствовал генерал Краснов.

М 47212—58  
M131(03)—83 — 29—83

84P7

P2





# ВЕСЕННИЙ ПОТОК

*Военные мемуары*

# АСТРАХАНСКИЕ ДНИ

ТОВАРИЩУ  
И ДРУГУ—  
МОЕЙ ЖЕНЕ

## НА БЕРЕГУ КАСПИЯ

Из Москвы наш эшелон вышел поздней ночью, хотя должен был отойти накануне в час дня.

— Это еще хорошо,— сказал мне бывалый человек, балтиец Шариков.— Я из Питера сюда, в Москву, четыре дня ехал. Два раза отменяли поезд, да сутки он в Бологом простоял. Ни угля, ни дров...

Едем шумно, поем песни, кое-кто рассказывает о своем житье-бытье. Две старушки, упросившие нас пустить их в вагон, усатый красноармеец, человек семь матросов, двое спокойных, пожилых персов, едущих в Астрахань, и еще несколько человек неопределенного возраста, в гимнастерках, бушлатах, кожанках и ватниках. Почти у всех винтовки, патронташи, есть по три-четыре гранаты. Мы едем в Самару, где некоторых направят на Туркестанский фронт, другие же, как и я, отправятся по левому берегу Волги в Астрахань.

Соседняя теплушка также набита людьми, и в ней и в других — красноармейцы, в большинстве — добровольцы московских заводов, рабочие и комсомольцы, бывшие солдаты-фронтовики. Тренькает балалайка, и чей-то задорный голос поет «барыню».

Ай, барыня чай пила,  
С чаю дочку родила.  
Барыня-барыня,  
Сударыня-барыня...—

подхватывают голоса, и черноусый матросик, откинув бескозырку на затылок, лихо приплясывает — притопывает по полу вагона. А поезд идет себе и идет. Медленно бегут за окнами леса, пригорки, села, полустанки.

— Молодые, вот и радуются... а впереди фронт, спаси их, матушка-богородица,— крестясь, говорит одна из старушек.

— А чего богородице. на фронте делать? Ей там, мамаша, делов нет... Она таперича сама где-нибудь от войны спасается,— продолжая наигрывать «барыню», говорит солдат.

Так едем мы и день, и два, и четыре, с тою лишь разницей, что кое-кто из «вольныхх», то есть гражданских спутников, сходит на той или иной станции, а на их место вваливаются толпы новых с котомками, мешками, сундучками. Кое-кого матросы гонят взащей.

— Спекулянты, мародеры, так их...— орут они, других же дружелюбно впускают в вагон, словоохотливо ведут с ними беседу и опекают в пути.

— Да как вы узнаете, спекулянт он или хороший человек?— спрашиваю я матроса.

— А очень просто. У спекулянта рожа словно медом смазана, и слова у него льстивые, и глазом подмаргивает — «уплачу, мол» или еще что. А баб-мешочниц, тех и сразу отличишь. Которая домой муку, пудик какой, везет, у той радость в глазах и беспокойство за близких, а мешочницы — те сразу на пушку берут, начинают орать: «Мужья наши три года германскую воевали... и теперь в Красной Армии. Они с буржуями дерутся, кровь проливают, а вы тута с нами воюете», и такое прочее. Мы их уже знаем, понимаем, кто такие: «Ну, покажи документы, поглядим, какая ты красноармейская жена...» А у них, у спекулянтов, бумаг цельный ворох. И от Совдепа, и от комбеда, и от коменданта, и от архиерея, от кого хочешь имеется. Ну раз документов много и все с подписями и печатями, значит — мешочницы. Разве бедная, честная женщина добудет себе столько документов? Конечно нет. Ей одного из сельсовета или с укома довольно, а кипой да ворохом купленных бумаг себя только одни спекулянты да жулики окружают.

Иногда подолгу стоим непонятно почему. Бывает это и днем, бывает и ночью. Останавливаемся в степи, ночуем в лесу. Рубим дрова.

— Иначе не повезу,— грозит нам в таких случаях машинист.

Но это многодневное, странное железнодорожное движение не утомляет и не злит нас.

— Война... революция... все равно доедем до фронта...— раздаются спокойные, рассудительные голоса в ответ, если кто-нибудь заскулит и начнет жаловаться на черепашие движение поезда.

— Эх, жаль газеты нет,— сокрушается один из красноармейцев.— Как на фронте дела?

— Пока неважно,— басит кто-то из угла.— Беляки наступают.



— Недолго им. Под Уфой Колчаку наши, рассказывают, задали перцу. Три полка на нашу сторону перешли, остальные кто куда,— говорит всезнающий матросик в заливчатых штанах-клеш.

— Кто сказал? Откуда известно? — оживляются в вагоне.

— А на станции, на которой шесть часов стояли, газету «Бедноту» купил. Вот она,— вытаскивая из кармана смятую газету, говорит матрос.

— Чего ж ты ее спрятал, измял всю как есть, тоже вояка! Мы тут без газет как в яме сидим,— посыпались негодующие возгласы.

— Забыл, братки, забыл, товарищи. Вот она — читайте.

— «Упорные бои в районе Уфы закончились полным поражением противника. Уфа снова советская. Наши части ворвались в город, в котором без боя на нашу сторону перешло три полка насильно мобилизованных белыми крестьян. Колчаковцы в панике бегут. Взято много пленных, орудий и пулеметов», — нараспев, среди притихшего вагона, громко читает солдат с родинкой на щеке.

— Ура! — кричит кто-то, и весь вагон оглашается радостным гулом.

— Теперь Денику<sup>1</sup> кончать надо,— степенно, как бы сам с собой, рассуждает бородатый солдат.

— Колчаку таперя крышка. Я сам сибирский. Ему бежать некуда. Везде наши, крестьяне, ему загородку исделают,— говорит усатый солдат, тот, который только что ругал матроса из-за газеты.

— Под Питер надо. Там, братцы, Юденич с белоэстонцами сильно нам гадит. Я вот под Ямбургом был ранен, опять просился туда, к своим балтийцам... Не пустили. Направили в Астрахань. Поплавай, говорят, там, а белых тебе и на Каспии хватит,— смеется матрос.

Все шумно и радостно обсуждают сводку военных действий, а поезд мерно постукивает колесами и не спеша бежит по пыльной и жаркой степи. Чем дальше от Москвы, тем жарче в вагоне. На остановках мы бродим в одних рубашках. Лето нынче жаркое. Солнце печет землю немилосердно. В теплушках настужь раскрыты двери, и маленькие оконца не закрываются вовсе, и тем не менее жара и духота невыносимы.

Плохо и с питанием. Те скудные пайки, которые нам выдали «сроком на 5 суток», как говорилось в аттестатах, давно съедены. Пять суток — это срок нормального пути, мы же движемся

---

<sup>1</sup> Деникина.

уже шестой день, а долгожданная Самара еще впереди. Помногу и часто пьем морковный чай, благо на станциях вдоволь кипятку. Едим мало, сухари кончились вчера, а хлеб был съеден еще трое суток назад. Но песни, пляс, прибаутки и веселые озорные шутки не покидают вагон. Молодость и близкий фронт окрыляют бойцов.

Еще сутки пути, восемь часов никому не понятной стоянки в версте от станции, и, наконец, на седьмой день путешествия мы в Самаре.

Самара... Этот город стоит того, чтобы о нем рассказать побольше, нежели о других, через которые прошел эшелон.

Самара...

Первое, что увидели бойцы после суровой, голодной, сидевшей на укороченном пайке Москвы, был шумный, сытный город, полный чада и запахов, исходивших от жарившихся на керосинках и углях рыбы и мяса. Вкусный, манящий запах жареного мяса, шипящего масла и густой, повисший над привокзальем запах жареной, тушеной и вяленой рыбы ошеломил нас. Мы были голодны. Уже вторые сутки только счастливчики дожевывали какой-нибудь завалившийся в ранцевом мешке или кармане сухарь, и вдруг — вакханалия обжорства, изобилие еды и пищи открылись перед нами. Это было неожиданно.

Торговки привычными лихими голосами зазывали покупателей. Люди теснились возле дымивших печурок с жарившимися потрохами и рыбой. Зеленый лук, редиска, полубелый и черный хлеб были навалены на лотки.

— Эй, эй... ребятки... солдатики, а ну ко мне. Денег не беру, давай в обменку... портки, рубашки, утиральники, башмаки, полотенца!.. — кричала одна.

Перебивая ее, неся голос другой торговки:

— А я и за деньги и в обменку... Сюда, солдатики, у меня жирные щи!

— А вот лещ, а вот щука. Кому сома, кому рыбки, — надрыбалась третья.

Какие-то мужики, перехватив нас на пути, солидно предлагали:

— И самогончик, и мяско... Все есть. Все имеется. Вот только шинельку или штаны, на другое не меняем.

Где тут было удержаться против соблазнов, встретивших нас в Самаре уже при самом выходе с вокзала. Мы и меняли, и покупали все, что только могли выменять или купить на деньги или скудный «вторичный запас» солдата. В него входили вторая пара белья, второе полотенце, две пары портянок и шерстяные носки. Не знаю, кто из моих спутников променял еще что-ни-

будь на эту соблазнительную еду, но моя пара белья, пара запасных портянок и лишнее полотенце сразу пошли за буханку полубелого пшеничного хлеба, две порции жареной рыбы, тарелку щей, двух жирных вобл и четыре вкрутую сваренных яйца.

Мы с Парфеновым выпили по чашке горячей кипяченой воды (чаю не было) и пошли в штаб резервной армии, откуда направлялись пополнения — на Туркфронт, в 10-ю и 11-ю армии.

В противовес строгой, голодной военной Москве, Самара была шумным, оживленным, даже, казалось, беспечным городом. Лавчонки, лотки, магазины, обшарпанные фаэтоны, крикливые бабы с подсолнухом, зеленым луком и красным редисом. И шум, гомон, веселые, разбитные матросы, усатые кавалеристы, странные, подозрительно одетые в рваные гимнастерки и грязные безрукавки люди, старавшиеся скрыть свою военную выправку. Попадались и женщины с тонкими чертами лица, еще не потерявшие холено-изнеженного вида. Пожилые, степенно державшиеся люди в зипунах и косоворотках, не скрывавших их генеральско-департаментского обличья. Гимназисты в своих форменных фуражках, но без гербов. Словом, все то, что еще недавно сбегалось сюда под крылышко чехословацких мятежников, выступивших против советской власти.

Посещение штаба и политотдела армии ничего не дало нового. На фронтах все пока неутешительно, и только победа под Уфой обозначилась светлым пятном на все еще мрачной карте боевых действий. Деникин наступает. Белые двигаются к Царицыну. На Украине, в Донбассе наши отходят с боями. Юденич с белоэстонцами рвется к Петрограду. Чайковский вкупе с англоамериканцами все еще держит Север в своих руках. Сотни «атаманов» и «батек» со своими бандами грабят и раздражают на части наши тылы.

В штабе меня удивил вопрос одного из военспецов, бывшего царского полковника. Узнав, что я и сам бывший офицер, он каким-то радостным шепотком сообщил:

— Неудержимо идут к Москве русские армии. Конечно, разве ж могут малограмотные вахмистры и унтера победить дисциплинированные корпуса из офицерских и казачьих частей, да еще ведомые такими генералами, как Корнилов, Колчак, Юденич и Деникин. — Он замолчал, выжидательно глядя на меня.

— Колчак уже разбит... Юденич и Деникин накануне того же, а Корнилов, с вашего разрешения, давно мертв. Он убит еще в прошлом году, под Екатеринодаром. Мне пришлось там драться против него в частях Красной Армии, могу засвидетельствовать вам это.



Полковник глупо уставился на меня, затем, как бы спохватившись, засмеялся и быстро сказал:

— Ну что я, ну конечно убит. Это я его с кем-то спутал... А эти генералы несомненно будут разбиты. Народ всегда побеждает реакцию, как это было и во Франции... Итак, если я вам больше не нужен, прошу извинить, надо готовить оперсводку командующему. — И он, сладко улыбаясь, исчез в соседней двери.

К счастью, не все бывшие офицеры похожи на этого господина. За три дня пребывания в Самаре я встретил немало офицеров, добровольно вступивших в ряды Красной Армии. Было и двое перебежчиков из колчаковских войск, поручик и капитан, уже с оружием в руках доказавших свою преданность революции.

— Гнида! Давно б в чеку такого подлеца надо, — сурово сказал Москвичев, когда мы уже на пароходе «Быстрый» спустились по Волге к Саратову.

— Не докажешь. Ведь свидетелей нет, да и сказал он что-то такое, что и не поймешь — то ли волнуется за нас, то ли одобряет белых. Одно слово — липкий... — рассудительно заметил Парфенов.

— Ежели не сбежит к белым, то своего дождется. Раз, два сойдет, а на третий угодит куда нужно, — вставил Калабин.

Пароход шел вниз по Волге. Широкая русокая река, ее берега и открывавшиеся просторы, зеленые холмы, поля, лес, то и дело сменявшийся бескрайними, уходившими по обе стороны вдоль реки равнинами, захватили нас. Пристани, деревеньки, церковки, то отлогие, то крутые берега Волги, синее небо и горячее летнее солнце... простор, свобода, жизнь...

В Саратов пришли в жгучий, знойный полдень.

Здесь уже чувствуется фронт. Нам, людям военным, три года провоевавшим на империалистической и год на гражданской войнах, без слов понятен своеобразный прифронтовой колорит города, так напомнившего Коломыю, Брест, Ровно времен 1914—1917 годов.

Строгая, размеренная жизнь здесь не утихает ни днем, ни ночью. Патрули, проверка документов, внезапные облавы на рынках и базарах, бесконечная вереница идущих к фронту и возвращающихся оттуда поездов, суровые лица рабочих, обилие раненых, заполняющих по утрам скамьи в госпитальных садах, — все это говорит о близости неприятеля. Мы знаем, что Царицын окружен, что Золотое и Дубовка взяты белыми, что единственная, идущая по левому берегу Волги, железная дорога, связы-

вающая отрезанную от России Астрахань с Москвой, подвергается налетам то кулацких контрреволюционных банд, а то и казачьих отрядов, перебрасываемых белогвардейским командованием через Волгу. В полном разгаре боевой 1919 год.

Прощаюсь с Калабиным, направляющимся в 10-ю армию, прощаемся тепло, но немногословно.

— До встречи на Кубани,— пожимая мне руку, говорит он.

— А еще лучше в Новороссийске, когда последний белаяк будет тонуть в бухте,— смеется Парфенов.

Этот веселый матрос едет в Астрахань, откуда, по его словам, он после победы над белогвардейцами двинется на Восток.

— Зажигать огонь мировой революции,— с восторгом говорит он.— А как же иначе, товарищи. Побить белых — это лишь полдела. Мы своих буржуев покончим и на том успокоимся, так, что ли? А как же с народами, которые стонут от ига, ну, скажем, разные наши братья, индусы, персы или еще какие негры? Мы что ж, без бар свое счастье будем устраивать, а про них забудем? Не-ет, дорогие товарищи, Владимир Ильич не позволит этого нам. «Весь мир голодных и рабов» — вот кто ждет от нас помощи... А говорят, товарищ,— обращается он ко мне,— что там, у подневольных людей, скажем, в той самой Азии или, ну, Индии, капиталисты еще людей наших мучают. Они, гады, тысячу лет сосут кровь из рабочего класса, так это или нет? Тебе лучше знать, как ты хорошо обученный науке.

— Так. И индусы, и арабы, и вообще народы Востока, помимо своих буржуев, подвергаются невыносимой эксплуатации иностранных, силой оружия захвативших их страны, империалистов,— отвечаю я.

— Книжно говоришь, но все-таки понятно,— раздумчиво кивает головой матрос.— А ежели рабочий класс и мужики там в обиде, так разве нам можно сидеть дома сложа руки? Ни в жизнь! Покончим с белыми, пойдем с революцией дальше.

Через день, переправившись через Волгу, со станции Покровск тихо отошел воинский поезд, составленный из теплушек. Он шел на Астрахань.

Новые спутники окружали нас. И хотя их лица и фамилии были другие, но тот же дух, тот же русский говорок, та же непоколебимая вера в революцию и то же стремление скорей, как можно скорей попасть на фронт. И одеты мои новые спутники были также в гимнастерки, некоторые в солдатских защитных штанах и тяжелых солдатских башмаках-бутсах. Одни с поясами, другие без, но все, абсолютно все веселые, полуголодные, жизнерадостные и как бы уверенные в хорошем, радостном завтра.

Дым махорки вьется над людьми, уползая в открытые верх-

ние оконца теплушки. Дверь открыта настежь. Бегут деревья, мелькают дома, какие-то строения, поле, затем лесок... А надо всем этим несется старая сибирская песня:

Ревела-а буря, гром-м гре-емел...—

Я засыпаю, а когда просыпаюсь от толчка остановившегося вагона, узнаю, что ночевать будем здесь, в поле, так как паровоз отцепили и он только к утру вернется со станции Урбах.

Так мы проводим первую ночь за Волгой.

А потом катим дальше. И хотя паровоз пришел не утром, а около одиннадцати часов дня, тем не менее мы едем.

Полуголые, почти все босые, красноармейцы, несмотря на жару, не унывают. Кто-то рассказывает веселую байку про солдата Нефедя, ходившего в гости к самому сатане. Краснощекий матрос сидит у открытой двери вагона, свесив босые ноги, и, помахивая ими, поет. Слов его песни не разобрать. Шум бегущих вагонов и свистящий, стремительный ветер уносят слова, но по довольному лицу, блаженному выражению его глаз видно, что морячок счастлив.

Мы едем по горячий, выжженной суховеем степи. Хочется пить. Хлеб уже съеден. А степь, жаркая, вся в дрожащем мареве зноя, бесконечна. Только ночная прохлада освежает нас, и мы дружно храпим, забывая о голоде, жаре и надоедливом, ставшем привычным, однообразном стуке колес.

Пока происшествий нет, но на станции Крутояр нас предупредили:

— В степи ходят две банды — Попова и Черносвитова, да, кроме того, где-то затерялась казачья сотня есаула Червякова, недавно переправившаяся через Волгу. Держитесь начеку.

Там же, на Крутояре, был созван митинг. Комиссар поезда рассказал обстановку. Мы удвоили караулы.

Перед выездом из Крутояра комендант станции предложил нам пересест в воинский поезд, стоявший на запасных путях. Мы недоумевали. Те же красные теплушки, тот же шум и гам, та же теснота, но тут мы имели свое, уже обжитое место, да и компания знакомая, своя, а в воинском все было ново и незнакомо.

— Как хотите, ваша воля, только предупреждаю, что этот поезд уйдет через полчаса, а ваш, может, и завтра здесь будет.

— Почему так? Ведь вы же говорили, что первым отходит именно наш поезд.

— Распоряжение такое получил. — И, наклонившись ближе, комендант конфиденциально сказал: — Банда в степи. Попова банда, слышали небось? Так вот — объявилась. Где-то засаду



делает, ну, а мы вместо санитарного да простого поезда сейчас воинский пускаем. Понятно вам? Только вы молчок, потихонечку и переходите, а то видите, сколько баб разных и мешочников насело. Вот уж беда с этими чертями — и отряды заграждения, и то и се, а ни черта не помогает.

Забрав свои винтовки, чайники и два фунта каменной соли, зажав под мышкой вещички, мы поспешили к стоявшему в стороне поезду.

— Я их, мешочников этих, сейчас до водокачки отведу. Не хай думают, что едут, а тем часом ваш поезд за Крутоярм будет. Ну, товарищи, пока! А ежели банду встренете где, так кройте их, гадов, почем зря... Он, той Попов, много здесь крови людям спортил, — провожая, напутствовал комендант.

Через полчаса мимо нас, под ликующие крики и гомон мешочников, облепивших буфера и крыши, проплыл состав, который мы только что покинули. А спустя несколько минут, взяв, с места скорость, воинский эшелон пронесся мимо станции и ставшего у водокачки поезда с мешочниками. Мы вылетели в степь.

Часа через четыре остановились у полуразрушенного полустанка Булак. Здесь нас предупредили, что банда Попова находится где-то недалеко. Ее разведка, заскочив утром на Булак, ограбила телеграфиста и двух рабочих, ютившихся в недоломанной половине здания.

Короткий митинг. Готовясь к встрече с головорезами Попова, бойцы еще раз осматривают оружие. На передней площадке паровоза установлен пулемет, замаскированный ветками. В нашей теплушке ораторствует моряк из Волжско-Каспийской военной флотилии. Он ряб лицом, в одном ухе короткая медная серьга, лицо широкое, с твердым взглядом серых глаз. Через плечо переброшен карабин и два густо набитых патронташа. У пояса финский нож и ручные гранаты.

— Как только поезд станет, товарищи, за ружья да шагайте за насыпь, — размахивая руками, говорит он, — и беглым... а потом «ура» — и в атаку...

В открытую дверцу теплушки заглядывает военком эшелона.

— Товарищи, товарищи, закройте двери и сидите так, чтобы вас не заметили бандиты! — кричит он.

Двери закрываем.

Поезд дергается, лязгает буферами и снова бежит по серой, унылой степи. За безжизненными буграми, где-то в стороне, катит свои воды Волга, но отсюда ее не видно. До нее верст около восьми. Желтые холмы закрывают от нас горизонт. Я лежу на нарах под самым потолком и гляжу через маленькое оконце на

бегущую мимо степь, на мелькающие столбы и чахлую растительность солончаков.

— Главное все же гранаты. Это при царе Горохе штыком крепости брали, а теперь, брат, штык — это второе дело, а вот лимонка или бутылочка... это да, — любовно похлопывая рукой по гранате, философствует моряк.

— Это когда как. Граната, она, конечно, ничего, однако еще не факт, — не соглашается с ним пожилой худошавый красноармеец. — Мы вон летом шестнадцатого года на Стрые — слышал, может, такое место? — да-а, так вот целым полком в штыки на австрийца ходили. Он нас и тем, и сем, и гранатами, и минометами, и пушками... Ничего, дошли, да так вдарили в штыки, от его одна пыль пошла. Шестнадцать орудий взяли да пленных сотен семь, — вот тебе и штык.

— Один раз не считается, — пытается спорить моряк, но его перебивают голоса:

— Правильно сказал Степанов. Штык — он, брат, свое возьмет. Граната — она и мимо, а штыком в пузо — и амба, негу ваших. Да еще какая граната. Бывает, ее бьешь-бьешь, а она и не рвется, а штыком промахнется только слепой или дурак.

Разговор затихает. Хочется спать. Монотонная езда убаюкивает, но спать нельзя. Может быть, где-то за этими буграми ждет банда.

Ревела-а буря, гром-м гре-смел... —

запевает кто-то из сидящих на полу красноармейцев.

Во мра-а-ке молния блиста-ла... —

подтягивают остальные.

Заглушая лязг бегущих вагонов, падая и замирая, льется старая песня.

Вдруг моряк поднимает руки и злобно шипит: «Тиш-ше!» Песня обрывается, и мы слышим, как впереди хлопают выстрелы. Редкие, скупые, они спустя минуту густо разливаются по степи. Раздаются какие-то голоса, доносится шум. Поезд резко дергается, тормозит, и среди лязга буферов колеса истошно скрежещут на рельсах. Вагон вздрагивает и останавливается. Отодвигаются дверцы теплушки, и мы прыгаем под откос. Из всех вагонов кубарем валятся, вскакивают с земли и бегут вперед люди. По степи трещат залпы. Четкая очередь нашего пулемета рвет землю и подымает густую пыль под ногами бестолково мечущихся вдалеке бандитов.

— Да-а-еши! — во всю мочь ревет матрос и большими прыжками скачет по степи.

Мы толпой бежим за ним, крича, стреляя и размахивая винтовками. Ноги проваливаются в сурочьи ямы, и мы падаем, тычась лицом в песок, в сухой жесткий кустарник.

Почти весь эшелон несется по пятам бандитов, вылавливает их в неглубоких ериках и овражках, где пытаются они спрятаться. С налету избегаем на высокую гряду холмов. Отсюда видна раскинувшаяся внизу степь. У дороги небольшой, домов в семь, хуторок. В нем спешат укрыться остатки банды. С колена, стоя, бьем по бегущим. Двое из них падают. Остальные по низине кидаются за дома. Видно, как из хуторка на бешеном карьере вылетает тачанка; двое всадников, нахлестывая коней, подняв столб пыли, несутся за нею.

— Даешь бандитов! Ур-ра! — кричим мы и скатываемся с холмов к хуторку. Навстречу выбегают перепуганные женщины, ветхие старики и дрожащие, белые от страха дети. Мы охватываем их со всех сторон и ведем к домам.

Через полчаса уже мирно беседуем с жителями хуторка. Семен Попов вместе со своим «штабом» бежал на тачанке. Банда его разгромлена. Родной брат Попова, Никифор, убит.

У самой дороги, на пулемете, уложен наповал местный житель бандит Шугай. Еще четверо нападавших подняты в степи. Девять раненых и человек пять пленных, с десятком обрезов и несколько ящиков патронов — вот трофеи нашей атаки. Назвать пулеметом то, что мы взяли под обстрел Шугаем, можно только с большой натяжкой. Это грубо обтесанное ложе винтовки с вставленным в него сборным пулеметным замком и с самодельным кожухом. Пули из этого «пулемета» то сыплются как горох, а то как бы в раздумье, с заминкой. «Пленные», мобилизованные Поповым подростки из хутора, рыдали, умоляя простить их. Рядом с ними плакали их отцы, божась и крестясь, что «они же, дети малые, мобилизованы... Разве ж они могут воевать? Дайте им раза по мослам да и пушайте, за ради Христа, на волю».

Поглядев на «малых деток», на их залитые слезами лица, пригрозив им для приличия и острастки, мы отпустили ребят и шумной ватагой направились к поезду, мирно стоявшему вдали.

На четвертый день пути наш эшелон прибыл в Астрахань. Встречавший поезд военный комендант уводит с собой пополнение. Мы, человек семь политработников, направляемся через пустыри в Реввоенсовет 11-й армии. Сергей Миронович Киров, которого я разыскиваю, узнает меня.

— А-а, земляк, северокавказец, товарищ Мугуев! — добродушно смеется он и после недолгой беседы дает мне записку в политотдел.



Уже пятую неделю живу в Астрахани, работаю в политотделе начальником агитационного отдела. Город во вражеском кольце. Со стороны Гурьева, верстах в тридцати от нас, у села Ганюшкино идут упорные бои с уральскими казаками. У Волги белые третью неделю атакуют наш укрепленный центр — Черный Яр. Южнее Черного Яра — у Енотаевска — бои. Кавалерия противника, в составе двух казачьих полков, с артиллерией и батальоном пехоты, прорвалась к Енотаевску и, по слухам, соединилась с бандами капитана Кузовлева и мельника Ткачука, оперировавшими там. На юге дела еще хуже. Со стороны Кизляра наступают терские казаки, подкрепленные пехотной дивизией в составе апшеронского, ширванского и самурского полков с артиллерией, — это отряд генерала Драценко. Наш слабый Северокавказский фронт подался назад. Еще на прошлой неделе бои шли у села Леничево. Сегодня сданы Яндыки, и противник ведет атаку на Басы, а от Басов до Астрахани, что называется, рукой подать. Английские аэропланы почти ежедневно долбят с воздуха город. Вчера они сбросили бомбы на эллинг, позавчера бомбили центр, а сегодня налетели на порт. Наша слабая авиация геройски отбивает атаки английских хищников. Совсем недавно летчик Горюнов в воздушном бою сбил большой вражеский двухмоторный самолет.

В самой Астрахани тишина. Лавки и магазины закрыты, лишь кое-где торгуют варенцом и простоквашей. Стакан варенца стоит 25 тысяч рублей. У меня осталось около 300 тысяч рублей. Расчетливо ем раз в день варенец, сберегая свои финансы. При политотделе армии имеется своя столовая. Кормят в ней почти роскошно: на первое — суп из рыбы без хлеба, на второе — пшенная каша без масла, сваренная на воде; иногда ее заменяет вареный чилим. Трудно объяснить, что такое чилим. Энтузиасты говорят, что этот болотный орешек очень питателен и напоминает вкусом нежный каштан. В местной газете «Коммунист» астраханский наркомпрод Непряхин написал даже ряд статей об исключительной калорийности чилима и о том, как надо варить или жарить этот замечательный болотный орех. Каюсь, я лично не могу есть его ни в вареном, ни в жареном виде. И в том и в другом он противен. От него пахнет тинной, вкус его намного хуже сырой картошки, и вдобавок ко всему от него болит живот. Словом, питаемся плохо. В любую минуту я готов есть, а ведь мы, армейцы, живем лучше, чем другие. Бывают дни, когда даже рабочим не выдают пайков.

Работаем много. По ночам засиживаемся до трех часов. Противник подходит все ближе и ближе. Реввоенсовет мобилизовал решительно всех, кого только можно было. Батальон ЧК и пе-

хотные курсы сегодня ушли в Ганюшкино. Чоновцы<sup>2</sup> охраняют город и патрулируют днем и ночью. Даже сотрудники штаба, Реввоенсовета и поарма брошены на фронт. Сам Сергей Миرونвич только что вернулся из Черного Яра, где полки 34-й пехотной и 7-й кавдивизии под общим командованием Нестеровского отбили девятый штурм белых. Киров с большим одобрением говорит о действиях дивизий. На его глазах один из полков штыковой атакой разгромил бригаду наступавших пластунов. Конный дивизион под командованием Сабельникова, атаковав с фланга цепи противника, гнал их больше двух верст, нещадно рубя. Живые разбежались по камышам и болотам. Семь орудий и пулеметы захватил дивизион в этом бою.

В тот же день на заседании партячейки поарма Сергей Миرونвич говорил:

— Нажим у Черного Яра кончился. Белые откатились и теперь не скоро оправятся. И все же мы плохо работаем, товарищи. Войска дерутся, а Астрахань слабо помогает им. Надо энергичней действовать. Надо так мобилизоваться, так напрячься, чтобы беляки и под Басами и у Ганюшкина понесли такой же разгром, как под Черным Яром.

Он садится скромно в стороне. Прислушивается ко всему, что говорят товарищи. Очень редко берет слово, но если скажет, то всегда что-нибудь бодрое, свежее, волнующее. «Наш Киров», «наш Мироныч» — так называем его мы, так зовет его армия, так величают его рабочие, моряки. Он — мозг и сердце нашей армии, он — центр, вокруг которого вращается все.

К концу собрания я замечаю, что Кирова нет, а через несколько минут уже знаю о том, что он на штабном мотоцикле, вдвоем с водителем, умчался в Басы после короткого разговора по проводу с комдивом.

Из Басов получены худые вести. Это и заставило Кирова срочно выехать туда. Казаки обошли фланг наших окопов, и пехота, наполовину из мобилизованных рыбаков побережья, волнуется и хочет оставить Басы.

Все резервы брошены в Ганюшкино. Что делать, чем помочь защитникам Басов? Тревожно на душе, тяжело, но мы знаем, что Киров никогда не теряется и что он и сейчас найдет верное и необходимое решение.

Глубокой ночью в политотдел зашел секретарь Реввоенсовета Самойлов. На лице его тревога, глаза озабочены.

— Что случилось?

Он мнется, отводит в сторону глаза и наконец говорит:

---

<sup>2</sup> Частн особого назначения.

— Во флоте неспокойно. Анархистствующая братва подняла голову. Какие-то требования выдвигают, комитет свой создают. В такое время... Св-волочи! — Он плюет и злобно кричит:— Какой момент выбрали, а? Прямо измена!

— А чего они бунтуют? — интересуюсь я.

— Мироныч двести человек моряков с пушкой и пулеметом срочно послал в Басы...

— Ну так что ж? Правильно сделал!

— А эти самые элементы, что там вокруг штаба флотилии трутся, протестуют, считают, что флот, мол, армии не подчинен и что вопрос согласовать надо было. Тут каждая минута дорога, казаки вот-вот в Басы ворвутся. Мироныч сам, без охраны, один-одинешенек туда помчался, а этих «господ адмиралов» урезонивать да упрашивать, оказывается, надо! — с возмущением говорит Самойлов.

— Не горячись, Митя, — успокаиваю Самойлова, — приедет Мироныч, и все наладится.

За окнами чуть светает. На улице слышны шаги тяжело ступающих людей. Два-три грузовика прохочут и скрываются во тьме. Доносятся голоса: «Веселей, веселей, граждане! Время не ждет».

Конные проехали с шумом. Во тьме смолкает цоканье подков, но еще долго шаркают за окнами ноги идущих людей, слышны кашель и короткие заглушенные возгласы:

— Господи Иисусе! Охо-хо! Дожили, дослужились до лопаты...

— Нетрудовой элемент окопы рыть погнала. Недовольны, чертовы буржуи, им бы в лавочках сидеть да белых дожидаться, — выглянув в окно, говорит Самойлов.

Шаги смолкают. На улице снова тишина.

Астрахань со всех сторон окружена окопами. В наиболее угрожаемых местах созданы пулеметные гнезда, прорыты ходы сообщения и возведены проволочные заграждения. Много пришлось приложить труда и усилий Сергею Мироновичу, чтобы добиться осуществления этих, на первый взгляд столь элементарных, подсказываемых всей военной обстановкой мер обороны. Слишком сильны были в городе беспечность, легкомыслие и какое-то опасное пренебрежение к врагу. Я несколько раз слышал разговоры о том, что «не нужны нам, дескать, эти блиндажи и окопы, здесь не Верден, а с казакишками мы и так справимся». Но Киров верен себе. Уезжая, он отдал приказ рыть новые линии окопов и сооружать баррикады на окраине, через которую дорога ведет в Басы.

Мы выходим на улицу. Все еще темно. Огней нет, и только

двухэтажное здание штаба и Реввоенсовета армии светит озаренными окнами в глухую улицу. За углом расстаемся. Нащупываю ручку нагана и пробираюсь по темной улице.

— Стой! Кто идет? — кричат от стены, и слышу, как бряцает оружие.

— А вы кто?

— Патруль. Пропуск есть?

Из темноты ко мне шагают двое. Вспыхивает зажигалка, и я вижу, как человек в кепке медленно читает мой пропуск.

— Проходи, товарищ, дальше, — возвращая пропуск, говорит он.

Через несколько минут вхожу в свою неуютную, холодную комнату, в которой стоит роскошная двухспальная кровать из карельской березы с балдахином. Валюсь на нее и, голодный, мгновенно засыпаю.

Утро проходит в работе и тревожном ожидании вестей с фронта.

Накануне вечером в Басы ушла половина чоновского отряда и «мусульманский дивизион». Это — конная часть, сабель около двухсот, с тремя пулеметами. Конники стояли за городом, оберегая железную дорогу. Вместе с чоновцами ушли и добровольцы — рабочие депо и мастерских. Всего человек около трехсот. Это последнее, что может дать город, осажденный со всех сторон белогвардейцами и перенесший два восстания и уличные бои с контрреволюционными элементами.

Наша группа в девять человек решила идти на фронт. Не работает, когда кругом бои, да и как-то стыдно сидеть здесь в такое время. Ходили за разрешением в Реввоенсовет. К. А. Механошин посмотрел на нас мутным, утомленным взглядом, долго молчал и наконец сказал коротко:

— Нельзя!

— Почему? Мы там нужнее.

— А кто будет работать здесь? Что вы — институтки, что ли? Когда будет необходимо, сам тоже пойду в окопы, а пока вот ночи за этим провожу, — он ткнул рукой в кучи разложенных перед ним бумаг. И, поднимая на нас красные, воспаленные глаза, тихо добавил: — И вам советую, а то скажу Миронычу, сами знаете, за подобные вольности он здорово нагреет.

Мы ушли. Я к себе, Богословский в учетно-распределительный отдел, а Еремин, хвалившийся все время, что он «старый кадровый пулеметчик», в счетную часть. За нами последовали остальные. Днем налетели два английских аэроплана; они долго кружили над центром города, но сегодня вместо пуль и бомб с самолетов дождем посыпались листовки. К нам принесли не-

сколько штук. На плотной белой бумаге четким шрифтом с ятем и твердым знаком интервенты предлагают «горожанам, обманутым комиссарами, красноармейцам и всем честным русским христианам» немедленно сложить оружие и сдаться, суля за это белые булки и спокойную жизнь. В прокламации так буквально и сказано: «Вы голодаете, вам нечего есть, а у нас горы белоснежного хлеба, неисчерпаемые запасы мяса и муки, нефть, уголь, мануфактура. Опомнитесь, прекратите бесцельную войну с непобедимой добровольческой армией, и мы, английские войска, союзники генерала Деникина, гарантируем вам мир, безопасность и сытую, спокойную жизнь».

— Не рви, не рви,— хватает меня за руку Проказин, пожилой человек, секретарь партийной ячейки, потерявший ногу в боях на германском фронте,— оставь для будущих дней. Пригодится нашим детям, они когда-нибудь будут изучать, как мы бились тут за советскую власть.

Вестей из Басов по-прежнему нет. Даже в оперативном отделе штаба неизвестно, как развиваются бои. Ганюшкинское направление не так беспокоит нас. Главное сейчас — Басы. Там Киров. Это и настораживает и вместе с тем обнадеживает нас.

Радостное известие: на окраине Астрахани, над слободкой Царев, подбит английский самолет. Его сбили ружейным огнем. Стоявшая на выезде застава залпами обстреляла самолеты. Завихляв в воздухе, один самолет стал нырять и, теряя высоту, снизился и сел на поляне. Из него выскочили двое. Летчик, открывший из маузера огонь, был тут же убит выстрелами бежавших к самолету чоновцев, другой, подняв руки вверх, сдался. И тот и другой — англичане, офицеры.

Удивительные вещи творятся на фронте. В штаб только что вернулся Сергей Миронович. Победа полная. Терская белогвардейская дивизия разбита. Командовавший ею полковник Зимин убит. Апшеронский полк, наступавший на Басы с запада, неожиданно повернул штыки против своих и, переколов офицеров, ударил белоказакам во фланг. Победа до того решительная, что подкрепления, посланные вчера в Басы, оказались ненужными. Киров весел. Белые бегут в беспорядке, и наша слабая кавалерия гонится за ними, подбирая пленных, обозы и другие трофеи. Оленичево, Яндыки, Промысловка и Оля уже очищены от белоказаров. На этом участке почти вся пехота противника перешла к нам с оружием.

Вечером к моему столу подходит технический секретарь нашей партийной ячейки Покровская. У нее растерянный вид, руки дрожат.

— Ты слышал? Приказано эвакуироваться. Приказ из Москвы пришел.— Астрахань сдавать.

Я улыбаюсь.

— Брось, Наташа. Охота тебе верить сплетням.

Богословский, услышав наш разговор, смеется:

— Это, товарищ Покровская, старые враки. Я здесь за год раз двадцать их слышал. Не иначе как штучки деникинской агентуры.

— Нет, это не слухи. Мне тоже сообщили сейчас в Реввоенсовете, телеграмма от Троцкого пришла: вывезти все ценное, а самим отойти к Саратову ввиду бесцельности обороны,— подтверждает только что вошедший Проказин.

— Что, что? Телеграмма? — сердится Богословский и поднимается с места.— Да верно ли это?

— Да, такая телеграмма получена. Я сам слышал, как начштабarm Ремезов говорил о ней Самойлову.

— Все равно не поверю! Если даже и есть, то подложная. Не забывайте, товарищи, что мы в окружении врага. Вспомните, на какие только штучки не шли белые! — кричит Богословский, стуча кулаком по столу.

Оставляю спорящих и иду в Реввоенсовет к Самойлову. Оставить Астрахань! Теперь, когда кольцо осады в двух местах пробито, когда белые бегут, а их полки переходят к нам! А связь с Баку, нефть, выход в море, а флотилия?..

Секретаря нет. В приемной беседуют двое военных, одного я знаю — это Ласточкин, бывший полковник старой армии, работающий в оперативном отделе армии.

— Уже отдано приказание, через голову Реввоенсовета, судоверфи начать подготовку к эвакуации,— говорит он.

— Как через голову Реввоенсовета? Кем же это?

— Самим Троцким. Есть особая об этом радиogramма лично начвос<sup>3</sup>.

— А как арсенал?

— Конечно, тоже. И судоремонтные мастерские, и завод «Мазут», и еще многое другое. Но вообще я не представляю себе, как, во что выльется эта эвакуация.

Через приемную пробегает Самойлов с бумагами в фуках.

— Что такое? Неужели это правда? — спрашиваю его в коридоре.

— Черта с два! Телеграмма, правда, есть, а эвакуации,— он радостно хохочет,— не будет... Мираныч не допустил. Вот...— он хлопает рукой по бумагам,— вот Владимиру Ильичу по радио

<sup>3</sup> Начальник отдела военных сообщений.

посылаем.— Он срывается с места и уже издали кричит:— Не будет эвакуации!

Я бегу вниз и слышу сердитый тенорок красноармейца из караульной роты:

— Що? Уходить? Николы того не будет... Одиннадцатая кавказская не уйдет. Не за тим мы с Тамани сюда шлы. Нас на Кубани браты тай диты ожидают. Наступать треба!— кричит он, сердито поблескивая глазами.

— Ну, вояки, кончайте митинг! Лопнула эвакуация. Миронч против...

— Вот это да!— радостно перебивает меня красноармеец.

Подробности событий в Басах, сыгравших такую большую роль в обороне Астрахани, я узнал позже от одного из непосредственных участников боя, командира дивизии Александра Сергеевича Смирнова. Вот что он рассказал мне.

Вечерело. Окопы, вырытые на холмах за селом, уже слились с потемневшей землей. Горизонт стало затягивать ночной пеленой.

— Астрахань! Астрахань! Говорят Басы... Астрахань! Давай Астрахань!— монотонно стуча ключом, вызывал телеграфист.

Наконец раздался ответный стук, и из аппарата поползла длинная лента, усыпанная точками и тире.

— Астрахань. Реввоенсовет одиннадцатой. У аппарата дежурный. Что надо,— прочел телеграфист.

— Говорят Басы. У аппарата комдив Смирнов и комиссар бригады Павлов. Прошу вызвать к проводу товарища Кирова и командарма.

— Как зовут вашего комиссара? Какой он губернии и уезда?

— Лев Петрович. Рязанской губернии, Зарайского уезда. А кто дежурит?— в свою очередь спросил комиссар.

— Брагин.

— Здорово, Степан. Это я, Павлов, а рядом комдив Смирнов. Поторопи Миронч и командарма, срочное дело.

— Хорошо, сейчас передам,— прочел телеграфист.

В телеграфной зажгли вторую, запасную лампу. За селом изредка хлопали выстрелы, раза два простучал пулемет. С площади доносились тихие, заглушенные голоса.

— Ты, товарищ Павлов, тоже, когда будешь говорить с Кировым, поддержи меня. Обстановка и положение ясны тебе не меньше,— оборачиваясь к комиссару, взволнованно сказал комдив.

— Ясны. Однако сдавать Басы нельзя,— коротко сказал комиссар.



— Кто говорит о сдаче? Какая там сдача? Я прошу только разрешить эвакуацию отсюда отдела снабжения, склада и госпиталя.

— Это и есть сдача. Ты представляешь, товарищ комдив, как это подействует на бойцов в окопах, когда они узнают, что село потихоньку эвакуируется?

— А что же делать? Не могу я сейчас, в обстановке боя, иметь у себя в тылу лишние организации и ненужный балласт, вроде завхозов, машинисток и сторожей.

Внезапно застучавший аппарат прервал разговор комдива и комиссара. Адъютант Гудков достал полевую книжку, чтобы записать разговор.

— У аппарата командарм одиннадцатой. Здравствуйте, товарищи! Что скажете?

— Сейчас начнем доклад. Просим только обязательного присутствия товарища Кирова. Обстановка здесь такова, что необходимо решение Реввоенсовета,— нагибаясь к самому лицу телеграфиста, диктовал Смирнов.

— Как? Разве товарищ Киров не с вами?.. Разве он еще не приехал в Басы? — поднимая брови, встревоженно прочел телеграфист.

— Что, что? К нам в Басы? — в два голоса спросили комдив и военком.

За селом дробно застучал пулемет. Прокатился неровный залп, и густо затрещали выстрелы.

Смирнов и Павлов переглянулись. На лице у Гудкова был страх.

— Когда он выехал сюда? — срывающимся голосом крикнул комдив, и рука телеграфиста быстро и нервно отстукала эти слова.

— Уже давно. Вдвоем с водителем выехал на мотоцикле к вам,— последовал ответ.

— По какой... дороге?— еле выговорил комиссар, боясь взглянуть в помертвевшее лицо комдива.

— По основной, через форпост, мимо Хуторянки,— прочел телеграфист.

— Эта дорога еще в полдень перерезана казаками,— с отчаянием сказал Смирнов.— Неужели...— и, не в силах выговорить, он замолчал.

Под окнами раздались голоса, шаги, неясный шум, и в открытые настежь двери телеграфной вошел невысокий широкоскулый человек, в кожаной куртке и летних красноармейских штанах.

— Товарищ Киров... Мироныч! — выйдя из оцепенения, крикнул Смирнов, бросаясь навстречу вошедшему. Военком, стоявший

по другую сторону аппарата, просиял и, не соразмерив своего стремительного движения, так рванулся вперед, что опрокинул табуретку и кружку холодного чая, которую принес себе на ночь телеграфист.

— Здорово, товарищи! Да осторожней, легче, легче, так ведь и убить можно,— высвобождаясь из объятий, сказал Киров, и, иронически кивнув на свисавшие со стола ленты, спросил: —Вы что, хоронить меня, что ли, собирались? Рано, товарищи! На-трасно волновались. Нам надо жить не менее ста лет каждому. Вот загоним беляков в Черное море, начнем строить советскую жизнь, работы будет непочатый край. И годов не хватит.— И, дружески пожимая руки комдиву, телеграфисту, Гудкову и военному, спросил: — С Астраханью говорили?

— Да, Сергей Мироныч, вас и командарм вызывали.

Вновь с неистовой силой застучал аппарат, и телеграфист, наклоняясь над лентой, прочел:

— Басы, Басы! Говорит командарм одиннадцатой. Почему замолчали? В чем дело?

— Стучи ему: все в порядке. Киров приехал, потому и замолчали,— крикнул Киров.— Да передайте, пожалуйста, товарищ, что после ознакомления с делами я вызову командарма к аппарату.

— Есть, товарищ Киров,— так весело, весь сияя, ответил телеграфист, что Киров расхохотался.

— А мы, Сергей Мироныч, когда сейчас узнали, что ты поехал сюда хуторской, а не таловской дорогой, то так беспокоились за тебя, что меня даже пот прошиб. Ведь старый тракт и хуторянскую дорогу казаки перерезали еще с полудня,— сказал комиссар.

— А они и таловскую захватили. Меня возле Басов, совсем недалеко отсюда, около Большой Балки, их застава из пулемета обстреляла,— смеясь сказал Киров.

Выйдя на площадь, он осмотрелся и, глядя на озаренные окна телеграфной комнаты, неодобрительно сказал:

— Окна, товарищи, следует завесить. Ведь за околицей фронт, в двух километрах отсюда противник. Ясно, что и в этом селе он имеет среди кулаков своих людей. Долго ли ночью прямо на свет пустить снаряд.

— Да, мудреного чуть,— согласился комиссар.

— Завесьте окна да, кстати, товарищи, обязательно забирайте с собой ленты, когда ведете разговоры по телеграфу... А хороший у вас здесь народ! Боевой, сознательный. Ведь я уже два часа, как сюда приехал. Хотел было сразу к вам зайти, да уж, извините, товарищи, зашел на минуту в окопы, что за селом;

вправо от дороги, походил, побродил, побеседовал с товарищами и задержался. Хо-ороший у бойцов дух, самый что ни на есть геройский.

Комдив с удивлением остановился и переспросил:

— Как? Уже два часа здесь?

— А может быть, и немного больше. Заговорился, да пока прошел окопы да по холмам полазил, уже совсем стемнело,— улыбнулся Киров.

— Это где же геройский дух, в каких окопах? — все с тем же изумлением продолжал комдив.

— Да я же говорю, возле села, вправо от дороги...

— Это что на Яндыки ведет?

— Да.

— Что вы, Сергей Мироныч! Да ведь это же самые беспокойные, сомнительные элементы. Вот и военком вам это может подтвердить. Там находится наспех сформированный из местных жителей ловецкий батальон. Не войско, а черт его знает что! Прошлой ночью прямо в окопах замитинговали, хотели позиции бросать, расходиться по своим домам. Насилу уговорили. Не будь под боком полка седьмой кавдивизии, разбежались бы.

— Ну? — удивился Киров. — А я, представьте, этого и не заметил. Наоборот, очень они мне крепкими, убежденными и верными бойцами за социализм показались. Да и с чего бы им быть другими? Все они бедняки, всю свою жизнь работали в море на промыслах, на всяких там леоновых, беззубиковых и лианозовых. Не так ли, военком? — негромко, но пытливо спросил Киров.

— Да, это так. Одна сплошная беднота, — ответил комиссар.

— А если это так, то, значит, они не беспокойные, сомнительные элементы, как вот сейчас выразился товарищ Смирнов, а соль, крепость, фундамент советской власти. — В голосе Кирова прозвучала сердитая нотка. — В народ, в окопы, в жизнь и быт бойцов надо входить, делать так, чтобы боец все время, даже если тебя и нет рядом, ощущал и чувствовал тебя. Вот вы, товарищи, все трое военные, а вы, комдив, даже бывший офицер, не так ли?

— Так точно! Подполковник старой армии, — подтягиваясь, сказал Смирнов.

— И забыли из военной истории хороший, крепкий пример для всех нас. Фельдмаршала, генералиссимуса Суворова помните?

— Так точно, как не помнить!

— Если бы помнили, не было бы тогда у вас сомнительных бойцов. Суворов был умный и передовой для своего века чело-

век. Душу солдата знал, жизнью солдата жил, личность солдата ставил выше своей. И был непобедим.

Комдив и военком молчали. У самых дверей штаба Смирнов вдруг остановился, поднес к фуражке руку и сказал:

— Виноват, товарищ Киров. Поделом мне. Александра Васильевича Суворова не имеет права забывать ни один военный.

Киров, дружески похлопав комдива по плечу, сказал:

— Пойдемте-ка, друзья, да подумаем над картой, как нам вернее разгромить врага.

В полночь прибыл астраханский отряд ЧОНа, потом артиллеристы с орудиями, процокала конница, и тишина снова окутала Басы. За селом лаяли собаки. На черном небе ярко сверкали звезды. Противник молчал. Холмы и окопы слились с темнотой.

Около часа ночи в штаб привели двух перебежчиков, солдат апшеронского пехотного полка. Один из них, небольшой чернявый человек с сухим и умным лицом, рабочий с грозненских промыслов, толково и словоохотливо давал показания, очень точно рассказывая о численности и настрояниях в мобилизованных белогвардейцами пехотных полках.

— Меня силком забрали на фронт. Я семь раз в бегах был и по промыслам и в степи скитался, прятался. Ну, поймали, всыпали двадцать шомполов в зад и айда на фронт. Так разве ж мне, рабочему человеку, да еще после таких издевательств, придет охота генералов защищать! А ведь таких вот, мобилизованных, среди нас более половины будет. Вот хоть он; спросите-ка его, чего он вам про себя скажет,— ткнув пальцем в молчавшего соседа, сказал перебежчик.

— То же и скажу. Мы из крестьян, Моздоцкого отдела<sup>4</sup>, села Невольки, отсюда в армию взятые. Нас споначалу белые пограбили. Вы, говорят, все скрозь большаки. Ну, было, что и баб насильничали, а потом мужиков собрали и в эту самую дивизию и сдали. Вот мы, стало быть, и стали вояки,— махнув рукой, с горькой усмешкой закончил второй.

— Какие полки в вашей дивизии? — спросил комдив.

— Апшеронский, потом ширванский. Оба здесь, супротив вас, на позициях стоят. А третий, самурский, в Прасковее в резерве остался.

— А как настрояние в них? — заинтересовался Киров, вглядываясь в лицо перебежчика, моздокского мужика.

— Надо бы хуже, да некуда, товарищ дорогой. Еще неделя

<sup>4</sup> Отдел здесь соответствовал уезду.

пройдет, так волком взвоем. Опять старая положения в армии пошла. Офицеры мордуют нас почем зря, фельдфебеля тоже не милуют, сами в прапоры мечту имеют выйти. Кормят так, что до ветру и то нечем идтить. А дома по селам казаки да каратели над детьми и бабами измываются. Вот ты и подумай сам, какая у нас может быть настрояния от такой карусели.

— Чего же воюете? Переходите к нам — и войне конец. Разве генералы да баре удержатся без вас?

— Вот то-то и есть. Все этого хочут, все против воли с вами дерутся, дак боятся. Кабы вы не отступали, а вдарили б разок нам по загривку, так все бы сразу сдались, а то ведь мы сколько ни идем, а вы все назад да назад. Вот офицерья наши и кричат: «Красные, мол, разбиты, конец им пришел, видали, как от нас бегут», — и всякую такую муру про вас пушают. Ну, которые солдаты и верят, раз вы отступаете.

— Больше не будем, — засмеялся Киров, — раз сами просите намять вам холку, так уж за этим дело не станет. Ну, а как в селах, в деревнях, в том же Моздоке или Святом Кресте, как там настрояние, что говорят о нас, ждут ли нашего возвращения или тоже верят деникинским басням?

— Там не верят. Мы почему так говорим, потому — сами видим, как вы назад да назад подаетесь, а там этому никто не верит. Там всякие газеты да приказы брехней считают. Там вас каждый день ждут, чуть ли за околицу не ходят глядеть, где вы.

— Верно, — перебивая товарища, засмеялся первый перебежчик, — у нас по Грозному да станицам бабы да девки супротив кадетов разные песни спивают.

— Вот-вот, — оживился мужик. — И у нас тоже поют. Ждут вас не дождутся. Старики — и те уже от белых взвыли.

— Ну, вот что, други дорогие. Все это, конечно, хорошо, что вы белых не терпите и песни против них поете, но дело-то все в том, что воюете вы все-таки против нас. Вы, мужики, и ты вот, рабочий, воюешь против своих. Так это или нет? — вдруг сказал Киров.

— Это точно, хуть и супротив воли, а выходит так, — подтвердили оба.

— А если это так, то, товарищи, этого мало, что вот вы перешли к нам, а ведь сотни, а может быть, и тысячи других, таких же, как вы, рабочих и крестьян находятся еще там и завтра могут снова стрелять в нас, в своих братьев по классу, в рабочих и крестьян. Не так ли?

— Правильно. Ежели им глаза не открыть, завтра опять то же будет, — подтвердил рабочий.

— Вот именно, ежели им не разъяснить правды. А кто дол-

жен это сделать, кто обязан снять с их глаз повязку? Мы, мы, дорогие товарищи, вот вы да мы. Понятно? На нас лежит эта обязанность, и ни на ком другом.

— Что ж, мы готовы. Ежели не нарвемся на офицеров или какую продажную шкуру, вот вам истинный крест, товарищ дорогой, через час все мобилизованные здесь будут. Только бы им слово верное сказать.

— А вот для этого вместе с вами пойдет наш товарищ, тоже рабочий, военком Павлов, — сказал Киров. — Берегите его, товарищи, он еще пригодится рабочему классу. Не так ли? — глядя на комиссара, сказал Киров.

Лицо Павлова вспыхнуло. Глаза радостно блеснули. Он что-то хотел сказать, но только крепко потряс широкую, твердую ладонь Кирова.

Через несколько минут, выслушав инструкцию, комиссар и перебежчики скрылись в густой ночной тьме.

Через полчаса Киров в сопровождении комдива и адъютанта Гудкова ушел в окопы.

Время тянулось медленно.

— Не идет наш Павлов, — тревожно сказал Смирнов адъютанту и, осветив под полою зажигалкой часы, прошептал: — Третий час!

В ту же минуту впереди послышались шум, шаги, и военком, сопровождаемый подчаском из дозора, тяжело спрыгнул в окоп.

— Где Сергей Мироныч? — спросил он Смирнова.

— В конце окопов. Там батареею сейчас установили.

— Ну, Александр Сергеевич, бежим до Мироныча. Утром дела будут у нас, — и, увлекая за собой комдива, что-то так тихо зашептал ему на ухо, что даже Гудков не расслышал ни слова.

— Молодец, товарищ Павлов, а где наши приятели? Пришли снова? — спросил Киров.

— Нет, Сергей Мироныч. Обсудив все, мы решили, что они там утром будут нужнее, чем здесь. Зато со мною пришли три других солдата.

— Правильно сделали.

— Вот, Сергей Мироныч, приказ белых от сегодняшнего числа. Почитайте, что пишет про нас полковник Зимин, — вытаскивая из кармана смятый лист, сказал Павлов.

«§ 1-й. С рассветом, в 4 часа 15 минут, частям вверенной мне группы атаковать и взять село Басы. Противника уничтожить. Артиллерию и обозы захватить.

§ 2-й. Трем батальонам пехотного Апшеронского полка при поддержке 2-го сводного Кизляро-Гребенского полка штурмовать юго-западную часть села, что от церкви до территории ста-

рого почтового тракта. Ширванскому полку и конному Чеченскому дивизиону атаковать центр села, ведя удар в штыки на площадь Басов. Пластунской бригаде при содействии трех казачьих сотен Моздокского полка ударить с правого фланга и выйти на пересечение таловской и басинской дорог. 1-му Терскому полку перерезать коммуникацию красных. Артиллерии—ровно в 3.45 утра открыть по окопам и позициям красных беспощадный, губительный огонь. Чередуя гранаты и шрапнель, артиллерия прекратит за пять минут до атаки частей, то есть в 4.10 утра. Пулеметам энергичным огнем облегчить пехоте атаку.

§ 3-й. Солдаты, казаки, г. офицеры, я уверен, что вы выполните и тут свой долг так, как выполняли его до сих пор,—геройски и храбро. Басы—это последний оплот красных. Возьмем Басы, и беззащитная Астрахань завтра же сама сдастся нам. С богом вперед!

Начальник астраханской группы полковник Зимин».

— Прыткий полковник. Аника-воин. Где взял бумажку?—передавая ее комдиву, спросил Киров комиссара.

— Солдаты-апшеронцы дали. Они мне хотели всю батальонную канцелярию отдать, да я не согласился. Все равно утром наша будет.

— А где их начальство?

— Двух офицеров и фельдфебеля сюда привели. Когда брали, рты им тряпкой забили. Они сейчас, наверно, уже в штабе сидят, допроса дожидаются, а одного...—военком махнул рукой,—боялись солдаты, что шум поднимет...

— Отлично! Теперь дело за нами. Комдив Смирнов, приготовьте части к атаке. Вы сами лично ведите в прорыв к апшеронцам коммунистический батальон, а ты, товарищ Павлов, вступай снова в свои дела военкома. Время не ждет. Сейчас без двадцати три, в три тридцать пять мы по всему фронту атакуем белых. Так что этому вояке Зимину придется во все лопатки удирать отсюда.

Серая астраханская степь подернулась на востоке дымно-розовой пеленой. По земле задвигались тени, по степи пробежал предутренний холодок. В селе протяжно запели петухи.

Полковник Зимин с начальником штаба, войсковым старшиной Бочаровым и полковником Дорфом вышли из большой, туго натянутой походной палатки.

— Хорошая ночь,—поглядывая на звезды, сказал Бочаров,—скоро уж и рассвет. Вон и Марс скрываться начал.

— Нет, Петр Георгиевич, Марсу бы сейчас только и сверкать. Через час в его славу мы здесь краснопузым зададим та-



кую потеху, что небу станет жарко,—засмеялся Зимин и вдруг замолчал.

Над селом взлетела и рассыпалась зеленым огнем ракета.

— Что еще за ерунда? Сигнал, что ли? — не обращаясь ни к кому, удивленно еказал он.

Ночь опоясалась огнями. Над селом по холмам загудели пушки. Густые залпы залили степь, и под треск пулеметов и грохот гранат по всему фронту раздалось нарастающее «ура».

— Что за черт! С ума они сошли, что ли? Неужели атака? — сказал полковник и вдруг озлобленно крикнул: — Полковник Дорф! Прошу к своей дивизии. Немедленно контратакуйте красных.

Дорф повернулся и, придерживая рукой шашку, исчез в темноте. За палаткой ржали испуганные пальбой кони. Несколько пуль с воем пронеслись мимо полковника.

— Ничего не пойму. Откуда это палят? Ведь с этой стороны стоят наши, апшеронцы. Эй, Горохов, ко-ня! — приказал он вестовому.

Несколько казаков на карьере подскакали к палатке, и полковник при свете огня узнал в одном из всадников есаула Ткаченко.

— Где полковник Зимин? Где начальник группы? — не узнавая среди метавшихся в полутьме людей полковника, спрашивал есаул.

— Я здесь, Прокофий Иванович. Что случилось? — хватаясь за стремя есаульского коня, закричал Зимин.

— Измена! Все погибло. Апшеронцы и ширванцы перешли к красным,—хрипло произнес Ткаченко.—Наши сотни попали под пулеметы. Кавалерия красных атакует пластунов.

— Что такое? Что вы мелете, есаул? — бледнея от негодования и ужаса, прикрикнул на него полковник.

— Какое там «мелете»! Все пропало! — грубо оборвал его Ткаченко.—Бежать надо, Александр Никанорович. Казаков и артиллерию подобрау уводить. Разве не видите, что творится?—и он, еле сдерживая плясавшего под ним коня, указал рукой вдале.

Пр степи рвались гранаты, били пулеметы, носились кони, мчались всадники. Неумолчно грохотали пушки, прорывая вспышками огня туманную пелену. Вдруг совсем рядом выросли фигуры бегущих с винтовками наперевес людей.

Полковник вздрогнул и кинулся вперед, но вынырнувший из тумана красноармеец со всего бега всадил в него штык. Зимин тошатнулся, охнул и свалился наземь рядом с Бочаровым, которому пуля пробила висок.

Утро разгоралось все ярче. Вот брызнуло молодое солнце, и суровая степь окрасилась в празднично-розовый цвет.

Еще гремели пушки, кое-где били пулеметы, но бой уже затихал. По степи мчались одиночные всадники, на горизонте, вздымая пыль, уходили расстроенные, разбитые казачьи сотни, а по их следам неслась красная конница, преследуя по пятам остатки еще недавно грозного астраханского отряда полковника Зимины.

Одиннадцать полевых орудий, двадцать пулеметов, весь обоз противника и свыше семисот пленных (не считая перешедших во время боя двух пехотных полков) были трофеями этого боевого дня.

Угроза, нависшая над Астраханью с юга, отпала.

★ ★ ★

## МИРОНЫЧ

Сегодня с утра настроение у всех бодрое. Победа над Басами и, главное, категорический отказ Мироныча выполнить приказ Троцкого окрылили защитников Астрахани.

Все возмущены безобразным отношением к нам Троцкого. Мы просили помощи, оружия и денег, а вместо этого получили приказ: «Ввиду бесцельности сопротивления эвакуировать Астрахань!»

Рабочие организации, металлисты, судоремонтные, нефтяные и портовые мастерские, водники, рабочие бывших заводов Нобеля выносят резолюции не оставлять города.

Сергей Миронович за эти несколько часов стал для нас еще ближе и родней. Тысячи людей почувствовали в нем непосредственного защитника их крова, семей и города.

Только что пришла телеграмма об отзыве Кирова из 11-й армии в Реввоенсовет 9-й. Подпись — Троцкий. Черт знает что такое! Возбуждение вновь охватывает всех. Стихийно возникают, растут и множатся митинги протеста. Особенно замечательна резолюция водников устья и дельты Волги. В ней рабочие и моряки требуют: «Не мешать Астрахани, во главе с товарищем Кировым защищать на Каспии советскую власть». Командование и политотдел военной Волжско-Каспийской флотилии послали В. И. Ленину в Реввоенсовет республики радиограмму: «Считаем отзыв товарища Кирова и политику эвакуации Астрахани близорукостью, граничащей с предательством. Оборона Астрахани возможна, но только лишь в том случае, если здесь останется Киров. Без Кирова фронт падет...»

По городу опять поползли контрреволюционные сплетни и слухи. Притаившаяся по углам белогвардейщина вновь подняла голову, злорадствуя почти открыто.

Вечером, 6 июля, закончив дела, спешу в зимний театр, где на пленуме горсовета выступает Киров. Послушать его доклад стремится каждый. Где бы ни выступал Сергей Миронович, помещение всегда оказывается малым, не хватает мест, люди заполняют скамьи, стоят в проходах, жмутся вдоль стен, забивают фойе и коридоры, сидят на приступочках, в оркестре — словом, везде.

Говорит Киров легко, образно, красиво и, самое главное, просто. Его выражения точны, речь пронизана юмором. Рассказывая о самых тяжелых и безотрадних картинах нашей жизни, о голоде, блокаде, тифозной вши и прочем, он умеет так кстати и так неожиданно вставить крылатое сравнение, что аудитория, забывшая о мрачной обстановке в городе, неудержимо хохочет, повторяя острое кировское словцо.

Особенно хороша его улыбка. Иногда, сделав среди речи паузу, он вдруг лукаво улыбнется, еле заметно, чуть-чуть, но так, что его жизнерадостная сияющая улыбка мгновенно заражает всех. Лица слушателей светлеют, а Мироныч уже серьезен, уже продолжает речь.

В зале пестреют полосатые тельняшки матросов, много рабочих, много женщин, но в основном — армейцы. Серые шинели, зеленые гимнастерки, обмотки, ватные безрукавки. Все это шует, движется, рассаживается по местам.

На сцене стол, покрытый красным сукном, стулья и дальше, к простенку, две длинные скамьи.

Шум и гомон заполняют театр. Все хотят знать, что будет с Астраханью, что скажет Киров, что ответит на телеграмму Владимир Ильич.

Когда Сергей Миронович вышел к рампе и, вскинув голову, взглянул вперед, замерли все. Секунду, другую длилось молчание.

— Товарищи, — громким, раздавшимся по всему театру голосом начал Киров, — мы переживаем тяжелый момент. Наше сегодняшнее заседание открывается в тяжелой обстановке... Но вы знаете, товарищи, что советская власть ничего не скрывает и не намерена скрывать от вас самой горькой правды.

Смотрю по сторонам. Сотни внимательно слушающих людей. Лица их напряжены, глаза суровы.

— Наша Астрахань объявлена на военно-осадном положе-

нии,— продолжает он.— Вы знаете, что пал Царицын... на другом фронте пал Харьков. Белогвардейские банды захватили Балашов. Они двигаются дальше, и это движение пока имеет определенный успех.

Киров говорит о тяжелых испытаниях, выпавших на долю молодой республики. Открыто, правдиво и смело он сообщает о положении на фронтах, о том, как героически бьется наша разутая и раздетая Красная Армия против многочисленных, прекрасных вооруженных Антантой белогвардейских банд Деникина, Юденича и Колчака.

— Но советская власть все равно опять восторжествует и не даст белобандитам возможности терзать пролетарское государство,— уверенно заявляет он.

Гром аплодисментов прерывает его горячую, взволнованную речь.

Переждав, оратор переходит к положению в районе Астрахани. Много трудностей стоит перед нами впереди, но астраханские большевики, опирающиеся в своей борьбе на рабочих и крестьян, все осилят и переборют.

— Не бойтесь, не впадайте в панику, не поддавайтесь провокации, товарищи,— подходя к самой рампе, говорит Киров. Лицо его горит, глаза вдохновенно блестят; он делает рукой энергичный жест и, весь перегнувшись вперед, бросает в зал:— Астрахань не сдадим!

Голос его звенит и рвется. Люди вскакивают с мест. Буря криков и аплодисментов пронесется по театру. Вижу, как в волнении дрожат губы старика рабочего, стоящего рядом со мной.

— Да здравствует коммунизм! Да здравствует мировая революция! Да здравствует Ленин! Владимир Ильич Ленин!— поднимая над головой руки, восклицает Мироныч.

И весь зал восторженно повторяет его слова:

— Да здравствует Владимир Ильич Ленин!

— Как бы ни старался издыхающий буржуазный мир воспрепятствовать нам в наших завоеваниях, какие бы преграды ни ставил, какие бы ужасные бури ни ожидали нас на нашем пути, наш корабль пройдет через все препятствия,— заканчивает речь Сергей Миронович.

Дымят трубы заводов, город принял свой прежний вид. Напряжение на фронтах ослабло. В выходной рабочие идут на субботник. В половине первого выстраиваемся у Реввоенсовета, настроение праздничное. Блестят трубы оркестра, временами «генерал»-бас, продувая широченную глотку своей трубы, рывкает густой, тяжелой октавой — и все смеются, острят. Много женщин; некоторые выглядят довольно забавно в ватных, крас-

ноармейских безрукавках, деревянных босоножках и пышных шляпах с перьями. Это сотрудницы отдела местного Совета, артистки, клубные работницы. Из-за угла выезжает телега, доверху нагруженная кирками, лопатами, ломami. Тяжелые мотки веревок лежат на них.

Толпа оживляется.

— Держись, мировая буржуазия, сейчас начнем наступать,— острят в щеренгах.

Телега с грохотом проходит дальше. Вдалеке, в голове колонны, слышен зычный голос коменданта штаба армии, кубанца Савина:

— Напр-ав-во!

Машинистки и артисты, путаясь в команде, сбиваются в кучу. Местная знаменитость, актер Шошин, певец и мелодекламатор, огромный детина с кудлатой головой, поворачивается «налево кругом», вызывая смешки вокруг.

Оркестр играет солдатский марш, и мы двигаемся вперед, стараясь не наступать на пятки впереди идущим.

Вступаем на огромную территорию завода «Мазут». Здесь еще недавно над полуторатысячным коллективом рабочих безраздельно властвовали меньшевики. Это тот самый «Мазут», на котором заводской комитет предъявил требование Кирову и ревкому: дайте каждому рабочему и каждому едоку из семьи по полтора фунта хлеба и по фунту мяса в день, тогда приступим к работе. Иначе — забастовка.

Так было два месяца назад, а сейчас те же самые рабочие радостно встречают нас. Паек все тот же: полфунта зерно-песочного, не каждый день выдаваемого хлеба, но в завкоме теперь ни одного меньшевика. Новый, большевистский комитет выбран на заводе после того, как Сергей Миронович приехал на митинг, созданный спровоцированными рабочими.

— А где теперь ваш старый комитет? — спрашиваю я механика, разводящего наши группы по местам.

Он усмехается краешком губ:

— В бане... второй месяц на полке парятся.

Мы подходим к огромной куче металлического лома. Здесь погнутые, охваченные ржавчиной балки, изъеденные временем ободья стальных колес, полувросшие в землю части механизмов, стружки и железный мусор, бак, остатки мотора, груды всяческих отбросов — словом, кладбище железного и стальногохлама, могильный холм.

В стороне группа работников штаба, вооруженная ломami и топорами, с грохотом раскалывает и валит по частям деревянный забор. Он пойдет в печи завода.

Так идет работа наших предприятий — на опилках, досках и ничего: трубы дымят, станки работают, колеса бегут, приводные ремни вертятся, в цехах настойчиво трудятся на революцию, на победу тысячи усталых, голодных рабочих, объединенных партийной организацией Астрахани и армейскими коммунистами во главе с Кировым.

Притаившиеся враги очень хорошо знают огромную революционно-творческую, организаторскую силу этого коренастого, жизнерадостного, с чуть ироническими глазами большевика. Недаром в письмах-анонимках они грозят ему убийством из-за угла адской машиной, ножом, бомбой.

Кирова радуют эти письма.

— Когда Бебеля ругала и поносила в газетах буржуазия, он был доволен и говорил себе: «Значит, ты правильно поступаешь, старик, если твои враги ругают тебя. Худо было бы для рабочего класса, если бы они хвалили тебя». Мудрые слова! Примем их к руководству и повторим за Бебелем: значит, астраханские большевики правильно ведут линию советской власти и всего рабочего класса!

Работаем уже два часа. Носим тяжести, ковыряем проклятую железную гору, но она не только не уменьшается, но, кажется, даже ширится и растет. Изредка гремит оркестр, вспыхивают песни. Поем излюбленные всеми «Красное знамя» и «Смело, товарищи, в ногу».

Забор, над которым трудились штабные работники, давно свален, и штабисты вместе со своим военкомом, присоединившись к нам, измазались не хуже нас в ржавчине и пыли. Ноют плечи, руки наливаются свинцом.

Люди, как муравьи, суетятся, носят, тащат, шумят и расходятся, чтобы снова носить и продолжать работу. Это — субботник, удивительная форма нового трудового содружества свободных объединенных людей. Всем тяжело — это видно по покрасневшим, напряженным лицам, но тем не менее им радостно и весело. Иногда крикнешь и согнешься под тяжестью обода или рельса, но почему-то хочется петь, на сердце легко, и ты, обтирая рукавом пот, на лету подхватываешь слова песни, которую поют рядом твои, так же возбужденные, так же уставшие, соседи.

Раза два сталкиваюсь с Сергеем Мироновичем. Как и мы, он таскает балки и прочий хлам.

На Кирове короткая, облезшая на плечах кожанка и новая коричневая кепка, повернутая к затылку козырьком.

— Десять минут отдыха, — поднимая вверх лопату, закричал Савин, но работавшие поодаль люди не слышали его. Тогда Са-

вин взял из кучки железного хлама обломок подковы и гулко забил ею по висевшему на столбе рельсу.

Все остановились.

— Десять минут отдыха. Перекур, песни и танцы,— закричал Савин.

Киров снял с головы кепку и сказал:

— Вовремя отдых,— и, оглядев всю большую дворовую площадь, добавил: — Молодцы, смотрите, как хорошо поработали мы.

Стоявшие возле него Богословский, Квиркелия, Шатыров и ингуш Налъгиев тоже довольными взглядами обвели двор. Да, он был неузнаваем.

Народ сходился к тому месту, где был Сергей Миронович. Кое-кто закурил, девушка в красном кумачовом платке запела какую-то песенку, двое рабочих поддерживали ее. Я не знал этой песни,— по-видимому, это была местная, астраханская. И вдруг веселый, разбитной, ставший для всех нас давно знакомым и близким мотив «яблочка» покрыл и слова, и мелодию астраханской песни. От ворот, играя на гармошке и приплясывая на ходу, шел матрос, на его бескозырке вились, змеились ленты, сам он был крепок, белозуб, радостен. За ним следовали еще двое в тельняшках и широченных клеш-штанах.

Отдыхавшие смолкли, а матросы все так же озорно пели, скаля зубы и подмигивая смотревшим на них людям.

Бог разгневался на нас  
И взлетел на небо,  
Нынче стали выдавать  
Четверть фунта хлеба...—

притопывая, шел матрос, а его гармошка звенела и разливалась вокруг.

«Четверть фунта хлеба!»— басовито вторили другие двое.

Киров посмотрел на матроса и до того молодо и весело рассмехался, что игравший перестал подтанцовывать и, тоже расплывшись в улыбку, смотрел на него.

— Что, моряк, отощал на четвертушке? — спросил Киров.— А ведь ешь, наверное, целых две, вон какие щеки нагулял,— показывая на розовое лицо матроса, продолжал Сергей Миронович.

Все засмеялись, но матрос не смутился:

— Это я, товарищ Киров, первый стишок для контры пел, а вот второй, правильный, для агитации.

Он передернул плечами, пробежал всеми пальцами по кла-

вишам и высоким голосом запел так, что его слышали даже те, кто стоял вдалеке:

Летп, боженька, от нас  
На свое на небо —  
Отвоюем мы Кавказ,  
Будет много хлеба!

Он так звонко и весело закончил свой куплет, что слова «будет много хлеба» прозвенели над толпой.

— Вот это правильно, товарищ, разобьем Деникина, закончим гражданскую войну, начнем все работать, хо-ро-шо будет,— мечтательно и вместе с тем твердо сказал Киров.— Хорошо всем людям будет. И хлеба, и счастья, и радости заслужили! — еще уверенней закончил он.

Десятиминутный отдых промелькнул незаметно, и все снова принялись за дело.

Трудимся еще часа полтора. Наконец в дальнем углу двора горнист играет отбой.

Мы бросаем работу и под команду Савина становимся в ряды. Из дальних концов заводского двора сбегаются отставшие. Снова гул голосов, короткие возгласы, движение, и под звуки оркестра, грянувшего «Как ныне собирается вещей Олег», мы шагаем по улицам Астрахани.

Над городом снова английские самолеты, а с ними два деникинских аэроплана. По машинам бьют пулеметы, установленные на колокольнях и крышах пятиэтажных домов. Грохочут вздернутые хоботами кверху пушки, стреляющие из подрывных под ними окопчиков. С Волги и со стороны дельты бахают матросские батареи. Гром и гул стоят над Астраханью, а в воздухе кружат пять серо-стальных птиц, швыряющих бомбы на улицы и площади. Задрав головы, смотрят на них тысячи больше удивленно-любопытных, чем напуганных горожан. Два самолета резко пикируют и, проносясь над домами, поливают улицы горячим свинцом.

В воздухе, в стороне от самолетов, встают белые облачка шрапнелей. Мы видим, как наши полевые пушки с трудом бьют на какие-нибудь четыреста—шестьсот метров в высоту. Каждому кажется, что ни один снаряд не летит мимо вражеских самолетов и что сейчас, вот в эту секунду, охваченные пламенем, в дыму и огне, ринутся они вниз.

— Под хвост... под хвост наддало, аж дым пошел! — приседая от восторга, кричит рядом со мной человек в картузе.

— Падает... падает,— замирая, восторженно говорит Бого-



словский. Его шея вытянута, глаза сияют, фуражка сбита набок.

— И впрямь валится,— неуверенно шепчет Еремин, всего минуту назад крывший нещадно артиллеристов за «журавли» и недолеты.

Английский самолет перевернулся в последний раз и вдруг, выровнявшись, пронесится над крышами, тарахтя пулеметом.

— А-а-ах! Обманул! — вырывается у всех. Горькая досада охватывает нас. Англичанин решил покуражиться, поиздеваться над нами. Он поднимается вверх и сноза делает какие-то фортели, падая и переворачиваясь через крыло. Но теперь уж мы не верим ему.

Гул и грохот пальбы висят над нами. Вдруг из-за эллинга над Волгой взмывают два самолета. Они быстро набирают высоту и делают над городом разворот.

Две большие пятиконечные звезды алеют на каждом из них. И конструкции они иной, нежели реющие над нами интервенты. За плоскими коробками желтоватого цвета тянется долго не тающий дымный хвост.

— Наши! Наши гидропланы! Ур-ра! — кричат люди.

Противник заметил гидроплавы. Самолеты стали сближаться.

Один из наших летчиков вдруг стремительно пошел прямо в лоб на противника. Другой, зайдя с хвоста, атаковал одинокого «англичанина». Над нами прогрехотали две короткие и одна долгая очереди пулемета. «Дехэвиленд» вдруг резко нырнул, дернулся носом и, охваченный огнем, штопором пошел вниз.

— Ур-ра! Ура-а-а! — кричим мы, хлопая в ладоши.

В воздухе еще грохочут пулеметы. Внизу ревут пушки. Вражеские самолеты, сбившись в неровное звено, отстреливаясь, уходят к югу отседающего на них гидроплана. Второй самолет, треща мотором, пересекает Волгу, стремясь перерезать врагу путь. Двухмоторные английские аэропланы скрываются в дымно-пепельных облаках.

Спустя несколько минут оба гидроплана появляются над нами. Их алые звезды совсем низко висят над домами. Нам даже кажется, что мы видим мужественные, гордые лица летчиков.

Улицы стонут от криков и восторженных аплодисментов горожан. Только хладнокровный Еремин спокойно говорит:

— Ты знаешь, почему за ними в воздухе остается черный след, а за «англичанами» его нету? — И сам же отвечает: — Белогвардейцы летают на чистом авиационном бензине, а наши ребята — на автосмеси. — И, срывая с головы шапку, кричит: — Ур-ра-а-а! Герои!

Вечером идем в клуб совпартшколы. Раньше здесь была женская гимназия, в которой еще недавно «благородные девицы» вальсировали с офицерами и гимназистами, а теперь в этом зале под звуки гармошек и балалаечного оркестра пляшут красноармейцы, моряки, слободские девушки с форпоста, бывшие прислуги, крестьянки. По воскресеньям здесь идут спектакли. На стене — большой плакат с тщательно намалеванными на нем буквами:

**Сегодня**

**«РЕВОЛЮЦИОННАЯ СВАДЬБА»**

*Мелодрама в 4 частях из времен Великой французской революции. Постановка режиссера Г. И. ВОЛКОВА (ассистент БЕЦКИЙ). При участии актеров Гостеатра. Главную роль командира яacobинского отряда исполняет*

*Г. И. Волков.*

**В массовых сценах участвуют  
любители-астраханцы.**

**Начало в 8 часов.**

Вход хорошо освещен. У плаката — толпа подростков, заглядывающих внутрь помещения. Двое моряков с открытой татуированной грудью переговариваются с громко хохочущими девушками. Сизый махорочный дым вьется над головами. Несколько красноармейцев, боясь опоздать к началу, быстрым шагом обгоняют нас. Мальчишки пробуют зайцами проникнуть в зал. Увы, не вышло. Билетерша захлопывает за нами дверь.

Режиссер Волков играет роль командира отряда яacobинцев. Он как угорелый носится по сцене, попеременно размахивая то шпагой, то мятым фригийским колпаком, притом он мощно ревет. Зрителям нравится.

— Чисто бык. У нас в деревне один бугай был, ну до чего похоже — тот так же ревел, — одобрительно поясняет мой сосед, пожилой рабочий.

Ему нравится неистовая энергия яacobинца, ведущего свой отряд в атаку на дворян.

— Дасть вин им чесу, мало не будет, — комментирует он, не сводя глаз со сцены, на которой внезапно появляется маркиза Жосселина, предмет неразделенной любви яacobинца. Белый напудренный парик маркизы, ее широченный кринолин и жеманные позы производят впечатление на зал.

— Монашка, что ли? — вполголоса спрашивает рабочий.

А на сцене бурно развивается действие. Смятые атакой яacobинских солдат, дворяне бегут, оставляя убитых. Где-то за де-

корациями продолжается пальба, а на сцене, у самой рампы, всклокоченный Волков в ярком гриме и коротких, с позументами штанах, складывая на груди руки крестом, умоляет маркизу полюбить его.

— Да що же вин таке робить? — толкая меня плечом, удивленно говорит сосед. — Его братья-товарищи с белыми бандюками сражаются, кровь свою льют, а вин за грахвыней гоняется. Не иначе як сам из князей, собачья кровь! — определяет он и сердито глядя на Волкова, в десятый раз повторяющего: «Люблю! Люблю! Люблю!»

Маркиза закатывает глаза и в истоме падает в объятия якобинца. По залу пробегает одобрительный смешок, возгласы, шутки. Всем нравится победа якобинца над маркизой, и только один рабочий ворчит:

— Годи, дурню, годи! Вона ще задасть тобі горя.

В боковой двери зала появляется Богословский. Вытягивая шею, он внимательно разглядывает зал. Лицо его сосредоточенно и важно. Вид торжественно-деловой. То, что делается на сцене, не интересует его. Он замечает меня и быстро машет руками, указывая на дверь. Я приподнимаюсь. Он утвердительно кивает головой и, не обращая внимания на играющих актеров, довольно громко говорит:

— Живей! Живей! Срочное дело!

Ступая по ногам недовольных, потревоженных зрителей, выбираюсь из зала и выхожу в фойе.

— В Реввоенсовет. Киров срочно вызывает, — сообщает он.

Мы сбегает вниз, мимо билетерши и все еще не потерявших надежду проскочить в зал мальчишек.

В кабинете Кирова светло. Горит висячая люстра. Стол ярко освещен сильной электрической лампой под большим зеленым колпаком. На стенах — карты России и Астраханской губернии. Под стеклом — план города. На окне — глобус. Три стула, большой кожаный диван, кресло, другое. Портрет Владимира Ильича. На полу — мягкий выцветший ковер. На столе — телефоны, чернильница, ручки, карандаши, папка с делами. Большой косяной разрезной нож лежит сбоку. В углу два стеклянных шкафа, видны переплеты книг.

Самойлов вводит меня и закрывает за нами дверь.

— Здравствуйте, земляк, — говорит Киров, придвигает пепельницу и раскрытую коробку папирос «Зефир». — Чаю хотите? Свежего, крепкого, настоящего морковного, без сахара, но зато с карамелькой, — улыбаясь предлагает он.

— Я отказываюсь.

— Ну, тогда поговорим о деле. Вы—человек военный, и долго нам говорить не придется. Вам, конечно, известно, победа складывается из ряда факторов. Их много: здесь и экономика, и политика, вооружение, снабжение, подготовка войск, агитация и прочее подобное, но одним из основных условий была и остается разведка. Такая разведка, которая, словно прожектором, осветила бы фронт и тыл врага. Войсковая разведка нами ведется сравнительно неплохо, пленные и перебежчики дают кое-что, но всего этого мало. Нам нужна глубокая зафронтовая разведка с сетью надежных людей из рабочих и крестьян. Нужно связать наши зафронтовые революционные группы. В тылу Деникина много всяких отрядов, которые называются и зелеными, и розовыми, есть дезертирские ватаги, есть всякий элемент. Есть там много недовольных белым режимом людей, есть, наконец, наши пленные красноармейцы, молодежь, сочувствующая советской власти,— все это в умелых и крепких руках умного разведчика может быть исключительно ценным источником информации. Скоро Красная Армия по всему фронту пойдет наступать. Пойдем и мы. Для будущих боев лучшей помощью будет точная и быстрая информация о тыле белых. Реввоенсовет, обсудив этот вопрос, решил послать в тыл белых опытных и надежных людей. В их числе, мне кажется, должны быть и вы, но предупреждаю, что задача эта весьма нелегкая, опасная. Поэтому не будет ничего предосудительного, если, обдумав предложение, вы откажетесь от него. Повторяю: вести разведку на территории врага — это не просто рисковать собою, это значит, в случае неумелого или неосторожного шага, погубить вместе с собою и дело, и наших людей. Здесь храбрости мало, тут требуется еще очень и очень много ума.

Я делаю движение, но Киров спокойным жестом останавливает меня:

— Не спешите. Идите домой, обдумайте, хорошенько все взвесьте... потом ложитесь спать. Утречком, на свежую голову, еще раз обдумайте это предложение, а уж потом приходите сюда и скажите ваше решение.— Он через стол протягивает мне свою крепкую, широкую руку. Пожимаю ее и медленно иду домой.

Я сидел в своем агитпропе, усиленно споря с зашедшей ко мне Костроминой, временно замещавшей начальника политотдела армии. «Неистовая Феня» — так за глаза называли Костромину восхищенные ее неумной энергией политотдельцы.

Феня и сейчас метала громы и молнии, обрушивая их и на

меня, и на ее заместителя Земского, и на начальника инструкторского отдела Нажмутдина Самурского, и еще на кого-то другого. Чем мы все провинились, я толком не разобрал, но, когда Костромина смолкла, я спокойно сказал:

— Если аппарат работает плохо — виновато начальство. Отпусти нас в дивизии или в полки, а с новыми поставь работу лучше.

Феня поглядела на меня как-то безразлично и вяло. Она устала от долгого напряжения и беспрерывной речи. И в ответ Феня только вяло покачала головой.

— Воины! Храбрые! — с грустной иронией протянула Костромина. — На фронт... подумаешь, удивил. Да на фронте в три раза легче и спокойнее, чем здесь. Там одно дело — войной, а здесь дел тысячи и фронт за каждым углом. Нет, вы тут работайте как нужно, а фронт... — Она не успела договорить. В дверь заглянул Самойлов, Митя Самойлов, милый, добрый молодой человек, секретарь Кирова.

— Мугуев, я ишу тебя уже час. Сейчас же к Миронычу, и вы тоже, — крикнул он Костроминной, исчезая за дверью.

Я посмотрел на нее и рассмеялся.

— Смеешься, черт. И выбранный вас как следует не удастся, — улыбаясь сказала Феня, и мы пошли на второй этаж, где был Реввоенсовет и кабинет Кирова.

В приемной сидели несколько человек. Кое-кого я знал, как, например, Абрамова, Ефремова, Ковалева, командира 33-й стрелковой дивизии Левандовского, начальника политотдела 34-й дивизии Тронина. Самойлов, что-то вполголоса говоря Левандовскому, открыв дверь, пропустил нас в кабинет.

За большим столом сидел Киров, справа от него, лицом к окну, стоял член Реввоенсовета Механюшин. Комиссар штаба армии Квиркелия, рослый, красивый грузин с умным лицом и доброжелательными глазами, стоял у карты, висевшей на стене. Рядом стоял черненький, невысокого роста человек. Другой, плотный, с красным, обветренным лицом, водя указкой по карте, говорил:

— Вот тут наша «Туркменка» на траверзе Дербента взяла курс строго на северо-северо-восток и пошла в сторону от суши. Здесь, как сами знаете, товарищи, эти самые, — он насмешливо протянул, — «крейсера» Доброволии ходят, хоть и бывшие наливные да грузовые суда, но переоборудованы здорово. На некоторых 4,5-дюймовые и даже 6-дюймовые «Канэ» поставлены. Есть и надводная броневая обшивка, — словом, подались мы далеко в сторону.

— И хорошо сделали, — коротко вставил Киров, быстрым

взглядом окинув нас. Он жестом показал на свободные стулья, продолжая слушать говорившего.

Из доклада моряка, по-видимому капитана «Туркменки», я понял, что из Баку, минуя опасные места встречи с белогвардейскими пиратскими судами, прибыла «Туркменка», большое парусное судно с керосиновым двигателем, с небольшим трюмом. Отчаянные люди, все время рискуя жизнью, доставляли нам из Баку необходимый, стоивший дороже золота бензин. Иногда на таких судах прибывали и видные партийные работники, а также «смертники», которых удавалось вырвать из лап деникинской контрразведки или мусаватистской тюрьмы.

Нередко утлые суденышки не доходили до Астрахани. Много бед подстерегало их на огромных просторах Каспия. Шторм, «крейсера» неприятеля, гидросамолеты с бомбовой нагрузкой, внезапная порча мотора — и тогда долгое голодное прозябание на водной глади моря. То ли выбросит на берег, где хозяйничают белые, то ли отнесет к желтым пескам Красноводска или к мертвому заливу Кара-Богаз-Гол.

Моряк хрипловатым баском рассказывает о том, как их отнесило к форту Александровскому, о том, как они еле-еле ушли от не заметившего их в утреннем тумане белогвардейского вооруженного парохода «Князь Пожарский».

Все молча слушают его, не сводя глаз с указки, то и дело передвигающейся по карте.

Три, видимо, очень усталых, но совершенно спокойных человека сидят на диване у окна. Все трое или армяне или турки. Они сидят молча, неподвижно, не глядя ни на кого. Чувствуется, что они устали, а непривычная многосуточная качка на утлом суденышке доконала их.

Моряк, наконец, умолк. Невысокий брюнет, стоявший с ним рядом, оказался крупным партийным работником, едущим из Баку с докладом к Ленину. Киров поздравил меня.

— Вот что, товарищ Мугуев. Вам, — тут он повернулся к Костроминой, — придется расстаться с агитпропом, вообще с парком.

Феня сделала жест рукой, но Киров продолжал:

— Мы хотим использовать вас на другой, более подходящей работе. Решение Реввоенсовета об этом уже есть, так что, Феня, подыскивайте себе другого завагитпропа. О том, что будете делать, скажу после, а сейчас возьмите вот этих товарищей, — он указал на устало выглядевших людей. — Это старые большевики, а вот этот, — тут он положил руку на плечо одного из них, — член партии с шятого года, политкаторжанин Бабаев Аббас.

Человек с сединой на висках тихо улыбнулся, услыша свою фамилию.

— Заберите их к себе. Надо их накормить, одеть, дать им отдохнуть, а потом я поговорю с вами. Но это еще не все. Сейчас у нас в Астрахани наберется человек шестьдесят кавказцев, среди которых много осетин, дагестанцев, ингушей, чеченцев. Есть и два-три балкарца. Я знаю вашу любовь к Кавказу, и сам люблю эти народы. Так вот, соберите этих товарищей возле себя, подкормите, оденьте по мере сил, беседуйте с ними... Будьте им не только начальником-коммунистом, но, так сказать, большевистским муллой, шейхом. Чтобы они не только слушались вас, но и уважали, почитали, как старшего. Понимаете, как старшего в роде, хотя все они гораздо старше вас летами. Понимаете, чего хочу я?

— Понимаю, Сергей Мироныч, и постараюсь это сделать.

— Сделайте,— просто закончил Киров,— в недалеком будущем они очень и очень будут нам нужны.

Мы вышли в приемную, где Самойлов передал мне уже готовый приказ начальнику снабжения штаба армии — принять на довольствие и снаряжение 28 человек.

— Вот поименный список,— сказал он.

— Да где же их размещу? — взмолился я.

— Все сделано. Они уже размещены на Индийской улице.

Утром я, как обычно, зашел в политотдел армии, но на моем месте сидел худощавый, пожилой человек в очках.

— Николаев,— коротко отрекомендовался он,— а вас я знаю, слушал ваши доклады в совпартшколе.

«Неистовая Феня» махнула рукой в мою сторону и, даже не глядя, протянула:

— Добился своего...— По ее лицу понял, что она не верит тому, что я не только не просил Кирова взять меня из политотдела, но до сих пор даже не знаю, на какую работу отозван.

Шатыров, секретарь Реввоенсовета, держа в руках сводку, говорит, покачивая головой:

— Прут, подлецы, без удержу. Наступают по всему фронту, а банды Мамонтова прорвались... к Тамбову. Эх, вот если б у нас сейчас было еще две-три дивизии пехоты да один конный корпус, мы б отсюда с тыла и фланга так хватили бы по всему белому тылу, что казачишки вмиг покатились бы обратно.

Я смотрю сводку... да, идут и идут. «На Москву... на белокаменную. Но не дойдут. Не может банда оголтелой реакции победить революцию. Чем дальше идут они вперед, тем скорей их крах...» — думаю я и вдруг вспоминаю: ведь это же слова Кирова, это он только позавчера сказал на партячейке. Я отдаю Ша-

тырову сводку и молча иду к Самойлову. Митя передал мне список моих кавказцев.

— Они уже осведомлены о тебе. Собери их для беседы, познакомься лично с каждым, а через несколько дней доложи о каждом, — он подчеркивает, — подробно, основательно Мирончу.

— Это что, кандидаты на переброску в тыл белых?

Самойлов утвердительно кивает головой.

— Наступает момент перелома. Белые дошли до своей кульминации. Все, что имели, бросили в это разрекламированное наступление на Москву. Если мы выстоим — им конец. Надо только удержаться, — убежденно говорит он.

Я вспоминаю свои мысли, только что возникшие при чтении сводки.

— Это слова Кирова? — говорю я.

— Это слова Ленина, а Миронч лишь повторил и расширил его мысли, — коротко отвечает Митя.

— Наша Астрахань еще внесет свой вклад в дело общей победы!..

Я молча гляжу на Самойлова. Он понимает меня, и на его некрасивом, но таком милом и умном лице вижу такое же волнение и гордость.

Бывший есаул одного из казачьих полков Астраханского войска Водопьянов назначен командиром отдельной конной бригады, к которой на довольствие и в случае боевой тревоги для «исполнения службы» приписаны мои 28 кавказцев.

Водопьянов — рослый, крепко сбитый человек, лет тридцати. Он провоевал всю мировую войну где-то на Западном фронте. Видел бездарных командиров, постоянные боевые неудачи, обилие дворянско-немецких офицеров, почему-то командовавших астраханскими казаками. Наконец, знал о всей свистопляске с царицей, Распутиным и, самое для него оскорбительное, об измене Мясоедова и военного министра Сухомлинова. Все это сделал из него, боевого офицера, врага старой России.

— Ты пойми, — говорит он, — казачишки мои — народ простой, добрый, верят в царя, а их продают. И кто? Министры и все те, кто снюхались с немцами. Я все ломал голову, да что это стало с русским солдатом, отчего он отступает? Сам же в боях видел, как дерутся. А потом понял. Два снаряда на орудие, одна лента на пулемет. Иди, серая скотинка, в штыки... на «уру»! И шли, и погибали. На Стоходе за два часа на моих глазах пять тысяч мужиков в шинелях солдатских от газа погибли. Видишь ли, у нас противогазов против горчичного газа не было. У всех



были... даже итальянцы и те позаботились о них, а в царской империи ни ума, ни денег на это не хватило. Подлецы! Ух, и возненавидел я их тогда!.. У меня георгиевский темляк на шашке был, так я снял и носить после этого, со стыда и срама, перестал.

Узнав, что я бывший офицер, тоже казак, но только Терского войска, Водопьянов приходит в восторг.

— Казачки, значит, оба... Вот здорово! Ну, это, брат, надо отметить. Иначе свинья я буду, если не выпьем! — бормочет он и лезет под кровать.

Спустя минуту он вытягивает оттуда немецкую фляжку, отвинчивает пробку.

— Германская... После конной атаки под Ченстоховом взял... так с собой ее и вожу: Предмет первой необходимости. — Он нюхает горлышко фляжки и умильно говорит: — А-ро-мат!

Затем наливает мне и себе по полстакана какой-то желтовато-мутной жидкости.

Странный запах, отдаленно напоминающий сивуху, перемешанную с неочищенным бензином, проносится в воздухе.

— Что это? — спрашиваю его.

— Автоконьяк. До шустовского далеко, но... — и он с наслаждением нюхает стакан, — для войны — восхитительно! Твое здоровье, казачина-односум.

Водопьянов обнимает меня, мы чокаемся, и я залпом выпиваю «автоконьяк».

Горло обжигает с такой силой, что я, задыхаясь от кашля, со слезящимися глазами, раскрыв рот, глотаю воздух. Вонь неочищенного бензина и третьесортной сивухи заполнила меня всего.

— От и здорово, а еще казак!.. Да что, браток, как девка, закашлялся. Это ж коньяк первый сорт... жаль — весь, — и он с сокрушением переворачивает вверх дном флягу. — Теперь не скоро достану. Ведь я это берег на случай ранения. Если в грудь ранит — сыпь туда перцу и... лучше всякого бальзама. Да хватит, вот раскашлялся. На, запей водой, — советует он.

С наслаждением выпиваю целый жбан холодной воды. Кашель проходит, дышать становится легче, и я скорей прощаюсь с гостеприимным хозяином.

— Будь здоров. А насчет своих людей не беспокойся. Что нам, то и им. А в случае боя беру с собой. Кавказцы, я знаю, народ горячий, храбрый. И рубить, и стрелять, и на коне в атаку ходить умеют.

Он дружески провожает меня до ворот казармы, в которой расположена его бригада.

— Читали вы «Двенадцать» Блока? — спросил меня Киров, спросил неожиданно и как раз в тот момент, когда разговор шел о необходимости усилить агитационную работу в частях Астраханского гарнизона.

— Нет... а что это... хорошо?

— Великолепно. Я не большой денитель стихов, но, конечно, люблю Лермонтова, Пушкина, Некрасова... Люблю и Тютчева, и Фета, и даже Надсона люблю, не говоря уже об Алексее Константиновиче Толстом. В стихах, помимо ясной мысли и художественных образов, есть чистый, подлинно народный русский язык, а вот у ваших, — он как-то особенно насмешливо протянул, — возлюбленных Бальмонта и Северянина все как-то неестественно и вычурно, как не бывает в жизни... Я не против этих поэтов, но есть лучше, например Брюсов или Блок. Вот вы читали стихотворение Блока «На железной дороге» или «Новая Америка»? Потом и у Скитальца тоже можно кое-чему поучиться. Ну, а чему научишься у вашего Северянина или у заумных виршеплетов?

Вечером я, как обычно в четверг, пришел в литературный кружок, организованный при нашей армейской газете «Красный воин». Было тут человек 25—30 начинающих поэтов, прозаиков, очеркистов. В большинстве красноармейцы, политработники и моряки с судов Волжско-Каспийской флотилии. Руководили занятиями местный поэт Анчаров, любивший без меры и без усталости декламировать Бодлера, и застрявший в Астрахани петроградский профессор Майстрах.

Кружок посещался вяло. Матросы скучали, и в их сочных зевках тонул деревянный голос лектора.

Неожиданно в комнату вошел Киров. Он поздоровался и молча сел позади всех. Профессора еще не было, не было и любителя Бодлера, поэта Анчарова. Беседа, как всегда, завязалась сама собой. Киров спросил о том, как идут дела кружка, чему уже научились кружковцы и довольны ли они педагогом.

— Да как сказать, товарищ Киров, так, из пустого в порожнее переливаем, — угрюмо сказал кто-то.

— А почему так? — хитро улыбнулся Сергей Миронович.

— С ними, гляди, как бы и то, что знаем, не позабыли, — сказал инструктор политотдела.

Из вопросов и реплик Кирова было понятно, что он отлично знаком с тем, что представлял собой наш кружок. Побеседовав еще минут пять, он сказал:

— Вот что, товарищи, вы сами знаете, какое тревожное и серьезное время переживаем. Благ у ворот Астрахани. По всей стране идет жестокая гражданская война, и если мы, даже в

эти тяжелые дни, находим время и возможность учить рабочий класс и красноармейцев литературе, значит, литература — это большое и нужное для революции дело. И пятнать его вот таким гастролерам, как это шут-профессор, мы не позволим. Литература, газетная статья и очерк — это острое оружие. Споры нет, и Бодлер, и Северянин — неплохие поэты, но сейчас нам нужны не они, а Пушкин, Лермонтов, Некрасов... Нужны такие писатели, как Брюсов, Демьян Бедный и Блок, нужны Верхари, Джеки Лондон и Джон Рид. Словом, те, кто учит людей не только форме, но и сути жизни. Кто поднимает миллионные массы на борьбу, кто дает толчок мозгам.

В этот вечер я впервые услышал поэму «Двенадцать» Блока, которую прочел на занятии наш новый руководитель и лектор, доцент литературы Томашевский.

Когда кружковцы расходились, Киров задержал меня:

— Ну как... Обдумали мое предложение? — спросил он.

— Да.

— Зайдите завтра в Реввоенсовет часов около одиннадцати ко мне.

На следующий день в назначенный час прихожу в Реввоенсовет. В кабинете сидят Киров и комиссар снабжения армии Ковалев. Киров кивает головой и, молча указав рукой на стул, продолжает разговор с Ковалевым.

— Александр Пантелеймонович, — с укоризной говорит он, — неужели во всей Астрахани вы не найдете ниток?

— Нет, Сергей Мироныч. Перевернули вверх дном базы, раскопали бывшие портняжные мастерские, дважды сам ездил к морякам.

— А частников-портных спрашивали?

— Конечно. Ну, набрали угрозами да лаской, в обмен на сахар и карамель, мотков шестьдесят да катушек штук, наверное, сто — и баста. А ведь нам нужно в двадцать, в тридцать раз больше.

— Забавное дело, — поворачиваясь ко мне, говорит Киров, — все есть для того, чтобы сшить бойцам одежду; и сукно, и бязь, и хаки, а вот ниток, простых ниток — нету. — Он качает головой и, пристально глядя в окно, задумчиво добавляет: — Да не может же этого быть, товарищи, чтобы нельзя было одеть бойцов.

— А что же делать, Сергей Мироныч? — упавшим голосом спросил Ковалев.

— Вот и думай, что делать. Ты, Александр Пантелеймоныч, в старой армии был?

— А как же! Протрубил прапорщиком больше года, — не понимая, зачем его спрашивают, отвечает Ковалев.

— Значит, знаешь, что такое для солдата шинелька да теплые штаны.

— А как же! Первое дело, без них как без рук.

— Ну вот, что же меня спрашиваешь, что делать? Подумай, пошевели мозгами — и найдешь ниток.

— Да я, Сергей Мироныч, прежде чем до вас идти, десять раз голову ломал, целую ночь думал... Ни-че-го! — разводя руками, сокрушается Ковалев.

— Все же подумай еще! Ниток нет, так?

— Так, Сергей Мироныч, — печально отвечает Ковалев.

— А шить надо?

— Нужно, Сергей Мироныч.

— В таком случае следует найти заменители.

— Какие?

— Любые, лишь бы они заменили нитки. Ну, подумай, что у нас есть подобного на складах?

Ковалев поднимает голову, задумывается, почесывает лоб и неопределенно мычит «гм-м», пожимая плечами.

Киров кивает на него головой и шутливо произносит:

— Алхимик!

Ковалев напряженно думает. Я, чтобы не мешать беседе, беру свежий номер «Красного воина» и читаю сводку о боевых действиях на фронтах.

— Ну, давай вместе подумаем, — подписав какую-то бумагу и откладывая ручку, говорит Киров. — Что у тебя есть подходящего в хозяйстве?

— Да кажется, что ничего такого и нет, — перебирая в памяти имущество своих складов, говорит Ковалев. — Есть бязь, серые солдатские папахи, ботинки армейские, ремни, под сумки. — Киров, кивая головой, внимательно слушает его. — Ватные брюки, этих немного, — с хозяйской точностью продолжает снаб, — обмоток пудов до сорока...

— Чего, чего? — перебивает Киров.

— Обмоток. Вот таких, — поднимая ногу и показывая обмотку, говорит Ковалев.

— А ну, снимай ее, — приказывает вдруг Киров.

Ковалев медленно, сначала с недоумением снимает обмотку, глядя на Сергея Мироновича, и, вдруг, просияв, радостно смеется, восторженно глядя на Кирова.

— Ну-с, сейчас проверим, — надрезая край обмотки и начиная разматывать ее, говорит Киров.

Не дожидаясь конца этого эксперимента, Ковалев быстро сбрасывает вторую обмотку.

— Ну, чем не нитки? Говори, пойдет на шитье, пригодит-

ся?— держа на длинной толстой нитке болтающуюся обмотку и продолжая распускать ее, спросил Киров.

— Так точно, Сергей Мироныч,—по-солдатски кричит обрадованный начснаб,—пойдет, нитка что надо! Теперь нашьем всего,—и он бросается к двери.

— Постой, постой! Значит, нашьем?

— Нашьем! — уверенно отвечает Ковалев.

— А обмоток хватит? Не оставишь армию без них?

— Хватит. Этого добра и на то и на другое найдется. И как это мне самому в голову не пришло? — хлопая себя по лбу, бормочет Ковалев.

— Один ум хорошо, а два лучше — говорит старая русская пословица. А теперь, товарищ Ковалев, доложите мне, когда будет пошито нужное обмундирование?

— Сегодня начнем шить, товарищ Киров, через двенадцать дней кончим,—вытягиваясь в струнку, докладывает Ковалев.

— Ну, тогда иди, действуй, Александр Пантелеймонович,—делая в блокноте отметку о сроке, отпускает его Киров.

Мы остаемся одни.

— Сергей Миронович, я все обдумал.

Его лицо меняется. Оно сосредоточенно, глаза внимательно смотрят на меня.

— Я все продумал, взвесил и готов в дорогу.

Киров улыбается:

— Уже и «в дорогу», горячая голова. Вы пойдете, но не сейчас и не завтра, а мы с вами еще поработаем, потрудимся и подумаем, как сделать это с наименьшим риском и с наибольшей пользой для нас. С сегодняшнего дня займемся подготовкой к зафронтовой работе, дело это нелегкое.— Он роется в столе, достает небольшую черную клеенчатую тетрадь и, передавая мне, говорит:—Возьмите, почитайте ее, выучите наизусть все, что написано на страницах четвертой и одиннадцатой. Это заповеди разведчика, и вы их должны знать, как «Отче наш».— Он смеется и спрашивает: — А вы еще помните эту молитву?

— Помню, Сергей Миронович.

— Ну так идите домой и прилежно изучайте. Теперь ежедневно, до вашего ухода, мы будем заниматься этой работой.

Уже пятые сутки под руководством Кирова я изучаю маршруты, адреса, явки, клички, имена людей, которых нужно будет найти и использовать в работе по ту сторону фронта. Задача нелегкая еще и потому, что нельзя иметь с собой ни одного бумажного клочка, ни одной записи. Все надо крепко хранить в голове.

— Для разведчика основное — воля, хладнокровие и па-

мать,—говорит Сергей Миронович.—Не теряйтесь ни при каких обстоятельствах. Надо работать так, чтобы ни один ваш жест, ни одно движение не показались подозрительными окружающим. Говорите мало, старайтесь избегать общественных мест, не подлаживайтесь под говор и привычки мало знакомой вам среды. Вы — военный, интеллигент, таким именно и будьте в тылу врага. Не доверяйте никому, не рискуйте напрасно. Нами отправлены еще товарищи в разные места, делайте только то, что задано вам, но прислушивайтесь ко всему, суммируйте виденное и слышанное, отбрасывая лишнее, даже если оно и очень приятно вашему сердцу. Не делайте ни одной записи, все храните в голове.

Долгие годы, проведенные в подполье, в борьбе с царской охранкой, слежки, аресты, суды сделали из Кирова прекрасного конспиратора и подпольщика. Он не только учит меня правилам этого ремесла, но каждое положение иллюстрирует фактами, рассказами о том, как он и ряд других товарищей боролись с царизмом.

— Больше всего бойтесь выпивки и всяких соблазнов. Для разведчика это яд. Корреспонденции, конечно, я от вас никакой не жду, но на всякий случай давайте подберем шифр такой, каким будем пользоваться вдвоем — я и вы. Это на тот случай, если вам удастся с надежным человеком прислать весточку о себе. Однако и в ней не называйте имен и адресов.

А теперь почитайте на досуге вот эти книги — это записки Череп-Спиридовича, Рачковского и Манусевича-Мануйлова. Эти авторы хоть и жандармы, но в их мемуарах можно найти кое-что полезное и для нашего подпольщика. Дело в том, что контрразведка белых ничем не отличается от царской охраны: те же методы, та же жандармская сволочь, те же продажные люди. И вам очень важно познакомиться с методами и приемами, которыми и ныне пользуются они. Подготавливайте, тренируйте себя в смысле моральном и волевом к отъезду. Почаще представляйте себе, что вы уже на территории белых, в их тылу. А теперь идите, отдыхайте, побольше спите, чтобы нервная система была в порядке.— Сергей Миронович треплет меня по плечу и вдруг напоминает: — Да, между прочим, вам из снабжения принесут десятка два банок мясных консервов, сахару и белых сухарей, так вы уж, голубчик, подзаправьтесь на дорогу.— Он отворачивается к столу, делая вид, будто ищет какую-то очень нужную бумагу.

Три дня я, по совету Кирова, провел верстах в пятнадцати от Астрахани, в Началове, большом, разбросанном среди садов и виноградников селе.

— Наше село издревле именуется Черепахой, а Началово— это только по книжкам значится,—пояснил мне хозяин дома, пожилой астраханский казак.— Отдыхайте у нас, товарищ, как знаете,—гостеприимно закончил он.

Его дом, вернее, две комнаты с окнами в сад были на все лето сняты Реввоенсоветом для товарищей, прибывающих из Баку на туркменских лодках.

Сейчас комнаты пустовали, и Киров, посылая меня сюда, еще раз сказал:

— Отдохнете дня три перед походом. Сон, покой, одиночество и раздумье укрепят нервы и дадут вам возможность детально обдумать вашу жизнь в тылу белых.

Я отдохнул, обдумал и спустя три дня вернулся в Астрахань.

Поздно ночью пришел домой на Казанскую улицу. Город был погружен в ночной мрак, только кое-где тускло горели фонари да отсвечивали неровным блеском мокрые панели улиц. Я шел через мост. Скользкие перила были облиты мягким светом луны.

Красноармейский патруль остановил меня. Это удивило меня. До сих пор ни разу здесь не было охраны моста. Проверив документы, старший сказал:

— И чего бродишь середь ночи, спал бы ты, дорогой товарищ... Са-а-мое время,—зевая, он отдал мне пропуск.

— Охоч ты до сна, каждую минуту, ровно сурок, готов спать,—засмеялся другой.

Пока мы разговаривали, на мост въехала линейка, копыта лошади застучали по настилу.

— Эге, еще кого-то бог несет,—оживился патрульный.— А ну, стой, покажь пропуск,—выходя на середину моста, крикнул он.

Линейка остановилась. Сидевший возле кучера человек протянул руку с пропуском.

— Подсаживайтесь,—услышал я знакомый голос Кирова,—или вы тоже караул на мосту несете?

Рядом с ним сидел молчаливый Шатыров.

— Проезжай, Сергей Мироныч... доброго пути,—зачем-то снимая фуражку, сказал старший.

— Вам доброй ночи, товарищи. Хорошо несете караул,—ответил он.

Я сел рядом с Кировым, и линейка покатила дальше.

— Не ходите один по ночам. Не так уж спокойно,—тихо сказал Сергей Миронович, когда мы входили в холодный подъезд нашего дома.

Дежурная принесла кипящий чайник. Шатыров нарезал ломтиками серый хлеб, я достал из ящика сахар, жена Соколова принесла и молча положила на стол тарелку с воблой и двумя круто сваренными яйцами. Вошел Соколов и долго о чем-то вполголоса беседовал с Кировым.

«Пышный ужин» ответственных работников Реввоенсовета и губисполкома был готов, но Киров и Соколов все еще говорили в дальнем углу комнаты. Наконец они встали.

— Утром я буду у тебя в губисполкоме ровно... ровно,— задумавшись, сказал Киров,— ровно в десять часов двадцать минут. Будь добр, чтобы все было уже готово. И обращение к жителям, и представители рабочих, и, главное, сами члены губисполкома. От них зависит дальнейшее. Если они сами уяснят, что означает для нас эта история, тогда и все члены партии, и все честные рабочие, и беспартийные астраханские товарищи поймут, что настал самый критический момент в обороне города.

Позже я узнал, что под словом «история» Киров подразумевал следующее.

— Снят с работы Атарбеков,— сообщил Шатыров.

— Георгий? Предчека? — удивленно спросил я.

— Он самый. Чаша терпения переполнилась до краев. Мина Аристов с ведома Реввоенсовета и по указанию из центра арестовал его.

— Та-ак,— раздумчиво произнес я,— значит, все, что говорили о его беззакониях, правда?

— К сожалению, да. Нами приняты меры предосторожности. Завтра в газете «Красный воин» прочтешь о снятии Атарбекова. На его место временно назначен Торжинский, а Атарбекова высылает в Москву.

Теперь мне стало понятно и появление патрулей ЧОНа на Демидовской улице, и посты возле Губернаторского сада, и охрана моста возле Казанского собора.

Слушая Шатырова, я глянул в угол, где вполголоса все еще беседовали Соколов и Киров. Лицо Сергея Мироновича было спокойно, но впавшие глаза, морщины под ними говорили о бессонных ночах и огромном напряжении ума и воли этого неурядного человека.

«А ведь ему всего тридцать три года»,— подумал я, с нежностью глядя на Кирова. Какая энергия, сила характера, целеустремленность, безграничная вера в революцию и партию у этого, по существу еще очень молодого, человека, на плечи которого в тяжелые для Астрахани дни возложено так много сложных и ответственных задач.



Шатыров, словно угадывая мои мысли, тихо сказал:

— И эта история с Атарбековым в часы, когда Киров напрягает все свои силы, когда рабочие Астрахани отдают за революцию жизни, а их дети — последний кусок хлеба!

Киров и Соколов закончили беседу, и мы, просидев за скромным ужином около часа, разошлись по комнатам.

— Значит, завтра в путь? — спросил перед уходом Киров.

— В десять часов идет грузовик до Яндык, а там... — я махнул рукой.

— Ни пера ни пуха, — и он крепко пожимает мне руку.

Так прошел этот важный для Астрахани и для нашей будущей работы день.

Утром я зашел в политотдел армии, находившийся на Демидовской улице, в первом этаже бывшего Окружного суда, во втором располагался Реввоенсовет.

У Земского сидел Лазьян, редактор нашей армейской газеты. На столе лежал свежий номер «Красного воина». Я развернул его и прочел:

«...Приказ по войскам и Флоту РВС Южной группы. Действующая армия.

Атарбеков освобождается от занимаемой им должности. Пред ЧК временно назначен К. С. Торжинский».

Через час я уже ехал в Яндыки.

Астрахань осталась позади. Ее уже нет, как, впрочем, нет и Мугуева, начальника агитотдела поарма. Вместо него на божий свет появился сын дворянина Кирилл Владимирович Дигорский из Тифлиса, двадцати шести лет от роду, холост, вероисповедания православного, со средним образованием, росту выше среднего, шатен, глаза карие. Особых примет нет.

На руках у меня и метрика о рождении в 1893 году в городе Тифлисе у дворянина Владимира Петровича Дигорского сына, коего при «святом крещении нарекли Кириллом». Печати, подписи священника Богословской церкви, дьякона, кума и кумы. Есть и аттестат о сдаче экзаменов экстерном при первой мужской гимназии за восемь классов. Словом, с этой стороны все в порядке. Паспорт свой знаю назубок, город Тифлис мне хорошо знаком.

Думая, что я уезжаю в Москву, товарищи надавали мне поручений, но все поручения, собственно говоря, заключались в одном: «непременно повидать товарища Ленина, послушать его речи и по приезде обратно в Астрахань, точно рассказать о них...»

★ ★ ★

## ЗА КОРДОНОМ

Ночую в селе Яндыки, куда приехал под вечер. Здесь контрольный пункт разведывательного отдела штаба армии. Дальше идут пески, степь, унылые солончаки, по которым, теряясь и пропадая, вьется дорога на Эркетень, заброшенный калмыцкий улус. По этим мрачным пескам в пургу и метель, под вой и свист ветра, шла в январе 1919 года на Астрахань 11-я Кавказская армия. Под этими песками лежат тысячи людей, валившихся, как сухая трава, от тифа, голода и мороза. Падавшие не поднимались. Обессиленные, они замерзали в снегу, коченея под ударами налетавшего с моря ледяного ветра. А сзади тянулись последние, преследуемые белыми, редкие цепи бойцов, конные группы и одиночки, отбиваясь от наседавших деникинцев. Метель, тиф, голод и пули белых превратили весь их долгий путь в кладбище, на котором и поныне вдруг блеснут объединенные волками человеческие кости или покажется колесо брошенной тачанки.

Через сутки, холодным вечером, мы покидали Яндыки. Вместе со мной ехали начальник контрольного пункта Плеханов, провожавший меня до наших позиций, и проводник Матюша Гришин, веселый, жизнерадостный человек из рыболовецкого поселка Оля. Матюша не новичок в нашем деле. С его помощью через фронт перешло немало товарищей, посланных Реввоенсоветом. Провожает он меня до приморского селения Бирюзьяк, в котором стоят белогвардейская пехотная рота, три военных катера с деникинскими матросами, две пушки и полторы сотни терских казаков. У Матюши в Бирюзьяке замужняя сестра, тетка и полсела родичей и «шабров», как говорит он. Его очень интересует вопрос, приехала ли к начальнику гарнизона в селе Бирюзьяк, мичману Чихетову, из Петровска его жена.

— Она в месяц раз, когда и два, к нему приезжает. Ты ж понимаешь, товарищ, что одно дело, ежели мичмана барыня в Бирюзьяке, тогда нам идти пустое дело. Раз плюнуть и растереть, потому что его благородие от нее никуды не уходит, сидит ровно приклеенный, все на нее глядит и любитесь. А вот когда мадама задержится или вовсе не едет, тогда беда. Мичман ходит злой, всех матюкает: то нехорошо да это не так, водку хлещет, как бык воду, а сам не пьян. Вот тогда он со злости и давай другим гайки винтить, по постам, другим селам да караулам мотаться, службу со всех требовать. В Лагани и Бирюзьяке все это знают.

До Алабуги едем старым казенным трактом, по которому когда-то ходили с возами чумаки, скакала, звеня бубенцами, поч-

та да рыскали голодные волки. Сейчас здесь кончаются наши передовые посты. Дальше идет ничья, не занятая никем земля, за которой начинается территория неприятеля. Иногда нам попадаются конные разъезды 37-го кавалерийского полка, фуры и обозные двуколки, медленно ползущие к Яндыкам. Видим вросшие в землю красноармейские землянки.

Не доезжая до них, мы с Матюшей сходим с линейки, жмем руку начальнику контрольного пункта и сворачиваем в пески. Темнота, ветер. Линейки уже не видно, и только чуть-чуть мерцают слабые огни землянок.

Я убыстряю шаг, стараясь не отставать от идущего впереди Гришина.

— Держи на зуд,— говорит он и поясняет: — К морю держаться ближе надо. Здесь ничего, а вот ближе к Бирюзяку, там белые посты да разъезды бывают, а ежели к морю, так там никого. Опять же, там столько ериков да яров нарыто, то не токмо мы, а целый полк пройти может.

Мы долго идем в темноте. Песок часто осыпается под ногами. Иногда я падаю или проваливаюсь в него, тогда Матюша добродушно смеется, помогая мне подняться, и вежливо говорит:

— Оно это и с нами бывает. Разве по этим проклятым пескам, да еще в такую темень, возможно идти!

Однако он не только ни разу сам не упал, но даже и не оступился. Мы идем, а ночь все сильнее и гуще окутывает степь. Становится холодно. Ветер пробирается за воротник моего романовского полушубка.

— Еще левей надоть,— задирая вверх голову, говорит проводник,— во-он она; большая звезда, гляди, куды светит... Посидим, что ли? — предлагает Матюша и садится на захрустевший под ним песок.

Сажусь рядом с ним. Мучительно хочется спать. Утомление и какая-то сладкая истома охватывает меня.

— Жена моя теперь небось третий сон видит, а я с тобой по степу блукаю,— сквозь сон слышу слова Гришина и его сочное позевывание.— Э-э, да ты, никак, спишь? — уже с удивлением спрашивает он и, толкая меня в бок, говорит: — Не спи, не спи. Вот придем в Бирюзяк, заведу к сестре в хату, она спрячет тебя в подпол, ну, ты там и спи себе, отсыпайся, а тут, брат, в степу надо как заяц — одна уха на плече, а другая настороже, один глаз дремлет, а другой внимлет. То-то! Ну, идем, а то скоро и развидняться начнет, тогда в ерик придется сховаться, целый день в нем на пузе лежать.

Мы встаем и снова идем по звонкому, шуршащему, осыпаясь песку.

Серое, туманное утро застает нас в глухой балке, или, как здесь называют, в ерике. Я смотрю на часы — двадцать минут шестого. Сырая, тяжелая мгла висит над песками. С моря ползет густой туман, в котором тонут очертания песчаных гряд, холмов, обрывистых дюн.

— Скоро развидняет. Вон туман верхом пошел, давай ховаться в ерик, — предлагает проводник.

Мгла редет. Туман, клубясь, тянется ввысь, и горизонт понемногу отодвигается все дальше. Мы забираемся в ерик и ложимся на песок. Только сейчас я понимаю, как мне хочется спать. Веки тяжелеют и слипаются. Я свертываюсь калачиком подле Матюши и засыпаю.

Просыпаюсь около одиннадцати часов. Матюша еще спит. Рядом с ним лежит «козья ножка» и медная зажигалка. Повидимому, и мой проводник так же быстро заснул, как и я. Полежав минут пять, я подползаю к вершине холма и гляжу вокруг. Девственная, изрытая ветрами песчаная степь. До самого горизонта ни души. Справа, слева, отовсюду — пески и чахлый коричневый кустарник, горький саксаул, колючки которого с удовольствием ест верблюд. Определяю по компасу направление на море, на Бирюзьяк. Солнца нет, оно прячется за мутной, свинцовой мглой. Хочется есть. Я сползаю вниз и бужу Гришина. Он приподнимается и с удовольствием рассказывает мне свой сон.

— А я сейчас дома был. Жена меня оладьями угощала, — потягиваясь, рассказывает он и тоже лезет на холм. — Это мы вроде промазали, лишку вбок дали, — говорит Матюша. — Верстов шашнадцать в сторону махнули. Тут невдали Горькая Балка, хуторок такой есть, так вот мы к нему ночью и подались, а нам бы правой братъ. Вот какая дела, стало быть, сами себя наказали, — с досадой говорит проводник.

— Да ты откуда это знаешь? Разве по этим пескам что-нибудь поймешь?

— А как же! По знакомым пескам легко идти, все равно как в городе. Это они тебе скрозь одинаковые кажутся, а они, браток, разные. Вот гляди: куда эта грядка верхом глядит, ну? — спрашивает он, показывая рукой на песчаный холм.

— А черт его знает куда!

— Нет, не черт, а ты должен знать. Ветер на ней с донских степей идет, а вот как с моря ветряк вдарит, так эта самая грядка разом повернется, а которые послабше, так и вовсе посыплются. Или вот, гляди: есть тут что живое? — он показывает рукой на пески.

— Как будто нет. Я да ты, вот и все.

— Нет, не все. А вон суслик в нору сховался, один нос торчит да глаза блестят. На нас дивуется. Они, сурки эти да суслики, дюже любопытные звери. Опять же, кроме их тут еще много чего есть. И ящерки, и змеи, и крысы песочные, и сайгаки, а то и волки бывают, да не видно их, людей чувят. Тут, браток, везде жизнь, только она для твоего глаза неприметна, потому как ты человек здесь новый, городской, а мы — ученые. Ежели в степи ничего не видно, зверья нету, значит, плохо дело... люди коло ходют... ховаться надо. Так и сейчас. Возле этих хуторов всегда белая банда бродит, который раз хожу в Бирюзьяк, так всегда на Горькой Балке денкинцы озоруют.

— Что же будем делать? — прерываю я «лекцию» степного следопыта.

— А спать. Вот консервы с хлебушком поедим, водицы попьем, да и снова спать, а на ночь опять вдарим по пескам, только теперь не заблужаемся, мимо хуторка да к чумаковой могиле и подадимся. А оттеля я хоть без глаз до Бирюзьяка доведу.

— Это что за чумакова могила? На карте такой нет, — говорю я.

— На карте, може, и нет, а на шляху есть. Это когда-то давно, еще за Николая Первого или за царя Александра, чумаки с Астрахани соль на Кубань везли. Ну, чи передрались, чи шо, одного и убили, да так середь песка и бросили, а сами пошли с возами дальше. Ну, прошли это они верстов, скажем, семь или там десять, как тот самый чумака их догоняет...

— Это какой же, убитый, что ли?

— Ну да, он. Догоняет их, значит, да, стерва, як сайгак, поперед всех бежит и одно орет: «Могилу... заховайте мене в могилу!»

— Позволь... ничего не пойму, так что ж он, живой, что ли, был? Не доби́ли они его, что ли?

— Зачем живой! Как есть мертвый... Всю башку ему начисто срубили.

— Так как же он мертвый бежал? Ерунду ты какую-то несешь.

— Не ерунду, а факт! — горячится Матюша. — Бежит попереду всех, в руках голову держит, а сам орет: «Могилу мене... в моги́лу мене заховайте!»

Я не могу удержаться и смеюсь.

— Чего ты ржешь? А то скажешь, не бывает такое? — сердится проводник. — Всякое бывает! — Он с недовольством смотрит на мое веселье и вдруг начинает смеяться сам: — Оно, может, и брехня это или, скажем, одно виденье. Но возвратились

чумаки обратно, вырыли яму, сколотили крест, да и похоронили убитого. С той поры так на том шляху и есть чумацкая могила.

— Ну, а он сам не бегает больше без головы?

Матюша ухмыляется:

— Не видать... дак оно что, не беда. Хужей будет, ежели мы там кого другого встренем. Тогда, гляди, самим как бы безголов не остаться.

Мы вскрываем жестяные банки с консервами и с удовольствием едим вкусное мясо. Запиваем водой из бутылки, которую хранит в кармане мой проводник. Матюша ложится на спину и долго с наслаждением курит самокрутку, потом, зевая, засыпает.

Я лежу на спине, слышу, как осыпается под ветром песок. Порою чудится какой-то свист, топот или тяжелые шаги. Кажется, будто все это близко-близко. Потом снова наступает тишина. И так через каждые пятнадцать—двадцать минут.

Часов около девяти вечера, подкрепленные сном и едой, мы уходим из гостеприимной балки. Вокруг опять мгла, сырость, пески и мрачная, быстро сгущающаяся темнота. Идем, не останавливаясь, несколько часов. Сегодня Гришин значительно осторожнее, чем вчера. Он всю дорогу молчит, долго прислушивается к шорохам и шумам степи, часто останавливается, заражая меня невольным страхом. Иногда он шепчет два-три слова и снова смолкает надолго. Вдруг Матюша хватает меня за рукав и быстро приседает. Мы валимся в черный песок. В черной мгле невдалеке от нас вспыхивает и меркнет огонек. По ветру тянет дымом, слышен лай собак и смутные, неясные голоса.

— Хутор... опять, матери твоей черт, вправо лишку взяли,— шепчет на ухо Матюша.— Айда за мной,— и он, сдерживая дыхание, ползет в сторону от мерцающего впереди огня. Минут через двадцать поднимается на ноги и говорит: — Чуток не врезалось. В хуторке белая банда посты держит.

Быстро уходим от балки и долго идем по пескам, окруженным молчанием и темнотой.

— Чумакова могила,— тихо говорит Гришин и тычет рукой куда-то в темноту.

Впереди ничего не видать. В этой тьме можно пройти мимо горы и даже не заметить ее. Матюша молча тянет меня куда-то за рукав, и через минуту, спотыкаясь о кучу сложенных камней и какой-то настил, я нащупываю деревянный крест, вделанный в плиту.

— Посидим чуток... передыхнем,— предлагает проводник.

Садимся на могильный камень и долго молчим. Тишина. Тем-

но, на небе ни одной звезды. Неожиданно вспоминаю «страшную» историю чумака, на могиле которого мы сидим.

— А что, как чумака твой из могилы сейчас ползет? — шепчу я.

Матюша вздрагивает, быстро встает с камня и сердито говорит:

— Не шуткуй над мертвыми. Зачем насмешку строишь?

Идем дальше. Он говорит:

— Чего ты на ночь такое молвишь? Оно, может, это все и балачки, одна бабья брехня, однако мне, браток, страшно стало. Я, знаешь, в бога ну вовсе не верю, а вот сатану да нечистую силу пока, прямо скажу, страшуся. Может, когда обучусь, — сам смеяться буду, а пока страшно, товарищ.

Десятки мерцающих огней поднимаются из мглы. Бирюзьяк... По воде, отделяющей песчаную косу от села, бежит колеблющаяся, чуть заметная рябь. Пахнет дымом и жильем. Глухо заливаются псы. Через узенький заливчик переброшен широкий мостик. Разбитая колесами черная ухабистая дорога подходит к нему.

— Теперь — тихо! Молчок! Ежели кто спросит — молчи. Один я говорить буду, — предупреждает Гришин.

Несколько минут в раздумье стоим: идти ли нам прямо к мосту или же перебраться к селу через неглубокий тинистый заливчик.

— Эх, была не была... решил. Идем сквозь воду, а то, не ровен час, казачня у моста караул держит, — решает проводник.

И мы, далеко обходя дорогу, сходим к воде.

— Не спеши, иди тихо, держись около меня. Как перейдем воду, считай — дома.

Осторожно идем по вязкому, тинистому дну заливчика. Я промок. Полушубок мой отяжелел. Сапоги полны холодной воды.

Вот показался берег. Темнеют разбросанные избы.

Держась черной, теневой стороны берега, выбираемся на широкую безлюдную улицу.

Походив минут пятнадцать, проводник приводит меня к избе, контуры которой еле вырисовываются в темноте.

— Ну, ты постой здесь... а я сейчас... — шепчет он и исчезает во тьме.

Ночь, тишина, мрак.

Над ухом раздается шепот Гришина:

— Идем, только тихо. У соседей третий день белые ночуют.

В темноте он нащупывает меня и осторожно тянет за собой.

Из Бирюзьяка ухажу через сутки. Матюша возвращается обратно в Яндыки, и меня сопровождает брат мужа его сестры, паренек лет семнадцати, Степка.

Сведения, имеющиеся в штабе о гарнизоне Бирюзьяка, не совсем точны. Здесь расположены две роты пехоты (а не одна) георгиевского полка, две сотни терских казаков и эскадрон чеченского полка, три (а не две) полевые пушки и четыре станковых пулемета из калмыцкого отряда князя Тундута. Четыре дня назад к Бирюзьяку подходили три вооруженных пушками «вспомогательных крейсера» (бывшие нефтеналивные суда)—«Нобель», «Скобелев», «Часовой». Они привели с собой два парохода—«Мария» и «Тайфун», груженных провиантом, боеприпасами и радиостанцией с персоналом. Разгрузка пароходов еще идет, сами же «крейсера» ушли к острову Чечень, где находится их база.

Сведения ценные. Несомненно, белые после разгрома под Басами хотят взять реванш и снова, на этот раз с юга, атаковать нас. Приход флотилии, усиление гарнизона Бирюзьяка и установка радиостанции—все это не даром. Надо своевременно уведомить об этом Кирова.

Гришин собирается в обратный путь. Я проверяю, хорошо ли он запомнил мое донесение в Реввоенсовет. Весело, не сбиваясь, он отвечает на все мои вопросы.

— Как «отчу наш» знаю,— хвастает Матюша.— Спервоначалу в Яндыках к Плеханову пойду, а потом, ежели нужно, то и в Астрахань, к Кирову, смоताюсь.

Перед его уходом я вылезаю из подпола. Хозяин, хозяйка, Степка, старуха Домна, Матюша—все по обычаю садятся кто куда: на сундук, кровать, табуретки, и только мне, как гостю, подвигают почетный единственный в доме венский стул. Минуты три мы молча сидим, потом Матюша встает, все поднимаются и, поворачиваясь к образам, быстро крестятся. Гришин еле заметно усмехается и толкает меня локтем в бок. Потом все шумно, по очереди, обнимают его. Прощаясь в сенцах со мной, он говорит:

— Возвернешься назад, заходи до меня. Белорыбицы поедим, самогону выпьем, погутарим,—и исчезает за дверью.

Снова лезу в подпол. Надо мною, слышу, кричит проснувшийся ребенок, старуха Домна молится вслух. Это она оберегает Матюшу в пути. Степка шумно укладывается спать. Потом все стихает. Время тянется долго и нудно.

Уходим мы со Степкой задолго до рассвета. Новый провод-



ник мал ростом, очень пуглив, притом неимоверный хвостун и враль. Его бахвальство порою смешит, а порою и злит меня.

— Я, товарищ дорогой, не гляди, что малый ростом, а я ух, даже какой сильный. Храбрей мене во всем Бирюзяке нету. Когда осерчаю, могу коня одною рукой удержать. А то раз подрались мы с ребятами. Их шашнадцать, а нас трое. Ну, мои два дружка было бежать... Я их срамлю: куда вы, сукины дети, стойте, мы их сейчас всех в воду покидаем. А встренулись мы с ними возле моста. Ну, мои хочь и сробели, однако стоят. Кинулись те на нас, а я, как впереди всех был, ра-аз это Махоткину по морде — он кувырк с каблуков да прямо в воду...

— Это кто ж такой Махоткин? — интересуюсь я.

— А Ванька, Степан Ильича Махоткина сын. У них дом с пехом посередь самой улочки стоит. Самый из их лютый, вроде атамана у всех парней стоит. Да-а! За им подбегает Тришка, Прохора Косого сын. Я ему ка-ак хрясь, а он ногами вверх — бултых в воду. Аж круги пошли. А за ним Федька Тупякинский, что отец в позапрошлом годе на тюлене утонул... Ну, я...

— ...хрясь ему, а он с копыт — раз в воду. Так, что ли? — перебиваю я его.

— Правильно. А ты откуда знаешь? — удивляется Степка, переставая отчаянно махать рукой.

— Врешь ты все, приятель.

— Не вру... вот смотри, и досе рука в мене пухлая от той драки, — показывает он мне свой довольно грязный кулак. — Шутки, что ли, двадцать пять человек одному в воду покидать, — убеждает он меня.

— Сколько, сколько? Двадцать пять? — переспрашиваю его.

— Ну да. Чуток до тридцати не хватило.

— Ох и брехун ты, Степка! Только что говорил — шестнадцать.

— А може, и шашнадцать. Что я, их считал, что ли? Мое дело было бить, а считать время не было, — находится он. — Да ты, ежели не веришь, дядю Прохора или мою мамку спрось, они тебе все обскажут. А что я брехун, то ведь я веселый, со мной не скучно. — И вдруг, дергая меня за руку, приседает, выпучив испуганно глаза.

Полусогнувшись, сидим за кустами облезшей вербы, густо раскинувшейся вдоль реки.

— Что такое? — спрашиваю проводника.

— Люди какие-то ходют. Видать, казаки нас шукуют, — побелев от страха, еле говорит Степка.

— Где? Ничего не вижу, — напрягая зрение и всматриваясь в серую даль, отвечаю я.

— Дак они ж тоже сховались. Ой, мамочки мои, что ж они с нами исделают! — шепчет Степка, втягивая в плечи скосившуюся набок голову.

Проходит минут пять. Затаив дыхание, мы лежим под кустами, напряженно вглядываясь вперед. Вдруг Степка поднимается на ноги и повеселевшим голосом говорит:

— Ты не бойсь... со мной ничего не бойсь, товарищ. То ж камни по буграм валяются.— Он храбро раздвигает ветки кустарника и смело шагает вперед.

До Черного Рынка, вернее, до Дальних Хуторов, куда ведет меня бесстрашный Степка, еще верст шестьдесят.

Держимся берега моря, потому что здесь сильно разросшийся кустарник, в котором легко спрятаться, а то и пересидеть день или два. Проходя ложбиной мимо островков Сабукина и Салтыкова, мы впервые за время пути заметили вдалеке тянувшийся по дороге обоз — три-четыре телеги, высокую молоканскую фуру и четырех всадников.

— Есть у тебя револьвер? — спрашивает меня Степка.

— Есть, а что?

— Давай нападём на них. Ты с револьверта бей, а я их голыми кулаками всех прикончу,— храбро предлагает он, залезая в кусты.

Когда обоз и конные исчезают за буграми, мы осторожно выбираемся из кустов и, держась берега, идем дальше.

Воображаю, какую фантастическую картину боя с казаками расскажет Степка, когда вернется обратно в Бирюзьяк.

К вечеру с моря подул пронизывающий ветер, и мой Степка начинает хныкать и жаловаться на то, что придется ночевать «в степу, да еще на таком ветряке».

— Я же непривычный в степу ночевать, ровно волк или собака...— с горечью говорит он.

Ничего не отвечая ему. Молча раздвигаю ветки, приминаю их к земле и ложусь в самую середину огромного куста. Потом достаю сухари, мясные консервы, сахар, и начинаем есть. Степка перестает хныкать.

Прижавшись друг к другу, мы засыпаем под свист разбушевавшейся моряны.

Идем дальше. Местность здесь уже совершенно другая. Пески почти совсем исчезли. Все чаще тянутся низкорослые кусты, кое-где образуя целые лески. Встречаются речонки и ручьи, бегущие к морю. Стали попадаться деревья. Низменность уступает место частым возвышенностям и холмам. Змеятся глубокие ов-

раги, по которым стремительно мчится вода. Чем ближе к Кизляру, тем чаще села, станицы, поселки и хутора.

До Черного Рынка осталось верст семь. Степка все же оказался хорошим проводником и ни разу не сбился с пути.

— Дак я же тут сто разов ходил. Мене завяжи глаза и кинь середь степу, я все равно домой раньше тебя приду,— говорит он, когда я хвалю его.

Мы огибаем Ловецкую косу, восточнее Таловского поселка, и спускаемся, хоронясь в сырой овраг. Ноги вязнут в густой, топкой жиже. Я начинаю задыхаться и уставать. Наконец овраг суживается, переходя в щель, которая сразу приводит к отвесному берегу какой-то речки. Над нами висят обрывистые глыбы земли, качаются кусты, и мы видим голубое небо.

— Посиди тут. За этими буграми Дальние Хутора,— говорит Степка и карабкается вверх по осыпающейся земле.

К вечеру, когда я уже потерял надежду увидеть моего забавного проводника, он появляется в сопровождении пожилого человека с приятным, чуть тронутым оспой лицом.

— Вот,— тыча в меня ладонью, говорит Степка,— завтра ведем даде.

Человек вежливо улыбается и, протягивая руку, говорит:

— Аким Скворцов. Люшня, по-здешнему.

Пожимаю ему руку. Он улыбается еще шире и помогает мне выбраться из сырого опостылевшего оврага.

Пока мы добираемся до хаты Акима, вечер уже совсем спускается над землей.

Аким Скворцов, большевик, «партийный в самом сердце», как говорит он о себе,—солдат бывшей царской армии, участник мировой войны. На Стрые он был ранен в руку и грудь и поэтому сейчас не попал в мобилизацию, которую объявил по Терско-Дагестанскому краю главноначальствующий генерал Эрдели.

Аким интересуется:

— Когда же наши возвернутся обратно? Все ждуть, ну, прямо скажу, ни одного рабочего человека или даже трудящегося казака нету, чтоб не мечтал о советской власти. Ну, ты посуди сам, мобилизации идут? Идут. Уже пять было, а теперь, слышно, шестую назначают. Реквизиции есть? Есть. Берут, что только завидуют. И муку, и пшено, и сало, и рыбу; кур, гусей—и тех, ироды, забирают. Я уж про худобу не говорю. Завидит казачня какого коня получше, цоп на конюшню—и забрали... и жаловаться не смей. Все равно ты же и виноват. Сам в ответе будешь.

Мы долго сидим за столом, на котором давно потух ночник. Я слушаю ровный, чуть картавящий говорок Акима и лишь изредка задаю ему вопросы.

Вдали перекликаются петухи, и Аким вдруг вспоминает, что надо спать. Он суетится. Для чего-то хочет будить свою жену и, очень недовольный тем, что я ложусь на пол рядом со Степкой, с укором говорит:

— Эх, я дурак, дурак! Вам бы, товарищ, отдохнуть, а я тары-бары-растабары. Ну, да уже звиняйте, соскучился я по советской власти, душа болит все знать... Вы уж не сердчайте,— и он заботливо подтыкает мне под голову большую, пахнущую потом, мягкую подушку.

«В Черном Рынке стоит батальон пехотного, вновь пополненного ширванского полка, две сотни кизляр-гребенского казачьего полка, батарея из четырех старых поршневых пушек и отряд государственной стражи в шестьдесят пять сабель при одном пулемете. Гарнизон командует полковник Горохов. В селе Таловском сотня стариков копейцев (из станицы Ново-Александровской, по-местному Копай). В самой станице расположены дивизион казаков, рота пехоты и два броневики.

Настроение у белых после разгрома под Басами подавленное, боеспособность невелика. На острове Чечень база гидросамолетов и деникинских военных судов. У пристани Рыбачьей, северо-восточней Копая, на берегу Каспийского моря построены землянки типа казарм человек на пятьсот. Саперная команда кое-где по дорогам чинит мосты. Из Петровска к Рыбачьей часто приходят военные суда, иногда конвоируя караваны барж. Разговоры о скором наступлении белыми ведутся, но в это не верит никто. Население и солдаты устали от войны, часть казаков, особенно молодежь, уклоняется от фронтовой службы. Много дезертиров, так называемых «зеленых» и камышан». Отряды их расположены под Кизляром и на многочисленных островках, густо заросших непроходимой стеной камыша. Такие же отряды имеются и под Святым Крестом, и под Прасковеей. В бурунах за Моздоком бродят группы казаков-дезертиров. Под Пятигорском, возле Машука и горы Змейки, прячутся «розовые».

Все это — разрозненные, слабо организованные и плохо вооруженные, но, во всяком случае, довольно внушительные по численности отряды; при нашем наступлении на Кавказ они сыграют значительную роль.

Завтра уйду в камыши под Кизляр. Оттуда—в дальнейший путь.

Я шифрую это донесение и отдаю Степке исчерченную цифрами бумагу.

— Как придешь в Бирюзьяк, распорядись, чтобы передали это в Яндыки, Плеханову. Да смотри, в случае чего уничтожь бумагу.

— Ска-зал! — пренебрежительно говорит Степка. — Я таких цидуль тыщу носил, не попадался, а это что... — Он берет шифровку и свертывает ее в тонкую трубочку. Затем садится на пол, снимает с себя штаны и ловко пропускает свернутую трубочкой бумагу в гашник<sup>5</sup>. — Видал? — торжествуя говорит он и медленно надевает штаны.

Вечером он уходит обратно в Бирюзьяк, а мы с Акимом на лодке плывем морем вдоль берега к Рыбачьей пристани, откуда, по словам Акима, легче всего попасть в камыши.

Погода благоприятствует нам. Тяжелая густая муть висит над морем. Волны звонко бьются о берег. Они шуршат по камням и всю ночь провожают нас своим бормотанием, похожим на сдавленный, приглушенный плач. Лодку сильно качает. Иногда она влезает на гребень седой волны, и тогда замирает, останавливается сердце, что-то подкатывает к горлу и мучительно тоскливо хочется суши, земли.

Раза два в тумане протяжно гудит сирена. Внезапно недалеко от нас встали из мглы и прошли мимо два светлых, огненных глаза. От них качнула большая, долго не стихавшая волна, затем во мглу и муть ушел, растаял красный луч — свет от фонаря, выставленного на корме.

— Кажется, военный—канонерка,— тихо говорит Аким, глядя вслед красному мерцающему огоньку. — Вы, товарищ, не бойтесь. В такую темень и мглу без прожекторов в море разве можно лодку увидеть,— говорит он, видя, что я не отвечаю на его слова.

Иногда по берегу встают огоньки рыбацких сел. Они дрожат, тухнут и снова маячат в ночной мгле.

К утру Аким выгребает к берегу и после недолгих поисков заводит лодку в один из бесчисленных заливчиков, изрезавших берега. Высокий густой камыш качается над нами и однотонно шуршит.

— Чистая бухта,— смеется Аким и втаскивает в камыши лодку.

Мы расстилаем войлок и располагаемся на ночлег.

Восток густо заалел. Свежеет. Над морем прошла розовая

---

<sup>5</sup> Складка в виде кармашка.

предутренняя дымка. Туман пополз по земле, обрываясь в клочья, мигая и теряясь в пути.

— Хо-о-роший будет нонче денек,— потягиваясь, говорит Аким. Он кладет возле себя весла и, сладко зевая, предлагает соснуть.

И следующая ночь проходит в лодке. Волны по-старому качают нас, по-прежнему поет море, и только небо иное. Оно усеяно тысячами мерцающих звезд. Иногда в необъятной выси сорвется звезда и летит через весь небосвод, оставляя за собой яркий след.

Часов около четырех утра подходим к Старой Заводи, ловецкому поселению. Теперь здесь живут всего три-четыре семьи. Остальные переселились в сторону Черного Рынка еще до мировой войны.

— Рыба отседа ушла. Ну как кто ее проклял,— говорит Аким.— Судак или вобла и те не водятся. Говорят, будто после землетрясения, что в двенадцатом годе было, тут из земли нефть шибко забила, всю воду испортила, рыбадохнуть стала. Не знаю, врут это или нет, однако рыбы здесь вовсе нету.

Мы сидим в просторной избе Акимова кума, Лиодора Лапкина, местного почтаря, обслуживающего от Таловской почтовой конторы три береговых поселка и несколько помещичьих экономий. Самого почтаря нет, он с ночи уехал в Таловку и днем будет развозить почту.

— Завтра к обеду беспрременно вернется,— говорит Маруся, жена Лиодора.

— К ночи мы уйдем. Это вот землемер новый,— указывая на меня, солидно врет Аким,— им нужно в Кизляр по экстренному делу. Так что мы уж у тебя, кума, недолго.

— Как знаете, а то бы заночевали,— предлагает хозяйка, смахивая ладонью со стола крошки хлеба. Подходя к очагу, она наливает нам прямо из котла черного крутого кипятку, в котором плавают набухшие листочки, обломки веточек и размокшие сучки.

Аким наливает в свою чашку из кринки молока, посыпает солью и перцем и бросает кусочек бараньего сала (от курдюка). Подвигая ко мне молоко, он с удовольствием говорит:

— Прямо к чаю поспели!

Спрессованные в твердую плитку степные травы — это калмыцкий чай. Говорят, такой напиток не лишен лечебного свойства. Я привык с детства к нему, поэтому вполне разделяю восторг моего проводника и долго и с аппетитом пью этот чай, с солью и перцем. Аким тяжело и удовлетворенно вздыхает, хлопает себя по животу и, стирая пот со лба, говорит:

— Добре накоштувала нас, кума, ишь курсак<sup>6</sup> какой стал чиждый. А что, есть в Заводи кто из начальства?

— Какое тут начальство! Здесь наш Лиодор над всеми панует,— смеется хозяйка.

Прощаясь с нами, Маруся тихонько говорит Аким:

— Ты, кум, копайскую дорогу да таловский шлях обойди. Возля Глубокого Брода казаки стоят. Около Карпушинской экономии солдаты, Лиодор сказывал, мосты по Таловке чинют.

— А на что? — храбрится Аким.— Мы с господином землемером люди честные. Нам бояться ни к чему.

— Ладно, ладно,— машет рукой хозяйка.— Тебе, Аким Егорыч, виднее, однако и через Попов Яр не ходи. Там теперь людям вроде как проверку делают. Потому в камыши многие убежали.

— Ну, спасибо,— Аким жмет ей руку.— Передавай Лиодору почтение. На обратном пути повидеюсь. Да смотри, кума, лодку мою береги, а то моя Дунька накладет нам обоим по загривку.

— Приходи целый, Аким Егорыч, а лодку твою поберегем,— говорит хозяйка и низко кланяется нам.

В сумерки мы уходим из Заводи. Аким сворачивает с дороги в заросли кустарника и камыша. Я следую за ним. Сучья царапают руки, хлещут по лицу, сухой камыш трещит под ногами и осыпает на нас свою желтую отцветшую гриву. Мы спускаемся в узкую низину, по которой идем до самого утра. Со всех сторон поднимаются высокие заросли боярышника и терна, перевитые чаканом и осокой. В них незаметно может пройти целая кавалькада.

День мы спим и отлеживаемся в кустах. Вечером снова идем, пересекаем дорогу Копай—Кизляр и часов около трех ночи выходим к старому руслу Терека. Отсюда недалеко до камышей.

— Теперь дома,— смеется Аким.

Но я замечаю, что он не совсем спокоен. Его состояние передается и мне. Треск сучьев, шорохи камыша, тяжелый всплеск рыбы затавливают нас вздрагивать, останавливаться и подолгу вслушиваться в черную ночь.

— Нарваться можно. Тут кадюки нашим, бывает, облавы делают. Как раз и угодим к ним в лапы,— шепчет Аким, всматриваясь в даль.

За овражком, в буреломе, раздается шум. Кто-то, раздвигая кусты и ломая сучья, проходит стороною от нас.

— Должно, лось или кабан. Тут их прорва. Раней заповедник был, а нонче не до него. Теперь на людей охотиться стали,—

<sup>6</sup> Живот (по-ногайски).

продолжает Аким.— Опять же, и на своих наскочишь. Стрельбу начнут, вишь ведь темень какая.

Несколько раз мы переходим болотистые, залитые тухлой водой канавы и овраги. Тина засасывает ноги. Камыши все гуще и выше. Они сплошной стеной стоят над нами. Надоедливо и неотвязно жужжат комары. Мелкая мошка забивается в нос и глаза. Мы все идем, ноги все чаще хлюпают по воде, сапоги промокли насквозь. Мне начинает казаться, будто Аким сбился с пути. При одной этой мысли становится жутко. В этой тьме среди сплошных болот и мгновенно за спиною смыкающегося камыша не найдешь обратно пути.

Наконец стена камыша редет, сквозь разбросанные кусты блестит река.

— Терек... Правильно шел, не сбился,— облегченно вздыхает Аким.— Я, товарищ милый, и сам спужался. Ну, думаю, зашел человека, и не выберемся отсюда.

Мы садимся у берега и отдыхаем. Иногда из-за облаков глянет луна, тогда Терек кажется ровной, накатанной сверкающей дорожкой.

— Что он, так узок? — спрашиваю я.

— Какой узок! Это ж его рукавок. А самый Терек подалей за островами. Тут их, островов этих, до черта, на них наши ребята и хоронятся от белых. Теперь уж недалеко. Вот отдохнем немного — и айда дальше. Поверх Бақыла тут переправа к Чеченам есть, ну а как выйдем к ней, так я как дома, прямо вас в камыши и представляю.

Часа через полтора мы наконец натыкаемся на заставу камышан.

Светает. Можно легко разглядеть суровые, измученные, изъеденные комарами лица окруживших нас людей. Одеты они и вооружены как попало. На заставе человек семь, остальные дежурят на соседнем острове.

— Там главные силы, а тут у нас разведка,— простуженно смеется рослый камышанин в солдатской шинели и серой армейской папаче. В руках у него винтовка, на поясе граната, через плечо, крест-накрест, пулеметные ленты, на груди красный, потемневший от времени и грязи бант. Парень распоряжается толково, энергично, умело.

— Фронтоник? — спрашиваю я.

— Три года на немецком фронте вшей в окопе давил да вот опять в камышах кормлю,— весело говорит он.— Табачку нет?

Он с наслаждением закуривает самокрутку, передавая ее остальным камышанам, жадно поглядывающим на табак.

— Обносились, оборвались, товарищ милый, во как, а ку-



рять, бывает, до того охота, аж уши скрипят,— говорит он и вдруг кричит: — Эй там, лодку давай... жива!

Из камышей соседнего островка медленно выползает лодка. В ней человек с винтовкой и веслом.

— Садись, товарищи, поедem,— предлагает солдат с бантом.

Мы плывем через камыши по тихой заводи. Тишина, и только жужжат комары.

Беспокойный Терек, часто меняющий свое русло, у Кизляра разливается на несколько рукавов, на заболоченные заводи, заполняя овраги и яры. Рядом с мощной рекой, широким потоком несущей свои воды в Каспий, образовались десятки озер, речушек, болот, густо заросших вековой чащобой из чакана, осоки и камыша. Колючий кустарник, шиповник, можжевельник и кизил непролазным кольцом окружают камыш. Прекрасные места для охоты. В изобилии тут водится кабан. Встречается олень; фазан и курочка — частые гости в этих кустах. Камыши полны дичи. Утки, лебеди, бакланы, гуси с утра и до ночи гомонят здесь, заполняя заводи клекотом и криком. Тонконогие цапли дежурят в камышах, выхватывая из воды лягушек, рыб и змей. Тяжелая, жирная, ленивая рыба сонно плещется в воде. Косяком ходит у берега сазан. Встречаются сомы пудов на шесть-семь. Птица почти не пугана здесь. Есть в глуби камышей островки, на которые еще никогда не ступала нога человека. Богаты, обильны, опасны камыши. До гражданской войны не всякий охотник, гоняясь за дичью, забирался в них. Топкие, засасывающие ямы, невидимые за чаканом бездонные яры, полные воды, трясины, обтянутые осокой провалы стерегут человека на каждом шагу. Незнакомый с камышами охотник легко пропадет в них, и никто не услышит его крика и предсмертной мольбы. Камыш гостеприимно пропускает сквозь себя человека, расступаясь, приветливо шумя и заманивая его все дальше и дальше вглубь, но уйти из камышей трудно. Сплошная стена густых, однообразно желтых стеблей смыкается вокруг заблудившегося человека. Унылое, монотонное шуршание, шорохи, плеск. Всюду камыши... Далекое небо чуть синее сквозь качающиеся рыжие метелки. Человек в страхе мечется по болоту, нервы его не выдерживают. Проклятый камыш, как заколдованный, окружает его.

Из камышовых трущоб и зарослей появляются люди. Они с жадным любопытством окружают землянку, в которой нас разместили, теснятся у входа, заглядывают в нее. Среди них несколько женщин, некоторые с грудными детьми. Это жены красноармейцев, бежавшие сюда вместе с мужьями от карательных экспедиций врага.

Камышане ходят вокруг землянки, взволнованно обсуждают

появление «комиссара» из Астрахани. Им кажется, что следом за мною идет вся 11-я армия и их мытарствам и мучениям пришел конец. Им хочется расспросить, разузнать, поговорить обо всем, что так волнует. Каждый из них желает что-то лично сказать мне, пожаловаться на трудности, рассказать о зверствах белогвардейцев. Людей появляется все больше.

Это не очень мне нравится. Кто знает, может, среди сотен камышан есть и осведомители противника, специально засланные сюда контрразведкой.

Я прошу Сибиряка (это один из руководителей камышан) дать мне отдохнуть. Не хочется, чтобы вся эта масса видела меня. Ведь впереди еще сложный и опасный путь по тылам неприятеля.

— Расходись, товарищи, по своим шалашам и землянкам! — командует Сибиряк, выходя к собравшейся толпе. — Дайте же отдохнуть человеку — шутка, что ли, с самой Астрахани пешком шел. Отдохнет, сколь надо, и выйдет.

— Ушли, — говорит, возвращаясь, Сибиряк. — А может, вы бы правда соснули?

В землянку входят двое. Один из них худой, чуть сутулый человек с интеллигентным лицом. На глазах очки. Другой — коренастый здоровяк с перевязанной головой. Они кланяются и молча жмут нам руки.

— Это вот Сосин Анатолий, наш главковерх, — чуть улыбается Сибиряк, кивая на человека в очках. — А это комиссар Донсков, — может, слышали? — указывает он на второго.

— Слышал и даже привез ему кое-что, — отвечаю я.

— От Кирова? — спрашивает Донсков.

Киваю головой и говорю три простых, как бы ничего не значащих слова:

— Новости, инструкции, советы.

Донсков возбужден. Из-под его бинтов сверкают оживившиеся глаза.

— Особенно новости, — говорит он и сейчас же спрашивает меня: — А кто на курсах руководит теперь?

— По-прежнему Степанов, — отвечаю я условные слова.

Донсков смеется и садится возле меня. Мы переходим к деловой беседе, из которой я узнаю, что камышан здесь всего триста семьдесят один человек. Из них бойцов двести восемнадцать. Остальные — раненые, больные и ослабевшие от малярии, тифа и голода, а также женщины и дети. В отряде сто двадцать четыре винтовки, три ручных пулемета, один исправный «максим» и один сломанный кольт. Гранат тридцать восемь и патронов на весь отряд пять с половиной тысяч штук.

— Вот весь арсенал,— заключает Донсков.— Курева, конечно, нет. Очень от этого страдает народ. И хлеба маловато. Кое-как питаемся, спасибо — крестьяне помогают. Когда что отобьем, тогда и сыты, а то живем впроголодь. Главное, хлеба мало, мясо иногда бывает; опять же, ловим рыбу, бьем птицу, даже цаплю и ту не мируем, если попадается. А самое важное для нас, товарищ дорогой, это деньги. Я уж дважды писал товарищу Кирову, чтобы побольше николаевских денег прислал, мы на них все, что угодно, купим: и хлеба, и патронов, и мяса.

— Ведь Сергей Мироныч прислал вам недавно триста тысяч,— говорю я.

— Совершенно правильно. Прислал. Этим мы вот сейчас и сыты. Только еще надо, ведь деньги эти текут, равно как Терек. Всего надо, и за всё деньги, и народу много,— говорит Донсков, разводя руками.

— Реввоенсовет посылает вам еще такую же сумму. На днях получите.

— Вот спасибо. Тогда заживем,— в один голос отзываются мои собеседники.

Сидим и разговариваем часа три. Наконец я чувствую, что окончательно устал. Глаза слипаются, мучает зевота.

— Спи, товарищ, отдыхай, а мы пойдем к камышанам, передадим привет от красной Астрахани,— говорит Сибиряк.

Закрываю дверь. В землянке сыро. Чадит сальная плешка на самодельном столе. В оконце смутно глядит день. На груди сложенного камыша спит Аким. Я стаскиваю сапоги и ложусь возле него.

Задерживаться долго в камышах мне нельзя. На обратном пути (если только, конечно, будет этот «обратный путь»), когда я снова вернусь сюда, со мной в Астрахань уйдет один или два делегата от камышан с полной информацией Реввоенсовету о положении их повстанческого отряда. Об этом договариваюсь с Сосиным и Донсковым, одновременно прошупываю подготовленность их. За время, пока буду отсутствовать, партизаны должны собрать точные сведения о кизлярском гарнизоне, о частях особого отряда астраханского направления генерала Драценко, о настроениях в селах и станицах отдела. Указываю им, какие объекты они должны разрушить.

При некоторой смелости и, главное, инициативе руководителей не так трудно уничтожить мосты, склады горючего и боеприпасов, радиостанцию.

Сосин медлит с ответом и наконец вяло говорит:

— Слабы мы очень. Пока мы их не трогаем, и они не очень

беспокоят нас. А взорви мы какой-нибудь склад или мост, они на нас в камыши навалятся.

— Пять разов приходили и все пять разов с разбитой мордой назад бегли,— сердито возражает Сибиряк.— Правильно товарищ комиссар (это так окрестили меня камышане) говорит. Надо действовать, надо вылазки делать, белых рубать, мосты да склады жечь, надо панику пускать всюду, а так што — они нас милуют, а мы их бережем. Неверное это дело. Гляди, в камышах сколько сирот да вдов спасается, а мы будем канитель водить с кадюками.

— Конечно, сидеть сложа руки да ждать, пока придет на помощь Красная Армия, не годится. Сами должны действовать,— соглашается с ним Донсков.

Наконец мы улаживаемся: камышане будут понемногу тревожить тылы противника, нападая на обозы и склады, громя экономии помещиков. Через крестьян будут распространять слухи о скором приходе наших войск, об их непобедимости и наблюдать за состоянием солдат «добровольческой» армии.

— Порядка у вас мало, больше похожи на беженцев, чем на повстанческий отряд,— говорю я.

— Это верно. Чисто цыганский табор, даже и собаки есть,— смеется Сибиряк.

— Собаки нам необходимы: и сторожат и уток из камыша гоняют,— говорит Сосин.

Ему, видимо, не по душе наш план действия.

— Особенно же нужны нам документальные данные разведки: различные приказы, сводки, постановления, газеты и прочее. Всего этого собирайте возможно больше. Это очень пригодится Реввоенсовету,— прошу я.

— Такого добра и сейчас много, а к твоему приезду доставим еще,— обещает Донсков.— Поверишь, милый, ведь меня тут каждая собака от Червленной до Копая знает, а я и то два раз в Кизляре был, про других же говорить не стоит. Ведь караул у беляков какой, один смех: старики, которые еще Александру Третьему служили. Бороды до пупа, головы лысые, сами седые, на коней садятся — ноги дрожат, а кроме всего, такие пьянчуги, не дай господь. Ведь тут вино свое, свой чихирь, свой коньяк, своя брага.

— А как контрразведка?

— Это чуток покрепче.

— Кто? Каратели? Тоже барахло,— махнув рукой, небрежно говорит Сибиряк,— они до баб да до стариков храбрые, а вот как было прижучили их в бурунах дезертиры, так их командир,

есаул Бердяев,— может, слышали такого? — так он без штапов, в одном исподнем, двадцать верст охлюпью несея.

— Чуть-чуть его живьем не захватили,— улыбается Сосин,— все его вещи и переписка к нам попали. Назад пойдете—дадим.

Я слушаю моих собеседников. Все трое, по-видимому, хорошие, надежные люди, но ни один из них, по-моему, не может быть командиром, руководителем массы камышан, много перенесших, полуголодных, политически слабо развитых, оторванных от советской жизни, окруженных лишениями, опасностью и тревогой людей. Сибиряк смел и напорист, но его воинские познания заключаются лишь в сверхметкой стрельбе из ружья. Донсков храбр и расчетлив, хороший коммунист, исполнительный и точный. При крепком командире это был бы отличный комиссар. Сосин — бывший учитель и бывший меньшевик. Спокойный, кажется даже ленивый, он принадлежит к породе людей, которые не любят лезть в драку: не трогают — и ладно. С таким командиром камышане вряд ли помогут нам, когда наша армия двинется на Кавказ.

Наконец мы договариваемся о сроке моего возвращения в камыши. Если все пройдет нормально, то через семнадцать дней встретимся с Сибиряком в условленном месте.

Когда смерклось и над камышами лег сумеречный вечер, я вышел к нетерпеливо ожидавшим меня людям.

Долго веду душевную, чуть взволнованную беседу. Говорим об Астрахани, о положении на фронтах, о победе под Басами. Камышане спрашивают о Москве, о Ленине.

— Хоть бы довелось когда поглядеть на него,— вздыхает тот самый солдат с бантом, который первым встретил нас.

— Увидим. Вот побьем кадюков, покидаем их в Каспийское да в Черное море, тогда пригласим товарища Ленина к нам. Не-хай приезжает в гости,— говорит Сибиряк.

Все весело улыбаются, и мне становится ясно, что для них это не просто хорошие, желанные мечты, но совершенно возможная действительность.

— А что? И вправду пригласим, лишь бы дела позволили. А чихирю, меду, рыбы столько достанем!...— мечтает кто-то.

— Кур, гусей зарежем. Утей набьем без счета. Ешь, дорогой товарищ Ленин, поправляйся,— подхватывает другой.

Темнеет все больше. От болот и реки тянет прохладой. Сыро. Квакают лягушки, и сильнее шуршат камыши. Луна тускло пробивается в облаках. Но люди и не думают расходиться. Встреча с человеком, прибывшим из Астрахани, взволновала, взбодрила и обрадовала их. Голоса звучат увереннее и веселее. Несколько раз Донсков говорит о том, что «надо же человеку

отдохнуть», что «у товарища болят зубы», но меня не отпускают. Кольцо людей не размыкается. Наконец мы прощаемся.

Вдруг на мотив «яблочка» слева от меня запевает молодая женщина:

Пароход идет, да вода кольцами,  
Будем рыбу кормить добровольцами...

И веселые звуки «яблочка» плывут, переливаясь, над высоким чаканом и камышами.

— Эту песню народ скрозь про белых спивает. И бьют баб, и сажают, а они все поют. Дюже их, подлецов золотопогонников, ненавидят,— шепчет Сибиряк.

Офицер молодой, зачем женишься?  
Придет большевик, куды денешься?—

уже громче и сильнее поют камышане. Высокий подголосок звенит нарочито острой, ломаной ноткой. Песня льется над сонным простором вод.

В полночь ухожу. Ведет меня Сибиряк. Зовут его Ильей, фамилия Мамонтов, а Сибиряком прозвали здесь потому, что он лет девять назад был выслан на поселение в Сибирь и только после падения царизма вернулся обратно в Кизляр.

— За ничто сослали,— рассказывает Мамонтов.— Служил я на железной дороге сцепщиком, ну и, конечно, как рабочий человек, интересовался книжками разными, прокламации читал, брошюры. Однако в партии нигде не состоял. Вот раз меня жандармы и накрыли: «Откуда нелегальщину достал? Кто дал? Говори немедленно». Потасили к ротмистру, а он сначала по-благородному — на «вы» обращался, господином называл, а как видит, что я молчу, хлоп кулаком по столу: «Говори сейчас, сукин сын, а то расстреляю». Хотел я было дурачком Лутоней прикинуться — не выходит. Хитрый был жандарм, сразу раскумекал. Стали они меня бить-лущевать: кто да кто? «Говори сразу, откуда взял?» А давали мне их и студент один, на практику приезжал к нам на дорогу, и Сарычев Сергей Никитыч, фельдшер такой был в железнодорожной больнице,— но я же молчу. Разве можно сказать! «На земле, говорю, нашел. Должно, кто их кинул возле вагонов». — «На земле? Ну, так ладно, я тебя, стерву, в землю и вгоню». Это мне — ротмистр, да и дал по морде. Сначала я тихо так говорю: «За что же вы, ваше благородие, лютуете?» Ну, а как зачал он месить меня по лицу, а жандармы по чему попало, так я и осатанел. «Оставь,— кричу,— сучья кровь! Пусти, не бей по лицу!» Ну, кого-то из них тоже в этой тамаше по морде двинул. Тут и пошла мала куча. Подняли

они меня, а я тоже парень, как видишь, здоровый. Они меня бьют, а я навалился на одного жандарма, так еле его потом живого с-под меня достали. Ну и мне, конечно, мало не было. Три недели кровью плевался, да голова как не своя была. Звоном и шумом гудела. Потом судил меня военно-окружной суд, а как я не признался да никого не выдал, так они мне за «хранение нелегальной литературы, оскорбление начальства и покушение на удушение жандармского чина» дали четыре года арестантских рот с пожизненным поселением в Сибири. Видал, как дело-то обернули! И закатали меня в Сибирь. Спасибо, в семнадцатом царя по шапке саданули, ну нам всем свобода и вышла. Да недолго, через год опять эта сволочь, жандармы, ротмистры да богачи, заварушку пустила. Ну да ничего, теперь это в последний раз. Добьем их, гадов, загоним в Черное море, а потом заживем под советской властью. Верно я говорю?—заканчивает свою биографию Сибиряк, хлопая меня здоровенной ручищей по плечу.

Провожает он до самого Кизляра, чтобы я с утренним поездом мог уехать во Владикавказ.

— Их, поездов-то, всего два. Один утром, в семь тридцать пять, а другой ночью, в час пятнадцать. Только это так расписание числится, а идут они когда как. Ты только не робей, не робей, товарищ, сиди себе в вагоне, как барин, и больше никаких. Здешние казаки ни черта не стоят. Им бы только вина нажраться да чтобы на фронт не ходить, а кто возле них бродит, их это не касается. Вот подальше, к Прохладной, к Пятигорску, там другое дело,—там контрразведка, говорят, лютует. Там уже не казачья пьяная этим делом занимается, а добровольцы, денкинская шпана. Там и проверки, и облавы, и шпики, и обыски,—словом, там держи себя востро, а здесь, до Моздоку, садись в вагон и хоть кричи: «Я большевик, я коммунист, сукины вы дети»—никто тебя и пальцем не тронет,—говорит Сибиряк.

Мы оба хохочем, представляя себе картину, нарисованную им.

Дозоры камышан, Терек, заводи, болота — все это остается позади. Снова овраги, кусты, лесок, обрывы. Твердая кочковатая земля, хрустит под ногой сухая ветка. Сибиряк хорошо ведет. Это прирожденный охотник и следопыт.

Я слышу шорох, мгновенно растаявший во тьме.

— Зайца спугнули. Он теперь до самого Кизляра не остановится,—говорит Илья.—Слышь, чекалки воют,—прислушивается он к далекому, еле различаемому лаю.

Выходим к дороге. Высокие столбы телеграфа, гудит проволока.

— Черный Рынок с Кизляром работает,— простодушно сообщает он.

Ничего не отвечаю ему. Да и что скажешь, если сам их командир, Сосин, до сих пор не догадался хотя бы изредка прерывать связь.

Пересекаем две довольно быстрые речушки. Снова поле. Черные стога сена, как гигантские шлемы, поднимаются над землей. Их много. Что-то помешало владельцу свезти их отсюда.

— Это Карпушиных. Может, слышали про таких буржуев? Они из тавричан, бо-о-гатые, кулаки. Целая семья их.

— Плохо вы воюете,— прерываю я его.

— Кто? Я плохо воюю? — даже останавливается он.

— Не ты лично, а все вы, камышане. Ну скажи на милость, где это видано, чтобы под самым носом у повстанцев стояли нетронутыми помещичьи стога, экономии, гудели провода, работали почта и телеграф? Ведь у нас гражданская война. Ты же сам Сосину говорил, что белых надо бить, жечь, рубить, а это что?

Сибиряк вздыхает.

— Сосин ни к собачьей матери не годится,— говорит он.— Какой он командир! Ему бы огороды разводить или ребятишек азбуке обучать, самый бы раз. Только мы и без него пожжем все это, дорогой товарищ, начисто умеем! — вдруг свирепея, говорит он.

Вдали встают огоньки.

— Терновка, село такое. Там пехота кадетская ночует,— говорит он и продолжает прежний разговор.— У вас в Астрахани наш прежний командир, кизлярский герой, товарищ Хорошев Александр Федорович, шесть раз раненный. Вот если бы его к нам вернули,— ого, другое дело б стало. А с этим глобустом одна беда,— машет он рукой.

— С кем, с кем? — не понимаю я.

— Да с Сосиным, с глобустом. Это его так наши ребята прозвали.

— Это что же такое «глобуст»?

— Невжель не знаешь? А еще ученый! — в свою очередь удивляется Сибиряк.— Это ж такая научная вещь в школах имеется. Как арбуз или тыква, а на ней части света растыканы.

— Глобус,— говорю я.

— Ну так я и говорю,— глобуст. А называли его за то, что когда все от белых в камыши тикали, так каждый свое, нужное хватал и бег сюда: кто муки, кто сала, кто круп или же одежи, а этот, нечистый дух, цоп глобуст из школы да книг восемь и, на тебе, прибег к нам спастись. Одно слово — учитель. А что убег из станицы, так это он хорошо исделал. Там с ним другой



еще учитель был, Авдеев Степан Иванович, так того кулаки станичные схватили, спервоначалу били его дюже, а потом средь площади, возле церкви, сашками порубали. Сами рубают, а сами кричат, насмешку строят: «Вот тебе — глобуст! Вот тебе — земля вертится! Вот тебе — окиян!» На таки кусочки порубали, что потом вдова его, порубанного, в мешок собрала, да так и схоронила. А этот, спасибо, утек, а то б и его зарубали.

— А кто же его командиром сделал?

— Сами, по глупости по нашей. Думали, как он грамотный и партийный человек, ну, будет над нами командиром, а ему, оказалось, ловчей книжки читать да про разные страны рассказывать. Вот это его дело, а так, вообще худого не скажу, парень он ничего, тихий, правильный, камышане его уважают, однако с командиров скинем. Так ты не забудь, когда обратно в Астрахань вернешься, скажи там, чтоб отдали назад Хорощева. С ним мы делов еще наробим.

— Живы будем — пойдем в Астрахань вместе. Вот ты там об этом и скажешь.

Сибиряк останавливается.

— Это ты про Астрахань верно говоришь? — переспрашивает он.

— А почему бы и нет! Со мной для связи обязательно пойдет кто-нибудь.

Он тяжело кладет мне на плечи свои руки и задушевным, дрогнувшим голосом говорит:

— Ну спасибо, ну и спасибо тебе, товарищ милый.

Потом мы молча продолжаем путь. Доходим до полосы виноградников, широкой лентой опоясавшей Кизляр. Идем по широким аллеям садов, окруженных сплошным кольцом виноградных лоз. Огромные амбары с сорокаведерными бочками, давящими прессами, с различным винодельческим инвентарем попадают на пути. Домики-усадыбы с балкончиками и флигелями все чаще встречаются нам. При свете поднимающегося утра ясно видны раскиданные возле виноградников шалаши и хибарки рабочих.

Пересекаем вишневую аллею и по еле видимой тропинке уходим сквозь виноградную чащу вглубь.

— Винца здесь — пей не хочу. И коньячок тоже знаменитый. Армянин тут хозяин, по фамилии Гукасов. Я у него еще мальчонком служил, виноград резал. Бога-атый, стерва, и злой как собака, а коньячок по всему краю — первый, — облизывая губы, говорит Сибиряк.

Идем среди сплошной зелени, пока не приходим к сторожке, возле которой стоит столб с надписью: «Виноградники и усадь-

ба господина Кочкарова Богдана Багдасаровича». Ниже другая дощечка: «До Кизляра — 3 версты 200 сажений, до железнодорожного поселка — 2½ версты». Дверь в сторожку полуоткрыта. Возле плетня трется спиной огромная свинья, окруженная розовыми повизгивающими поросятами.

Утро уже совсем настигло нас.

Сибиряк не сразу вылезает из чащи виноградников. Он внимательно глядит на сторожку. Потом улыбается и, дернув меня за рукав, говорит:

— Идем! Вона она, метелка, на месте.— И, подведя к обыкновенной, связанной из прутьев метле, приставленной к сторожке, тихо говорит: — Здесь дед один живет, наш дед, чисто советский. Знак такой у нас с ним имеется: ежели метелка у окна стоит—дуй прямо, без всякого страха; если у стенки — погоди, спешить не надо, остерегайся; ну а ежели вовсе нема метелки, значит, беляки близко, ховайся скорее и дуй обратно. Вот, брат, какая у нас с ним арихметика.— И, открывая ногой дверь сторожки, он весело кричит:— А ну, дед, принимай гостей!

Здесь, в сторожке деда, на земле винопромышленника Кочкарова, мы встретимся с Сибиряком после моего возвращения. Сибиряк придет сюда трижды. Первый раз через шесть дней, начиная счет с завтрашнего утра, затем еще через шесть дней—это в том случае, если обстоятельства заставят меня прервать работу и искать спасения в бегстве. Если я не вернусь и через двенадцать суток, то Сибиряк придет сюда еще через шесть суток.

Дедушка Панас, или Панас Трохфымыч, как иногда величает его Сибиряк, чуть ворчливый старик с седыми свисающими усами.

— Ох, бодай бы вы сдохли, тю, проклятуши, усю полову разворушили! — вскакивая со скамьи, кричит он.

И я вижу, как старый дед гоняет по двору кур и мечущихся поросят.

— Хороший дед, правильный... Ты не гляди, что у него стена в иконах. Старый человек нехай молится, нам от того убытку нету, а зато его не трогают, кому в догадку войдет, что он есть советский человек,—добродушно похваливает Сибиряк Панаса Трофимовича.

Здесь я оставляю свою романовскую шубу, взамен надеваю несколько поддержанную английскую военную шинель серо-зеленого цвета и солдатскую гимнастерку, которые нес с собой из камышей Сибиряк. В это время происходит легкая тревога. В

сторожку пришла внучка старика Аленка, веснушчатая, курносая, веселая девушка лет двадцати, очень похожая на своего деда.

— Здорови булы,—нисколько не удивляясь неожиданным гостям, говорит она и, поклонившись, идет от порога к печке и начинает грохать в ней ухватом и кочергой.

— Здравствуй, невеста! Ну как, когда же наша свадьба? — жуя кусок пшеничного хлеба, спрашивает Сибиряк.

— Придется годить, дядько Ильюша, доки виноград не подавят, а то чихирю людям не хватит,—смеется она.

Гляжу на ее энергичное лицо, быстрые движения, на ухват, чашки, казаны, так и летающие в ее сильных руках.

В полчаса она приводит в порядок все хозяйство деда, успевая накормить свинью и поросят, попоить лошаденку, подмести дворик сторожки и вместе с тем тревожно шепнуть в оконце:

— По кизлярскому шляху хтой-то еде сюды.

Мы с Сибиряком прячемся в ледник, вырытый за сараем. Дед набрасывает на мою шубу свой ватный зипун и, беря в руки вилы, не спеша идет к возу с сеном. Аленка, перекинув через плечо коромысло, выходит к дороге, по которой уже цокают копыта и стучат колеса.

Сибиряк приник к мутному оконцу, вделанному в дверь ледника, одна рука придерживает скобу, в другой — граната.

Лошадиные копыта простукивают по дороге, шум колес умолкает. Через щель пробивается солнечный блик, слышно кудахтанье кур.

— Ходимо до хаты. Нема никого,—раздается голос деда, и в распахнутую дверь просовывается его всклокоченная папаха и пожелтевшая борода.— Це поихав на хутора приказчик кошкарковский,—говорит он и замахивается палкой на снующих под ногами кур.— Геть видсиля, проклятуши, бодай бы вы сдохлы, щиб вас позадавило!

К вечеру из виноградишков господина Кочкарова выехала небольшая однокопная повозка, или, как здесь ее называют, «бидарка». Проехав по садовой аллее, повозка свернула мимо господской экономии влево и выехала на большой кизлярский шлях. В бидарке сидели я и дед Панас. Возле переезда через Гредихинские хутора к нам подседа ожидавшая нас здесь Аленка. Проехав верст семь по кизлярскому шляху, дед свернул в сторону и по проселочной дороге выехал на дубовскую дорогу. По пути встречается много телег, конных и пеших людей. Некоторые из проезжих с почтительным добродушием здороваются с Панасом Трофимовичем. Дед всем одинаково отвечает, чуть притрагиваясь рукой к папахе.

По сторонам начинается равнина. Огромные, кое-где еще не убранные стога стоят в полях.

Розовый закат охватил горизонт. С поля, возвращаясь в станицу, идут стада. Веселые, озорные казачата посятся взад и вперед на низкорослых лошадях, сгоняя к дороге растянувшееся стадо. Пыль завесой стоит над нами. Аленка, смеясь, так кутает свое лицо в платок, что только щелочки глаз да прядь волос чуть видны из него. Дед ворчливо плюется, то и дело замахииваясь кнутом на проносящихся мимо ребят.

Так в предвечернем закате, в шуме, пыли, криках казачат и мычании коров мы въехали в Дубовскую. На улице, тянущейся через всю станицу, сидят на завалинках старики в бешметах и черкесках, с палками в руках и кинжалами на поясах. Бабы в белых платках и цветных юбках стоят у хат, грызут семечки и судачат. Они ленивыми взглядами провожают нас. Бидарка тряско катит мимо церкви и большого дома, над входом в который прикреплена вывеска с надписью: «Станичное правление». Дед и здесь отвечает на приветствия казаков, подстегивая своего начинающего уставать меринка. Проехав площадь, мы сворачиваем в узенькую улочку и, почти касаясь амбаров, заборов и стен казачьих хат, выезжаем в поле, к полустанку Дубовская.

Уже совсем стемнело. Огни полустанка сверкают в темноте. Несколько телег и тачанок стоят у вокзала. Дед подъезжает к ним, и мы сходим. Через несколько минут Аленка скрывается в станционном здании, а мы распрягаем лошадь и, достав из сумы хлеб, вареные яйца, соль и сало, начинаем есть, ожидая девушку.

Вскоре пришла Аленка с купленным для меня билетом.

Около одиннадцати часов ночи из темноты, со стороны Кизляра, пыхтя и брызжа искрами, подошел паровоз с десятком дрянных вагонов. Устремившись вместе с толпой налетевших на поезд пассажиров, я вскакиваю на буфера и пробираюсь одним из первых в тамбур. Входя в вагон, я успеваю заметить белый платок, курносое лицо и теплый, напуганный взгляд прижавшейся к перронному столбу Аленки.

Поезд лениво бежит, постукивая в ночи. В вагоне накурено, душно. Огарок свечи мерцает в проходе, озаряя тусклым колеблющимся светом лавки и прикорнувших на них людей. На весь вагон одна свеча, перерезанная проводником пополам.

— Вот и зажигай, хочешь — все сразу жги, хочешь — по кусочкам, — объясняет недовольным тоном проводник.

— Значит, хучь верть-круть, хучь круть-верть. Все одинаково! — говорит кто-то из темноты.

— Вот-вот, так и есть,— поддакивает проводник.

— Врет все, сучья морда. Вор на воре, вот оно как, а то — «одну свечечку дали»,— обозленно передразнивает его мой сосед слева.— За такую люминацию ему б добрых фонарей наставить следовало.

— Вот бы и засветило тогда от фонарей от этих,— смеется кто-то.

— Но, но... Ты, брат, того, не очень разоряйся, а то, знаешь, за такие слова жандарма, очень просто, позову. Может, ты дезертир какой или еще кто,— в свою очередь грозит проводник.

— Подумаешь, спужал. Боюсь я твоего жандарма. Иди, зови хучь самого Денику, жуликова твоя морда,— напутствует его сосед.

Поезд покачивает. Люди постепенно смолкают, дрема охватывает всех.

От сильного толчка я прихожу в себя. Какие-то огни, стуки, грохот.

Вспоминаю, что я в поезде, что еду во Владикавказ, что здесь глубокий тыл врага, Терская область, а вокруг меня, справа и слева, сидят казаки, горожане, крестьяне, жители территории, занятой «добровольческой» армией.

Сон, так быстро охвативший меня, пропадает. Поезд еще раз дергается и медленно останавливается.

— Какая станция? — спрашивают разбуженные толчками пассажиры.

— Шелковская, что ли,— отвечает мой сосед, принимая к стеклу. Я вижу его бородатое лицо и изрезанный морщинами лоб. Он вглядывается в силуэт станции и коротко говорит: — Нет, Старо-Гладковская. Треба попить воды.

Сверху, шумно вздыхая, сползает человек и, гремя котелком, уходит. Я осторожно прохожу мимо дремлющих людей и, стараясь не наступать на ноги сонных, заполнивших проходы пассажиров, выхожу на станцию.

Низкое здание вокзала. Под деревянным навесом перрон. Суматошно пробегают люди, навьюченные мешками, корзинками, сундуками.

— Куды лезешь? Тут, дыхнуть нечем,— отпихивая их, кричит проводник.

Люди, звеня чайниками, стуча каблуками и ругаясь, пробегают дальше.

На станции много народу, главным образом женщин и бородатых стариков. Молодых мужчин призывного возраста не вижу ни одного. По перрону важно прохаживается усатый круглолицый жандармский унтер-офицер с красным аксельбантом

на плече; двое пожилых замученного вида казачишек в нагольных полушубках, с берданками за плечами стоят в конце навеса. Дежурный по станции заводит длинный крикливый спор с обер-кондуктором нашего поезда, и скучающий жандарм, не теряя напыщенного вида, ввязывается в него. Дежурный наконец сдается. Он отмахивается от наседающего на него кондуктора и, что-то бормоча, уходит внутрь вокзала. Жандарм удовлетворенно смеется и важно отходит от начинающей редеть толпы.

— Жулики, спекулянты собачьи,— проходя вдоль поезда, ругается обер.

— В чем дело? Чего они не поделили? — спрашивает кто-то в толпе.

— Вагон отказался прицепить. Говорит, и так поезд еле тащится.

— Вор вору не потрафил. Мало давал, вот и не сговорились,— раздается новый голос.

Сноп света бьет прямо в глаза.

— Ваши бил-леты!

За контролером стоит пехотный офицер с двумя вооруженными солдатами. Третий, опершись на винтовку, стоит в проходе. За стеной надрыдается ребенок, и женский заглушенный голос успокаивает его.

— Ваш-ши билеты! — щелкая компостером, повторяет контролер. У офицера сильный ручной электрический фонарь. Он медленно наводит луч, подолгу задерживаясь на каждом. Спросонья пассажиры не сразу находят засунутые куда попало билеты.

— Тю, проклятуший. Вот сховал и не найду,— бормочет мой сосед, хватаясь за бешмет и ощупывая его углы.

Я вынимаю из бокового кармашка гимнастерки свой билет. Свет фонаря останавливается на мне. Лица офицера мне не видно, но я чувствую на себе его колючие, внимательные глаза... а может быть, мне это только кажется, но ощущение настолько неприятное, что у меня холодеют руки и спина. Компостер щелкает.

— Получите ваш билет,— механически вежливо говорит контролер.

— Вот он, окаянный, куды завалился,— облегченно говорит сосед, вытягивая из шаровар свой билет.— Под гаманец<sup>7</sup> закатился.

Проверив билеты, офицер, контролер и солдаты идут дальше.

---

<sup>7</sup> Кисет, иногда — кошелек.

— Обход. Все дезертиров ищут,— говорит кто-то с верхней полки.

— Надо бы документы проверить, а то как поймаешь дезертира,— вполголоса говорю я.

— Значит, понравились мы капитану. Доверье имеем,— смеется сосед.

— «Доверье»,— машет рукой казак слева,— просто лень ему проверять; дак и то верно, разве же дезертира так поймаешь? Который с фронта бежит, так тот себе тридцать бумаг справит, одна другой краше, а который без документов, так тот разве в вагон пойдет? Тот до станицы пешаком дует або на тормозах да на товарном.

— А ты што больно знаешь, иль тоже на тормозах с фронта бегал? — раздается из темноты голос проводника.

— Всяко бывало, кислая шерсть,— пренебрежительно отвечает казак.

— Как зачал он фонарем водить да зыркать на меня глазами, я хоть и старик, а и то скажу, спужался. Вот, думаю, людей в один секунд оглядел, а с мене своего фонаря не спускает,— сказал сидевший напротив пожилой человек рабочего вида.

Ощущение томительного беспокойства покидает меня. Понимаю, что каждый из нас, находясь под светом фонаря офицера, одинаково тревожно чувствовал себя. Кроме того, понял еще, что офицер глядел на нас не столько испытующим оком, сколько ставшим для него обычным, профессиональным взглядом.

Я вспомнил Кирова и его слова: «Для разведчика главное — спокойствие, уверенность, точность. Никогда не считайте противника глупее вас, но и сами не делайте себя глупее противника». А я уже сглупил, заговорив о проверке документов. Лучше было молчать и слушать.

На рассвете подходим к большой станции Червленая. Мои соседи оживают. Несколько человек тянутся к выходу, загромождавая проход.

Стоим больше часа. Среди новых пассажиров есть и молодые и средних лет люди: два перса, чеченец, кашляющий, чахоточного вида солдат, армянка, едущая в Моздок, несколько казачек, армянский священник с подстриженной бородой и большим клювоподобным носом. Вонь, табачный дым, громкая беседа, плач детей снова заполняют вагон. Мой сосед-казак едет до Прохладной. Он гостил у дочери, вышедшей за ново-гладковского мельника, тоже терского казака.

— Зять мой — кавалер. Два «георгия» за германскую войну имеет, однако, как он два раза раненный и без трех пальцев руки, так его теперь не взяли. Так только, спужали трошки. По-

звали в правление и говорят: «Смели задарма для гребенского полка пятьсот пудов пшеницы, а ежели откажешься, не схотишь помогать войску, так мы тебя и безрукого в полк заберем». Ну, конечно, жена его, это, значит, моя дочка, телеграмму мне в Прохладную дала. Скорей, мол, батяня, езжай. Дела важная имеется. Я и прибег, а оно вот оно што. Ну, подумали, поговорили, и Григорий Софроныч — это зять мой, мельник — сейчас прошению в отдел. Так, мол, и так. Желая помочь своему войску и добровольно, бесплатно смело вам пятьсот пудов пшеницы. Видали как? На фронт идтить кому же охота, за ничто, за так себе голову подставлять? Ну, от своих тепер, конечно, ослобонился, а нас опять думки берут. А ну как большаки возвратятся на Терек, ну что тогда скажешь? Разве им докажешь, что он с-под палки эту пшеницу молол... а? Видали как? Опять, значит, беда!

— Ну, это пустяки,— говорит, снисходительно улыбаясь, армянский священник.— Если так рассуждать, тогда и на улицу выйти нельзя. Мало ли что может случиться. Да и откуда вы взяли, что большевики вернутся? Их вон за Киев и Харьков наши погнали.

— Так-то оно, конечно, так, погнали. Однако вот здесь, возле Кизляра, в камышах их тысяч, говорят, шесть прячутся. Да за Тереком, промеж кунацких аулов, тоже тыщи три наберется... да в бурунах...

— Под Святым Крестом их до черта, все камыши ими захвачены,— хрустя соленым огурцом, вставляет один из новых пассажиров.

— В Чечне тоже, возле Шатоя, цельная дивизия их с командиром Гикало осталась. Мы их оттуда раза два с пушками ходили выбивать, не выбили,— мотая головой, вмешивается в разговор чахоточный солдат.

— Вот, вот, об этом и мы слыхали. Так вот, видали? Наши Киев берут, а большаки — опять они тут, никуда не уходили. Опять же, наши раненые казаки отсюда ворочаются, так они ж прямо говорят: вся Расея с большаками. Ну разве ж казакам одним можно всю Расею покорить? — разводит руками казак.

— Как это ты, дядя, так рассуждаешь? — покачивая головой, недовольно вмешиваюсь я.

— А что?

— Да так, больно смело и неподходяще.

— Так мы ж промеж себя гутарим, обиды никому не делаем, жандарма возле нету, а что говорим — все справди.

— Конечно, справди. Вон у нас, в Прасковее, отряд карателей стоит. Цельных двести человек, а как за вечеряет, никто из



них за околицу не идет. До ветру, звиняюсь, и то компанией офицера ходют. А почему? А потому, что вокруг везде красные. Ну, може, они не совсем красные, а...

— Розовые, — смеется кто-то.

— Во-во! Правильно говоришь... розовые. Их везде много — и в степу, и в лесу, и в камышах, и на шляху. А что по хуторам дальним, так это всем известно. Ну и что ж? Ходили раза два каратели туда с пушками, а им розовые набили и пушки их забрали. Видал как? Вот тебе и Киев с Харьковом, — горячася, напирает на меня пассажир в солдатской шинели и картузе.

— Вот, вот! Оно самое, — возвращаясь к старой теме, сокрушается бородатый казак. — Перевернешься — быть. Недовернешься — быть. Так вот и зятек мой. Кто его знает, что ему за пашаницу пропишут большаки.

По его тону и вздохам я понимаю, что для него не существует вопроса о том, вернутся сюда большевики или нет. Его только беспокоит, как поступят они с его зятем.

На станцию Моздок пришли в двенадцать часов дня, а сейчас около трех. Дежурный по станции на вопросы пассажиров дает один и тот же неизменный ответ:

— Не раньше ночи. Пути у Прохладной забиты поездами.

Чахоточный солдат собирается в город, за ним увязывается и казак из Прохладной. Он собирает свои вещи, ковриковые сумы и четверть с кизлярским чихирем (подарок зятя-мельника).

— К ночи! — ворчит он. — А отсель до Прохладной каменьшибануть можно. Пойду в город, — может, там кого из станичников встречу, бывает — на базар приезжают.

— Хорошо, если еще ночью уйдем, — сердито говорит обозленный расспросами проводник, — на главной линии воинскими составами весь путь занят. Третьи сутки эшелоны идут.

— Опять, значит, подкрепленья на фронт кидают. Воюй, казачки! — махнув рукой, безнадежно говорит сосед-казак.

— Оно и иногородним достается. И их греют почем зря. Пуля, она, брат, не глядит, кто казак, а кто мужик, — вскидывая на спину мешок, бормочет солдат.

Сидеть до ночи в Моздоке не хочется. Я выхожу на вокзал. Слова проводника о срочных воинских поездах на линии Прохладная — Ростов крайне интересуют меня. Полуденное осеннее солнце заливает вокзал, это очень скрашивает унылую станцию, окруженную низкорослыми домишками. Пыль столбом стоит над площадью. Десяток дрожек, фаэтонов и линеек подкапывают к ступеням подъезда.

— Отчепись, хай тоби сдохнуть, нечистый дух! — отмахиваясь от наседающих, кричит казак.

— Садись, садись, недорого возьму, чего скупись, до города три версты, пешком пойдешь,— гляди, сдохнешь,— вежливо уговаривает извозчик.

— Пожалуйте на мои дрожки, ты не гляди, что они старые, зато на новых рессорах.

— Вот рысаки орловского завода. Эх! Прокачу! — предлагает третий.

Я выбираю менее крикливого, сомышленным лицом возницу и предлагаю своим спутникам ехать вместе. Солдат охотно садится, но прохладненский казак жметя, по-видимому боясь, что это будет накладно.

— Садись, садись, дядя, чего там,— говорю ему.

Он благодарит и садится. Дрожки трогаются и, дребезжа, потрухивают к городу.

— Бывали когда-нибудь в нашем городе? — скорее из вежливости, чем из любопытства, спрашивает извозчик.

— Бывал, чтоб ему из пыли не вылазить,— кашляя и отплевываясь, говорит солдат.

— Да, пыли у нас много, а дожди пойдут, так и грязи хватает,— соглашается возница.

— В прошлом годе, весной, тут возле армянской церкви наш казак один, прохладненский, чуть было с возом не утоп. Ввалился в ямину, а грязюка там — коням по холку. Он кричит: «Караул!» Кони ржут, бьются; а вокруг народ бежит, всяко советуют, а подступиться боятся. Спасибо, пожарные помогли. Вытягли! — покачивая головой, рассказывает казак.

— Этого не слышал,— обижается извозчик,— а вообще весной и осенью тут бывают всякие истории.

— Давно у вас такая петрушка с поездами? — говорю я.

— Эта задержка? Второй день. Говорят, войска сейчас на Махно и к Москве посылают.

— К Москве-е! — тянет солдат.— Далеко до Москвы. Скажи, набили нам хряк где-то, вот и посылают.

— А может, и так,— охотно соглашается извозчик.— Теперь кругом война, везде люди нужны.

— Запасная сотня. Тут казаки учение делают,— показывая на чернеющие вдаль казармы, говорит возница.— А там — батарея, три пушки. Было раньше восемь, да пять на Святой Крест взяли.

— А там их большаки забрали,— смеется казак.— Наш сусед по станции, сотник Васищев, ими командовал. Севодни пушки, значит, привезли в Прасковею, а через день большаки с камышей да с Астрахани как вдарят!.. Наши бежать, а сотник первый удирал. Наперед всех в Крест прискакал, на усю площадь

заорал: «Иде тут дорога на Прохладную?» — заливается мелким, добродушным смехом рассказчик.

— Герой, значит, гляди — еще чин за то получит, — иронизирует солдат.

Нескончаемая улица ведет нас к базарной площади. Город пыльный, серый, почти сплошь одноэтажный, с редко встречающимися большими домами. Гостиница «Бристоль», номера Циблова, кино «Олимпик», несколько магазинов, армянская школа, ресторан. На базаре толкуются сотни людей, прицениваясь к продуктам. Споря, торгуясь, шумит, волнуется толпа. После голодной Астрахани как-то странно видеть столько всевозможного продовольствия. Иногда мне даже не верится, что можно в любой лавке купить масла, сахару, хлеба. Покупаю в киоске газеты — «Терский казак», «Приазовская речь» и журнал «Донская волна». На первой странице «Приазовской речи» — сводка военных действий «От штаба добровольческой армии»: «Нашими доблестными войсками 20 сентября 1919 г. занят Курск. В боях захвачены огромные, не поддающиеся учету трофеи. Красные в беспорядке отступают на Орел».

Первая страница пестрит хвастливыми телеграммами из прифронтовой полосы. Они все одинаковы — большевики бегут, Красная Армия рассыпается, крестьянство с хоругвями и хлебом-солью всюду радостно встречает войска Деникина.

Две телеграммы останавливают мое внимание: «Киев. (От собст. корр.). Из Петербурга сообщают, что на месте взорванного большевиками знаменитого памятника Петру Великому Петроградский Совдеп поставил памятник Иуде Искаротию. Ежедневно коммунисты совершают свои бдения у памятника Иуды, моля о победе над добровольческой армией».

Вторая телеграмма, тоже «От собст. корр.», но уже из Риги, под огромной шапкой — «Бегство Ленина»: «По полученным из Гельсингфорса сведениям, 16 августа в Москве произошло восстание войск чека, которые под командой большевиков атакуют Кремль, расстреливая коммунистов. Спасаясь от восставших, Ленин вылетел на аэроплане в Финляндию. Финские власти приняли меры к его аресту».

Так же «правдоподобны» и другие сообщения.

— Нашел, нашел станичника, он сюды в отдел за сына хлопотать ездил, ну, а отседа кой-чего для дому купил, — слышу я знакомый голос казака-попутчика. — Если желаете, на его тачанке можно до Прохладной доехать, а там и на поезд. — Рассталкивая толпу, он пробирается ко мне. Глаза его весело блестя. От него пахнет вином. — И возьмет недорого. Рублей два-

дцать ему дадите и чепурку винца по дороге купите,— уговаривает он.

Мне очень кстати такая поездка, через казачьи станицы, в компании двух местных казаков. Но я делаю нерешительное лицо и как бы в раздумье говорю:

— Ну, а там как, в Прохладной? А вдруг приедем к ночи, станицы я не знаю, никого знакомых, куда идти на ночь?

— Вот нашли печаль,— перебил бородач,— дак ко мне в хату прямо и пойдем. Ночку заночуйте у мене, а утречком, с богом, дальше.

Я снова делаю вид, что колеблюсь:

— Да, может, еще стесню вас, опять же домашние ваши...

— А им какое дело? У себя в хате я хозяин, и никаких! Еще того не бывало, чтоб баба над казаком панувала,— говорит он и, беря меня за руку, тянет за собой.— Идем, идем, господин чиновник, во-он нас станичник возле тачанки дожидается.

По дороге я покупаю четверть мутного кизлярского чихирю и под шумные возгласы новых друзей лезу в тачанку.

Ночью, во втором часу, мы, усталые, сонные и хмельные, въехали в Прохладную, оставив за собой шесть казачьих станиц, отделяющих от нее Моздок. Ехали весело, встречая по пути приятелей и знакомцев, среди которых попадались и однополчане моих неожиданных друзей.

— Стой, стой... Так то ж катериноградский... Карпенко, Филипп Иванович, нашего полка. Я с ним еще в тысяча девятьсот третьем годе, в Ольтах, на турецкой границе в одной сотне служил. Треба с ним выпить,— придерживая коней, вспоминает наш возница и, привстав на тачанке, через всю улицу орет: — Эй, эй, Филя, Филипп Иванович! Здорово, браток крестовый!

«Браток» перелезает через плетень. Приятели долго обнимаются, после чего начинают разливать по кружкам чихирь.

Так продолжается всю дорогу. Знакомых и друзей у моих спутников не меньше хорошей роты. Четверть из-под чихири приходится дважды наполнять в пути.

На одной из таких «остановок» к нам в тачанку садится атаман Павлодольской станицы, едущий попутчиком до Приближной. Это веселый, болтливый казак, с «георгием» на груди. Он всю дорогу орет изо всей мочи песни или же, кстати и некстати, вспоминает австрийский фронт и Карпаты, расхваливая польских женщин.

— Что же вы не на фронте? — спрашиваю его.

— Ему нельзя. Его павлодольские бабы не пушают. Ить видите, какой бугай здоровый,— серьезно говорит мой сосед, подмигивая глазом.

— Вы им не верьте, нечистым духам. Разве ж они могут чего понимать, кроме брехни да вина! — отмахивается атаман. — У нас служба здесь еще хуже фронта будет. Порядок держать надо, казаков не распускать, опять же разным-всяким надзор надлежит вести. Кроме того, мобилизация, конский учет, зерновой запас, корма и всякая прочая политика опять нашего ума дело, — не без достоинства перечисляет он. — Или вот сейчас на Кубани тамошние казаки-самостийники бунтуются. Опять же нам, атаманам, предписание из войскового штаба: следить, чтоб и у нас чего такого по станицам не было. Выдали, делов сколько, а этим бугаям старым одни смешки. Потому, бог мозгов им не дал, — заканчивает он.

Известие о кубанских казаках-самостийниках очень важно. Постараюсь во Владикавказе больше и подробнее узнать о них. Я почти не пью, сославшись на головную боль; казаки слабо уговаривают и очень скоро забывают обо мне. Они пьют, поют, целуются друг с другом и раза два пытаются припомнить какую-то старую обиду, причиненную им спутником-атаманом, но, тут же забыв ее, снова затягивают нескончаемую песню «Ой да не из тучушки...». Потом они поочередно спят в тачанке и уже около Приближной, отоспавшись, несколько приходят в себя и высаживают атамана. Так мы приезжаем в Прохладную. Бородач под лай сбежавшихся собак ведет меня к себе. В темноте мы приходим в хату и будим спящую в сених его жену.

Ночная прохлада; видимо, совсем отрезвила бородача:

— Принимай, жена, гостя... Вот господин чиновник, по казенному делу едет. Треба постлать в чистой горенке, — важно говорит он безмолвной старухе, засветившей каганец.

Утром казак поит меня горячим молоком, кормит домодельным сыром, белым крупитчатым хлебом и дает на дорогу два огромных арбуза.

— Вы берите, берите, господин чиновник. Таких арбузов, как наши, прохладненские, по всей Расее не сыщете. Раньше наши арбузы прямо в Питербурх вагонами отправляли.

Он провожает меня на вокзал. Перрон маленький, заплыванный, унылый. Серая, однообразная толпа, среди которой встречаются «добровольческие» офицеры, выделяющиеся цветными фуражками, яркими околышами и серебряными черепами на рукавах. На вокзале — карта Центральной России с указанием линии фронта. Курск обведен синей лентой, и на нем приколот маленький трехцветный флажок, — по-видимому, Курск действительно взят белогвардейцами.

Идем с приятелем-казакон в буфет. Там мы выпиваем по кружке пива, затем покупаем в кассе плацкартный билет и сно-

ва уходим в буфет. Только перед самым отходом поезда я спускаю казака, но прежде услужливый бородач скатывает свои арбузы мне на лавку и только после этого прощается.

— Будете опять в Прохладной, прошу к мене... Андрей Степаныч Лапин, не забудьте мое фамилие,— говорит он.

Поезд трогается. На третьем пути стоит бронепоезд «Генерал Корнилов». Он невелик — серый, обтянутый броней паровоз, пушечная площадка, броневagon с двумя пулеметными башнями и длинным голубым офицерским вагоном.

В плацкартном купе сидит казачий прапорщик, безусый круглолицый юнец. С ним едет пожилая дама и девушка лет двадцати. Прапорщик говорит тонким ломающимся голосом и презабавно проводит рукой по верхней губе, где полагается быть усам. Дама с любовью и страхом глядит на него.

От нечего делать рассматриваю журнал «Донская волна». Это издание с рисунками, очерками, беллетристикой и стихами. На обложке портрет генерала Мамонтова, перевитый георгиевской лентой. Над усатой физиономией бравого вояки с двух сторон свисают знамена. Под портретом крупно напечатано: «Победителю красных орд от благодарной и восхищенной России».

Перелистываю журнал, разглядываю дрянные иллюстрации. Они все на один толк: или «геройский подвиг капитана Х», или «лихая атака донских казаков», или «расстрел коммунистами игумена и 119 монахов Троице-Сергиевской лавры». Беллетристика — о том же: о «доблестных» есаулах и «отважных» хорунжих и злорадные сообщения о голоде в Петрограде и Москве.

Закрываю журнал. Девушка, спутница прапорщика, на секунду задерживается взглядом на журнале и затем перешительно говорит:

— Разрешите посмотреть.

Вежливо кланяюсь и передаю «Донскую волну». Через пять минут дама, прапорщик, я и молодая девушка ведем оживленную и приятную беседу. Прапорщик, по-видимому, очень общительный человек, с удовольствием завязывает разговор, начиная с обычного для дороги вопроса:

— Вы, вероятно, едете тоже в Грозный?

Узнав, что я еду во Владикавказ, он многозначительно вздыхает и томно говорит:

— Завидую вам.

Дама вступает в разговор, девушка, отложив журнал, смеется. Из их смеха, улыбок, слов, недоговоренных фраз, грустных глаз офицера и вздохов заключаю, что во Владикавказе живет гимназистка, в которую юнец влюблен.

— Ах, ка-ак я завидую вам,— снова грустно тянет прапор-

щик.— Если б не необходимость, я, конечно, обязательно заехал бы туда, но...— он делает строгое, официальное лицо и свирепо тербит пальцами пухлую мальчишескую губу.

— ...Надо спешить обратно,— участливо подсказываю я.

— Именно! Через шесть дней я уже снова должен быть в Екатеринодаре, откуда наша бригада двинется на фронт,—важно говорит он.

— На фронт! — ахает дама, и ее глаза подергиваются влажной пеленой. Она молча и долго смотрит на продолжающего хорохориться юнца, и ее грустное лицо все больше никнет.

— А ему знаете почему так хочется во Владикавказ? Повидаюсь со своей Неточкой,— смеется девушка.— Ведь она полгода назад его еще гимназистом знала, а теперь увидит нашего Мишеньку офицером.

— Лиза! Лиза! Я не разрешаю тебе так выражаться об Анне Николаевне,— перебивает ее прапорщик.

— Анне Николаевне! Го-осподи! — всплеснув руками, улыбается пожилая дама.— Ну и Анна Николаевна... да ей всего-то шестнадцать лет...

— И того еще нет, в шестом классе гимназии учится,— смеется девушка.

— Я запрещаю тебе, Лиза,— тонким голосом взвизгивает прапорщик.

Пытаюсь найти другую тему для разговора:

— Вы, вероятно, недавно произведены в офицеры?

— Всего третий день,— качая головой, отвечает за сына дама.

— Приказом по военным училищам главнокомандующий его превосходительства генерал Деникин произвел всех юнкеров, окончивших училища, в офицеры,— выпячивая нижнюю губу, с важностью говорит юноша.

Его сестра с комическим любопытством и не без иронии смотрит на него.

— Вы, кажется, артиллерист? — спрашиваю я, глядя на пушки, перекрещенные на его погонах.

— Вы не ошиблись. Назначен младшим офицером во вторую кубанскую артиллерийскую бригаду, через неделю на фронт. Нас посылают за Царицын, на саратовское направление. Там, около города Камышина, наша вторая кубанская дивизия лупит красных босяков,— с удовольствием рассказывает прапорщик, и его круглое безусое мальчишеское лицо полно такого телячьего восторга, что мне хочется стукнуть по нему кулаком.

— На фронт! — повторяет дама.— Таких детей на фронт! Мыслимое ли дело! Господи, и когда кончится все это?

— Теперь недолго, мама. Большевики бегут, и мы скоро войдем в белокаменную Москву, — говорят прапорщик.

Я вспоминаю «Донскую волну» с ее стихами, рисунками и рассказами, и меня не удивляет, что этот юнец целиком повторяет этот, с позволения сказать, журнал.

— Надо спешить, а то еще генералы Мамонтов и Шкуро раньше нас захватят Москву, — вдруг заявляет он.

— А разве ваша бригада не с ними? — удивляюсь я.

— Не-ет! Мы первого кубанского корпуса, генерала Покровского. Наш корпус, как я уже сказал, на саратовском направлении, а Мамонтов и Шкуро на центральном.

— И надолго вы в Грозный?

— Повидаться с отцом. Он у нас больной, не встает с постели. Мишенька погостит, пробудет оутки и... назад в Екатеринодар, — с усилием говорит дама.

Но сын не замечает ее потемневшего лица. «Белокаменная Москва», чины, ордена, медали, конечно, мерещатся ему. Он совсем разболтался, начинает рассказывать всякую всячину: об Алексеевском училище, в котором учился, о каких-то неведомых мне капитанах и сотниках, о запасных частях к полученным от союзников пушкам «Канэ».

Я начинаю побаиваться болтливости этого не в меру разговорившегося молодца и перевожу разговор на Владикавказ. Он вспоминает свою гимнастику и снова делается театрално грустным, страдающим влюбленным. Мать с нежностью глядит на него и тихо гладит его руку. Сестра улыбается, как бы говоря: «Не обращайте внимания, он добрый и хороший мальчик!» Я понимающе киваю ей в ответ и думаю: «Сколько же может быть лет этому «офицеру» и защитнику «единой и неделимой»?

— В июле исполнилось семнадцать, — шепчет мне дама, глядя вслед вышедшему в коридор сыну.

— Как же вы сумели прорваться сюда, ведь в Прохладной был затор из поездов? — спрашиваю моих дам.

— Это в обратном направлении, в сторону Кубани, — дама понижает голос, — отсюда посланы туда войска.

— На Кубань? Зачем же туда войска? — совершенно искренне изумляюсь я.

— А-ах, да разве ж теперь поймешь, где фронты и куда надо посылать войска! — с отчаянием в голосе отвечает дама. — Какие-то самостийники там оказались. Были все время казаками, служили царю и отечеству — и вдруг... самостийной Кубани потребовали.

— Что же это такое за самостийность?

— Не знаю, свою республику хотят, что ли. Кто их там



разберет! Однако на всякий случай туда направили горцев.

— Каких горцев?

— Местных — чеченцев, осетин, кабардинцев, целую дивизию, и пушки с ними, и всякая всячина. Я сама видела их в Армавире на станции.

— Да нет, мама, горцев не туда, горцев на Киевский фронт послали, а на Кубани одни только военные училища мобилизованы против этих самостийников, — прерывает дочь.

— Может быть... может быть... Плохо я разбираюсь во всем этом. Одно только понимаю, что должен же быть конец этой ужасной войне, — сокрушенно говорит дама и начинает раскладывать на оконном столике провизию — яйца, курицу, ломтики сала, хлеб.

Дама приглашает меня покушать с ними. Через полчаса обед заканчивается одним из моих арбузов, действительно до того сочным и сладким, что я с благодарностью вспоминаю моего щедрого хозяина в Прохладной. Посреди пиршества в дверь купе постучали. В дверях — два офицера, за ними — казаки с винтовками. Офицеры оглядывают нас. У меня в руке огромный кусок арбуза, который я только что поднес ко рту. Дама с изумлением смотрит на вошедших. Девушка, что-то рассказывавшая нам, застывает со смеющимся лицом. Прапорщик встает, видя старших в чине офицеров.

Один из вошедших останавливается в дверях, другой, в капитанских погонах, еще раз оглядывает нас и коротко говорит:

— С кем имею честь?

— Прапорщик Сазонов второй кубанский артиллерийской бригады, после производства еду из Екатеринодара в Грозный на сутки, после чего возвращаюсь обратно в бригаду для следования...

Первый офицер что-то шепчет второму. Тот кивает головой.

— ...а это моя семья, приехавшая за мною...

— Благодарю вас! Прошу извинить, медам, за беспокойство, — и, отдав честь, офицеры уходят из купе.

— По-видимому, они и меня сочли за члена вашей семьи, — улыбаясь, говорю я и вонзаю зубы в арбузный ломоть.

— Просто видят, что едут благородные, порядочные люди, — объясняет дама.

— Ну, в таком случае я буду звать вас кузенom. Можно? — хохочет девушка.

— Третий раз осматривают пассажиров. Прямо даже надоели, — вздыхает дама.

— Нельзя иначе, мамочка, — важно говорит прапорщик.

До самого Беслана нас никто уже больше не тревожит. Не-

ожиданный обход настолько сблизил нас, что мы едем весело, запросто, словно я действительно член их семьи и «кузен», как теперь всю дорогу называет меня девушка.

На станции Беслан мне надо пересаживаться на «передачу» — так здесь называют владикавказский поезд, прибывающий сюда к моменту прихода дальних поездов. Прощаясь, дама приглашает меня:

— Если будете в Грозном, непременно заходите к нам. Будем очень рады.

Записываю их адрес. Прапорщик провожает меня до вокзала. Он долго жмет мне руку, по-мальчишески краснеет и наконец говорит:

— Если не трудно, передайте, пожалуйста, это письмо во Владикавказе. Адрес и фамилия указаны. Буду вам благодарен.

Обещаю сделать это в первый же день приезда во Владикавказ.

Мы прощаемся, и влюбленный прапорщик спешит к своему вагону.

Когда отходит «передача», я достаю из кармана письмо юноши и осторожно вскрываю его. Может быть, это и не совсем деликатно, но обстоятельства, в которых я нахожусь, обязывают меня к этому.

«Марьинская улица, дом 14, квартира 3. Ее высокоблагородию Анне Николаевне Масленниковой.

Здравствуйте, милая Неточка! Пишу вам наспех, в поезде, так как после производства в офицеры еду спешно на один день в Грозный, а затем на фронт биться с большевиками за святую Русь. Меня произвели в офицеры, мне очень, очень жаль, что я не могу приехать к вам и повидаться с теми, кого люблю. Не забывайте меня, а я вас, Неточка, люблю, люблю и буду любить. Ваш локон и карточки всегда у меня на сердце. Помните: «Только утро любви хорошо, хороши только первые робкие встречи». Ваш Надсон у меня; когда я его читаю, всегда вспоминаю вас, Неточка. Надо спешить. Поезд подходит к Беслану. Целую, целую 100 000 раз. Если меня убьют, то последняя мысль будет, Неточка, о вас.

Письмо вам передаст один очень хороший, благородный человек, мой личный друг. До свиданья. Ваш до гроба Миша.

Писать мне надо по адресу: Действующая армия, 1-й кубанский корпус, 2-я кубанская артиллерийская бригада. Прапорщику Михаилу Андреевичу Сазонову.

Целую, целую, целую!!!»

Заклеиваю письмо «личного друга» и кладу в карман.

Такое письмо сохранию, а возможно, и передам адресату.

Через полтора часа мы въезжаем в город. Серо-синие горы с горящими над ними облаками, с зелеными лесами и белой сахарной головой Казбека стоят над Владикавказом.

Еще будучи в Астрахани, я познакомился с Ладом Канделаки. Это очень приветливый человек, с добрыми глазами и тихим, чуть глуховатым голосом. Старый коммунист, издевавший ссылку и поселения, он был полон юношеского пыла и веры в жизнь. А ведь мы знали: Лад тяжело, безнадежно болен туберкулезом.

Лад в недалеком будущем предстояло отправиться в Баку, но как, когда и для какой работы — мне это было неизвестно. Вместе с Ладом ко мне приходил высокий, полный, седеющий человек с круглым добродушным лицом и запорожскими, свисавшими книзу усами. Мне известно, что он из Владикавказа, что зовут его Григорием Ивановичем Остапенко. Часто мы втроем бродили по Астрахани, осматривали каналы, рукава, притоки и пригороды, носившие странные названия, вроде Кутума, Балды и т. п.

В этих прогулках я сблизился с ними. Мы трое были кавказцы и находили в беседах друг с другом много общего. Наши разговоры напоминали нам о дорогом, отрезанном от нас Кавказе.

Однажды мы купили у рыбака только что выловленного им из реки сома. Все трое были голодны, все трое решили тотчас же нести сома к себе (а жили мы в бывшей «Боярской гостинице», занимая три номера рядом). По дороге Остапенко очень внушительно и серьезно рассказывал о том, как можно приготовить из сома очень вкусное блюдо. Но когда пришли в гостиницу, скромный Лад решительно заявил, что мастерски приготовить сома способен только он.

— Что-что, а уж насчет рыбы мы, тифлисцы, дадим тебе, Гриша, сто очков вперед, — с непоколебимым спокойствием сказал Канделаки.

К моему удивлению, Остапенко не воспротивился желанию Лада сделать из сома «цоцхали по-тифлисски». Он что-то солидно пробормотал о преимуществах холодной заливной рыбы, но покорно уступил сома засучившему рукава товарищу.

Так как я ни по-тифлисски, ни по-владикавказски и вообще ни по-какому не умел готовить рыбу, то молча сидел в углу в ожидании прославленного цоцхали Лада.

Ждать пришлось долго. Прежде всего мои повара как-то не по-настоящему выпотрошили сома и зачем-то исполосовали его. Потом Лад стал искать посуду, в которой можно было бы сва-

рять рыбу, но в некогда знаменитой гостинице не нашлось ни кастрюль, ни судков. На наши мольбы дежурный комендант молча снял со стены свой черный, закопченный дымом солдатский котелок и коротко сказал:

— Берите, ребята, только верните.

После этого возникло новое затруднение. Ведь рыбу надо было варить, но где и на чем? Плавающих очагов в гостинице не имелось. Кухня не работала с 1918 года. Мы походили, подумали, поговорили и разбрелись по двору в поисках топлива для печи.

Первым пришел я, принеся из сарая поломанный венский стул и остатки кресла красного дерева. По правде говоря, они были целы до моего прихода в сарай, но голод не тетка. За мной пришел Канделаки, неся охапку прелой соломы, найденной им в конюшне отдела снабжения. Позже всех явился Григорий Иванович. Как человек солидный и сильный, он вывернул перила и одну ступеньку черной лестницы.

Спустя десять минут очаг пылал, дым из непрочищенной трубы валил внутрь кухни, а я, спасаясь от удушья, высовывал на балкон голову, терпеливо ожидая цоцхали.

Когда кушанье было готово, оказалось, что есть его нельзя. Разрубленный на кусочки сом разварился до того, что вместо рыбы получились противные белесые нити, и, кроме того, сом так пропах дымом и «ароматом» никогда, по-видимому, не чищенного комендантского котелка, что даже вода в нем побурела и стала пахнуть помойным ведром. Ко всему этому надо добавить, что наш знаменитый повар сварил сома без соли. Словом, варево вылили во двор, а котелок возвратили коменданту.

Голодные, но веселые, мы долго издевались над «тифлисским цоцхали» Ладю.

— Дали бы вы мне перцу, соли, толченого ореха, немножко кураги с кишмишом и бутылочку нашарапи, я бы вам сделал цоцхали... а так что... волшебник я, что ли? — невозмутимо объяснил свою неудачу Канделаки.

Вскоре оба мои приятеля исчезли из Астрахани. Я знал, что они, по заданиям Кирова, уехали морем в Баку. Отправляя меня за кордон, Сергей Миронович назвал фамилию Остапенко, указав, что с ним я обязательно должен встретиться во Владикавказе и через него передать инструкции в горские повстанческие отряды.

Вспоминая все это, я шел по улицам Владикавказа, заходил в магазины, кафе, осматривал сады, неотступно обдумывая, как повидаться с Григорием Остапенко.

Иду на улицу Льва Толстого, где живет Остапенко.

Год назад на улицах Владикавказа разыгрался жестокий многодневный бой. Прохожу по Александровскому проспекту, мимо обезображенных снарядами зданий штаба гарнизона и гостиницы «Гранд-отель», мимо обгорелых домов с разбитыми стенами, провалившимися крышами. Следы пуль избородили фасады, окна, подъезды и карнизы домов, деревья, фонарные столбы — все это пронизано, истыкано пулями. На Московской улице обуглившиеся руины. Закопченный кирпич, погнувшиеся балки и мусор — вот все, что осталось от домов. Сворачиваю на Офицерскую улицу. Тут разрушений меньше, хотя и попадаются забитые досками здания. Добираюсь до слободки. Здесь одноэтажные домшки с заборчиками и садами. Куры и поросята бродят по мостовой, бородатый козел пасется на приколе, пощипывая пробивающуюся меж камнями траву.

Улица Льва Толстого, дом семнадцать. Иду медленно, словно прогуливаюсь. Вот он, семнадцатый номер! Достая из кармана коробку папирос и роняю ее. Быстро нагибаюсь, успевая снизу, из-под ног, оглядеть за собой улицу. Кажется, ничего подозрительного. Закуриваю папиросу, но проклятые спички ломаются, одна, другая, третья, — словом, ровно столько времени не зажигаются они, сколько нужно, чтобы оглядеть два открытых окна дома семнадцать и фонарь с номером. Ни на фонаре, ни на воротах не указана фамилия хозяина дома. Беззаботным, спокойным шагом прохожу дальше. Дело в том, что, когда Киров поручил мне найти во Владикавказе Остапенко, он предупредил:

— Несколько недель мы ничего не получаем от него. Из Закавказья агентура тоже ничего о нем не сообщает. Может быть, его уже и нет там... возможно, что он уехал в горы, а может быть, и погиб. Будьте осторожны!

Выхожу на широкую Марьинскую улицу, а в голове лихорадочно работает одна и та же мысль: «Как узнать, здесь ли Остапенко?»

Захожу в мелочную лавку, покупаю коробку папирос и два фунта винограда. Ем виноград и уже по другой стороне возвращаюсь на улицу Льва Толстого. Чтобы не навести шпиков на квартиру Остапенко, захожу в дом № 4. Во дворе играют ребята, на балконе стирает женщина. Она оставляет белье и, вытирая ладонью усталое лицо, вопросительно смотрит на меня. Я достая из кармана блокнот и, делая вид, будто бы ищу, долго листаю его и наконец говорю:

— Скажите, пожалуйста, не живет ли в этом доме доктор Александр Иванович Поярков? Врач по нервным болезням.

Из дверей показывается еще одна женщина. Она переспра-

шивает фамилию врача, а затем все, и женщины и дети, хором отвечают, что такого врача в их доме нет.

— И на улице нашей тоже нет Пояркова... Я здесь семь лет живу, всех знаю,— говорит женщина, стирающая белье, и снова нагибается над корытом.

— Может, Вольфзон, доктор. Такой есть, только он не здесь, а на Офицерской, и не по нервным, а детский врач,— объясняет вторая.

Вежливо извиняюсь и, провожаемый до калитки детворой, выхожу на улицу.

Ничего подозрительного. Кажется, никто в этом городе не интересовался мной. Обойдя несколько дворов, захожу в дом номер семнадцать. Маленькая собака лаем встречает меня. Женщина небольшого роста поднимается со стула и спускается с балкона.

Хочу спросить ее и вдруг вижу обедающего на веранде человека. Он откладывает ложку, поднимает голову, и я узнаю в нем Григория Ивановича Остапенко.

Делаю рукой приветственный жест и говорю, проходя мимо остановившейся, несколько растерявшейся женщины:

— Хлеб-соль, доброго аппетита!

Остапенко смотрит на меня круглыми, совершенно не узнающими глазами.

— Извиняюсь, господин... но вы, наверное, ошиблись. Первый раз вижу вас.

Он смотрит на меня таким ясным и убеждающим взглядом, что я теряюсь и, не зная, что ответить, бормочу, оглядываясь на женщину:

— Возможно... возможно, очень может быть...

— Наверное, в городе есть еще один человек, так на меня похожий, что вот придут, как вы, и здоровкаются, а потом разговоримся — выясняется, что это какого-то другого Остапенко ищут. Надо поглядеть на него, на моего тезку... — ласковым мягким тенорком рассказывает Григорий Иванович.

И я, глядя в его лучистые, ясные глаза, слушаю спокойное вранье.

Запорожские усы Григория Ивановича так же висят книзу, как висели в Астрахани, но только на них сейчас поблескивает жирок от борща. Женщина недоверчиво глядит на меня, переводит глаза на Остапенко и затем уходит внутрь дома.

— Григорий Иванович, ты что, очумел, что ли? Ведь это ж я. Вспомни Астрахань, Ладо, «Боярскую гостиницу», — вполголоса говорю ему, но он словно ничего не слышит.

— Надо бы мне самому как-нибудь найти этого моего тезку.

Даже любопытно знать, какой такой он из себя, а то раз пять меня с ним путали,— продолжает он.

— Брось дурака валять, Григорий Иванович, я от Реввоенсовета,— еще тише говорю я.

Но Остапенко, продолжая громко рассказывать о забавном совпадении со своим тезкой, быстро сходит с террасы и, оставив меня одного, идет к калитке. Я провожаю его недоумевающим взглядом и, не зная, что мне делать, сажусь на стул. Но вот появляется Григорий Иванович. Он громко кричит через весь двор:

— Жена-а, а жена, Дарья, Даша... неси-ка сюда пшзоди да молоток. Ставно надо подбить, а то вся разохла,— гляди, развалится.

Мимо меня проходит безмолвная женщина с молотком в руках. С улицы раздаются стук, пыхтение и бормотанье Григория Ивановича. Наконец ставня подбита, и, закрывая поплотнее калитку, появляется он сам.

— Пересядь подальше, в тень от двери,— негромко говорит он и выжидательно глядит на меня.

Я осматриваюсь и говорю условную фразу:

— Ну и ветер, небось с Каспия дождь нагонит.

Лицо Остапенко светлеет, он мягко улыбается, дружески кивая мне головой.

— Говори все, только тихо. Жена от соседей улицу сторожить будет.

Рассказываю основную задачу, ради которой прибыл сюда:

— Донесений от тебя давно нет. Требуются самые подробные данные о силах «добармии» и казачества на Северном Кавказе. Второе — в ближайшее время Красная Армия по всему фронту перейдет в наступление на белых. Для общих согласованных действий надо, чтобы все наиболее крупные повстанческие отряды, действующие в тылу неприятеля, теперь же послали своих представителей в Астрахань. Эта директива Миронича непосредственно относится к тебе. Ты должен через кого следует довести об этом до сведения всех горских повстанческих отрядов.

— А дагестанский и святокрестовские?

— Первый уже получил директивы через кизлярских камышан, а также и из Баку, от нашего подпольного комитета, а партизаны Святого Креста связаны непосредственно с Реввоенсоветом. Там есть наши инструкторы.

— Да. Об этом слышал. Какой срок выполнения директивы?

— Самый короткий. Не позже двадцатого. На этих днях я должен вернуться в камыши.

— Постараюсь сделать что можно,— раздумчиво говорит Остапенко.— Как Миронич?

— Здоров, шлет привет, надеется на тебя и остальных товарищей. Почему ты так долго не даешь о себе знать в Тифлис?

— Был в отъезде. Ведь я работаю здесь механиком в депо. Нас, девять человек, срочно вызвали в Минеральные Воды на работы по ремонту бронепоездов «Терский казак» и «Свободная Россия».

Остапенко с важностью продолжает, глаза его весело поблескивают.

— Это что! Я, брат, личный поезд генерала Вдовенко в порядок приводил... Семь суток с паровозом и механизмами возился.

— Это еще что за цаца?

— Кто? Вдовенко? Ого, тебе, брат, надо о нем знать непременно. Герасим Андреевич Вдовенко — генерал-лейтенант и войсковой атаман Терского войска. Штука серьезная. Я в его поезде как во дворце был — бархат, зеркала, роскошь, а кормили...

— Лучше, чем цоцхали нашего друга?

— Кого? Ладо? Малость будет получше,— улыбается Остапенко.— Денег его превосходительство отвалил кучу за примерную работу и еще обещал мануфактурой наградить.

Придвигаюсь к нему ближе и тихо спрашиваю:

— Григорий Иванович, расскажи мне толком, как ты попал в Астрахань, как вернулся и почему у белых ты в таком доверии и почете.

— А очень просто. В Астрахань я попал из Баку на обыкновенной туркменской лодке. Меня направил туда наш подпольный Кавказский комитет для связи и доклада Кирову. А в Баку приехал отсюда... Был командирован начальником военных сообщений генералом Карцевым в Азербайджан за девятью паровозами и частью деповского имущества, которые, согласно договору между Деникиным и азербайджанскими мусаватистами, белые должны были получить из Баку. Я был в числе посланных за этим добром. Понятно?

— Понятно. То-то ты быстро исчез из Астрахани.

— Я и так денька четыре пропустил. Еле отбрехался перед своим начальством. Сказал, на Мугань ездил к своим родичам и там пьянствовал это время.

— А теперь как? Не догадываются о тебе беляки?

— Пока нет. На лучшем счету. Даже другим мастерам в пример ставят,— смеется он.

— А Ладо где?

Лицо Остапенко темнеет. Он машет рукой и тихо говорит:



— Плохо его дело. Умирает наш товарищ. У него скоротечная началась. Я имею из Тифлиса сведения, что много-много — ну полгода наш Ладо протянет.

Мы долго молчим, каждый про себя вспоминая о милом, хорошем Ладо.

На ночь Остапенко укладывает меня в саду и приставляет лестницу к стене соседнего амбара.

— В случае чего — по этой лестнице и прямо по крыше, там сено. Прыгай с крыши в него и беги через двор. Отворишь калитку, перейди улицу и по аллейке вниз. Там бани, церковь и сады. Ни одна собака не сыщет.

— А ты?

— А мне бежать нельзя. Если прямых улик не будет, меня начальство освободит. Никогда не поверят, что такой обласканный ими человек большевикам служит. Да ко мне, правду сказать, без шухера не доберешься... Собаку на ночь с цепи спускаю, дверь на засове держу. Поди проберись. Сегодня у меня переспишь, а завтра я тебя на ночевку устрою. Когда ко мне идешь, сначала погляди в окно. Ежели в нем фикус в горшке стоит, не останавливайся, проходи мимо. Потом еще не забудь: когда все в порядке, днем у меня во втором окне граммофон с трубой выставлен, а ночью у ворот, под фонарем, кирпичи лежат. Если же их нет — не ходи. Утром покажу тебе еще одну премудрость, а теперь на боковую. В шесть часов в депо на работу.

Около пяти часов меня будит хозяин. Григорий Иванович в сорочке, но уже умыт. Приглаживая щеткою усы, он говорит:

— Попьешь чаю, посиди, не спеши в город. Часов в десять, когда придет с базара жинка, она тебе скажет, тогда иди, а пока — подумай, что и как тебе здесь делать. Насчет задания Кирова — сегодня, ну в крайнем случае завтра получишь ответ. Теперь так: днем сюда не возвращайся, а к пяти часам, слышишь ровно в пять, приходи в баню Андреева, это тут над Терekom, каждый тебе покажет, в общую мыльню... Там встретимся, а потом куда — сообразим. Понятно? Да, еще вот скажи жинке, чтобы она тебе белье дала с мочалкой, чтоб как следует было. Если что заметишь, слежку или что — ни сюда, ни в баню не ходи. Ну, бывай здоров! — он неожиданно нежно прижимает свои запорожские усы к моему заспанному лицу.

До десяти часов остаюсь один во всем доме. Время тянется медленно и скучно. Раз два кто-то неистово стучит в ворота, и слышится детский голос:

— Тетя Даша, тетя Даша! Мама у вас карасинчику просит... чи вы не дома, а, тетя Даша?

Стук стихает. За воротами проходят люди. Через стенку доносятся шаги, кашель, отдельные возгласы, слова.

Сижу на веранде, изредка поглядывая на садовую лестницу, все еще не убрannую со стены.

Часов около десяти приходит хозяйка. Она улыбается мне и тихо говорит:

— Можно идти, товарищ. На улице чисто.

Засунув под мышку сверток с мылом, мочалкой и бельем, иду в город.

До пяти часов успеваю обойти и дважды объехать на трамвае Владикавказ, зайти в кафе, прочесть три газеты и купить в книжном магазине томики стихов Бодлера, Гумилева и Игоря Северянина, ноты с песенками Вертинского «Лиловый негр» и «Кокаинеточка», а также «Гори, гори, моя звезда»; под этим заглавием четко напечатано: «Любимый романс адмирала Колчака». Покупаю потому, что вообще люблю стихи, а также потому, что эти поэты, а в особенности песенки с нотами, по понятиям белогвардейской обывательщины, чужды революционерам, а значит, враждебны большевикам. Покупаю эти книги еще и потому, что помню рассказ Сергея Мироновича об одном томском великовозрастном гимназисте, прекрасном революционере и товарище, сумевшем освободиться из-под ареста благодаря лишь портрету царя Николая Второго, который он предусмотрительно носил при себе.

Как увидели городские портрет, размякли, переглянулись, а околоточный даже извинился за беспокойство. Если бы обыскали его получше, они бы нашли у него в ботинках текст прокламации, которую гимназист нес в подпольную типографию большевистского комитета. Случай и хладнокровие — великие помощники в таком деле.

Не обнаружив за собой слезки, к пяти часам прихожу в бани Андреева. В мыльной шумно, пар клубится под потолком. Протискиваюсь к окну и начинаю мыться, заняв позицию так, чтобы из моего угла был виден проход в предбанник.

— Потрите, будьте ласковы, спину, если не трудно, — слышу я за собой знакомый голос. От стенки, окутанный свисающими сгустками пены, отделяется Григорий Иванович. Его хитрые глазки смеются, а голос очень убедительно и вкрадчиво гудит: — Только посильнее, не жалейте мочалки.

Тру ему спину усердно, докрасна; он удовлетворенно кричит и вполголоса говорит:

— После баньки иди на Курскую слободку, Госпитальная улица, девятнадцать, спроси Гоголева Сашу... Сильней, сильней трите! О-ох, хорошо, — стонет он и, закатывая глаза, еще громче

кричит: — А теперь, будьте ласковы, еще разок между лопатками. Во-от так, вот добре! Не забудешь: Госпитальная, девятнадцать, Гоголев Саша? — опять шепчет он и скороговоркой заканчивает: — Это женин брат. Скажешь — от Даши белье принес. Не забудь эти слова и отдай ему узелок с барахлишком. У него и переночуешь. Он тебе кое-что даст, прочитай, запомни наизусть, а потом сожги... Вот хорошо, а теперь давайте вам потру спинку. — И, наклонившись к моему уху, говорит: — Ко мне завтра не ходи. Послезавтра, если все будет в порядке, встретимся на железном мосту, в четверть шестого. Есть много и плохих и хороших вестей. Послезавтра ночью поедем в Грозный... Будь здоров, — заканчивает он и, как заправский банщик, похлопывает меня по спине. — Вот и отмыл, ни одного греха не оставил. Бувайте здоровеньки!

Он грузно встает и степенно уходит.

Помывшись, выхожу на улицу, повторяя про себя адрес, часы и фамилию, названные Остапенко.

★ ★ ★

## ЗАБЫТОЕ ПИСЬМО

Саша Гоголев, тихий и молчаливый человек, вводит меня в комнату. За столом пьют чай его жена, двое детей и глухой, трясущийся от древности старик.

— Товарищ мой, Степа Гладышев, — кивая на меня головой, говорит Саша. После чая он уводит меня в маленькую клетушку и достает из-под киота свернутый лист. — Вот от Григория Ивановича, потом сожгите, — коротко говорит он и, пожелав спокойной ночи, уходит к себе.

Читаю бумагу. Это сведения о численности «добровольческой» армии, местонахождении ее соединений и фамилии командиров. Запомнить все это нелегко, раздумываю несколько минут, затем иду к уже улегшемуся спать хозяину дома.

— Есть у вас молоко?

— Есть! — отвечает он и, не спрашивая, зачем оно мне нужно, идет на кухню и приносит полкрийки молока.

Он снова укладывается спать, а я начинаю готовить симпатические чернила. Вожусь долго, пока у меня не набирается с полпузырька. В моей памяти встает темная астраханская ночь, кабинет Кирова.

Закончив работу, записываю полученные сведения.

Написанное долго не сохнет, оставляя на бумаге след. Через полчаса бумага снова принимает девственно чистый вид.

Утром остаюсь один и пью чай с дедом, бывшим николаевским солдатом, бессвязно, но охотно рассказывающим о «замирении горцев». Старик живет здесь свыше пятидесяти лет.

— Нету, сынок, в России города краше Капкая<sup>8</sup>,— жуя беззубыми деснами мякиш, хвалит он свой город.

Я поддакиваю ему. За этим занятием, часов около одиннадцати, нас застаёт Саша. Он прихлебывает остывший чай, спрашивает, где жена, и молча сует мне вынутую из сумки бумагу. Саша Гоголев — почтальон. Из его сумки торчат сложенные газеты, краешек журнала, письма.

— Это от Григория Ивановича... Документ вам, вроде свидетельства личности, а это газетки, почитайте, что господа наши про Советы пишут,— ухмыляется он, кладя на стол несколько газет. Затем настороженно и веско говорит: — Григорий Иванович просит сегодня не ходить к ним, а завтра он вас встретит, как условились.

Саша уходит. Не понимаю, почему Остапенко вторично и так настойчиво предостерегает меня от посещения его квартиры. Может быть, за мной ведется слежка.

Читаю «документ». В углу печатный штамп:

«Управление  
объединенного Союза городов Юга России  
при Главнокомандующем  
вооруженными силами Юга

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Сним удостоверяется, что предъявитель сего удостоверения есть действительно дворянин Кирилл Владимирович Дигорский, служащий чиновником для особых поручений при департаменте заготовок Союза, и послан в районы Терско-Дагестанского военного губернаторства для исполнения возложенных на него департаментом поручений, что подписями и приложением печати подтверждается.

Исп. должность директора департамента  
действительный статский советник

А. К р у к о в с к и й.

Начальник отделения заготовок С о м о в.

Сбоку чернеет жирная большая печать. На ней царский орел со скипетром, но без короны.

Еще ниже припечатано: «Действительно в применении к рос-

---

<sup>8</sup> Название аула, на месте которого основан Владикавказ.

сийскому гражданскому паспорту за номером 0541965, выданному на то же лицо».

Я прячу в паспорт этот документ. Ясно, что Григорий Иванович крепко и тесно связан не только с нашим подпольным комитетом, но и со многими другими лицами, работающими для нас в белогвардейских учреждениях. Во всяком случае, этот документ может весьма пригодиться мне. Читаю газеты «Утро юга», «Вечернее время» Б. Суворина, «Терский казак». Опять победы и «безудержное бегство красных», «Бои под Усманыю», «Бой у станции Котлубань», «Упорное сражение под Камышином», «Красные эвакуируют Астрахань». Это еще что? Быстро прочитаю «Сообщение штаба Астраханской группы»:

«Согласно данным военной разведки, совершенно точно установлено, что части 11-й Красной астраханской армии готовятся к эвакуации города. Пока из Астрахани эвакуируются мастерские, оборудование заводов и судоверфей. Поезда, груженные награбленным у населения добром, вереницей тянутся на север. Семьи ответственных коммунистов уже бежали из города. Для эвакуации самих комиссаров под парами стоят готовые к отходу поезда. Население несчастного города с нескрываемой радостью ждет прихода русских добровольческих частей. Главный большевистский комиссар и агитатор Киров улетел из города, бросив на произвол судьбы свою армию и обманутых «товарищей».

Первые строки я читал, несколько беспокоясь, но, когда дошел до агитатора Кирова, бросившего всех на произвол судьбы и улетевшего неизвестно куда, мне стало весело. Так неуклюже соврать могло только белогвардейское информационное бюро. Каждый из нас прекрасно знает Сергея Мироновича, его твердость, отвагу и несгибаемый, стальной характер. Никто не усомнится в том, что, пока Киров жив и «пока в Астраханском крае есть хоть один коммунист, устье реки Волги было, есть и будет советским».

Мне понятно теперь происхождение этих «новостей» — это сделала телеграмма Троцкого, так взволновавшая нас.

Продолжаю просматривать телеграммы: «В г. Петровске повешен захваченный в море пробиравшийся на туркменской лодке из Астрахани в Баку большевистский комиссар Петров. Вместе с ним повешены четверо мужчин и две женщины, ярые коммунисты-агитаторы, ехавшие в тыл добармии для пропаганды и разложения белых русских войск».

Откладываю газеты. Кто из наших товарищей погиб под этой скромной фамилией — Петров? Кто другие? Перебираю в памяти ряд фамилий... Быть может, это кто-нибудь из политотдела,

из нашей партиячейки, с кем я еще встречался десять — пятнадцать дней назад. Может быть, Самойлов, Богословский, Капланова. Я долго думаю, не слушая, не обращая внимания на бормотание деда, что-то рассказывающего о себе.

Уже третий час. В этом южном городе в это время солнце так печет, что поневоле ищешь прохлады, бежишь в тень, без конца пьешь воду. Сидишь над Тереком, бурно и пенно бьющимся о валуны. Впереди горит, переливается Казбек. Его снежная вершина поднялась над десятком бесформенных диких скал. Голубая пелена стоит над горами. По аллеям проходят люди. Позади — огромный парк, впереди — горы, у ног — река. В отдалении повис тот самый железный мост, на котором завтра, в четверть шестого, встречу с Остапенко.

На душе тревожно... Чудятся предательство и слежка. Даже в этом ярком солнце не нахожу успокоения себе.

Что это? Сдают нервы или сказались на мне газетные строчки о повешенном Петрове? А может быть, настоячивые предупреждения Григория Ивановича не заходить сегодня к нему? Ясно лишь одно — шум Терека утомляет, тревожит меня. Встаю с камня и ухожу дальше от бурунов и пены, от грохота ревущей реки. Навстречу идет дама. Она быстро оглядывает меня и проходит мимо. Смотрю ей вслед. Зачем она так взглянула на меня? Любопытство или слежка? У пруда стоят двое мужчин. При моем появлении один из них отходит в сторону и исчезает за купальней. Если это шпик, то выход на улицу отрезан: слева — река, справа — пруд, а вокруг — гуляющие люди... Их много, кто из них враг, кто равнодушный и где меня ждет засада? Пересиливая волнение, с очень спокойным видом иду под навес, к летнему кафе, и требую мороженого. Съедаю две порции, пью нарзан, шучу с официанткой, а на душе беспокойно.

В виски назойливо стучится, бьет одно и то же слово: «Петров! Петров! Петров».

Бесцельное шатание по улицам утомляет. За каждым углом мерещится патруль. Захожу в кафе, выпиваю какао, ем яичницу, разворачиваю газету «Новости юга», поглядывая сквозь маленькую проткнутую пальцем дырочку. Кажется, все благополучно. Часы на стене бьют шесть раз. Надо наконец что-то предпринять. Не ходить же мне по городу и по ресторанам, пока на меня на самом деле не обратят внимания агенты контрразведки.

Расплачиваюсь и выхожу на улицу. Никто вслед за мной не поднялся, никто не вышел, но это, конечно, еще ничего не значит. Если я под наблюдением филеров, они, несомненно, уже стоят в оцеплении на улице и по углам квартала. Шагаю нале-

во, затем стремительно схожу с тротуара и вскакиваю на подножку бегущего трамвая. Украдкой оглядываюсь по сторонам. Ничего подозрительного. Плачу за проезд и пробираюсь вперед, чтобы на всякий случай быть поближе к выходу. Трамвай звенит и катится по рельсам, обгоняя пешеходов, арбы, фургоны, линейки. Проехав две остановки, схожу и смешиваюсь с толпой. Ничего подозрительного, и все-таки состояние тревоги, внутреннего все усиливающегося беспокойства не покидает меня. Оно ширится, растет. Мне кажется, что за мной неотступно следят.

Мучительно хочется покоя. Лечь в темноте, в одиночестве, подальше от людей и шума, и крепко уснуть. Спать хочется до того сильно, что с трудом подавляю зевоту. Но куда идти? Где провести ночь? К Саше Гоголеву почему-то идти боязно. Кроме Остапенко, Сергей Миронович указал мне еще один адрес, на Базарной улице, в доме шесть, но идти туда я не могу; если за мной установлено наблюдение, то наведу белогвардейцев на конспиративную квартиру. По инструкции Кирова, я должен связаться и работать во Владикавказе только с Остапенко: «Если его в городе нет, то лишь в этом случае свяжитесь с домом шесть на Базарной».

Опять сворачиваю к Тереку, на так называемые деревянные мостки. Шум от ревущего потока растет. Белая пена, брызги, остроносые камни, обточенные валуны. Я стою на высоком, крутом берегу. На другой стороне персидская мечеть. Ее яркие, покрытые цветной глазурью плитки, словно хвост гигантской жар-птицы, сверкают в розовых закатных огнях. Иду туда.

Во дворе мечети прохладно, пахнет вялыми травами. Старый одноглазый перс напряженно смотрит на меня, стараясь разгадать, зачем я зашел в тихий чужой мне двор.

— Ты сторож?

— Да... Ишто нада? — открывая беззубый рот, шамкает старик.

— Так просто зашел... очень красивая у вас мечеть, — говорю я. — Мечеть ваша очень хорошая.

— Ой, правда, правда! Его много год строил... зато красивый масчид вышла, — улыбается старик.

Он водит меня по двору, заводит в какой-то закоулок, через который по лесенке проходим во второй двор. На цветных плитках причудливый золотой орнамент из священных текстов.

— Из куран... Аллахын китаб<sup>9</sup>, — почтительно поясняет перс.

Мы одни во дворе огромной мечети. Наши шаги гулко звучат. Тишина и одиночество успокаивают меня.

<sup>9</sup> Божья книга.

Вспоминаю свои недавние страхи, и мне даже хочется поиздеваться над собой: «Дамская болезнь... нервы!»

Такое укромное и тихое место в моем положении может очень и очень пригодиться. Провожаемый стариком, выхожу из ворот мечети, но уже не с той стороны, откуда вошел, а из боковой дверцы сада. Попадаю в незнакомую, пыльную, обсаженную акациями улицу, по которой с шумом тянутся с базара арбы и тачанки. Надо думать о ночлеге. Но где и как? Куда мне идти? К Остапенко, на Базарную, к Саше — нельзя. В гостиницу — рискованно: хотя все документы у меня в исправности, можно попасть в облаву.

Иду вверх по улице. Две растрепанные женщины перегоняют меня. Они о чем-то спорят хриплыми, рассерженными голосами. Одна из них останавливается и, яростно толкая другую в грудь, начинает поносить ее, называя последними словами. Вторая отбивается от нее:

— Это ты такая, а я другая, честная. Молчала бы, ребят ку-ча, муж при доме, а сама чего делаешь?

Обе дрожат от злости. Вдали маячат арбы. Зажигают огни. Улица почти безлюдна.

Останавливаюсь возле ссорящихся и строго говорю:

— Чего не поделили, чего шумите?

— Таких вот, как ты, не поделили, — отвечает первая и продолжает в тихом бешенстве: — Запомни, запомни, Нюрка, я уж тебе отплачу...

— Не забуду, а ты не пужай... не маленькая... — сузив глаза, кричит ей вслед вторая.

— Что это у вас такое? Чего она налетела? — участливо спрашиваю я, идя рядом с женщиной.

Скосив глаза, она быстро оглядывает меня и, чуть улыбнувшись, говорит:

— Дура она, скаженная! Мало ей мужа законного, так она еще на чужих парней зарится.

— Ну разве такая сможет быть вашей соперницей? Куда ей, никогда не поверю. Вы и она — все равно как курица и пава.

Женщина горделиво улыбается, еще раз, уже не без задора, смотрит на меня и, растягивая слова, говорит:

— На-смеш-ни-ки. Па-ва... Какая я па-ва? — с удовольствием повторяет она.

Мы идем рядом.

Эту ночь я крепко сплю в Молоканской слободке, в низенькой комнате Нюры Фоминой.

Часов около десяти выхожу на улицу. По сторонам бредут



солдаты. Слободка остается позади. Сон и покой вернули мне самообладание.

В четверть шестого на железном мосту встречаюсь с Григорием Ивановичем.

— Иди за мной швидчее, только не рядом.

Пропускаю его вперед и иду «швидчее».

Покружив по улицам, Остапенко выходит к слободке, в которой я сегодня ночевал. Оглянувшись, он входит в небольшую хатенку. Следую за ним. В комнате два казака в погонах, с кинжалами на поясах. За столом, с винтовкой в руке, вахмистр государственной стражи. У окна женщина, с любопытством глядящая на меня.

— Вот он! — говорит Остапенко, кивая на меня.

Казаки встают.

Не зная, что и подумать, вопросительно гляжу на него.

— Здравствуйте, товарищ, — мягко улыбаясь, говорит один из казаков.

— Чего молчишь? — хохочет, подмигивая мне, Остапенко. — Думаешь, завалился? Подкузьмил тебя Григорий Иванович?.. — И, хлопая меня по плечу, продолжает: — Свои это, комитетские. Они с нами поедут в Грозный... на линейке, через станицы, по всей Суиже прокатимся. Понял? Поездом, брат, небезопасно.

Мы рассаживаемся. Остапенко внезапно сообщает:

— А ведь у нас беляки вчера по всей улице облаву проводили. Нашу да Офицерскую улицу всю как есть переворошили. И у меня и у соседей были. И знаешь почему? В разведку донос был, будто в нашем квадрате типография подпольная имеется. Конечно, все это враки, никакой тут типографии нет, а сцапать тебя ненароком, как неизвестного человека, очень свободно могли.

— А ты, Григорий Иванович, знал об этом? Потому и не велел ночевать? Неужели сведения имел насчет облавы? — спрашиваю я.

Остапенко жмется, молчит, потом указывает на сидящих:

— Об облаве никто не знал, а вообще их спроси.

— А это, дорогой наш товарищ, вот почему так вышло. Комитет почти всегда имеет сведения о всех работниках, прибывающих из Советской России. Мы их знаем и помогаем им, а о вас сведений не было, только сегодня ночью из Тифлиса уведомили нас. Ну, вы сами понимаете, что, пока этого не было, мы не могли советовать Григорию Ивановичу раскрывать нашу работу и конспирацию.

— Скажи прямо — запрещали, — вставляет Остапенко.

— И скажу: запретили! Судите сами, организация у нас в

городе маленькая, кругом — враги. Предательств и измены не оберешься. Можем ли мы ставить организацию под разгром, да еще в такое время, когда готовится наше наступление на фронтах! — горячо отвечает человек в вахмистерской форме.

— Уж он вас в комитете защищал и так и сяк, и про Астрахань, и про Кирова, и про все рассказывал.

— И все равно не разрешили, — снова бурчит Остапенко.

— Правильно сделали. Ну как тебя съедят «добровольцы», кто тогда нам заменит тебя? Есть еще у нас такой другой, кто бы атаманские паровозы чинил да в войсковом штабе брата в писарях держал? Нет, — сердится собеседник. — Ты себя тоже цени, Григорий Иванович, ежели тебя партия ценит, а товарищ понимает, он не обидится.

Переговорив о делах, получаю информацию, нужную для доклада Реввоенсовету.

Рано утром, по холодку, на парной двусторонней линейке выезжаем в Грозный. Сытые кони весело бегут по мягкой, пыльной дороге. Вокруг сады, огороды, леса.

На линейке два вчерашних казака, Остапенко и я. У казаков в руках винтовки, через пояс и плечи переброшены холщовые патронташи с обоймами.

Вдалеке видны аулы, хутора.

При въезде в Грозный пешая застава просматривает наши документы. Лихой подхорунжий с заломленной набок папахой выдает мне пропуск с комендантской печатью. Слова «для особых поручений», обозначенные в документе, видимо, нравятся ему. Он почтительно рассказывает о том, как надоела ему скучная работа на заставе по проверке документов.

— Никудышное дело. Какие тут могут быть отличия за службу? Разве сюды какой большевик подастся? И где он? Которые в горах с Гикало прячутся, а другие в буруны убегли, там сховались. А нам только и делов, что у кунаков да мужиков базарных бумаги проверять. Вот за три месяца, правильно скажу вам, первая вы личность с таким званием большого классу мимо едете. А то все темная мужичня, аж и говорить с ними не хочется.

— А вы бы на фронт просились. Там веселей, да и чинов добьетесь, — советую я.

— Дак оно бы на фронт и ничего, да мене атаман здешний не пускает. Нужный я для своо дела человек. Опять же у меня болезнь такая есть, подагрика, — может, слыхали об ей? Никак с ею на фронт не пушают.

— Дак вам и лучше, спокойнее, бог даст, целы будете, — ему в тон говорит Остапенко.

— Кто его знает, где хуже, тута или на фронте,— пожимает плечами подхорунжий.— Вон у нас, в Шатое, десятого с бандою Гикало возле Воздвиженской бой был,— может, слышали?

— Бой? — переспрашиваю я.— Не-ет, не слышал.

— Был. Наши с красными схватились, дюже схлестнулись, да так, аж дым от ихова войска пошел, да и нам тоже мало не было... С нашей пешей сотни семьдесят человек ходило, а возвратнулось всего ничего... человек тридцать.

— Неужели такие потери?

— Не-ет, наших ребят потерь не было. С карательной бригады да с пластунов, с тех сотни три убитых и раненых было, а с наших — нет.

— Да куда ж они делись?

— Куда? По станицам ушли, до баб своих присыпались, иди их ищи, чертей собачьих,— поясняет подхорунжий.

— А вы сами какой станицы? — спрашиваю я.

— Слепцовской, самой, сказать, коренной с нашего отдела,— прощаясь с нами, говорит он.

— Подагрик! — смеется Григорий Иванович, когда мы отъезжаем от заставы.

— Дезертиров ловит, а сам, шкура, гляди, где себе службу нашел, возля дому, возля станицы, и город сбоку, а наш брат казак воюй за него на фронте! У него вон рожу с чихиря набок свернуло,— плюет в сердцах один из провожающих нас казаков.

— Да, должность хорошая, останавливай телеги, щупай баб да бери взятки с каждого... Одно плохо — чины ему туго идут — иронически качая головою, смеется Остапенко.

Мы едем по грозненским улицам, через Сунжу, мимо базара, огибая театр и сквер, сворачиваем в сторону и, трясясь на ухабах, въезжаем в станицу.

Возле просторной белой хаты Остапенко останавливает коней, один из казаков соскакивает с линейки и распахивает ворота.

Здесь ночлег. Это хата казака.

В течение двух суток вижу Остапенко только урывками, и то по вечерам. Григорий Иванович похудел, седоватая щетина поблескивает на его небритых щеках, но улыбка и огонек в глазах все те же. Он еще ни разу не ночевал с нами, мы не знаем, где он проводит ночи.

— Гуляю с девочками,— отшучивается он.

Костюм его сильно запылен, ботинки сбиты. Видно, что ему приходится много и часто ходить.

— Подожди еще... ожидаю вестей кой-откуда. А пока жди,—

каждый раз говорит он, думая, вероятно, этим подбодрить меня. Но вижу, что он сам чем-то обеспокоен.

— Что с тобой, Григорий Иванович? Что ты волнуешься, что скрываешь?

Он исподлобья оглядывает меня, молчит, потом роняет:

— Дело есть важное. Сегодня или завтра выяснится, вот и волнуюсь.

— Если не секрет, говори.

Он качает головой.

— Подожди, если выйдет, скажу... сильнее будет.— И, подходя к окну, тихо говорит: — Уходить нам надо отсюда.

— А что? Следят разве?

— Пока нет, но бабы проклятые соседям про тебя раззвонили: «У нас чиновник важный с заставы остановился...» Хвастают ведь здесь как: каждый двор лишним колом перед другим куражится. Мне Семен сейчас говорил: полстаницы уже знает — у Киселевых чиновник остановился.

— Да, нехорошо это как-то выходит. Что же делать будем, Григорий Иванович?

— Уходить. Сейчас Семен по улице ходит. Вернется,— если все чисто, так мы задним двором на огороды выйдем, а оттуда, по балочке, к базару.

— А потом?

— А потом куда нужно. Сыщем место, не бойся, у грозненских пролетариев найдется угол для нашего брата.

Входит казак Семен. Григорий Иванович переводит на него взгляд:

— Ну, как дела, Семушка? Есть чего или нету?

— А кто его знает. Народу много, шляются разные,— говорит Семен и с раздражением грозит: — Уж я этим курам глотки пораздеру, только и делают, что квохчут... Что за народ эти бабы!

— Ничего, не трожь их, Семен, ты лучше вот что сделай: мы сейчас с товарищем дворами уйдем, а ты тут погляди, что и как. Да своих предупреди: «Гости мои ежели не вернутся к утру, значит, уехали в Назрань». Понял? Да не сейчас, а позднее. Ну, друже, давай руку. Да ты не бойся, может, ничего и нету, ведь мы это для осторожности уходим.

— Да я ничего... я и не боюсь... а так... Семью жаль, в случай чего, сам знаешь, наше казацкое дело...— тихо говорит Семен.

Ему стыдно и больно, что гости так внезапно покидают его. Вместе с тем я чувствую, что наш уход облегчит его душу.

Лезем через плетни. У перелаза, над самой балкой, прощаем-

ся с Семеном. Он крепко обнимает нас и в волнении шепчет:  
— Не обижайтесь, товарищи милые, такая дела вышла... не обижайтесь!

Уходим в темноту. Фигура Семена исчезает за плетнем. Спустя час Остапенко вводит меня в домик за плотным железной дороги. Горят электроогни промыслов. Черными столбами поднимаются вышки, озаренные светом. Грохочут вагоны, свистят паровозы на путях. Мы в рабочем районе города.

Ночью Остапенко будит меня. Нестерпимо воют сирены.

— Смотри,— говорит Остапенко, подводя меня к низенькому окну.

Вдалеке, во тьме, вырываясь и клубясь, полыхает пламя. Кипящие облака дыма клокочут над ним. Языки огня качаются, взлетают и падают. В стороне пылают два гигантских костра, озаряя лес багровых вышек. Полосы света бегут по земле. Гудки крепнут, свист, вой сирен не умолкают, море взбесившегося огня бушует на промыслах.

— Что это? — в волнении спрашиваю Григория Ивановича.

— Это грозненский пролетариат встречает генерала Хольмана, главу английской военной миссии при Деникине,— дрожа от восторга, говорит Остапенко.— Так и передай Кирову, что в первую же ночь после приезда генерала грозненские пролетарии подожгли шесть вышек Чермоева, две — Гукасова и одиннадцать — войсковых.

Лица его не видно, но я слышу, как звенит радость в его голосе.

— Его превосходительство генерал Хольман приехал сюда вчера вместе с полковником Роландсоном, чтобы воздействовать на горскую бедноту и отколоть ее от красноармейских отрядов Гикало, оставшихся в горах. Уже расклеены по городу обращения к рабочим города Грозного — работать продуктивней, довериться Деникину и не поддаваться на агитацию большевиков. Вот полюбуйся на английское воззвание.

Читаю:

«Я, представитель английской миссии, полковник Роландсон, обращаюсь к горским народам и говорю: правительство Англии поддерживает генерала Деникина и его цели. ...В Терской области и Дагестане право водворять порядок принадлежит генералу Деникину, и вы должны помогать ему в его борьбе с большевиками, иначе Англия будет смотреть на это как на акт недоброжелательства к союзникам. Однако точно установлено, что часть горцев поддерживает восстание против Добармии, поднятое в горах. Английская миссия хорошо знает, что восстание горцев не есть их национальное движение, а большевистское...

и что местные большевики имеют связь с Астраханью и тамошними большевиками... Англия помогает Деникину снаряжением, танками, аэропланами, пушками, пулеметами и будет помогать до исполнения Деникиным его цели. Англия дала для этого своих инструкторов. Будет очень жалко, если придется обратить это оружие против горцев и их аулы будут разрушены... Я прошу читающих передать это своим народам и распространить среди всех.

Август 1919 г. Полковник англ. службы Роландсон».

Остапенко помолчал и, указывая рукой на полыхавший пожар, сказал:

— А вот и наш ответ. Так и передай Миронычу, расскажи про эту ночь и горящие вышки. Пусть скажет Ленину, что грозненский пролетариат не спит, а тоже готовит удар Деникину.

— А чеченцы? Каково их настроение?

— За нас. Только две недели назад под Воздвиженской их партизанские отряды, помогая в бою Гикало, погромили карательный отряд белых, но у нас тяжелая потеря. В этом бою погиб Шерипов Асланбек. Ты его знал?

Я отрицательно качаю головой.

— Это был орел, неукротимый большевик и боец. Киров хорошо знает Асланбека и будет опечален, когда узнает о его смерти. Кто заменит его? А ведь в горах властвует эмир Узун-Хаджи, мечтающий о горско-мусульманском царстве с муллами и шариатом. Теперь слушай дальше. Ответ от повстанцев получен. На той неделе от них и от горской бедноты уйдут в Астрахань делегаты. Из Левашей и Гуниба — тоже. Грозненские рабочие готовят восстание. Когда оно будет — не знаю, но комитет хочет согласовать его с вашим ударом на Кизляр. Понял? Здешняя тюрьма переполнена арестованными. Каждый день кого-нибудь из наших товарищей вешают, других истязают. Все это знают, и рабочих трудно удержать от восстания... а без наступления на Кизляр оно провалится. Правда, штаб наших повстанческих отрядов и сам Гикало обещают ударить по городу из Шатоя. Но Шатой далеко, а горские верхи медлят... Там много сволочи, а главная из них — продажная лиса Дышнинский... Ты запиши, чтобы не забыть. Это «премьер-министр двора эмира», он же — «министр почт и телеграфов», «внутренних дел», «военно-морской».

Я выражаю удивление.

— Да, да! Так и запомни. Скажешь Реввоенсовету, что в горах образовался эмират с разными «министерствами» и что вся горская буржуазия и духовенство стоят во главе. С Деникиным

они воют, нас пока не трогают, но и не поддерживают. Если бы не горская беднота, целиком большевистская по настроению, эти подлецы давно бы продали Гикало и сторговались с Деникиным. Скажи, что удар надо готовить сильнее и не откладывать надолго. Теперь, дружок, последнее. Утром уезжай. После такой «встречи» англичан здешняя разведка начнет почем зря хватать людей. Можешь свободно засыпаться. В восемь утра идет товарный состав. Я тебя устрою на паровоз, а в Червленной действуй сам. Идет?

— Идет!

— А теперь ложись спать.

Под утро подъезжаем к станции Червленной. Машинист и его помощник прощаются со мной. Поезд на Кизляр идет в одиннадцать часов утра. Ночую на перроне. Вокруг спящие люди. Скорчившиеся на вещах тела. Храп, возгласы, вздохи, тревожный шепот.

Кто-то теревит меня за плечо. Офицер в добровольческой форме и три казака с винтовками стоят надо мной. Просыпающиеся люди, зевая и потягиваясь, глядят равнодушными глазами на нас.

— Кто такой? Документы есть? — в несколько неопределенной форме задает вопрос офицер. Его глаза не мигая глядят на меня.

Поднимаюсь, вынимаю из парусинового саквояжа (подарок Остапенко) замшу, протираю стекла очков и очень вежливо отвечаю:

— Есть, господин поручик!

Мой широко раскрытый, не без умысла, саквояж и книги, лежащие в нем, интересуют его.

Он внимательно читает «документ», потом разглядывает паспорт, несколько раз переворачивая его вверх ногами. Я, чуть улыбаясь, смотрю на эти манипуляции и внутренне горжусь собой. Полное спокойствие, холодная настороженность и деловитая любезность. На этот раз нервы у меня крепки, воли и характера достаточно.

— Вы разрешите взглянуть на ваши книги? — спрашивает офицер.

— Прошу вас.

Он листает Бодлера, потом Северянина, иногда, чуть задерживаясь взглядом на мне, просматривает ноты. Казаки окидывают меня казенно-равнодушными взглядами, переступая с ноги на ногу.

— Пожалуйста, — возвращает мне книги офицер.

Я укладываю их в саквояжик и протягиваю руку за документами.

— Прошу извинить, — делая предупредительный жест рукой, останавливает меня офицер, — я буду вынужден просить вас проследовать за мной... — он делает паузу и очень спокойно заканчивает: — В контрольный пункт. Здесь у вас маленькая неясность, необходимо выяснить ее.

Молча поднимаю плечами и покорно соглашаюсь.

— Макаров и Трусов, отведите задержанного на пункт, к капитану Аристову. Вот документы, за старшего будет Макаров.

Контрольный пункт — это железнодорожный филиал контрразведки. Итак, я задержан. Что послужило тому основанием? Случай, подозрение, донос или провокация? Искали меня или я случайная фигура, попавшая в облаву? Не знаю ничего. Готовлю себя к допросу. Как будет разговаривать со мной этот капитан Аристов? С чего начнется допрос? Ведь первый допрос — это начало всего дела.

Казак сворачивают в сторону. Мы переходим через пути. Останавливаемся перед классным вагоном, врытым в землю. Над ним трехцветный флаг и короткая надпись: «Контрольный пункт».

У вагона часовой. В стороне дымится походная кухня, рядом с ней — кипятильник-титан. Два солдата в синих погонах с треугольниками на рукавах свежуют барана. В окне вагона стоит пулемет, за ним виднеется завитая женская головка.

— Стой! — говорит мрачным голосом казак и, брякнув ружьем, кричит солдатам: — Эй, хлопцы! До капитана Аристова привели. Поручик Высоцкий арестовали.

Солдаты лениво отходят от бараньей туши. Один из них, с измазанными салом и кровью руками, поглядел на меня и, моргнув глазом, причмокнул, глупо смеясь:

— Спекулянт аль с большевиков будешь? — и, не дожидаясь ответа, сказал: — Мы вашего брата так освежаем, аж кишки вспухнут.

— Саламатин, ты опять со своими глупостями к людям лезешь. Сколько раз тебе об этом говорили, дурак ты толстомордый! Вот обожди, придет капитан, он тебе загривок натрет, — отстраняя говорившего, сказал другой солдат и, подходя к окну, крикнул: — Софья Николаевна, разрешите спросить: когда его высокоблагородие вернутся обратно?

Женская головка показалась в окне. Красивое, скучающее, равнодушное лицо с копной рыжих волос, тонкими бровями и пухлыми алыми губами. Она бегло взглянула на меня.

— Наверное, часам к двум, а что такое?

— Да вот, Софья Николаевна, арестованного поручик Вы-



соцкий прислали. Не знаем, что делать,— капитана дожидаться или прямо в Грозный в отделение послать.

Наступает решительная минута. Если я попаду в отделение, то есть в контрразведку, я не выйду из нее. Чувствуя, что от ответа женщины зависит все, я поднимаю глаза и смотрю на нее в упор.

Зеленые, чуть холодные глаза снова оглядывают меня. Секунду мы глядим друг другу в зрачки. Потом женщина лениво отворачивается и скучающим, пустым голосом говорит:

— Не-ет, зачем же в Грозный... да и не с кем послать. Введите в канцелярию и поставьте охрану.

Меня вводят в первую половину вагона, переделанную в канцелярию. Сажусь на стул и жду. У двери на табурете часовой, не сводящий с меня глаз. Из второй половины вагона струится аромат духов, пудры.

Мне становится почему-то весело, и я тихо улыбаюсь. Солдат сердито смотрит на меня, поджимая губы. Здесь улыбаться нельзя — читаю я в его вытаращенных глазах.

Скучно. Канцелярия убогая: два стола, машинка, на стене плакаты: «Остерегайтесь шпионов», «Солдаты Добровольческой армии, будьте осторожны. Коварный враг...»

— Не гляди по сторонам! Тебе говорю, нельзя читать... слышишь! — угрожающе шипит часовой.

И по его лицу я вижу, что еще слово, и этот олух ударит меня прикладом.

Молча открываю саквояж и достаю Гумилева.

— Положь обратно книгу! — вскочив с табуретки, орет часовой. — Селифонтьев! — высываясь в дверь, вопит он.

Со двора стучат солдатские сапоги. В канцелярию из второй половины входит рыжеволосая дама. Поднимаюсь со стула и кланяюсь ей. Она, еле отвечая на поклон, спрашивает, растягивая слова:

— Что такое? Вы что так кричите, Рыбалкин?

— Дак мочи нету с им, никак не слухает, все по-своему хотит делать, — говорит солдат.

— Простите, но дайте и мне сказать, — чуть улыбаясь, вмешиваюсь я. — Если позволите, я в двух словах объясню вам причину всего этого шума.

Дама снова разглядывает меня. В ее глазах вижу некоторое любопытство.

— Пожалуйста! — разрешает она.

Караульный начальник испуганно просовывает голову в дверь, но, видя, что арестованный и часовой на месте, что мы мирно разговариваем, успокаивается и слушает нас.

— Дело в следующем. Я задержан на станции поручиком и прислан сюда для выяснения каких-то деталей. Документы и прочее все находится здесь, вот на этом столе, и, когда вернется капитан, все будет рассмотрено к общему благополучию. Но дело сейчас не в этом,— я даже не обижаюсь за это маленькое недоразумение,— дело в том, что цербер, охраняющий меня, не только не дает мне встать или переменить позу,— дама улыбнулась,— но даже буквально не разрешает смотреть.

— Они плакат читали! — отчаянно кричит часовой.

— Вот, не угодно ли,— делая жест, говорю я.— Да ведь плакат-то этот публичный... ведь он напечатан и расклеен для того, чтобы его все читали и знали, как поступать.

— Конечно,— улыбается дама.

— Но самое главное даже не в этом, а в том, что у меня с собой несколько томиков стихотворений Северянина, Бодлера, Гумилева. Я сам немного поэт, очень люблю стихи и всегда, вожу с собой хоть две-три книжки. Когда мне сей грозный муж приказал не глядеть по сторонам и не читать плакатов...—, замечаю, как дама все с большим любопытством слушает меня,— ...я, естественно, открыл свой саквояж, достал Гумилева и стал читать, но в эту минуту часовой поднял такой крик, что не только вызвал караульного, но даже потревожил и вас. Прошу извинить меня, хотя, честно говоря, сейчас даже приветствую поступок моего стража.

— У вас есть Гумилев? Можно мне его взять на полчаса? — спрашивает дама.

— Пожалуйста.

— Я так люблю Гумилева... По-моему, это лучший поэт наших дней. Его «Мик» — это ни с чем не сравнимое произведение, а вы помните «Жемчуга»? Благодарю вас, я пойду почитаю, а вы, пожалуйста, читайте ваши книги и не беспокойтесь. Вам никто больше не будет чинить препятствий. Муж мой вернется часам к двум-трем, и, когда все благополучно кончится, мы еще поговорим о Гумилеве и стихах.

Она встает и, кивнув головой, уходит к себе.

Караульный начальник, видя, что его потревожили напрасно, сердито смотрит на сконфуженного солдата и молча показывает ему кулак. Солдат сопит, отворачивается.

Читаю Бодлера.

Не проходит и пяти минут, как дама снова появляется в канцелярии. В руках у нее открытый конверт и письмо.

— Вы знаете Мишеля? Вы видели его в Грозном? — бросаюсь ко мне, говорит она.— Вы были у них дома?

Мгновенно пастораживаюсь. Этот внезапный переход от хо-

лодной вежливости к почти дружескому тону ошеломляет и пугает меня. Я все время помню, что имею дело с женой контрразведчика, и вдруг какой-то Мишель. «Что за Мишель?.. Провокация? Ловушка?»

— Оказывается вы его друг... вот он сам пишет об этом Неточке,— садясь рядом со мной, говорит дама.— Вы извините, но, прочтя адрес «А. Н. Масленниковой», я не удержалась, открыла письмо, и вышло очень хорошо и забавно. Вот: «Письмо вам передаст один очень хороший, благородный человек, мой личный друг»,— скороговоркой читает она.— Смешной он, этот Мишук, а вот, когда отдадите письмо Неточке, увидите, какая и она забавная девчурка.— Она протягивает мне руку.— Софья Николаевна Аристова, урожденная Масленникова, а Неточка, или Анна Николаевна, как ее торжественно величает Мишель, моя младшая сестра.

Встаю, пожимаю ей руку и в свою очередь представляюсь:

— Кирилл Владимирович Дигорский.

— Садитесь, пожалуйста, Кирилл Владимирович, и расскажите, где вы встретили Мишу, как он выглядит в офицерской форме и вообще что с ним.

Я рассказываю все, что знаю о моем «благородном друге» Мише Сазонове, о его производстве в офицеры, привожу все подробности, какие только помню из болтовни прапора. У моей собеседницы остается впечатление, будто бы мы были с ним вместе в Екатеринодаре. Потом перевожу разговор на сестру влюбленного прапора, очень тепло и не без волнения говорю о ней.

— О, Лиза чудесная девушка! Если бы я была мужчиной, я обязательно влюбилась бы в нее,— не без кокетства говорит моя дама, поглядывая на меня чуть смеющимися глазами.

Соглашаюсь с ней, потом рассказываю о больном отце Миши.

— Я их всех близко знаю, это замечательная семья... Ведь сама я постоянно живу в Грозном и только наезжаю сюда к мужу, но последние две недели задерживаюсь здесь. Ему, бедному, так трудно. Работы много, а помогать некому. Он так утомляется, так устает...

Я спешу рассказать о том, как «мой молодой друг» тоскует о Неточке. Дама, приняв томный вид, отзывается:

— Нет, вы только подумайте, какая романтика в наши дни. И Мишук и Неточка, в сущности, только дети, а сколько высокого и святого, истинно поэтического чувства вносят они в свою любовь. Их отношения похожи на вертерские переживания, и я очень, очень боюсь, как бы суровая проза жизни не сломила их. В этом отношении мы, Масленниковы, отмечены каким-то роком. В нашем роду почти все однолюбы, люди с тонкой, повы-

шенной чувствительностью, исключительным постоянством... «Мы из рода бедных Азров, полюбив — мы умираем...» — декламирует она.

Я с почтительным вниманием слушаю ее, а в голове ехидная мысль: «Что и говорить, чувствительная особа, не постеснявшаяся распечатать не ей адресованное письмо... Жена, достойная своего мужа».

— Ах, я очень, очень опасаюсь трагического конца их недетской любви, — делая печальные глаза, тихо говорит дама.

Пока она рассказывает о вертерской любви прапора к ее сестре, я придумываю объяснение, почему письмо до сих пор находится у меня.

— Не увидите ли вы, мадам...

— Софья Николаевна, — поправляет она.

— Простите, Софья Николаевна... не увидите ли вы вашу сестру раньше меня? Ведь я сейчас еду в Кизляр и только через три дня буду во Владикавказе.

— Ах нет, передайте Неточке сами. Во-первых, я только через неделю уеду отсюда в Грозный, а во-вторых, ей будет приятно поговорить с вами о Мишуке.

За такой беседой нас застаёт вернувшийся с вокзала поручик Высоцкий. Он несколько удивленно поднимает брови, слушая наш непринужденный, веселый разговор.

— А Владимира Георгиевича еще нет? — спрашивает он, неопределенно поглядывая на меня.

— Пока нет. Он приедет к трем, если не запоздаст. Кстати, Серж, вы знаете, кого задержали? — говорит она. — Ведь это близкий друг Сазоновых, ну, помните... наших грозненских друзей... у которых и вы были с нами? Ну да! Вот и письмо от Мишука к моей Неточке... Ведь Кирилл Владимирович через два-три дня должен быть во Владикавказе.

Поручик хмыкает и, глядя поверх меня, говорит:

— Я, конечно, могу и ошибиться и охотно извиняюсь перед вашим знакомым, но, Софья Николаевна, вы знаете, долг службы прежде всего.

— Конечно, конечно, Серж. я понимаю, не подумайте, что я вмешиваюсь в ваши служебные дела. Я даже с Вольдемаром никогда не говорю на эти темы, но здесь такая явная путаница... Кстати, Кирилл Владимирович, что там у вас такое не в порядке? — с милой улыбкой обращается она ко мне.

— Ей-богу, не знаю, Софья Николаевна, по-видимому, господин поручик знает об этом больше, — развожу я руками.

Высоцкий берет со стола мои документы и с плохо скрываемой гримасой говорит:

— Да по сути ничего такого, кроме того, что удостоверение Союза городов написано не совсем по форме... Кстати, скажите, пожалуйста,— вдруг спрашивает он меня,— Андрей Львович разве не переехал ближе к атаману, в Новочеркасск?

— Какой Андрей Львович? — пожимая плечами, спокойно говорю я, чувствуя, что он готовит мне капкан.

— Как какой? — притворяется удивленным поручик. — Ваше прямое начальство, подписавшее это удостоверение, действительный статский советник Круковский.

Ну, на такую удочку меня не так-то легко поймать. Ведь недаром же Остапенко целый вечер посвятил на то, чтобы я твердо запомнил имя и отчество Круковского, его ближайших помощников, адрес учреждения и так далее... Я снова пожимаю плечами и еще спокойнее говорю:

— Вы ошибаетесь, господин поручик, статского советника Круковского зовут Александром Александровичем... Андрея же Львовича я не знаю.

Глазки поручика тухнут, он переводит взгляд на мои бумаги.

— Проклятая память, ошибся, перепутал с инженером Круковским, геологом нефтяного дела.

Дама, настороженно слушающая нас, сдвигает брови и, не скрывая раздражения, говорит:

— Серж, я думаю, что не следует ждать приезда Владимира Георгиевича... Здесь явное недоразумение, и мне будет неприятно, если оно не кончится сейчас. — Она поднимает на поручика глаза и, подчеркивая слова, говорит: — Вольдемар разделит мое мнение!

— Если господин поручик ничего не имеет против, я просил бы послать от его имени телеграмму в Ростов, в адрес Союза, и справиться обо мне, о моей командировке и обо всем, что только найдет нужным господин поручик, — учитывая момент, говорю я.

— Нет... не нужно, — кисло улыбаясь, говорит Высоцкий. — Получите, пожалуйста, ваши бумаги... и прошу извинить — долг службы... — тянет он, но лицо его сухо, глаза недоверчивы и злы. — Часовой, отправляйся к караульному и скажи, что арестованный свободен.

— Вот и хорошо. Познакомьтесь, господа, — говорит хозяйка, и мы церемонно пожимаем друг другу руки. — Пойдемте ко мне... здесь так неуютно, — говорит Софья Николаевна.

Мы переходим на ее половину. Пьем чай, ведем легкую беседу, часто вспоминая стихи. Дама декламирует: «Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так, что сыплется

золото кружев, розоватых брабантских манжет...» Потом она вспоминает Бальмонта, которого считает вторым, после Гумилева, поэтом. Вскоре поручик собирается уходить. Стихи — не его удел. Это видно по всему — и по скучающе-вежливому выражению, с которым он слушает нас, и по неуклюжим попыткам вспомнить кого-нибудь из современных поэтов.

— Всего хорошего, еще раз прошу извинить меня и позволю себе напомнить вам, что если вы спешите в Кизляр, то через... — он смотрит на часы, — тридцать две минуты туда отойдет поезд.

— О нет! Кирилл Владимирович останется хотя бы до завтра у нас. Вольдемар будет так огорчен, если не застанет вас, — говорит хозяйка, забывая, что ее Вольдемар вообще никогда не видел меня.

Я долго и горячо убеждаю ее в том, что дело прежде всего и что на обратном пути, через три, максимум четыре дня, обязательно заеду к ним и от них уеду во Владикавказ. Наконец мои уговоры действуют, она соглашается, но берет с меня слово заехать «попросту» к ним. Обещаю, целую ручку хозяйки, беру свои документы и саквояж.

— Вы разрешите до вашего возвращения оставить у меня Гумилева? Я буду упиваться им, — вдруг просит она.

— Не только до моего возвращения, но и вообще, если позволите, оставлю его вам как память о нашей милой встрече, — галантно говорю я.

— Ах нет, что вы, я понимаю вас и вашу любовь к книгам, — несколько секунд, кокетничая, противится она и наконец принимает «жесту», бросая быстрый благодарный взгляд.

Вот и знакомый полустанок, откуда недавно провожали меня Алена и дед Панас. Нанимаю бидарку у казака, живущего при станции и занимающегося извозом. Через полчаса еду пыльной дорогой. Стогов уже нет, убрали. Станица осталась позади. Сижу молча, продумывая и переживая проделанный путь. Пересекаем железную дорогу. Полосатый шлагбаум; беременная женщина стоит у переезда; вдалеке, по горизонту, облака — сизый лес стелется над оврагом. Все так же, как и тогда, но только другое настроение у меня.

Едем долго. Наконец сворачиваем с кизлярского тракта. Мелькает господская экономия, вот знакомая аллея, вишневые сады и виноградники. Я снова в имении Богдана Багдасаровича Кочкарова. Бидарка легко катит по тенистой аллее. У сторожки останавливаю возницу.

— Попить хочется, Ну-ка, крикни там кого-нибудь.

Казак соскакивает на землю и идет к сторожке. Метелка,

условный знак безопасности, стоит у окна. Из дверей показывается веснушчатое лицо Аленки. Она идет навстречу моему вознице. Схожу с бидарки и с наслаждением потягиваюсь. Однообразие пути утомило меня.

Аленка смотрит на меня, в ее глазенках пляшут искры.

— О-ох, устал! — беря ковш, говорю я.

Казак допивает воду.

— А что, красавица, далеко отсюда до усадьбы господина Тигранова? — спрашиваю я.

— Та ни... якимсь-нибудь дви версты... только шо самого барина там нема... Вин до нашего, до Кочкарова, поихав, мабуть, скоро вернется, — говорит она, не сводя с меня глаз.

Я понимаю ее.

— Вернется по этой дороге?

— По другой ему далеко.

— Ну, так. А что, можно мне у вас пока остановиться? Устал, и голова разболелась, а когда он будет ехать обратно, ты мне скажи, я с ним и поеду, — говорю Аленке, подходя ближе к ней.

— А чего ж ни? Конечно, можно. Тилько я одна здесь... Може, вам чога треба?

— Ничего, ничего, красавица, это и хорошо, что ты одна... веселее будет, — смеюсь я и щиплю ее за подбородок.

Мой казак по-своему понимает мое решение. Он многозначительно подмигивает мне и весело советует Аленке:

— А ты, девка, с господином не скучай, он веселый, не обидит.

Даю ему деньги, и он уезжает.

Из открытых сеней глядит улыбающаяся физиономия Сибиряка. Он тискает меня, как будто мы сто лет не виделись.

— Акурат приехал, а то я утречком, на заре, в камыши хотел податься. А ты вроде как поправился, небось хорошо кормили, — смеется он.

Потом меня степенно обнимает дед. На его глазах дрожит мутная слеза. Аленка шныряет по двору, поминутно заглядывая в сторожку. Ее круглое лицо сияет.

— Ты у меня невесту отбил, — смеется Сибиряк, — на меня теперь и глядеть не хочет, а вчера кисет шелком шить собиралась.

Темной ночью уходим в камыши. Сибиряк сует мне в руку гранату и плохонький солдатский наган.

Скоро дед, Алена и их сторожка тонут в темноте.

«Прощайте, дорогие друзья, дорогие товарищи...»

Оглядываюсь назад. Мрак, ничего не видно.

— Осторожней... не урони в темноте лимонку,— слышу за собой шепот Сибиряка.

Из камышей ухожу через сутки. Со мной делегатами идут Сибиряк и пулеметчик Нефедов.

— Так ты не забудь, товарищ, скажи Реввоенсовету, чтобы денег и нашего Хорошева скорей присылали,— на прощанье говорит Донсков.

— И курева,— мечтательно добавляет один из провожающих камышан.

— Может, тебе еще подушку с Астрахани привезть? — спрашивает Сибиряк.

Все смеются.

— А то... хучь поспал бы на ей, надоело на камышах валяться,— в свою очередь отшучивается провожающий.

За Бабылом мы расстаемся с камышанами и, держась ближе к морю, уходим. Опять степь, овраги, лес.

Ночи уже совсем холодные. Мой романовский полушубок слабо греет. Моряна, задувшая с Каспия, длится третий день. Кашляю, чихаю, охрип. Нефедов тоже простужен, у него застарелый бронхит. Один Сибиряк бодр и невозмутим. Утренние туманы, холодные ночи, пронизывающие ветры не трогают его.

— Привык смальства... ведь у меня няnek и мамок не было. Я и мальцом на соломе не часто спал.

— Зато и вырос с бугая ростом,— не без зависти говорит Нефедов.

— Это верно, здоров, силы на троих хватит,— улыбается Сибиряк.

Идем другой дорогой, минуя хутора, сторонясь чумацкого тракта, все время держась моря. У Сибиряка большой мешок с продовольствием и две бутылки с чихирем.

— Для веселья,— объясняет он, хотя и реже нас прикладывается к вину.

На шестые сутки выходим к пескам. Опять барханы, дюны и голые, бескрайние пески. Песок шуршит, пересыпается, скрипит. Ни одной живой души. Мертвая полупустыня с кустарником и колючкой.

— Ну, еще ночьку переспим на ничьей земле, а завтра уже будем в Эркетени,— укладываясь на ночлег под барханом, говорит Сибиряк.

— Как Эркетень? А Лагань?.. А Бирюзьяк?

— Вспомнил,— смеется Сибиряк.— Лагань еще той ночью позади осталась. Теперь здесь ничья земля, ни наша, ни белая. Разве, может, какая разведка бродит, а так, окромя волка да змеи, никого тут не стренешь.



— Не ошибаешься ли ты... что-то не так, ведь Лагань мы не могли обойти.

— А почему не могли, что нам в ней за нужда? Разве только что с беляками повстречаться, на их разъезды наскочить. Я тут тебе двадцать разных дорог покажу, и старую чумацкую, и калмыцкую, и ловецкую, и почтовый тракт.

Засыпаем. Под утро вскакиваю от нестерпимого холода, зуб на зуб не попадает, немеют пальцы. Пробую пробежаться по песку, но ноги застыли и не двигаются. Маленький Нефедов жалобно и молча глядит на меня. У него вид безропотно замерзающего рождественского мальчика из дореволюционных святочных рассказов. Один Сибиряк хорошо себя чувствует. Часам к четырем дня приходим в Эркетень. Ветер рвет с прежней силой. Холодно. Песчаные смерчи кружат по степи. Возле самого села нас останавливают дозоры, долго и недоверчиво расспрашивают.

Двое красноармейцев ведут нас в село, держа ружья наперевес. По пути встречаются еще красноармейцы. Кто-то, завидя нас, кричит из землянки:

— Эй, Борзов, что там такое?

— Да вот шпионов поймали — в штаб ведем.

Мы переглядываемся с Сибиряком и еле удерживаемся от смеха. Догадливый патруль даже не позаботился ощупать у «шпионов» карманы! Так, с «лимонкою» в кармане и с наганом под шубой, доставляют меня в штаб батальона, занимающего Эркетень.

Через час нас везут на полковой тачанке в Яндыки, где ждет Плеханов, с которым я из Эркетени переговорил по телефону.

Яндыки оживлены. На улице шумно, много красноармейцев, за оврагом стоит батарея, грузовой автомобиль. Много кавалерии; через дорогу саперы протягивают добавочную линию связи. Возле школы отдел снабжения и артиллерийский парк. Когда я уходил за фронт, этого не было.

Плеханов радостно встречает нас. Чай, белорыбица, полголы сахара, белый хлеб красуются на столе. Сибиряк и Нефедов с восхищенным любопытством смотрят по сторонам. Для них, жителей камышей, все здесь хорошо и ново. Это видно по их восторженным глазам, по тому, как они слушают Плеханова. Портрет Владимира Ильича Ленина надолго задерживает их внимание. Плакаты РОСТА, карикатуры Маяковского, Дени и Моора приводят их в неописуемый восторг. Вид конницы, идущей по улице, пушки, короткая надпись «Политотдел» возбуждают их. Я понимаю бедняг: после многих ме-

сяцев полудикой, голодной, вшивой жизни в камышах они ступили на твердую землю.

— Беляки говорили: конец, рассыпалась Красная Армия, нету ее... — захлебываясь говорит Сибиряк, — а она вот... фактически имеется... и пушки, и порядок, и снабжение.

После короткой беседы с Плехановым иду к прямому проводу, вызываю Астрахань, Реввоенсовет, Кирова. Спустя несколько минут Астрахань отвечает: «Приемная телеграфа Реввоенсовета. У провода Бутягин. Киров крайне занят. Освободится в два ночи. Если вы не очень устали, Сергей Мироныч просит теперь же приехать в Реввоенсовет, если устали, переночевать и завтра прибыть в Астрахань».

Отвечаю: «Выеду немедленно, если будет какой-нибудь транспорт».

«Сейчас дам распоряжение командиру полка отправить вас сюда на мотоцикле», — отвечает Астрахань.

Прощаемся, аппарат затихает.

Через сорок минут мотоциклет стучит по яндыкской улице. Сажу в корзину. Меня трясет, бросает на ухабах, но тем не менее я сладко дремлю. Сон и явь, стук мотора, день и ночь — все мешается в одно сумбурное, туманное представление.

Проезжаем Басы. Вот оно, это село, где наши войска разгромили передовые части генерала Драценко. Редкие огоньки мерцают в домах. Луна, выбираясь из облаков, озаряет степь, пустые окопы, опоясавшие дорогу, холмы, на которых так недавно грохотали пушки, рвались гранаты. Колочая проволока еще видна на стыках дорог. Село спит. Деревянная церковь, немая площадь, по которой с воем несется одичалый пес. Мотоциклет пробегает тихую улицу, и мы снова мчимся по астраханскому тракту. Вскоре мотоцикл влетает в город и подкатывает к большому зданию.

Военком штаба армии Квиркелия, высокий красивый грузин, вводит меня в кабинет Кирова. Три часа ночи. Из-за стола поднимается Сергей Миронович; знакомая широкая улыбка, зубы блестят, глаза смеются.

— Вернулись в добром здравии? Вот и хорошо. А мы уже побаивались за вас. Ну, как ездили, как дела, как товарищи? — Он внимательно вглядывается в меня. — Э-э, батенька мой, да вы от усталости сейчас свалитесь.

— Нет, что вы, Сергей Мироныч! Я совершенно бодр, это так, здесь разморило меня, — пытаюсь бодриться, но чувствую, что действительно еще несколько минут, и я усну тут же, за столом.

— Ладно, спорить не будем. Скажите только, все там в порядке? Как Остапенко, как в горах, как Гикало? Как камышане? Есть ли что от Шеболдаева?

— Все в порядке, — отвечаю я.

— Ну и ладно. Остальное доскажете завтра, а теперь... — он смотрит на часы, — поздно. Ночевать поедem ко мне. Выспитесь, а завтра утром сделаете доклад. Хорошо? — трепля меня по руке, говорит Сергей Миронович.

Его глаза, впавшие, окаймленные синевой глаза бесконечно уставшего человека, так тепло и участливо смотрят на меня, что я только молча киваю в ответ.

— Бесо, распорядись, чтобы пролетку приготовили, — говорит он военком.

Едем по безлюдным улицам Астрахани, над которой поднимается серый рассвет. Вот и Казанская улица, вот собор, рядом с ним дом, во втором этаже которого, в квартире бежавшего к белым доктора Иванова, живет Киров. Поднимаемся наверх, и через пять минут я засыпаю на диване раньше хозяина и раньше прибывшего сюда Квиркелии.

За утреним чаем Киров слушает меня молча, изредка кивая головой. Иногда он задает вопросы, делает заметки в своем блокноте. Состояние отряда камышан вызывает у него беспокойство.

— Не поехали бы вы к ним начальником отряда с полномочиями от нас? — вдруг спрашивает он.

— Признáюсь, Сергей Мироныч, мне и не думалось, да и не хочется этого. Надеюсь, что принесу там меньше пользы, чем здесь. Им нужен обязательно свой, местный, но авторитетный начальник. Они очень просят прислать к ним обратно Хорошева.

— Хорошева? — раздумчиво переспрашивает Киров. — А ведь это верно. Хорошев их бывший командир, герой кизлярской осады, краснознаменец. Ладно, я подумаю, поговорю о нем в Реввоенсовете.

Когда я рассказываю о гибели Асланбека Шерипова, глаза Кирова тускнеют. Он медленно поднимается с места, идет к окну и долго смотрит на улицу. Потом так же молча возвращается к столу и тихо говорит:

— Это был орел, настоящий орел... Огромная потеря.

Больше он не вспоминает о погибшем, но я вижу, как глубокая морщина долго не расходитя над его сдвинутыми бровями.

— О Петрове я знаю. Мы получили из Баку точные данные о гибели этой группы. Вы их не знали. Это хорошие товарищи, — говорит он.

Все, что я рассказываю об Остапенко, веселит и радует его.  
— Молодец Григорий, золото, а не человек. Храбрый, спокойный, надежный... а ум у него какой-то необыкновенный. Придет время, наркомом путей сообщения будет,— говорит Киров, и лицо его снова яснее.

Об эмирате в горах он уже знает, хотя, когда я рассказываю о том, что «эмир» Узун-Хаджи выпустил в горах свои бумажные деньги с изображением шашки, скрещенной с ружьем, лежащей на весах головы сахару и кипы мануфактуры, Киров хохочет и переспрашивает:

— Да вы это всерьез или шутите?

— Совершенно серьезно, сам видел у Остапенко кучку этих «кредиток» из простой бумаги, очень похожих на пивные ярлычки, только на них по-русски, по-арабски и по-французски напечатано — тысяча рублей. Хотел взять с собой для вас, но побоялся обысков в пути.

— Вот проходимцы, жулики продажные,— совершенно развеселившись, говорит Киров.— Вы, наверное, не знаете, что этот самый «премьер» и «военных» и прочих дел «министр» еще полтора года назад был в Чечне помощником пристава, взяточником и вором.

Потом мы переходим к эпизоду с генералом Хольманом, рассказываю о ночном пожаре, о готовящемся восстании.

Сергей Миронович внимательно слушает меня, то и дело отмечая карандашом отдельные места в блокноте.

— Торопятся они с восстанием... нельзя так, не можем мы одни, нашими слабыми полками, наступать на Кавказ. Надо ждать начала общего удара по Деникину, а он недалек. Тогда и мы двинем на Терек.— Киров что-то пишет в блокноте и говорит: — Надо сдержкать их пыл, а то испортят все. К счастью, там во главе наших отрядов находится Николай Гикало — умница, храбрый, дальновидный большевик.

История с томиками стихотворений веселит его.

— Значит, случай с моим томским гимназистом пригодился вам? Помните, когда вы уходили, я сказал, что ум и хладнокровие для разведчика важнее всего? Так и вышло. Представьте себе, что вы, не придав значения письму этого прапора, тут же уничтожили бы его, ведь картина была бы иной. Вряд ли барынька Аристова выпустила бы вас из-под ареста только потому, что ув ас Бодлер и Гумилев. Правильно сделали, что сохранили письмо.

Тут я, в свою очередь, смеюсь.

— Чему вы?

— Да, Сергей Мироныч, честное слово, ум мой здесь ни при

чем, день-два я держал это письмо так, на всякий случай, а потом сунул его в книгу и вовсе забыл о нем.

— Значит, подтверждается старая теория — «его величество случай». Что же, случай для разведчика — великая вещь, надо только быстро оценить его и хладнокровно рискнуть, повернуть его так, чтоб он вывез тебя из трудного положения.

Мы долго сидим за чаем. Наконец Квиркелия, уже в третий раз, напоминает Кирову о том, что пора ехать в Реввоенсовет.

Сергей Миронович встает и, забирая лежащие на столе бумаги, говорит:

— Ну, располагайтесь рядом, в одной из комнат. Справа от меня живет предисполкома Соколов, а дальше по коридору свободно. Кстати, на этих днях я совсем уйду отсюда, тогда вы и вселяйтесь в мою комнату. Она южная и самая теплая из всех. Сегодня ночью на заседании Реввоенсовета сделаю доклад о нашей закордонной работе, тем более что и от ставропольцев вернулись товарищи, ходившие к ним. Вы будьте на этом заседании, я скажу Самойлову, чтоб вас пропустили. Приготовьтесь к вопросам, так как командарм Бутягин очень интересуется зафронтовыми делами и будет вас спрашивать. В политотдел пока не ходите, ни с кем не встречайтесь, спите, лежите, отдыхайте.

Уже из дверей он говорит:

— Там для вас греют воду, так вы не стесняйтесь, мойтесь вовсю, а на окне под бумагой белье.

Несколько смущенный, я смотрю ему вслед. Внизу стучат отъезжающие дрожки.

Около одиннадцати ночи попадаю в Реввоенсовет. Самойлов ловит меня в приемной и, отведя в угол, говорит:

— Ну, с фронтов пока неважные вести. Почти везде белые наступают. Кое-где мы контратакуем их. Ты знаешь о том, что формируется экспедиционный корпус? — И, видя мое изумление, продолжает: — Да, в недалеком будущем будем готовы к прорыву на Кавказ. Ударим по Кизляру и Святому Кресту. — И уже совсем дружески шепчет: — Тебя в корпус назначают. Мироныч доволен твоей поездкой.

Слышится звонок, и Самойлов вводит меня в кабинет.

Заседание давно уже началось. За столом сидит командарм Ю. П. Бутягин, веселый, подвижной, вечно куда-то торопящийся человек. Рядом с ним предгубисполкома Соколов. Возле него член Реввоенсовета К. А. Механюшин — медлительный, с барскими замашками. В армии его не любят именно за эти черты. На диване, опершись ногами о стул, сидит Квиркелия. Начальник штаба Ремезов, седой, представительный, подтянутый, ходит у стены и, водя указкой по карте, заканчивает доклад.

В самом углу, на подоконнике, сидит Киров. Если в комнату войдет кто-либо из не знающих его в лицо людей, то никто в этом скромно сидящем, молчаливом человеке не угадает большевика Кирова, выдающегося организатора обороны Астрахани.

Сергей Миронович берет слово и в очень сдержанных, коротких фразах рассказывает то, о чем я утром докладывал ему. Затем он говорит о ставропольских повстанцах. Вскользь, еле уловимо, о нашем подполье, о связях с ним.

Мне нравятся его лаконичные, как бы литые фразы, но еще больше восхищает его сдержанная, конкретная, осторожная информация. Говорит он недолго, но так, что картина нашей работы за линией фронта ясна всем присутствующим, и вместе с тем каждый понимает, что задавать вопросы излишне. Что нужно и что можно — сказано.

Ни для кого не секрет, что Киров любит, ценит и крайне оберегает дело своей разведки. Он сам ведет ее.

— Кизлярские камышане просят, — продолжает Сергей Миронович, — чтоб Реввоенсовет прислал к ним их бывшего командира, товарища Хорошева. Дело это чисто военное. Хорошев работает военкомом одной из бригад нашей армии.

Командарм кивает головой.

— Со своей стороны могу лишь сказать: Хорошев — это лучшее, что можем им дать. Боевой, опытный, авторитетный человек и — самое главное — их прежний руководитель. В ближайших операциях корпуса при ударе на Кизляр камышане будут играть немалую роль, — говорит он.

— Совершенно согласен, — присоединяется член Реввоенсовета Соколов.

Начальник штаба Ремезов составляет и сейчас же читает приказ:

— «Военкома первой бригады тридцать четвертой дивизии товарища Хорошева Александра Федоровича срочно откомандировать в распоряжение Реввоенсовета одиннадцатой».

Командарм делает свою отметку на приказе. Квиркелия и начальник штаба подписывают приказ.

— Теперь следующее, — снова говорит Киров. — Для ускорения и улучшения зафронтной работы в формируемом нами экспедиционном корпусе нужно создать особый орган, нечто вроде политагентуры и военной разведки.

— Считаю необходимым. Поддерживаю мысль Сергея Мироновича, — говорит Бутягин.

— Здесь я попрошу слова, — включается в разговор Механшин, закуривая папиросу. — Мне кажется, что на роль начальника этого отдела можно сейчас же найти нужного товарища.

Вот он, товарищ Хаджи-Мурат Мугуев, информацию о работе которого мы только что слышали.

Я делаю движение и смотрю на Кирова. И сразу догадываюсь, что мое назначение — это его желание.

— Согласны? — спрашивает меня Соколов.

— Так точно! — отвечаю я.

На следующий день получаю выписку из приказа о моем назначении.

— Сергей Миронович, я готов работать начальником полит-агентуры, работа интересная, увлекательная, и в ней много... много... — подыскивая слова, остановился я.

— ...творческой и приключенческой романтики, — закончил за меня Киров.

— Вот именно. Но творческая работа в закордонной разведке только тогда увлекательна и полезна, когда ее ведет один, ответственный за работу человек...

— ...находящийся под руководством и наблюдением партии, — снова за меня закончил Киров.

— Несомненно, но одобренная свыше инициатива становится уже делом начальника отдела и проводится им согласно плану.

— Конечно, — согласился Киров, — на этот пост товарищ назначается не случайно. Прежде чем стать начальником отдела, он тщательно проверяется. Ведь в его руках адреса, явки, люди.

— В таком случае еще одно требование, — сказал я.

— Требуйте, — улыбнулся Киров.

— Первое. Я знаю только вас или, в случае вашего отсутствия, того, кого по шифру, подписанному вами, вы временно ставите за себя.

Киров кивнул головой.

— Второе. Дайте мне официальное разрешение РВС на отбор по моему усмотрению из числа будущих пленных казаков и офицеров тех, кого я найду нужным оставить при отделе для моей работы.

Киров снова кивнул.

— И третье. Если после обработки этих людей я найду нужным перебросить их за линию фронта, пусть это для некоторых слишком ретивых работников не покажется подозрительным делом бывшего офицера.

Киров одобрительно засмеялся.

— Именно так я и понимаю вашу работу по политагентуре. Я и вы — вот все, кто будет вести наши секретные дела. Знать о них будет комиссар штаба армии Квиркелия, командующий армией и иногда член РВС Механошин. Говорю — иногда, пото-

му что у него другая сфера работы и, лишь когда это будет необходимо, он будет заниматься разведкой. Что же касается пленных, то поступайте именно так; пусть из двадцати отпущенных вами обратно за фронт казаков лишь пятеро расскажут о нас правду, это с лихвой оправдывает остальное. Ведь все двадцать явятся в станицы живыми, с ушами, с носами, без побоев и следов кандалов,—так ведь описывают наш плен белые газеты. Уж одно это будет великолепной агитацией за нас, а пятеро живых, поверивших в советскую власть и разагитированных нами, сделают столько, сколько не сделают ни газеты, ни листки, сбрасываемые нами с аэропланов... Из станицы в станицу побегут слухи и рассказы о вернувшихся из плена казаках. Хутора, базары, села — все будут извещены об этом. Правильно советуете, и я одобряю это. Сами смотрите, кого можно и кого не следует отпускать обратно.

Он помолчал и потом сказал:

— А бывших офицеров у нас в одиннадцатой немало. И начальник штаба Ремезов — царский генерал, и Смирнов — подполковник, и Ковалев, и Свирченко, и Нестеровский, и наш герой Левандовский, и Водопьянов, и вы, и многие другие — бывшие офицеры. Разве дело в этом? Дело в том, что эти люди поверили в народ, в партию, в революцию. Дело в том, что они честно и изо всех сил помогают народу, Красной Армии в их борьбе за светлое будущее, за советскую власть. Будьте спокойны. Решение РВС по этому вопросу вы получите. В самом ближайшем времени вы, Ковалев и Соловьев отправитесь в Яндыки. Ясно?

— Все ясно.

— Отлично. Теперь еще один очень важный вопрос. Это организация экспедиционного корпуса. Реввоенсовет решил одновременно с назначением вас начальником политагентуры назначить и уполномоченным по военно-политическому контролю корпуса. Уполномоченных от РВС одиннадцатой армии будет трое: вы — по военно-политическому контролю, Ковалев, которого вы знаете, — по снабжению, а Соловьев — по транспорту и организации путей.

Это обязательно, решение уже есть, и к этому приготовьтесь теперь же. Обещаю, что, как только корпус будет сформирован, дислоцирован по указанным местам, экипирован, снабжен всем необходимым и будет готов к наступлению, вы будете освобождены от работы уполномоченного и займетесь только одной политагентурой. Пока же соединяйте в себе и одну работу и другую. Это необходимо. Вы трое будете временно представлять собой там, в степях, так сказать, малый Реввоенсовет, но с очень



большой ответственностью перед нашим Реввоенсоветом, — улыбаясь сказал Сергей Миронович. — А теперь идите в поарм, знакомьтесь с теми, кто выделен в корпус, свяжитесь с Ковалевым и Соловьевым. Бутягина вы знаете, Смирнова тоже, с Тронинным дружны. Словом, после разговоров с ними подготовьте письменную наметку, нечто вроде докладной записки о том, как вы представляете себе работу уполномоченного, и дайте ее мне. Время не ждет, а обстановка обязывает нас к точности и незамедлительным действиям.

Он встал.

Ковалев и Соловьев уже ожидали меня у Самойлова. Киров еще утром говорил и с тем и с другим.

Мы уединились, и «малый Реввоенсовет» начал действовать.

Отдел свой создаю легко. Заместителем ко мне назначен Самойлович, бывший ранее начальником отдела кадров политотдела армии. Больше никого не надо, так как по совету Кирова закордонная разведка должна состоять из одного-двух человек, все ее дела находятся в голове, а «канцелярия» будет состоять из хорошей памяти и цифр, понятных только самому начальнику.

Иду к Водопьянову и из состоящих при его бригаде «кавказцев» забираю к себе пока восемь человек. Это пожилой азербайджанец Бабаев, тот самый Аббас, что находился на каторге, член партии с 1905 года, ингуш Нальгиев, чеченец Махмуд Агриев, дагестанец, лак по национальности Идрис Дабиев, осетин Кодзоев, два армянина — Погосян и Дангулов и грузин Долидзе. Остальных оставляю пока у Водопьянова, который будет присылать их по моему вызову.

В политотделе встретил старого друга, балкарца Юсупа Настуева, милого, культурного горца. Юсуп теплым дружеским рукопожатием встретил меня. Мы не виделись с ним с конца 1918 года.

Он не спрашивает меня, что я делаю здесь, так как читал приказ о моем назначении, но тихо, почти умоляюще говорит:

— Если понадобится, вызови и меня. Страдаю почти до слез, тоскую по нашему родному Кавказу. Во сне аул вижу.

— Погоди, Юсуп, скоро увидишь аулы собственными глазами.

Он улыбается и молчит, его затуманенные глаза озаряются радостью.

Здесь шумно и оживленно. Выделяется политотдел экспедиционного корпуса, кое-кого уже назначили туда. Пока знаю, что комиссаром корпуса будет Тронин, начальником политотдела корпуса — Костич. В политотделе будут работать Лозинская,

Кузьмин, Капланова, Проказин, Смирнова, Блазов, латыш Ян Струвис, Лукин, Асламазов и даже милый, славный Омар. Об этом человеке стоит поговорить отдельно. Омар — негр, цирковой актер, работавший в цирке Саломонского в Москве. Октябрьская революция застала его, негра, подданного Бельгии, в чужой холодной России, но Омар не был чужим для революции.

— Этот революция мой дела, мой мечта,— рассказывал Омар.— Революция для весь люди — черни, бели, желти... Все пролетари одна племя, одна путь.

И он сражался вместе с московскими рабочими против юнкеров. В ноябре 1917 года Омар вступил в ряды большевистской партии и с оружием в руках воевал против белоказаков под Ганюшкином и с кулацкими бандами, рыскавшими вокруг Енотаевска.

Сейчас он инструктор культотдела политотдела корпуса. Его мечта — вернуться к себе в Африку.

— Конго много есть негры, которые хотят свой свобода, свой путь. Африка, революция, советски власть, Ленин,— заканчивает он свой рассказ.

Омар храбрый человек, единственно, чего он боится — это русских холодов.

— Очен кусает уши, нос, глаза,— жалуется он на нашу зиму, хотя я не представляю себе, как это мороз может «кусать глаза». Но сейчас теплая осень, и он нежится под солнцем и блаженствует.

Не вижу Фени Костроминой.

— А она ушла в дивизию Нестеровского. Как только Тартаковская вернулась после болезни в политотдел, так Феня подала рапорт: «В полк, на позицию». Попытались отговорить ее, куда, такой подняла шум. Ну, ее и послали в один из полков тридцать четвертой дивизии политкомом,— говорит Земский.

Первый эшелон политотдела корпуса уже отправили в Яндыки вместе с частью штаба корпуса. Большинство на грузовиках, а отделы с более громоздким имуществом — на пароходах и баржах в Оля, откуда посуху доедут до Яндык.

На фронтах идут ожесточенные бои. Огненная линия протянулась с запада и до Дальнего Востока. Колчак разбит, Юденич наступает, на Севере интервенция Антанты терпит крах. А Деникин все рвется вперед. Его конные массы наводнили всю Украину, Донбасс и Центр России. Всюду бои... Не смолкают они и у нас. Черный Яр, Ахтуба, не считая отдельных участков нашего Астраханского фронта, стали ареной кровопролитных боев. 300-й, 301-й и 303-й полки не выходят из боев. 38-й, 39-й и

40-й кавалерийские полки 7-й кавдивизии героически бьются с пластунами, пехотой и кавалерией Врангеля. Моряки-десантники сняты с кораблей Волжско-Каспийской военной флотилии и сдерживают натиск белых. Судовая артиллерия громит скопления беляков, но сил у нас мало, мало и оружия.

Железная дорога на Саратов то и дело прерывается переправляющимися из Царицына белоказачьими отрядами, и все-таки мы стоим и выстоим.

В городе спокойно, рабочие подолгу и помногу работают на победу, красноармейцы бьют и будут бить врага.

Киров знакомит меня с новым командующим армией М. Н. Василенко. Бутягин приказом назначен командиром экспедиционного корпуса и сдает дела новому командарму. Василенко — невысокий, приземистый, с военной выправкой и умными, проницательными глазами — понравился мне.

Он спокойно и точно расспрашивает о тыле неприятеля, о том, каково настроение в станицах, интересуется и экономическими данными, состоянием железной дороги Кизляр — Прохладная — Владикавказ. Расспрашивает и о камышанах. Василенко — бывший офицер-генштабист, полковник старой армии. Не знаю, правда ли, но кто-то сказал мне, что он перебежчик, уведший от Колчака вместе с собой полк пехоты.

Я вижу, что и Кирову нравится этот настоящий военный и настоящий командарм, такой, какого нам не хватало в эти дни.

В приемной Реввоенсовета было много людей, ожидавших встречи с командованием армии.

Тут был и чусоснабарм<sup>10</sup> Баганов, один из ближайших помощников Кирова, «чудотворец», как его называли здесь за исключительную сметку и умение почти всегда найти, добыть из-под земли нужные армии и флоту материалы.

Возле него сидел губпродкомиссар Непряхин, живой, экспансивный человек, ухитрившийся кормить голодавшую Астрахань болотным орехом «чилимом». Непряхин, оживленно жестикулируя, что-то горячо доказывал молча его слушавшему комиссару санупра армии Саградьяну. Возле них стоял редактор армейской газеты «Красный воин» Иосиф Лазьян, что-то рассказывавший Григорию Коробкину, сотруднику РВС и человеку, весьма близкому к Кирову.

У окна, погрузившись в бумаги, стояли Земский и начальник инструкторского отдела Самурский. В стороне от них были Ковалев, Тронин и высокий, худощавый Богословский. Остальных я не знал.

<sup>10</sup> Чрезвычайный уполномоченный снабжения армии.

— Это представители рабочих,— шепнул мне Саградьян.— Справа у стены — делегаты от судостроительных ремонтных мастерских Нобеля, рядом с ними — рабочие с Заячьего острова и ремонтных мастерских Тер-Акопова. Возле них, вот тот, что сидит у самых дверей, это делегат пароходного общества «Кама», а дальше — форпостинские бондари. Тут весь астраханский пролетариат: ловцы с Ножевого, с Бахтемира, с Икрыного, с Царева — конопатчики-татары.

Из приемной Реввоенсовета выглянул Митя Самойлов. Он что-то сказал стоявшему возле Шатырову и снова исчез за дверью.

— Товарищи,— прерывая негромкий шепот переговаривавшихся, сказал он,— прошу всех в кабинет.

Мы вошли. За столом сидели новый командарм Василенко, Механошин, Бутягин, Александр Соколов и командующий Волжско-Каспийской флотилией Раскольников. Киров стоял у окна.

Мы расселись, и Механошин сказал:

— Товарищи, мы собрали вас сюда по важному делу. Красная Армия переходит в генеральное наступление по всему фронту. Мы тоже готовим удар на Кавказ. Вскоре и наши части перейдут в наступление. Сейчас мы собрались для того, чтобы рабочие и руководители города и губернии помогли б нам всем, что необходимо армии в ее ударе на Кавказ. Сейчас Сергей Миронович дополнит мою информацию,— и он жестом пригласил Кирова к столу.

— Говорить много незачем, товарищи. Все ясно и очевидно. Кавказ ждет нас: там, на Тереке и Кубани, в Дагестане и Чечне, идут партизанские бои, белые накануне конца. Десятая армия наступает на Царицын, наши части помогают ей. Еще последнее усилие, и Деникин будет уничтожен.

Я знаю, что в городе голодно, плохо с обмундированием, мало медикаментов... Знаю, что рабочий класс Астрахани недоедает, но, товарищи, надо еще туже стянуть пояса на животах, надо еще обездолить себя, надо, елико возможно, сократить расходы провианта и удвоить работу по снабжению армии и флота.

Вы скажете, что рабочие и так дошли до предела, что семьи ваши голодают, паек урезан, одежды нет, в домах холод, а лечить население нечем: нет медикаментов, не хватает врачей... Знаю... знаю. Сам все вижу и с трудом, с болью в сердце говорю об этом, но сделать это, товарищи, надо. Надо из последних ресурсов обеспечить всем необходимым экспедиционный корпус, который пойдет на Кавказ. Надо еще поголодать, чтобы красный боец был сыт на фронте. Надо лишний час отстоять у станка, на вахте, в нетопленных фабричных корпусах, чтобы наш

красный воин имел при себе полную сумку патронов, теплые варежки и ватные штаны. Мы, конечно, можем нашей революционной властью решить это, постановить и потребовать исполнения, но разве дело в этом? Мы, рабоче-крестьянская власть, в трудную для дела минуту обращаемся к вам,— решайте сами, как быть. В первую очередь я обращаюсь к вам, рабочие, как брат, как коммунист и как член Революционного Всенного Совета: можете вы это сделать, сумеете разъяснить рабочим, пославшим вас сюда, зачем, почему мы требуем еще туже стянуть пояса на животах и еще больше, еще самоотверженной работать в эти дни?

— Трудно будет, Мироныч, очень будет трудно...— тихо, не поднимаясь со стула, сказал Пахомов.— У нас на железной дороге куда легче, чем им,—он кивнул головой на притихших представителей Эллинговских механических мастерских и других делегатов.— Ведь наши кое-как мешочничают... нет-нет да и привезут кто пуд, кто два пуда муки или зерна откуда-нибудь с линии, а у них и того нет.

— Так как же быть? — спросил Киров.

— А я думаю так: переберемся, хоть и трудно, а выстоим. Потом будет легче... А, товарищи, как вы полагаете? — повернувшись к остальным делегатам, спросил Пахомов.

— Конечно, тяжело... И сейчас трудно, а тогда и вовсе, но раз надо, говорить не будем... Переберемся. Ты, товарищ Киров, о нас не думай, ты армию береги... Мы-то что... переберемся, а вот солдату в степи, голодному да холодному, не в пример хуже.

Лицо Кирова светлело.

— Значит, можно считать, что народ поддержит нас? — Он взмахнул рукой.— Так?

— Так, конечно... А как же, раз надо, так и на большее пойдем,— послышались голоса.

— Золотые вы люди,— дрогнувшим голосом сказал Киров, широко раскинув руки, словно желая обнять всех.— Спасибо вам, спасибо и вашим братьям, женам... Всем, всем спасибо.— И он еще раз взволнованно сказал: — Золотой народ вы, астраханцы!

Кажется, все готово к отъезду. Соловьев вчера уехал в Яндыки, я — завтра, Ковалев — через несколько дней.

Товарищи, откомандированные из политотдела армии в корпус, готовы к новой работе. Сборы недолги.

Иду еще раз к Кирову. Сегодня он вводит меня в святая-святых разведки.

— Для докладов, телеграмм и писем, посылаемых вами в РВС на мое имя, необходим шифр.

Он думает и затем говорит:

— Есть один хороший шифр, которым пользовалось жандармское управление в Томске. Он очень прост, легок в употреблении и не так уж доступен для расшифровки. Назовите какое-нибудь общеизвестное стихотворение.

Я подбираю плечами. Их так много, этих стихотворений.

— «Анчар»... «Буря мглою небо кроет»... «Песнь о вещем Олеге»...

— Вы, я вижу, почитатель Пушкина, — говорит Киров. — Ну что же, это хорошо — Пушкин. Это наша национальная гордость, я и поныне люблю перечитывать его. Только давайте еще проще, ну, скажем, «Птичка божия не знает...»

— «...ни заботы, ни труда», — подхватываю я.

— Вот, вот, так мы эту самую бездельницу птичку и приспособим теперь к работе. Пусть трудится на нас, — улыбается Сергей Миронович. — Так вот, шифр наш будет очень простым. Берите ручку и пишите всю первую строфу по строкам:

Птичка божия не знает.

Ни заботы, ни труда.

Хлопотливо не свивает

Долговечного гнезда.

— Ну, пока довольно, а теперь запомните, что первая строчка у нас в шифре всегда будет обозначаться цифрой один, вторая — два, третья — три и т. д. по мере надобности, а искомая нужная нам буква — той цифрой, место которой она занимает по порядку в своей строчке. Обозначать же то и другое будем дробью: наверху — цифра строки, внизу — цифра буквы. Понятно вам? Премудрость, как видите, не велика.

С Хорошевым имейте этот же шифр, да и с Шеболдаевым тоже. Это облегчит прямую и быструю связь с ними. Со ставропольскими повстанческими отрядами и камышанами Прикумья имейте связь лишь через агентуру, да и то тогда, когда к этому вынудят события. Ставрополье в основном связано с разведупром десятой армии и лишь частично работает с нами, но ход операций таков, что в любую минуту правый фланг Ставрополя, если считать со стороны белых, может быть присоединен к нам. Словом, все Прикумье от Величаевского, Степного, Урожайного и до Святого Креста также должно освещаться нашей политагентурой.

В Дагестане Шеболдаев и дагестанские повстанцы. В Чечне — Гикало и его красноармейский отряд, а также чеченские

революционные части. В Осетии — ушедшие в горы керженистские сотни, в Ставрополье — разбросанные по Куме и камышам остатки наших отрядов, не успевших отойти в Астрахань в конце восемнадцатого года, и, наконец, под Кизляром — камышане, которых вы видели сами.

Связь, агентура, информация, пропаганда, переброска наших товарищей, отправка туда людей, денег и, если возможно, оружия — все это означает подготовку белых тылов к началу нашего наступления на Кавказ.

Завтра получите деньги, — Киров добродушно засмеялся. — «Николай ахча», как говорят у нас во Владикавказе.

Один тючок переправьте Гикало, другой Шеболдаеву в Дагестан. — Он задумался. Потом сказал: — Берите с собой четыре тючка. Третий Хорошеву в камыши, четвертый вам для работы.

— Но сколько же все-таки денег в этих тючках? — спросил я.

— Миллиона четыре. В горах эти новенькие билеты производят фурор. Завтра в час дня зайдите в Реввоенсовет. Я дам вам эти деньги. — Киров зевнул. — Давайте спать, уже третий час.

Деньги я получил во втором часу дня. Четыре крепко упакованных тючка, уложенных в один мешок.

Мы с Аббасом уложили мешок в линейку и отвезли его ко мне на квартиру.

Второпях я забыл спросить, сколько же было в тючках рублей и кому должен дать расписку в получении денег.

Позже я зашел к Кирову в Реввоенсовет. Сергей Миронович засмеялся.

— Не разводите канцелярщину, — советовал он. — Когда отправите деньги за кордон, напишите мне, кому их отправили. Наша партийная работа требует доверия и чистых рук. Если мы доверили вам явки, клички и жизни находящихся за фронтом людей, то что значит эти бумажки, которые печатают нам Петроградский монетный двор? Перейдем лучше к делу. Ваша тройка получает теперь большие права, но и ответственность за работу мы потребуем немалую. Подготовьте все к организации экспедиционного корпуса, разверните работу так, чтобы части, которые идут к вам, имели все — от хлеба и крыши до сочувствия и поддержки крестьян. Как только мы перейдем в наступление, я постараюсь приехать в Яндыки.

Мы тепло попрощались.

★ ★ ★

# ДАЕШЬ КАВКАЗ!

## КОМИССАР ТРОНИН

Мы обгоняем идущие с песнями, походным порядком, батальоны, роты, эскадроны, обозы, артиллерию и морской отряд Кожанова.

Большая часть грузов, отделы штаба корпуса, снабжения и связи на судах и баржах двинулись из Астрахани на ловецкое село Оля, находящееся верстах в шестидесяти от Яндык.

Веселая песня звенит над степью. Это красноармейцы поют «Комарика».

— Даешь Кавказ! — гудит, переливается в степи.

Ремонтно-транспортная колонна по всему пути чинит мосты, трамбует сбитую дорогу. Караваны верблюдов тянут к Яндыкам грузы. И до самых Яндык шум, движение, блеск штыков, звон оружия и «даешь Кавказ».

Но вот и Яндыки. Первое впечатление прекрасное. После военной Астрахани, полной напряженного труда и суровой подтянутости, село это выглядит спокойным и мирным. Вокруг широкая степь, уходящая в калмыцкие пески. К югу и западу тянутся тракты и шляхи на Кизляр и Святой Крест. Крестьяне спокойно переезжают через воображаемую линию фронта, торгуют с белоказацкими станицами, выдаются с родней, привозят отсюда муку, зерно и, конечно, слухи и сплетни как о белых, так и о нас.

Отвели мне просторную комнату в доме Савелия Костина. самого Савелия дома нет.

— Где?.. У вас, в красных, воюет где-то за Черным Яром, — отвечает его жена, Маланья Акимовна, женщина средних лет, с круглым и добродушным лицом.

Аббас живет рядом, через дом. Так проходят сутки. Начиная работать, знакомиться с селом, обстановкой, людьми.



Комендант разводит прибывающих по квартирам. Штаб и политотдел корпуса поместились рядом. Идет подготовка к размещению остальных отделов.

Недалеко от меня военный телеграф, комендатура и облюбованный Ковалевым дом под отдел снабжения, который прибует в Яндыки дней через семь.

Сегодня из Астрахани приехали Хорошев, Сибиряк и еще двое товарищей, уходящих под Кизляр в камыши.

Хорошев уже полностью информирован Кировым обо всем, что ожидает от него и камышан Реввоенсовет армии.

У него два с половиной миллиона денег, большая часть их адресована Шеболдаеву в Дагестан и Гикало в Чечню.

Камышане ночуют в Яндыках, а наутро уходят. Хорошеву, еще не совсем оправившемуся после сыпняка, Ковалев отдает своего любимого серого верхового коня. Сибиряк вооружен, как пират: кинжал, две ручные бомбы, подсумок, полный патронов, карабин и пулеметная лента вокруг пояса.

За ночь выпал первый снежок. Шел недолго, но вокруг побелело все. Осень нынче рано уступает место зиме.

Пейзаж еще не вполне зимний, так как дорога к селу и улицы в Яндыках темны. Под колесами телег, автомашин и копытами коней снег быстро растаял, но вокруг белым-бело.

Но ранний снег не мешает работе.

Соловьев уехал на юг. За ним потянулись дорожники, мостовики, столяры, саперы. В намеченных Реввоенсоветом пунктах возникают хатоны и юрты. Ковалев готовит фураж и продовольствие из местных источников.

Я связался с полками, ушедшими вперед, и теми, которые расквартированы вокруг Яндык.

Яндыки — большое село, дворов, вероятно, в триста, разбросанное по обе стороны неглубокой лощины — ерика, как называют здесь. Жители села, крестьяне, ловцы, приветливо встречают нас. Молодежи мало, часть ушла в Красную Армию, другие подались к белым за мукой, третьи — в море, кое-кто находится в Астрахани.

— У нас солдаток полно село. Как ушли мужики на мировую войну, так, почитай, полсела и не возвернулось! Кто их знает, живы аль нет, а может, домой идут, да никак не доберутся. Ишь ведь теперь вся Расея на фронты поделилась... Может, им еще год или поболее домой идти надо, — вздыхая, поясняет хозяйка.

— А с белыми ушло много? — интересуюсь я.

— Мало. Всего ничего. Трое Ермаковых, два с фронта офицерами пришли, а третий по рыбной части был. Да Мельников,

что возля церкви большой дом стоит, ну и тот и казакам подался.

— А он чего?

— Правильно сделал. Вы б его в чеку посадили. Ведь он торговлю имел да церковным старостой был.

— Так ты думаешь, за это посадили б? — смеюсь я.

— А конечно, — убежденно говорит хозяйка, — раз вы в бога не веруете, значит, ему и отвечать.

— Ну а почему ж тогда попа вашего не трогаем? — Почему церковь не закрываем? Ерунду говоришь, тетушка.

Она озадаченно молчит, но потом бойко наступает на меня:

— Нет, чистую правду говорю. Вот все говорят, что за иконы в тюрьму сажать станут. Верно это или нет, товарищ хороший?

— Брехня. Веришь в бога, ну и верь. Молись себе до утра на здоровье. Это твое личное дело.

Хозяйка молчит, недоверчиво поглядывая на меня.

— А тогда почему иконы отбираете? — вдруг спрашивает Маланья Акимовна.

— Кто отбирает? Мы? — удивленно спрашиваю я.

— Угу! — кивая головой, говорит она.

— Кто отобрал и когда? — уже понимая, что тут дело не обошлось без контрреволюционной провокации, спрашиваю хозяйку.

Хозяйка молчит, долго не решается сказать и наконец тихо говорит:

— Да были у нас такие двое. Один комиссар, Федулов, что ли, по фамилии, а другой чернявый собой, навроде цыгана. Так они по дворам ходили, иконы сымать приказывали, а у кого найдут — штраф.

— Теперь? — спрашиваю я.

— Нет, еще весной... Походили они по селу, на боку ливорверты, штаны красные, при шашках. С утра до ночи пьяные, без сапогону не ели... а потом и подались к калмыкам.

— А почему вы думаете, что они большевики? Может, это были просто бандиты.

— Не-ет! — убежденно говорит хозяйка. — Большаки самые настоящие. И штаны у обоих красные с позументом, и на шапках красная звезда.

— Ну а в селе-то проверял их кто-нибудь?

— Кто проверит-то? У нас тут все больше старики да бабы, сидим напуганные, то те, то эти, то калмыки, то белые, то красные... а весной так еще какие-то никифорцы объявились.

— А это что за никифорцы?

— А шут их знает какие. На трех тачанках да конных человек пятнадцать из степу пришли, и с ними баба молодая да пьяная вовсе, за командира. Забрали кой у кого денег, одежды теплой, двух коров зарезали, попола напояли допьяна и заставили «русскую» плясать да обратно в степь ушли.

— Может, эти два хлопца, что с икон штрафы брали, тоже из них, из никифорцев?

— Кто их знает, может, и никифорцы,—пожимая плечами, соглашается Маланья Акимовна.

Я повесил на гвоздь шинель, в угол поставил винтовку и патронташ и пошел в сарайчик, где хозяйка приготовила ведро горячей воды, помылся и, вернувшись в избу, стал с наслаждением пить какой-то липово-желудевый чай, которым в Астрахани снабдил меня Киров.

За дверью послышались шаги. Высокий, плечистый человек с ясными, веселыми глазами вошел в комнату, за ним вошли еще двое.

— Ну, рад вашему приезду. Мы уже знакомы. Начальник штаба корпуса Смирнов, а это военком корпуса,—указал он на опойкой стоявшего Тронина.

— А с ним давно знакомы,—сказал Владимир Аркадьевич. Мы обнялись.

— Мне еще в Астрахани понравился этот спокойный, с несколько окающей речью человек.

— Вот и поработаем вместе. А этих хлопцев знаешь? —указывая трубкой на Никольского и Базекского, продолжал Тронин.

Так закончилась наша официальная встреча, сразу же перешедшая в крепкую фронтовую солдатскую дружбу.

Мы пили чай. Смирнов балагурил с хозяйкой, девка Алена—племянница хозяйки—дважды вскипятила самовар и угостила нас какими-то белыми пшеничными кругляшами.

— Богато живешь,—оглядывая стены, сказал Тронин хозяйке,—одних фотографий да литографий сколько поразвесила.

— Было б еще больше, только она со страху иконы да афонские церковные картинки снимала,—засмеялся я и рассказал о страхах хозяйки.

— Вот шалопутники, это, вероятно, остатки из разбитой поповской банды,—засмеялся Смирнов.—Таких бродяг сейчас по степи да хатонам немало шляется.

Но Тронин отнесся серьезней к рассказу хозяйки.

— Это не так смешно, Саша, как кажется на первый взгляд,—сказал он.—Несомненно, эти двое были прохвосты из белых банд, они ограбили крестьян, выдавая себя за красных, и перед уходом еще развели против нас пропаганду. Надо устро-

ить собрание жителей в школе. Выступлю я, ты вот, — он ткнул пальцем в Никольского, — тоже. Разъясним людям, что никто до их икон и бога не добирается. Ни церковь, ни веру, ни помы мы не трогаем — пусть верят как вздумается. Придешь на собрание, хозяйка? — оборачиваясь к опешившей от удивления и восторга женщине, спросил он.

— А как же? Конечно, приду, дай бог тебе, голубчик, здоровья!

— Приходи, да и других женщин за собой зови, пусть послушают правду.

Утром следующего дня я с телеграфа зашел в отдел снабжения к Ковалеву. Его не было. Он находился где-то в конце села, и я присел в большой комнате, отведенной под канцелярию. Сюда входили неизвестные люди. У окна две машинистки стучали на «ундервудах», кто-то шелкал на счетах, молодой губастый парень в потертой ватной безрукавке пытался втащить из сеней стол. Я поднялся, чтобы помочь ему, и остановился. Одна из машинисток, совсем почти девочка, лет, вероятно, семнадцати, не больше, тоже встала с места на помощь парню. Я все еще стоял, не сводя с нее глаз, — так красива была она. Она быстро прошла мимо и, подхватив край уже влезавшего в двери стола, потянула его к себе.

Я помог ей и молча потащил вместе с парнем стол во вторую комнату, а за спиной услышал приглушенный смех машинисток.

В эту минуту вошел Ковалев.

— А, принесли наконец стол, а то я тут как на птичьем положении. Второй день работаю без стола, на подоконниках резолюцию ставлю.

— Слушай, Александр Пантелеймонович, кто эти девушки-машинистки? — указав головой на соседнюю комнату, из которой слышался стук «ундервудов», спросил я.

Ковалев взглянул на меня и сказал:

— Я понимаю, что тебя интересуют не обе, а одна из них. Первая — Воеводина, студентка-медичка; вторая — Надя Вишневецкая, тоже мечтала о Москве и мединституте. Работала в отделе снабжения одиннадцатой армии и сюда отправлена как мобилизованная машинистка.

Потом мы поговорили о деле и вместе вышли на улицу. Девушек уже не было, на машинках чернели металлические чехлы, а за их столом сидел пожилой человек, поднявшийся при виде Ковалева.

— Александр Пантелеймонович, фураж для коней требуют, а где его взять? У меня каждый пуд распределен, — с отчаянием в голосе заговорил он.

— А сколько у вас вообще сена, товарищ Винклер? — спокойно спросил Ковалев.

— Да пудов тысячи две, не более.

— Я спрашиваю точную цифру наличия сена, а не приблизительно, — сухо сказал Ковалев.

— При себе точных данных нет, а думаю, что две тысячи — это почти верная цифра, — растерянно ответил Винклер.

— Эх, дорогой мой товарищ, ведь вы же один из помощников начальника снабжения корпуса, грамотный человек, с высоким образованием, и неужели вы в Петрограде, когда работали при царе в промышленном комитете, тоже так, на авось, все делали. Ведь, вероятно, и цифры, и даты, и адреса, и стоимость товаров назубок знали да в книжке записной все имели.

Винклер виновато молчал, отводя в сторону смущенные глаза.

— Заведите записную книжку и все, что поручено вам, за что ответственны перед народом, знайте точно.

— Слушаюсь, товарищ комиссар, — вытягиваясь, ответил Винклер.

— А сена у вас должно быть гораздо больше. Здесь, в Яндыках, тысяча пятьсот пудов, в Оленичеве девятьсот да на пути к Эркетени четыреста, не считая того, что уже выдали частям. Итого две тысячи восемьсот пудов. Да из Оля отправлена сюда еще тысяча. Из того, что находится в Оленичеве, передайте тридцать седьмому кавполку пятьсот пудов.

— Слушаюсь, — ответил Винклер.

Мы вышли на улицу. Все село курилось в дымках, поднимавшихся из труб. Снег похрустывал под ногами.

— Вот видишь, старый человек, работал в продкомитете всю мировую войну. И опыт есть, и знания, и образование большое. Коммерческий институт окончил, а без палки и понуждания работать не может. «Боюсь, говорит, не так что сделаю — в чека посадите, в саботаж обвините». А какой он саботажник... просто перепуганный насмерть чиновник, до сих пор не прошедший в себя от страха. И таких у меня в снабжении немало, да и в Астрахани тоже. Киров, когда назначил меня комиссаром снабжения армии, сказал: «Смотри, Ковалев, за людьми и делом... Помни, что под твоим началом будет много торгашей, старых интендантов, деляг из купцов и спекулянтов-снабженцев, привыкших в старое время к жульничеству, обману, нерадивости и обогащению. Ты коммунист и, значит, представитель партии и власти, с тебя и ответ будет».

— Киров тебя уважает и ценит. Он сам не раз советовал мне в работе ближе держаться к тебе, — сказал я.

— Верит! И вот это-то и заставляет меня вдесятеро больше работать, чем другие.

Дня через три по селу было развешано размалеванное на картонах объявление: «Политотдел и культкомиссия ПОКОРА в ближайшее воскресенье в помещении сельской школы устраивают открытое собрание бойцов и жителей Яндык и Оленичева.

Повестка дня:

1. Доклад военного комиссара корпуса т. Тронина «Текущий момент и политика советской власти на селе».

2. Художественная часть. Декламация и сольные выступления участников вечера».

У школы толпился народ. Из открытой двери валил пар. В стороне, на площади, стояло несколько саней. Здесь были люди, приехавшие из Оленичева и даже из Промысловки. Молодые, старые, дети, женщины, укутанные в платки и шали, седобородые старики и парни в треухах, мужики в ватниках и расстегнутых солдатских шинелях, ловцы в выцветших кожухах и шубах. Да, моя хозяйка постаралась. Вероятно, она обегала полсела, созывая на вечер всех своих кумушек, подруг и дружков. Весть о том, что «большаки не запрещают молиться», что «церкву не закрывают», вмиг облетела окрестные села, и вот — результат. А наши афиши разожгли интерес и любопытство молодежи этих сел.

— Даже не ожидал, как в театре говорят — «полный аншлаг», — смеется Тронин, поглядывая на шумную, толкующуюся у школы толпу. А люди все прибывают. Много здесь и красноармейцев, политработников, обозных. Пришла и Надя со своей подругой Женей Воеводиной. Вот и девушки из политотдела. Строгая, всегда настороженная Лозинская, миловидная Нина Капланова, белокурая Зина Колобова, технический секретарь партячейки Маша Суслова, инструктор орготдела Сергеева, машинистка штаба Габриэляни и еще несколько девушек, работающих в штабе корпуса. Шумно, весело, как-то празднично вокруг.

Пришел и Ковалев, урвавший полчаса из своего до предела сжатого рабочего дня. Смирнов, широко улыбаясь, что-то весело рассказывает начальнику оперативного отдела штаба, серьезно не по летам Свирченко. Здесь же и негр Омар, работник культотдела, — словом, почти все Яндыки присутствуют тут.

А снег все идет и идет. Мягкие, пушистые хлопья покрывают шали, платки, кожанки и шинели людей. Вместо звонка слышатся частые удары подковой по пустому ведру, и толпа весело вваливается в помещение школы.

Я, как один из ораторов, иду за самодельные, но довольно

хорошо сделанные кулисы. Там, за занавесом, уже расположились Тронин, Проказин, кубанец Савин, нечто вроде порученца при начальнике штаба, двое товарищей из политотдела, Лозинская и только что приехавший из Астрахани комиссар штаба корпуса Костич.

— Ну, все готово... давай занавес,— смеется Тронин и сам вместе с Савиным, один в одну, другой в другую сторону, тащат повешенные на веревки бязевые простыни, заменяющие занавес.

В зале, то есть в большой классной комнате, все стихает. На партах, скамьях, табуретах, на подоконниках сидят люди. Еще больше стоят в проходе или заглядывают внутрь из сеней. Шум понемногу стихает, а поднятая рука Тронина заставляет и тех, кто у дверей, снижать голос. Но дым от махорки, самосада и самокруток все гуще заполняет зал.

— Товарищи! Объявляю нашу встречу жителей Яндык совместно с бойцами гарнизона открытой,— громко, раздельно говорит Тронин.

Кто-то хлопает в ладоши, где-то у дверей в знак одобрения стучат ногами.

— Повестка вечера короткая: сообщение о положении на фронтах, затем беседа и песни, рассказы — словом, дружеская, товарищеская встреча нас с вами. Согласны? Есть у кого возражения? — продолжает Тронин.

— У меня есть,— поднимаясь из рядов, говорит одна из женщин, энергично размахивая рукой.

— Ну, говори, в чем возражение? — удивленно спрашивает Тронин.

— А в том, что дыхнуть тут вовсе нельзя. Накурили, кобели чертовы, так, что всю середку до печенки продымили. Запрети ты им, чертям окаянным, народ самосадам травить.

Секунду все озадаченно молчат, а затем так загрохотали в общем раскатистом хохоте, что сизый, густой, нависший под лампами дым заходил ходуном.

— А что, ведь верно сказала товарищ,— утирая веселые слезы, согласился Тронин.— Прошу всех прекратить курить, не портить махоркой внутренности некурящих.— И снова веселый смех заполнил школу.

Еще в Астрахани, когда в одну из ночей Сергей Миронович познакомил меня с товарищами, с которыми мне придется работать в корпусе, он сказал:

— Мы посылаем туда лучших. Тронин умный и испытанный коммунист. На его груди орден Красного Знамени, полученный вместе с Фрунзе и Чапаевым за бой на реке Белой. Они все трое и были ранены в тот день.

Смирнов — боевой, мужественный человек, бывший офицер, с первых же дней Октября пришедший к нам. Товарищи, воевавшие на Украине, высоко ценят его воинские знания. Да он и здесь, под Черным Яром, подтвердил их.

Ковалев — чистая душа. Один из самых безупречных, скромных и деловых работников армии и, главное, не ждет указаний свыше. Докапывается до всего сам, не боясь ответственности. Держитесь к нему ближе.

Соловьева Сергей Миронович охарактеризовал коротко — человек дельный, надежный, но малообщительный. Дело знает и порученное доведет до конца.

Таковы товарищи, с которыми я начинаю работу по подготовке удара на Кавказ.

Тронин говорил недолго. Его простая окаяющая речь понравилась слушателям. Передние ряды, в которых главным образом сидели старики и пожилые женщины, затаив дыхание слушали оратора. Сзади, где была молодежь, несколько шумнее. У дверей, в которых толпились непоместившиеся или опоздавшие, раздавались приглушенные голоса.

Тронин говорил о задачах советской власти, о том, что будет сделано на селе, как только Красная Армия разобьет белогвардейцев и закончится гражданская война.

— Пора уж взяться за дело. Земля устала от отдыха, люди устали от войны. Крестьяне должны пахать, ловцы идти в море и ловить рыбу, рабочие стоять у станков. Армию надо демобилизовать, ваши сыновья и мужья должны возвратиться к семьям, — просто, словно беседуя с друзьями, разъяснял он наиболее волнующие вопросы. — Вы думаете, нам охота бродить по этим пескам? Конечно, нет. У меня самого семья в Самаре. Маленький сын, которого я как следует еще и не разглядел... а ведь растет он без меня. Как вы думаете, каково отцовскому сердцу? — спросил он, глядя на притихшую толпу.

Кто-то вздохнул, где-то всхлипнула женщина.

— Тронул я ваши больные чувства, дорогие мои товарищи, — дрогнувшим голосом продолжал Тронин, — но что делать. Все мы отцы, у всех есть и матери, и жены, и все мы хотим, чтобы как можно скорее закончилась эта война. Не мы ее вызвали. Враги, генералы да промышленники ее начали, но мы, — он поднял вверх руку, — мы, рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция, закончим ее и возьмемся за добрый, полезный и необходимый народу труд.

Тронин сел, а люди все еще молчали, и только старуха, сидевшая в первом ряду, шумно вытирала слезы, катившиеся по ее лицу.



— А что, товарищ комиссар, вот в людях говорили, будто церкву откроют и служить батюшка обедню будет. Верно это?— поднявшись с места, спросила полная, средних лет женщина.

Несколько человек засмеялись, но большинство выжидательно и серьезно смотрели на Тронина.

Комиссар встал и, подходя к свежей, еще белой, недавно оструганной рампе, сказал:

— Советская власть не запрещает и никогда не запрещала молиться. Все верующие, и православные, и мусульмане, и евреи, и католики, могут молиться и посещать свои церкви и молитвенные дома.

— А как же нам говорили, что при коммунии попов в чеку посадят?—раздался чей-то взволнованный голос.

— А кто будет крестить али свадьбу справлять с попом, того тоже в чеку... И пасху и троицу нельзя справлять... И хоронить без попа, навроде дохлой скотины, будут — за ноги да в яму...— слышались голоса.

Теперь уж засмеялось много людей, смеялись и в президиуме.

— Да кто вам эти бредни сказал? Откуда вы взяли такую чепуху? — спросил Тронин.

— Да все говорили... в народе разное толкуют... да и комиссар ваш... который с наганом на боку ходил, тоже сказывал...— опять заговорили в зале.

— Я не знаю такого, среди нас его нет. Уверен, это был провокатор. Знайте одно — советская власть не мешает верующим верить в своего бога и молиться ему. Мы лишь против контрреволюционных попов, которые подбивают народ против революции.

— А как же с батюшкой? Можно ему церкву открыть? — слышался нетерпеливый женский голос.

— А где он... здесь, в Яндыках? — спросил Тронин.

— Здеся, да только дома прячется. Бойтся сюда идтить.

Тут уж расхохотались все.

— Я здесь, я не прячусь,—раздался из задних рядов негромкий голос, и над сидящими приподнялась фигура в потертом полушубке.

— Что ж вы, батя, спрятались за людей? Ведь вы-то знаете, что мы не преследуем церковь и служителей культа, если только они не занимаются контрреволюционной пропагандой,— сказал Тронин.

Священник в своем рваном зипуне, с непричесанной бородой выглядел забавно и карикатурно.

— Открывайте свою церковь и служите себе на здоровье, да и одевайтесь, батя, поприличней, все равно ведь в народе гово-

рят: «Попа и в рогоже узнают», так что маскарад вам все равно не поможет,— под общий смех сельчан, довольных таким решением, закончил Тронин.

— Товарищи,—поднимаясь с места, вдруг сказал Ковалев,— минуточку внимания.

Все смолкли.

— А ведь я вас, батя, помню, а вы меня, вероятно, забыли,— обращаясь к все еще стоявшему попу, продолжал Ковалев.— Хорошо вас помню. В феврале, когда мы отступали с Кавказа, я на несколько дней был назначен комиссаром по приему отступавших из-под Кизляра красных войск. Не забыли, батюшка, в каком ужасном виде подходили эти замерзшие, больные тифом, голодные, изможденные люди?

— Помню... и я вас теперь узнаю,— тихо ответил священник.

— Вот и хорошо. Ведь тогда в Оленичеве все хаты, все сараи и конюшни были забиты этими людьми. Все было переполнено, а новые всё подходили и подходили. Больные тифом всё прибывали. И что вы тогда решили? — обращаясь к попу, снова спросил Ковалев.

— Пришел к вам и предложил открыть двери храма и в его помещении расположить больных.

— Правильно. Вы тогда сказали, что это будет богоугодным христианским делом, и вы очень нам помогли этим. За два часа мы настлали в церкви соломы, устроили приемный покой, и больше ста человек больных разместились там. Спасибо вам, но разве мы силой сделали это?

— Нет, я сам предложил устроить лазарет в церкви,— сказал священник.

— Вот видите,—обращаясь ко всем, сказал Ковалев,— а дурные, негодные люди распустили слух, будто мы под угрозой расстрела заставили вас сделать это. Вот так и теперь, кто-то, кому нужно рассорить народ с нами, кто хочет, чтобы жители были на стороне врагов, опять распускает всякие небылицы о нас. Не верьте им, это контры и белогвардейцы...

— А мы и не верим,—раздались голоса,— у нас, почитай, все мужики ушли в Красную Армию.

— Значит, все в порядке. Вы,—обращаясь к попу, заговорил Тронин,—открывайте свою церковь, а кто верующие, тот будет посещать ее, а мы,—он улыбнулся,—будем делать свое дело, бить белых и очищать родную землю от контрреволюции и паразитических классов.

— Правильно. Да здравствует товарищ Ленин и мировая революция!—вскакивая с места, крикнул один из красноармейцев.

И общее «ура» закончило дискуссию о церкви в селе Янды-

ки. Потом была «художественная часть». Лозинская громко, но неумело декламировала стихи Брюсова:

Каменщик, каменщик,  
В фартуке белом...

Савин спел недурным тенорком:

Ехал казак за Дунай,  
Сказал дивчине: «Прощай».

Всегда тихий, скромный Алексеев очень выразительно, захватив аудиторию, с пафосом прочел «Буревестник» Горького. Двое красноармейцев под гармошку сплясали «барыню», матрос Загоруйко лихо прошелся по эстраде, отколол такое ухарское «яблочко», что восхищенные зрители заставили его повторить свой танец. Казак-кубанец из полка Косенко спел «Закувала та сива зозуля», а командир кавдивизиона Кучура очень весело, с юмором рассказал старую казачью байку о том, как царский генерал и архиерей поспорили, кто из них умней, и оба оказались дураками:

Смеялись все: и старики, пришедшие послушать про «церкву», и бородатые ловцы, которых интересовали текущие события, и молодежь села, для которой митинг и собрание были праздником, нарушившим ее однообразное, монотонное житье. Смеялись и красноармейцы, то аплодисментами, то живыми солеными словечками подбадривая выступавших доморощенных, несмущавшихся артистов.

Затем выступил наш любимец Омар.

— Ой, матушки, негра, — довольно явственно послышался удивленный женский голос.

— Тсс, тише, не мешай! — заглушили ее другие голоса.

Омара долго не отпускали. Милый наш товарищ проделал все свои номера. Он глотал горящую паклю, жонглировал пятью куриными яйцами, делал почти без разбега сальто. Все шло под радостные, ободряющие крики и аплодисменты зрителей. Но главное, чем покори́л наш черный товарищ всю аудиторию, — это было чревоуещание.

Ссору свиньи с собаками, изображенную им, не могли выдержать без хохота зрители. Хохотали решительно все, хохотали до слез, до колик в животе. Вскрикивали с мест, кричали, утирая веселые слезы и снова хохоча, а Омар так уморительно, так неподражаемо импровизировал сцену, вводя все новые и новые добавления в собачий лай, визг и хрюканье свиньи, что даже мы, много раз смотревшие в Астрахани его номера, не могли удержаться от смеха.

— Ура... молодец, Омар... давай, давай еще! — кричали отовсюду, а он, сомкнув губы, с удивленно-наивным лицом стоял на эстраде, а визг, лай и хрюканье взбесившихся от драки животных неслись над толпой.

— А кто из вас, товарищи милые, хочет выступить? Кто что может, ведь поют же и у вас песни и пляшут. Ну... решайтесь,— смеясь, обратился Тронин к жителям.

Послышались возгласы, кого-то назвали в толпе, кого-то пытались вытолкнуть вперед.

— Ну так как же? Неужели в таком большом селе да не найдется своих талантов? — снова спросил Тронин.

— Да есть они... только смущаются... непривычны к чужим людям,— заговорили в толпе.

— Какие ж мы чужие? Все свои, чужих тут нет, да разве наши-то, кто выступали, артисты? Такие же, как и вы, крестьяне, бойцы, рабочие. Нечего стесняться, ну, покажите и вы, яндыковцы, себя,— обратился ко всем Кучура.

— Ну что ж... раз так, я первым и выйду,— смеясь, проговорил паренек лет семнадцати, держа в руках балалайку. Он быстро поднялся на эстраду и, притопывая и приплясывая, заиграл и запел частушки.

Это были местные, свои, яндыковские частушки. Мы не знали, о чем пел паренек, но вся аудитория хлопала ему в минуты, когда он называл каких-то здешних «Карпо Иваныча», «тетю Дусю», «франтиху Фроську» и высмеивал переодевшихся в рваные зипуны и латанные штаны местных богатеев Прошкиных, попа Лаврентия и жену аптекаря Лагоды, брошенную бежавшим с белогвардейцами мужем.

После него четыре девушки пели хором рыбацкую песню «Море-моряшко Хвалынское, злое да студеное».

В конце нашего импровизированного и так хорошо прошедшего вечера все встали и запели «Интернационал». Но пели в основном мы, красноармейцы, политработники и сотрудники учреждений, разместившихся в селе. Крестьяне не знали слов. Они почтительно стояли, пока мы не закончили наш рабочий революционный гимн.

Все стали шумно выходить на улицу. Была морозная, холодная, с ясными сверкающими звездами ночь. У дверей я увидел Надю с ее подругой Женей Воеводиной. Девушки были веселы и оживлены.

— Как было хорошо, как все это интересно и живо! Сейчас я остро почувствовала, какое хорошее и нужное дело было сделано сегодня,— сказала Надя. Помолчав, она продолжала: — Я уже почти год работаю в одиннадцатой армии, даже пережила

в Астрахани мартовское восстание контры. Мы были отрезаны от дома. Требовалось в те дни работать в отделе, и я вместе с другими сотрудниками несколько дней не оставляла штаба. За это имею даже благодарность в приказе и в послужном списке,— с наивной гордостью добавила Надя.— И все же многое не доходило до души, многого я не понимала и не воспринимала. Но по пути на фронт и особенно сегодня, здесь, когда я смотрела на этих красноармейцев... я была растрогана до слез... Голодные, оборванные, полураздетые, истощенные тифом... они рвутся на фронт! Я смотрела на их лица... с какой верой, подъемом и горящими глазами они кричат: «Даешь Кавказ!» Вот сегодня, здесь, я стала «красной» окончательно! Да нет, не умею я высказать всего,— смутилась под конец Надя.

Мы молча прошли несколько домов. Женя Воеводина не вмешивалась в разговор.

Яндыки все еще были празднично шумны. Слышались голоса расхаживших по хатам людей, пронеслись маленькие сани, несколько конных обогнали нас.

В окнах горел свет. На душе было светло и радостно.

Тут было все: молодость и ясное ощущение того, что в неповторимое для истории время ты стоишь на правильном пути; и начало влюбленности, неясные, но полные глубокого смысла слова этой девушки, нутром понявшей все значение нашего простого и бесхитростного вечера. И, как бы угадывая мои мысли, Надя сказала:

— Сегодня впервые поняла, какое большое дело для народа делаете вы, коммунисты. В Астрахани я и не думала об этом.

Я проводил девушек до дому и вернулся к себе.

Яндыки все еще жили событием сегодняшнего вечера.

Прошло несколько дней. Я работаю и как уполномоченный Реввоенсовета, и как начальник политагентуры и все же каждый день нахожу минуту, чтобы «случайно» зайти к Ковалеву.

Надя, конечно, заметила это, как заметил и понял сам Ковалев. Он еще раз тепло и с уважением отозвался о девушке как о хорошем человеке и отличном работнике.

— Ты, друг мой, помни, девушка эта наш хороший, достойный товарищ.

Я пожал ему руку, а работавшая где-то за стеной Надя даже и не подозревала о нашем разговоре.

Шел я домой и думал: как странно, вот здесь, на фронте гражданской войны, в маленьком селе Яндыках, может быть, соединяется воедино моя и Надина судьба.

Но почему «соединяется»? Ведь если девушка полюбилась мне и стала как бы близкой, это же вовсе не относилось к ней. Надя, я был в этом уверен, и не помышляла о чем-либо серьезном... ведь между нами ничего не было, кроме беглых встреч, коротких бесед и двух-трех недолгих прогулок по Яндыкам.

Не видел я и особенного внимания ко мне с ее стороны. Она была весела, жизнерадостна и учтива со всеми, не выделяя кого-нибудь своим вниманием. Понимал это я и тем больше, тем острее чувствовал огромное, непреодолимое желание видиться чаще и дольше с нею.

Надя много читает, любит театр, «обожает» Блока и декламирует его на память. Случайно она проговорила, что «пописывает стихи», и после долгих уговоров показала мне несколько небольших, наивных по форме, но очень трогательно и искренне написанных лирических стихотворений. Она не коммунистка, но наш, советский человек.

В Астрахани у нее мать и сестра, и Надя скучает по ним, подсчитывая дни, когда вернется домой.

Ее подруга, тоже славная скромная девушка, уроженка Баку, студентка-медичка, часто вспоминает свой город, родных, близких, от которых оторвал ее шквал революции.

Несколько раз я провожал Надю до квартиры. Живет она на другом конце Яндык, вместе со своей подругой Женей.

— Переходите поближе к отделу. Рядом с нашим домом есть свободная комната у местной попадьи. Вам будет удобно, ближе к месту работы,— предложил я.

Надя улыбнулась и посмотрела на подругу.

— Перейдем. Всем станет удобнее,— с некоторым намеком сказала Женя.

Через день девушки перешли в дом попадьи, и я чаще стал видиться с ними. Иногда мы вечерами гуляли по селу, раза два ездили на санях в Оленичево. Однажды сани перевернулись, и мы выпали в снег, когда разбежавшиеся кони лихо рванули на повороте дороги. Смеясь и отряхиваясь, мы выбрались из сугроба, радуясь неожиданному и веселому эпизоду.

Наблюдаю за ними, и одно общее бросается мне в глаза. Вот здесь, в преддверии фронта, живут без пап и мам эти две молодые, хорошие девушки. Вокруг десятка четыре молодых, одиноких сотрудниц политотдела, штаба, культотдела и других наших учреждений. Живут скромно, достойно, честно, и сотни окружающих их мужчин с уважением и большим вниманием относятся к ним.

В селе много солдаток, одиноких молодых женщин, и ни разу не было, я подчеркиваю, не было ни одного случая какой-

либо обиды или оскорбления женской чести со стороны военно-служащих, расквартированных в Яндыках.

Как революция изменила людей, как возвысила и облагородила она их!

Мне, проведенному на фронте все годы минувшей мировой войны, это бросается в глаза и... признаюсь, удивляет меня.

Великий свет Октября, светлое дыхание революции изменили и мир, изменили и людей.

Передо мной лежат три белогвардейские газеты: «Южный край», «Терский казак», «Кубань» и меньшевистская газета «Борьба», издающаяся на русском языке в Тифлисе. Познакомлюсь с ними и утром отошлю их в Астрахань Кирову.

К газетам, которые я получил вчера от агентуры святокрестовского направления, сегодня прибавился еще один документ, присланный мне из Левашей (это один из далеких аулов Дагестана) командиром нашего краснопартизанского отряда Шеболдаевым.

Он настолько оригинален, забавен и неповторим, что к многочисленным экспонатам будущего музея русской контрреволюции необходимо присоединить и его. Учитывая это, переписываю целиком весь «документ», присланный из Левашей. Завтра я его вместе с деникинскими и меньшевистскими газетами отошлю в Астрахань Кирову.

Это — письмо одного из главных духовных лиц Дагестана, пославшего от своего имени и совета духовенства письмо в Каир, в адрес египетского муфтия. Чеченский «эмир» Узун-Хаджи также осведомлен как о письме духовенства Дагестана, так и об ответе муфтия из Каира.

Привожу одно и другое. Вот они.

«Фетва (разъяснение). Его высокопреосвященству Египетскому муфтию» (перевод с арабского и английского языков).

Саид-Шериф-Хасан-Мухамед Эфенди просит Египетского муфтия высказать свое мнение о большевизме и большевиках следующими словами:

«Ваше высокопреосвященство, вы состоите уважаемым муфтием всего большого мусульманского мира.

К вашим суждениям и авторитетному разрешению тех или иных вопросов, касающихся указаний шариата, прислушивается вся мусульманская масса, готовая исполнить его, как бы исходящее от самого бога или пророка его Магомета.

Ваше высокопреосвященство, если бы вы, основываясь на священном Коране, дали бы разъяснение о том, что такое большевизм и кто большевики, — то сделали бы благородное дело.

Напоминать вам о том, что такое большевизм и кто такие последователи этого преступного учения, нет, конечно, надобности, так как вам об этом хорошо известно. Но для всестороннего освещения интересующего нас вопроса мне приходится приводить те или иные места их учения. Они не признают ни одну из существующих религий, считая их несправедливыми, а проповедников — лжецами и обманщиками.

Пророков не признают. Они смотрят на них как на людей, одаренных красноречием и этим только увлекавших темные, невежественные массы народов своей эпохи, которым и обязаны признанием их пророками.

Для большевика, по их учению, нет ничего недоступного и неразрешенного: он может присвоить чужой дом, землю и всякое прочее имущество. Может сожительствовать с чужой женой и дочерью, хотя бы против воли последних. Он может сожительствовать с какой угодно женщиной и расстаться с ней, когда ему надумается, а эта последняя, в свою очередь, может в одно и то же время сходиться с несколькими мужчинами, не причиняя ущерба, по их повериям, своим супружеским обязанностям с первым мужем.

Семьи нет совершенно.

Женщина, которая живет с вами законным браком, имеет право сожительствовать с другим мужчиной, даже с несколькими одновременно, а пожелает вновь вернуться к вам как жена — и вы не можете противиться этому. Одним словом, законного брака, установленного разными религиями и так облагораживающего отношения мужчины и женщины, у большевиков не существует.

Таким же образом дети не принадлежат своим родителям, а государству, в котором родились. Родительская власть над детьми совершенно отсутствует. Вы не имеете права заставлять их делать что-либо, жить совместно с вами и воспитывать по вашему желанию и требовать от них поддержки на старости.

Право собственности большевики не признают. Имущество, накопленное трудом целых поколений наших отцов, дедов и прадедов, вдруг, оказывается, принадлежит не только вам, но вы обязаны, в лучшем случае, поделиться им с вечно пьяным бездельником, лентяем-большевиком, а то и совсем лишиться его. Он грабит вас, а вы не имеете права ни словом, ни действием выражать свои протесты.

Если бы даже большевики посягали на вашу жизнь, вы не имеете права сопротивляться, так как за это вас могут убить, а убийца не будет наказан.



Все изложенное в точности проводится в жизнь большевиками и их многочисленными последователями».

В ответ на просьбу Саида Эфенди уважаемый муфтий Египетского государства дает следующую фетву (разъяснение).

«Большевизм — учение, имеющее за собой многовековую давность. Оно впервые зародилось в государстве фарситов, в эпоху язычества. Проповедником этого учения был кровожадный фарсит, язычник Зердит. Некий язычник Мездех Пандазд, последователь Зердесита, в одном из своих воззваний к народу говорит следующее:

«Вам предоставлено право отобрать от имущих их имущество и пользоваться им на правах собственников. Берите его и делите между собой. Вы имеете право обладать женщинами. Берите любую из них и живите с ней, а при желании можете растаться. У владельцев больших квартир отбирайте все комнаты, за исключением одной, которую предоставьте владельцу. Пользуйтесь этими квартирами по своему усмотрению...»

Большевизм преследует и уничтожает все религии, существующие на земле, а религию ислам — в особенности. Учение большевиков идет вразрез с предписаниями Корана, так как все, что разрешено делать большевикам, запрещено Кораном. Им доставляет высшее наслаждение вид униженных и оскорбленных «буржуев»...

Я верю, что ни один мусульманин не потерпит поругания своего бога, пророка и религии и общими усилиями сокрушат полчища большевиков».

Борис Шеболдаев рассказывает в своем донесении об обстановке в Дагестане, о прожектах турецкого генерала, оставленного в горах Нури-пашой, братом небезызвестного Энвера. Борис говорит о кознях местных националистов, о предательстве духовенства, о подлых убийствах из-за угла ряда революционеров-торцев. Имена полковника Алиева, генералов Эрдели и Ляхова, контрреволюционного имама Нажмутдина Гоцинского, какого-то лейтенанта Шамиля, лжеправнука знаменитого имама, мелькают в его донесении. Не забыт и чеченский «эмир» Узун-Хаджи с его «премьер-министром» Дышнинским.

И вот в этой сложной, переплетенной интригами, коварством, предательством и злодеяниями обстановке приходится жить, бороться и работать в Дагестане ему, Шеболдаеву, а в Чечне — Николаю Гикало.

Борис просит денег: «Чем больше пришлете николаевских денег, тем легче нам воевать, жить и разрушать сети интриг и зла, которые плетут враги. Простые, бедные дагестанцы за нас. Они верят в советскую власть и ждут ее, но нужны деньги. Мы не

можем вечно кормиться за счет бедноты, надо покупать все; и оружие, и хлеб, и патроны, и обувь. Надо поддерживать материально семьи тех горцев, которые ушли с нами, чтобы биться за советскую власть».

Какие странные и удивительные случаи бывают в жизни!

Я сидел у себя за столом, готовя ночную сводку для передачи ее в Астрахань. «Птичка божия» — наш с Кировым шифр лежал возле. В дверь постучали, и в сопровождении Аббаса Бабаева вошел невысокий, приземистый человек с черными подстриженными усами и спокойным, умным взглядом.

Я посмотрел на него. Незнакомец вежливо поклонился.

— Я Багдасаров, Степан Саркисович, студент... еду из Петрограда в Тифлис, возвращаюсь по репатриации на родину. В Астрахани... — тут он запнулся, видя, как я неожиданно засмеялся. Он пристальнее взгляделся в меня, глаза его широко раскрылись, он рванулся ко мне.

— Самсон! Что же ты не узнаешь старого приятеля, — вставая и смеясь, проговорил я.

— Вот это встреча, — сияя и все еще не придя в себя от изумления, говорит он. — Товарищ Киров в Астрахани направил меня к тебе, с тем чтоб ты дал мне кое-какие указания, но... — тут он вновь разводит руками, — разве ж я мог предположить, что Мугуев, к которому меня направил Сергей Мироныч, это ты, мой школьный товарищ.

Мы обнимаемся, Аббас, хорошо понимающий, но плохо говорящий по-русски, улыбается и придвигает гостю стул.

А удивляться есть чему. «Багдасаров» — действительно студент Петербургского политехнического института, но только он не Багдасаров, а Самсон Абгарович Терунов (Теруньян), мой ближайший школьный товарищ и друг, с которым в продолжение четырех лет мы сидели на одной скамье.

После окончания средней школы я ушел в военное училище, а Самсон уехал в Петроград, и вот спустя шесть лет мы так неожиданно встретились с ним в Яндыках.

— Позволь... но ведь ты же был казачьим офицером, — удивляется он.

— Ну и что ж? Разве мало офицеров находится в Красной Армии?

Самсон не сдается.

— Но я думал, если ты жив; то уж наверное у белых.

— Почему так?.. Разве я тебе казался держимордой?

— Да нет, а просто... Бывший офицер и... — он разводит руками, — закордонная работа. Ты коммунист? — вдруг спрашивает он.

— Коммунист.

Самсон вскакивает с места и бурно целует меня.

— О тебе хорошо отзывался Сергей Мироныч, но кто... кто знал, что это ты, тот самый Мугуев!

От его прежней сдержанности сейчас не осталось и следа. Он радостно взволнован. Достав из кармана письмо, подает его мне:

— На, читай... Это секретарь Кирова пишет тебе по его указанию.

«Податель сего студент Багдасаров С. С. (фамилия условная, действительная известна Сергею Мироновичу и подпольному Закавказскому краевому комитету в г. Тифлисе) направляется к вам для уточнения перехода Багдасарова через фронт.

С. С. Багдасаров армянин, легально и законно возвращающийся на родину в гор. Тифлис по репатриации; и ни нашими, ни белоденикинскими организациями задерживаться не должен.

Ввиду серьезной опасности, которая может ожидать репатрианта у белых, не давайте ему никаких поручений, а лишь помогите перейти через линию фронта (обычным, как это делается по конвенции, законным путем).

По поручению члена РВС XI тов. Кирова секретарь РВС XI Ш а т ы р о в».

Самсон коротко рассказывает о себе, то и дело перебивая себя вопросами, обращенными ко мне.

— А я даже оплакал тебя. Живой ты или мертвый, ведь для меня, коммуниста, ты все равно был как бы мертвецом... и вдруг ты с нами,— он восторженно глядит на меня.

Аббас наливает нам чаю и садится возле Самсона.

Втроем мы просидели до двух часов ночи. Вспоминали наши юношеские дни, старый Тифлис, Авлабар, на котором жил Самсон. Вспоминали товарищей. Где они, живы ли, в каком стане?

Наконец Аббас напомнил нам; что пора спать, и мы занялись делом.

Информировав о том, где и как будет переведен нами Терунов, сообщив ему, как он должен держать себя с белыми при первой встрече с ними где-нибудь в районе Лагани — Бирюзяка, заготовив документ о пропуске «праздника и подданного Грузинской демократической республики С. С. Багдасарова» через линию нашего фронта, мы расстались.

Самсон ушел к Аббасу, я же сел за прерванную его приходом сводку. Через час она была готова, я пошел на телеграф. Ночь, холодная, ясная, с чистым небосводом и несколькими чуть мерцающими на нем звездами, располагала к миру и добру. Но их не было. Была ноябрьская ночь гражданской войны, незабы-

ваемого 1919 года. Упорные, тяжелые, непрекращающиеся бои шли по всему фронту. Под Черным Яром Нестеровский с полками своей дивизии бился с белогвардейцами, готовившимися (в который раз) прорваться к Астрахани.

Горели два костра. Один посреди улицы, другой на окраине села. Караульные грелись и топтались вокруг них.

Иду мимо домика, в котором живут Надя и Женя. В окнах темно, девушки спят, как спит и все село. «Доброй ночи»,— думаю я и вхожу на телеграф.

Начальник конторы, усатый Гринь, завидя меня, замахал руками. Его лицо сияет.

— Ура!.. Перелом... бьем белых подлюг на всю катушку... Вот, слушай,— и он быстро читает длинную телеграфную ленту:

— «В результате упорных боев белогвардейские банды под командованием генералов Шкуро, Мамонтова и отборных пехотных частей Постовского разбиты и отброшены от Касторной. 15 ноября Касторная занята конными частями Буденного.

Части 10-й армии с боями наступают на Царицын. Белые оставили Золотое и Балаклею.

В верховьях Дона, в районе станицы Вешенской, разгромлена белоказачья дивизия под командованием генерала Попова. Взяты богатые трофеи».

— Видал как,— хохочет Гринь,— каюк белой банде. А когда мы? — вдруг серьезно говорит он.

— Скоро... А теперь передай в штаб сводку,— отдавая ему шифровку, говорю я.

На следующий день, получив из штаба корпуса пропуск, Самсон уезжает из Яндык.

Грузовик, увозящий его на передовые, уже скрывается за холмом, а я все гляжу ему вслед. Юность, годы учения, молодая и чистая дружба детских лет стоят передо мной. И радость оттого, что этот мой друг вместе с нами делает светлое дело революции, еще острее заполняет меня.

Как далеко зашли в своем националистическом сумасбродстве мусаватистские политики, видно из перехваченного дагестанскими товарищами письма. В этом злобном послании некий генерал-лейтенант, начальник азербайджанского мусаватистского генерального штаба, пишет полковнику Кязим-бею командиру сводных турецко-горских антисоветских частей.

В своих планах он строит Великий мусаватистский Азербайджан от Каспийского до Черного моря, от ирано-турецкой границы и до Кубани, с включением в это «мусульманское, находящееся под эгидой султана Турции, государство» Петровска, Дер-

бента, Грозного, Моздока с Прохладной, Владикавказа с Пятигорском. «Казачков-терцев надо уничтожить оружием, а остальных русских выгнать в пределы Кубани и Ставрополя», — указывает в своем послании сей таинственный «Нач. Азерб. мусават. ген. штаба». «Турки, единовѣрцы наши, своими полками помогут нам. Нури-паша со своими солдатами начнет, а мы продолжим его великий поход против казаков, а после, если это окажется нужным, и против русских большевиков».

Нури интригует против Узуна-Хаджи, Нажмутдин Гоцинский — против Алиханова и Алиева, все вместе — против Деникина и одновременно против большевиков. Полковник Кязим объявляет себя младотурком, Нури-паша — сторонником султанской власти, Нажмутдин признает Халифа, Коран и истребление большевиков. Узун-Хаджи не прочь иногда приветствовать советскую власть, его «премьер-министр» Дышнинский — и за, и против большевиков, хотя тайно торгуется с генералами Шкуро, Эрдели и Покровским, за что, за какие блага он предаст им Гикало и его отряд.

Вместе с тем Дышнинский — друг грузинских меньшевиков, полуофициально признавших его.

Едины только трудящиеся горцы — как дагестанцы, так и чеченцы, признающие советскую власть и ожидающие ее прихода.

Они честно и мужественно дерутся и с турками, и с белогвардейцами, и с теми предателями, которые все время мутят воду, направляя народности одну на другую.

И Гикало, и Шеболдаев, и все дагестанские, ингушские и осетинские товарищи, равно как и все русские, которые направляются нами в горы, пишут одно: «Горская беднота с нами. Трудящиеся Дагестана, Чечни, Ингушетии, Осетии и Кабарды были братьями Красной Армии и останутся ими. Ждем вас... Приходите скорее».

Дагестанская революционная беднота не только ждет освободителей, но и борется за советскую власть. Красными партизанскими отрядами взяты крепость и станция Дербент, заняты окружающие Темир-Хан-Шуру села и сам город, обложен Петровск. Железная дорога у Гудермеса перерезана чеченцами, от Хасавюрта и дальше захвачена дагестанскими повстанцами.

Флот противника готовится к бегству из порта Петровска. С азербайджанскими мусаватистами имеется договор, по которому военные и торговые суда «добармии» идут в Бакинский порт.

Правда, генерал Драценко, тот самый, что был разбит нашими войсками под Басами, этот самый Драценко уже списал-

ся с англичанами, находящимися в персидском порту Энзели, куда в случае осложнения с мусаватистами он намеревается уйти.

Такова сложная до крайности военно-политическая обстановка в Дагестане и Чечне.

И таковой ее делают не горские народы, а самозванные имамы, генералы, дутые светлейшие князья, эмиры, турецкие авантюристы вроде Нури-паши.

Таков ясный вывод из той борьбы, которая сейчас развернулась в горах и долинах Кавказа.

Над Яндыками — ночь. Холодно. Мороз щиплет щеки, под ногами хрустит звонкий, крепкий снег.

Только что вернулся с переговорной. Говорил с Бутягиным. Милый Юрий Павлович, вместе с деловыми и чисто военными разговорами успел вставить свою любимую поговорку: «Миллион дел, и все срочные». Когда я, в конце переговоров, спросил: «Как дела на Южном», — телеграфная лента, как мне показалось, даже быстрее поползла из своего аппарата.

— Отлично! Конная армия гонит беляков, выходит в тылы, отрезая отступление. Десятая с помощью нашей на подступах к Царицыну... — читает радостным голосом телеграфист Саша, хороший, светлоглазый юноша лет двадцати.

У меня замирает сердце от радости. Вот они, долгожданные часы и минуты разгрома и бегства белых, а лента все бежит, и Саша радостно выкрикивает:

— Взяты Сватово, Купянск... двадцать шесть орудий, сорок шесть пулеметов, тысяча сто коней и больше пятисот пленных. Разгромлены кавалерийская дивизия, кубанский корпус и бригада терских пластунов.

Когда я уходил, Саша, глядя на меня с надеждой в глазах, тихо спросил:

— А когда мы?

— Когда скажет Киров, Саша! — весело отвечаю я.

Как только вернулся с телеграфа, ко мне вбежал посыльный штаба с телефонограммой в руках.

— Товарищ начальник, вам срешная из Оля. Требуот немедля ответа.

Разворачиваю телефонограмму. «Яндыки. Спешно. Уполномоченному Реввоенсовета». Смотрю на подпись — Ковалев.

Пантелеймоныч — человек серьезный, даром спешной не даст.

★ ★ ★

Читаю: «На море жестокий шторм. Вчера из Астрахани пришел буксир «Осетин», приведший караван из 10 барж, груженных боеприпасами для войск корпуса, фуражом, мукой, консервами, крупой, сахаром, чаем, рыбой. Сухари, пшено, комбижиры, медикаменты, а также 4 полевых орудия. Буксир «Осетин» ввиду волнения на море с трудом подвел баржи к пристани и спустя час ушел согласно приказу обратно. Мы начали разгрузку, но ввиду темноты, сильной волны и ночного времени, за немением людей, отложили разгрузку до утра. Ночью шторм усилился, волны стали заливать берег, ветер сорвал с чалов закрепления, и баржи потнало в море. Все меры для спасения барж, от прузов которых зависит судьба нашего корпуса, ввиду отсутствия парохода, могущего догнать баржи и вернуть обратно в Оля, напрасны.

Шторм и ветер усиливаются. Все в порту обледелено. Телеграфная и телефонная связь с Астраханью прервана ураганом. Если у вас она цела, сейчас же, немедленно свяжитесь с Реввоенсоветом, пусть, не медля ни минуты, выходят нам на помощь пароходы. Иначе все погибнет. Боеприпасы и продовольствие, собранные по крохам в голодной Астрахани, погибнут.

Уполномоченный К о в а л е в ».

Гром среди ясного неба. Все, что отрывал у себя, у бойцов других участков, собрал и послал нам Киров, все это, возможно, уже лежит в морской пучине, под волнами разбушевавшегося Каспия. И это сейчас, после таких радостных сводок Южного фронта. Я набрасываю полушубок и стремительно бегу на телеграф.

Саши нет. Вместо него у аппарата начальник конторы Гринь, с утомленным лицом и слегка посеребренными висками.

— Карп Иванович, — кричу ему, срочно давай аппарат... нужен Реввоенсовет...

Гринь, продолжая выстукивать по морзе депешу, утвердительно кивает головой.

Мне кажется, что время тянется слишком медленно, что каждая секунда грозит гибелью каравана барж.

— Форс-мажор! — прямо в ухо кричу я. — Давай сейчас же штаб армии.

Гринь снова кивает мне головой, что-то выстукивает и затем говорит:

— Прервал телеграмму... у аппарата Ремезов.

— Отлично, стучи ему следующее... — командуя я, и Гринь

слово в слово передает в Астрахань телефонограмму Ковалева.

Аппарат щелкает и постукивает. Пальцы Гриня нажимают на рычажок. Телефонограмма передана. Несколько секунд тихо, потом морзе выстукивает, и лента ползет из аппарата. «Не уходите из аппаратной. Сейчас доложу Кирову. Меры к спасению примем. Ждите ответа. Ремезов».

Гринь сокрушенно качает головой.

— Не дай бог погибнут, — наконец тихо говорит он. И по его глазам я вижу, что милый, спокойный Гринь прекрасно понимает, что гибель барж означает голод в полках, длительную отсрочку наступления и срыв так хорошо проделанной нами подготовки к боевой демонстрации на Кавказ. — Откуда они возьмут боезапасы и питание, если потонут баржи, — пожимая плечами и разговаривая как бы с самим собой, бормочет он.

В ожидании ответа я вышел на крыльцо. Яндыки еще спали, хотя кое-где светились окна и сизый дымок поднимался из труб.

Ночь заканчивалась, подходило утро. Неясный, мгlistый рассвет боролся с редевшей темнотой. Было холодно. Порывистый ветер, та самая «моряна», о которой местные рыбаки поют: «Как моряна сильно вдарит, фасон<sup>11</sup> с моря прибежить», начала все сильнее «вдарять». Со стороны Каспия леденящие порывы ветра проносились над степью. Морозная тишина висела над Яндыками. На широкой улице стремительно кружилась поземка и белые вихри взметались кверху.

Это здесь, вдалеке от моря. Воображаю, что сейчас делалось на берегу Оля, на бурных водах штормового Каспия и как мучительно боролись со стихией наши люди, пытаясь спасти оторванные от берега, уносимые в море баржи.

Восток заалел, и сквозь снежно-дымную пелену редевшей мглы стали явственней вырисовываться контуры изб, оголенные, редкие деревья. Утро вставало над степью, солнечные блики пробежали по снегу. Он заискрился, алмазные россыпи снежинок брызнули так ослепительно ярко, что я даже зажмурился.

Солнце выкатилось как-то сразу, и холодное утро озаарило степь от Яндык до Кизляра. Вся суровая ледяная равнина прикаспийской низменности засверкала под лучами солнца.

Но вдруг солнце скрылось. Оно словно нырнуло в какой-то серый мешок. Блики исчезли, россыпи алмазов потускнели, утро стало пасмурно-скупным, а на том месте, где только что сияло солнце, сквозь плотную, мутную пелену тускло светился его красноватый круг.

---

<sup>11</sup> Фасон — милый (местное реченье).



С моря сильнее подул ветер, и целые ворохи снега с шумом и хрустом перелетали с места на место.

Начиналась та самая «моряна-ураган», от которой «фасоны» спешно возвращались на сушу.

Я вернулся на телеграф. И вовремя. Завидя меня, Гринь сказал:

— Вызывает штаб.

Снова застучал аппарат, и лента поползла: «У телефона военком штаба армии Квиркелия и командир экспедикора Бутягин. Кто у аппарата?»

— Здравствуйте, товарищи. У аппарата уполномоченный Реввоенсовета XI по военно-политическому контролю корпуса Мугуев.

«Говорит Квиркелия. Немедленно свяжитесь с Ковалевым. Несмотря на шторм и тяжелую погоду, пусть своими силами спасает баржи. Сейчас у нас ничего нет, все суда в море. Если через два часа не получим от вас ответа, пошлем дежурный миноносец Волжско-Каспийской флотилии. Это самая последняя мера. Надеемся на революционную сознательность и самопожертвование всех, кто сейчас борется в Оля с морем. Передайте все это сейчас же Ковалеву. У нас с ним связи нет, будем работать через вас. Изменилось ли что-нибудь за это время?»

— Пока ничего. Сейчас свяжусь с Ковалевым. Погода ухудшилась, с моря сильный ветер. Боюсь, что собственными силами они не спасут баржи, — диктую я.

«Шлите им на помощь людей. Мобилизуйте рыбацкие лодки. Обещайте награду тем, кто спасет баржи. Ожидаем сведений. Если же что-нибудь случится экстренное — вызывайте нас к проводу».

— А Киров? — спрашиваю я.

«Сейчас его здесь нет. Он у моряков, но знает о вашей беде. Квиркелия».

Разговор окончен. Гринь прустно смотрит на меня. Я прячу расшифровку ленты в карман и иду домой. Крепкий снег хрустит под ногами. Ветер пронизывает насквозь. Летящие снежинки колют лицо, слепят и щиплют глаза.

Яндыки проснулись, и женщины, закутанные до носа в платки, уже хозяйничают во дворах. Кричат петухи, и дымки из труб все сильнее поднимаются над крышами.

Несколько красноармейцев греются у разведенного посреди площади костра. Это — ночные караулы, оберегающие нас от внезапного малета белоказаков или бродящих кулацко-мародерских шаек.

Дальше рассказываю со слов товарищей, находившихся в

эту ночь в Оля. К вечеру со стороны Астрахани к поселку Оля подошел караван из десяти барж, тяжело груженных провиантом, фуражом и боеприпасами. Натруженно пыхтя, борясь с волной, тяжело вели буксиры «Осетин» и «Киргиз». Из дельты Волги они вышли по полузамерзшей реке, следуя за ледокольным пароходом «Анапа», прокладывая им путь к морю.

Выйдя к чистой воде, «Анапа» повернула назад к Астрахани, а караваны пошли по своему курсу, в порт назначения Оля, где их уже ожидал военком отдела снабжения экспедиционного корпуса Ковалев. В пути, возле Оранжевого, машина «Киргиза» сломалась, и после недолгого совещания «Осетин» взял на буксир его пять барж и медленно пополз по морю к Оля. «Киргиз» остался в Оранжевом, где экипаж пытался собственными силами исправить поломку машины.

Спустя два часа после ухода «Осетина» с моря задул штормовой ветер, поднялась волна, потемнело небо, разыгралась моряна.

«Осетин», борясь с ветром и волнами, тянул свой караван, ежесекундно опасаясь то разрыва чалок, соединявших баржи, то мощных ударов волн. Его давно износившаяся машинная часть сдавала, плохо работал мотор, а тяжело груженные баржи затрудняли ход. С трудом дотянули до порта.

Приступили было к разгрузке, но темная, холодная ночь, отсутствие людей, усталость, охватившая команды, ведущие суда,— все это помешало немедленной выгрузке.

— Разгрузим утречком, дай людям отдохнуть, устали, еле держатся на ногах,— попросил Ковалева ответственный за караван.

— А если разбушует море? — спросил Ковалев.

— Ничаво... чалки крепкие, не то что моряна, а пусть будут шторм, тайфун — и то выдюжит,— ответил старый дальневосточник, тихоокеанец Залыгин.

— Тогда — отдыхать, а с рассветом все на разгрузку,— приказал Ковалев.

И все же сомнения не покидали его. Он еще долго стоял на берегу, всматриваясь в темень, прислушиваясь к шуму моря и свисту ветра. Но суда были неподвижны,— казалось, волнение моря не угрожало им. На корме и носу барж покачивались зажженные фонари. Изредка показывалась одинокая фигура на фоне тусклого света фонаря. Это караульные: они полудремали на палубе пришвартованных к причалам судов.

— Утром всех на разгрузку, вплоть до жителей поселка,— почти успокоившись, приказал Ковалев своему помощнику Токареву и пошел соснуть часок-другой.

Прошло не более часа, как его разбудил испуганный оклик Токарева:

— Товарищ Ковалев, Александр Пантелеймоныч! Вставай... беда! На море шторм, баржи сорвало с чалок.

Ковалев вскочил. Сон еще не оставил его.

— Караван унесло в море,— торопливо докладывал Токарев, и по его испуганному лицу Ковалев понял, что дело обстоит гораздо хуже.

— Созывай людей, поднимай на ноги поселок,— набрасывая полушубок, крикнул он.— Созвонись с Оранжевым. Если «Осетин» там, пусть немедленно идет на помощь. Поднимай местных рыбаков, у кого есть лодки. Надо спасти баржи.

— Лодками нельзя. Такая волна, что выкинет на берег или перевернет в море. Я уже пробовал,— уныло сказал Токарев.

Они выбежали на улицу в темноту и кинулись к берегу.

Темно-серая мгла висела над морем. Ветер ревел и гнал большие белые волны на берег. Море стонало от все нарастающих порывов ветра, деревянная пристань, вся в брызгах и пене, трещала под ударами волн.

На берегу стояли люди, другие метались возле пристани, третьи что-то кричали, размахивая руками.

А в стороне, метрах в двухстах от берега, то поднимался на волнах, то как бы падал в глубину караван барж. Его то относило вдаль, то под ударами волн моряны швыряло к берегу. Иногда баржи сбивались в кучу, и тогда что-то трещало, покрывая даже гул моря и шум ветра. Иногда же суда вытягивались в ровную, стройную линию и минуту-другую плавно плыли, относимые течением в море. Затем они делали какие-то зигзагообразные движения и, подгоняемые ветром с моря, устремлялись к берегу. И тогда замирали сердца людей, тревожно и испуганно взиравших на эту сумасшедшую пляску судов среди бушующего моря.

Еще несколько секунд — и баржи, налетев на берег, разобьются о камни и друг о друга. И снова, как уже было несколько раз раньше, ветер менял направление, а откатывавшиеся от берега волны подхватывали караван и, кружа его в пенной промаде воды, относили вглубь... Море бесновалось у берега, но саженьях в ста от него было спокойней, и баржи вновь и вновь то уходили в глубь моря, то с неистовой скоростью неслись к берегу. А на них, размахивая фонарями, что-то кричали беспомощные караульные. Но рев моря и свист ветра не доносил до Ковалева их криков.

— Товарищ уполномоченный,— подбегая к нему, закричал

телефонист,— связи с Оранжевым и Астраханью нету... Шторм повредил где-то линии.

Сердце Ковалева дрогнуло. Последняя надежда на ушедший буксир пропала.

— Послать людей на восстановление линии,— приказал он, отлично понимая, что линия могла быть восстановлена и через полчаса, и через четыре часа.

И тогда он послал по телеграфу ту самую телефонограмму в Реввоенсовет, которая была приведена в начале этой главы.

Поднятые по тревоге красноармейцы вместе с несколькими рыбаками и жителями поселка пробовали спустить на воду три лодки, но всякий раз сильная волна кружила лодки и отбрасывала их назад.

— Товарищи! Дело касается жизни корпуса... Не дадим погибнуть грузам,— взволнованно говорил Ковалев.

Один из рыбаков, жителей Оля, внимательно взглядывался в бушующее море, затем стал молча отвязывать свою, на цепи и канате привязанную к столбу, лодку. Отвязав, он огляделся. Рыбаки выжидательно смотрели на него.

— Надо спасать, ребята. Ежели не мы, так кому ж! — наконец сказал он.— Ты, Степка, садись за весла и ты, Митрий, с им... Я на нос, а ты,— он кивнул головой пожилому рыбаку,— на корму. Как подойдем к баржам, кидай на палубу конец.

Они уселись в лодку, сзади подтолкнули ее. Подхваченная волнами, она несколько мгновений то подвигалась вперед, то, отброшенная назад, шурша и скользя по песку, барахталась на берегу.

Люди снова толкали ее вперед, вода пенилась вокруг, и, сдвинутая с песка, лодка опять бешено вертелась в водоворотах и бурунах, вздымавшихся у берега.

Двое жителей прямо в сапогах сбежали в воду и, стоя по грудь в ней, толкали лодку вперед. Рыбаки дружно налегли на весла. Старик фулевой, глядяваясь в море, крикнул:

— А ну, ребяташки, еще... с богом!

Ковалев видел, как течение, отхлынувшее от берега, подхватило лодку и, вертя, сбивая ее с курса, понесло вперед. Люди дружно налегли на весла. Увлеченные их примером, бывший тихоокеанец и Токарев подбежали ко второй лодке и стали отвязывать ее.

— Бросьте, ребята, Батюшка Каспий шутить не любит, гляди, какая волна,— предостерегающе остановил было их кто-то из толпившихся на берегу рыбаков.

— Не пужай. Я, брат, на Тихом океане на Курилы в шлюпке

ходил, а твой Каспий...— пренебрежительно махнув рукой, ответил тихоокеанец.

Отвязав лодку, он попросил весла, затем вместе с Токаревым потянул ее с отмели к воде. Один из рыбаков, не говоря ни слова, пошел за ними. Втроем они сели в лодку и под одобрительные возгласы помогавших им людей на веслах пошли в море.

— Молодцы, товарищи... помогай бог... Гляди, держи против ветра, правь на волну, на волну! — кричали им с берега остальные.

Первая лодка, подбрасываемая волнами, то ныряла, то снова показывалась на воде. Караван барж относил в сторону от Оля.

На берегу одобрительно зашумели. Баржи, только что отнесенные вглубь, вдруг задвигались и стали надвигаться на берег. Было видно, как первая лодка с трудом следовала за ними. Иногда казалось, что она вот-вот настигнет баржи, но огромные волны отшвыривали ее от них.

— Где там... Разве можно без моторки, — с отчаянием сказал кто-то на берегу, глядя, как опять увеличилось расстояние между баржами и отброшенной в сторону лодкой.

— Умаялись... что сделаешь веслами супротив шторма, — взволнованно сказала женщина, стоявшая возле Ковалева, и вдруг все ахнули, старуха рыбачка закрестилась. Вторая лодка, еще не успевшая отойти и на двадцать саженей от берега, поднялась на волне, затем, соскользнув с нее, завертелась в бурю и накренилась. Еще мгновение, и лодка, несомая водной стихией к берегу, стремительно взлетела на гребень новой волны и перевернулась. Люди уже плавали возле лодки. Новая волна выхлестнула их на отмель. За ними выбросило и мокрую, тяжело осевшую в воде лодку. Одно весло выкинуло тут же. Мокрые, перепуганные, наглотавшиеся воды люди тяжело дышали, осовело глядя на суетившихся около них рыбаков. Тихоокеанец сидел на песке мокрый, прозябший, обессиленный, поминутно выплевывая соленую воду. По всему было видно, что сейчас он забыл все — и Тихий океан, и Курильские острова, и свое недавнее бахвальство.

А шторм все крепчал. Море стонало, выл ветер, и свинцовые волны все ходили по морю. Но первая лодка, уже выбравшаяся за прибрежное волнение моря, все гонялась за баржами. Двое людей на ближайшей к лодке барже, держа канаты в руках, готовились кинуть их смельчакам.

— Помогай бог... — затаив дыхание шептала старуха, глядя на пробивавшуюся сквозь пряды волн лодку.

И вдруг все радостно вздохнули. Кто-то из матросов швырнул с баржи конец. По счастливой случайности лодку в это вре-

мя отбросило в сторону, как раз туда, куда упал брошенный канат.

На берегу видели, как конец был подхвачен людьми, как он натянулся и как лодка стала медленно и натруженно выгребать к берегу.

— Давай, давай... сюда... ребятушки...— вскакивая с песка, заревел все это время молчавший тихоокеанец.

Лодка развернулась и медленно, борясь с водоворотами и течением, пошла на веслах к берегу, но не к Оля, а несколько влево от него.

Сначала все с недоумением смотрели на удалявшийся в сторону караван, который медленно тянула лодка.

— Зачем они плывут в сторону! — воскликнул Токарев.

Ковалев, с радостной надеждой взиравший на лодку, тоже удивился.

— Чего это они подались туда? — развел он руками.

Но старик рыбак, стоявший возле, весело сказал:

— Умный он, наш... Федотыч... Сразу видать соленого моряка... Ведь он правильно повел баржи. Их тут все одно волной вместе с лодкой назад шибанет. Гляди, какая волна играет... а там — мысок, а за им тихо. Он туда их тянет.

Лодка медленно, как бы сонно шла к мысу. За ней ровной и пунктирной линией тянулись баржи. И чем ближе они подходили к выдвинутому вперед мысу, тем уверенней направлялись к цели.

На море уже посветлело. Ночь уходила, и рассвет осветил темные волны. Отчетливо были видны люди в лодке. Старик, сидевший на носу, что-то крикнул. Люди на передней барже ответили ему. Гребцы налегли на весла, и лодка, делая полукруг, взлетела на волну и скрылась за мысом. Канаты натянулись, и баржи одна за другой вошли в прикрытие, за которым им не был страшен ни шторм, ни свинцовые волны разбушевавшегося Каспия.

Ковалев с облегчением вздохнул. Старик рыбак, сняв шапку, обтер лоб. Ловцы весело переговаривались. По берегу к мыску бежали красноармейцы, а впереди несли Ковалев.

— Таперь сюда станем гнать,— спокойно сказал старик, надевая шапку.

— А как? Не опасно снова морем? — спросил Ковалев.

— А мы, товарищ начальник, бечевой потянем. Знаешь, как бурлаки раньше на Волге суда тянули. Так и мы,— уверенно сказал старик и, крикнув своих ловцов, тоже пошел к мыску, за которым отстаивался караван.

Тем временем все светлело. Утро уже наступило. Шторм

стихал, хотя порывы ледяного ветра время от времени набегали на берег. Небо побелело. Угрюмые тучи расходились. Море успокаивалось. Казалось, поняв, что баржи спасены, старый Каспий решил прекратить возню на море. Моряна стихла.

Ковалев вместе с десятками людей уже суеился у мыска. Баржи стояли послушно и чинно, как напроказившие дети, ожидавшие выговора.

— Может, все-таки обойдемся без бечеvy, море успокаивается, и лодки приведут баржи? — вопросительно сказал Ковалев.

— Нет, начальник, нельзя этого делать. Ты с Каспием не шути, не доверяй ему. Мы-то знаем его. Этот старый черт хитер: поверь только ему, он те покажет себя... Не-ет, товарищ, всем народом бечеву тянуть будем, а лодки нехай свой канат впереди ведут, — решительно сказал старик.

— Хорошо! — согласился Ковалев. — Тогда командуй, отец. Вот тебе и твои и наши люди.

Из поселка уже принесли канаты. Еще одна лодка вышла на помощь и, держась близко к берегу, пошла на веслах к баржам.

Волнение почти стихло. Ветер спал, небо прояснилось, и светлое морозное утро встало над землей.

Люди на баржах закрепляли концы, обе лодки, в свою очередь, крепко-накрепко связали еще двумя толстенными канатами. Старик Федотыч полез в воду осматривать крепления бечеvy.

— Куда, отец, замерзнешь, ведь мороз да ветер, — остановил было его Ковалев.

— Не мешай, начальник. Тута я командер, а вот приведем баржи к пристани, тогда и согрей меня водкой да чаем.

— Будет, все будет, отец. Только доведи до Оля баржи, — ответил Ковалев.

Минут через двадцать лодки выплыли из-за мыска.

— А ну, ребятушки, с богом, — закричал старик, и человек шестьдесят ловцов и красноармейцев, ухватившись за два начинавших пружиниться каната, одновременно шагнули в сторону Оля. Впереди шли старик Федотыч и Ковалев. За ними — молодые, пожилые и совсем юные обитатели поселка. Весь комендантский взвод и свободные от караула красноармейцы, натянув канат, медленно шли позади. Баржи рванулись и, послушные людям и двум плывшим впереди них лодкам, вытянувшись в цепочку, чуть покачиваясь, неторопливо двинулись вперед.

— В ногу, ребятушки, в один шагайте. Эх, кабы теперь лямку, совсем легко было б, — сказал старик и дребезжащим тенорком запел:

Тяни-и — раз, тяни-и — два.  
Шагай в ногу, голытьба...

Вскоре старик умолк, так как никто из остальных не знал ни слов, ни мотива старой бурлацкой песни.

Баржи приближались к Оля. По берегу длинной «бечевой» не спеша шли люди. А у пристани уже суетились женщины, кто-то из ловцов, стоя на деревянных мостках, размахивал крюком.

Лодка с туго натянутыми канатами, глубоко уйдя в воду, тяжело подходила к пристани, а по берегу, счастливые от сознания одержанной над морем победы, весело шагали люди, таща все десять драгоценных барж.

Старик ловец ошибся. Каспий словно забыл о баржах и борющихся за них людях. Шторм утих, море успокоилось, волны исчезли. Светлое утро переходило в день, когда все баржи были наконец доведены до пристани и крепко, так что никакой ураган не мог сорвать их канаты, закреплены и зачалены к глубоко вбитым в землю сваям. Счастливый Ковалев, усадив у себя в избе вымокшего, красного от напряжения Федотыча, приказал напоить его водкой и чаем, и сам побежал на телефонную станцию, чтобы сообщить мне о спасении барж.

Было уже восемь часов утра, когда я получил телефонограмму Ковалева и сейчас же отправился на переговорную. Гринь сидел за аппаратом.

— Только хотел посылать за вами. Вызывает Астрахань, — и он застучал ключом.

— У аппарата Квиркелия. Как дела с баржами? Волга стала, ледокол ушел в сторону Енотаевска. Вам ничем сейчас помочь не в силах. Как у Ковалева?

— Все в порядке. Все баржи спасены, грузы сейчас выгружаются на сушу. Потерь в имуществе и в людях нет.

— Спасибо за счастливое сообщение. Мы здесь уже потеряли надежду на спасение грузов. Киров дважды звонил нам из штаба флотилии. Сейчас обрадую его. Срочно докладывайте, как удалось спасти баржи.

Я, как мог, передал все, что знал.

— Объявите от нашего имени благодарность всем, кто спасал баржи, Ковалеву за распорядительность и хладнокровие. Пусть чем может наградит особо отличившихся ловцов, жителей и красноармейцев.

Спустя два дня эшелон с пружами на санях, телегах и автомашинах прибыл в Яндыки.

Все, до последнего сухаря и банки мясных консервов, было



доставлено в корпус. Ковалев уже распределял боеприпасы, провиант, зимнюю одежду по полкам. Мы были готовы к наступлению.

★ ★ ★

## БУТЯГИН ОШИБАЕТСЯ

Части корпуса стали передвигаться к югу.

Через Яндыки прошел 37-й кавалерийский полк, две батареи полевых пушек, три батальона. 1-й кавполк бригады Водошнянова под командой Марка Смирнова остановился в Оленичеве, 2-й полк той же бригады под командой Афанасия Чайки вышел из Басов и послезавтра придет в Яндыки. Особый отряд моряков под командой Кожанова пошел из Оленичева в Эркетень. Соловьев спешно ремонтирует мосты по путям будущего наступления. Начальник штаба А. Смирнов разместил питательные пункты, протянул телефонную связь и наладил посты летучей почты. Калмыцкие хатоны передвинуты из степи к дороге на Кизляр — Эркетень, она полна движения, кишит людьми. По мере сил туда подвозят дрова, кизяк, теплую одежду. Три эвакупункта установлены на пути, и все-таки зима в степях Астрахани, близость моря, ледяное дыхание моряны пугают нас. Наступать через голую пустыню, занесенную снегами и передвигающимися по воле ветра песками, тяжело. Страшно и то, что наши тылы растянуты. От Астрахани до Яндык — далеко, а от Яндык до Кизляра сначала сплошная степь, а затем сильно укрепленные противником села и станицы, окружающие Кизляр. Коммуникации растягиваются, подвоз боеприпасов и питания затруднен. Бездорожье и зима... Как при этом идти в наступление? Идти на сытые станицы, на далекий город Кизляр, на Святой Крест? А идти надо. Весь наш огромный фронт наступает. 8-я, 9-я и 10-я армии громят на своих направлениях Деникина, 1-я Конная армия бьет врага под Таганрогом. Наша 11-я армия должна выйти к Кизляру и Пятигорску, чтобы ударить по терско-ставропольским тылам неприятеля и перерезать пути их отхода на Петровск и Баку.

А войска все прибывают. Утром через Яндыки прошел инженерный батальон. По данным нашей разведки, ни в Бирюзяке, ни в Лагани, занятых белогвардейцами, противник не знает о нашем предстоящем наступлении.

Секретарь нашей партиячейки Иван Анкудинович Проказин, кубанский казак станицы Баталпашинской, потерял левую ногу на германском фронте.

— Чудное дело, — говорит он, — ногу потерял, а голову взамен приобрел. Я ведь до ранения даже какой верноподданный был. «Боже царя храни» да «Спаси господи» обязательно и утром и вечером тел, портрет царя Николашки на груди носил. Самое лучшее для меня дело было слушать в станичном правлении, как старики про турецкую да японскую войну рассказывают. На станичных учениях лучше всех рубал лозу да глину. В усенье пятнадцатого августа, у нас этот день весь отдел празднует, в станице ярманка, на плацу джигитовка в стену — скачки. Девки в лентах да ярких платьях, старики в новых черкесках. От атамана отдела да от наказного — тысяча двести рублей на пропой казакам. Призы самолучшие: первый за скачки — двустволка, за джигитовку — седло новое казацкое да двадцать рублей денег, за рубку и лихость — пистолет «смитт-вессон» с зарядами. И хоть верь, хоть не верь — я этих призов один три-четыре нахватую. Батька мой гордится: «Будет мой Иван вахмистром», а дед, тот берет повыше: Есаулом должою быть... джигит и рубака первый».

Так вот и рос я верноподданным, ожидая службы. Забрали меня на действительную в двенадцатом году, попал на западную границу. Кругом поляки да евреи, один другого бедней. Нищета, есть нечего, а земля вокруг барская, прафов Замоиских да Браницких. Люди здесь три копейки большими деньгами считают, а я ничего не замечаю, все словно так и должно быть. Утром — занятие, потом словесность, затем обед, после водопой, поездки, опять строевые. Так и шла жизнь. Я уже лычку получил, до приказного дослужился, в учебную попал. Вахмистр мною не нахвалится, а командир сотни даже из экономических сумм четвертною наградил. «Лучший казак в сотне» — похвалялся мною. Так я дурак дураком и жил. Все мечты об урядничьих погонах да о сытом пузе были, и вдруг — война!

Стояли мы на границе, бои начались сразу, уже на второй день я срубил немецкого солдата в атаке. Через сутки в разъезде опять отличился — гусару голову расколол да другого со значком в плен взял. Воевать было нетрудно — с детства к войне готовился, всякой былью да небылицей, что старики болтали, восторгался.

Вскоре на груди один крест, а за ним и другой засверкали. В младшие урядники произвели, и вахмистр, и взводные стали меня Иван Анкудиновичем величать. Возгордился я этим до крайности, совсем одурел. Край мне третьего, золотого «Егория», захотелось. И получил его, а ногу потерял. А случилось это так.

Языка немецкого надо было добыть. Из штаба корпуса при-

каз пришел «во что бы то ни стало...». Ну, опросили казаков, кто желает. Я, конечно, первым за веру, царя и отечество пожелал. Правду тебе сказать, думка у меня, дурака, тайная была: до подхорунжего дослужиться, домой с полным бантом и золотым басоном на погоне возвратиться...

«Я желаю!» — говорю из строя.

«А я, Проказин, и не сомневался. Ты у нас в сотне украшение. Добудешь языка — третий крест и старшего обещаю», — говорит сотенный.

У меня от этих слов в груди словно тепло разливается. Взял я трех казарлюг<sup>12</sup> надежных да пешим порядком и пошел. Ну, что такое ночной поиск да взятие языка — ты сам знаешь, да и службу казацкую мне тебе нечего расписывать, — поглаживая свои отвисающие книзу хохлацкие усы, улыбается Проказин. — Ты кем, хорунжим или сотником был? — спрашивает он.

— Подъесаулом.

— Ну, значит, ваше благородие, — шутит он, — прямо пойдем к делу. Нас четверо было, ползем к немцам, к тому месту, где они дозоры да секреты выставляют. Доползли, а там — никого. Пошли дальше, да и напоролись на полтора десятка немчуры. Будь они похрабрей да знай, что нас всего четверо, — был бы нам конец, а они, чёрти, растерялись, как заорут — «козакен» да с перепугу кто куда. Стрельба поднялась не дай бог какая. Со всех концов стреляют, а кто в кого — не разберешь. Свалили мы одного немца да двух гранатами убили — и обратно. Тут меня шальная пуля и вдарила в колено... Потерял я сознание. Спасибо, казаки не бросили. В лазарете получил я третьего «Егория», а ногу отрезали по самое колено. Так мои геройства тем и закончились, — добродушно смеется Проказин.

Тяжелая потеря. Только что получено сообщение с фронта. В бою под Черным Ярм, продолжающемся уже четвертые сутки, убит Феня Костромина.

Милая, хорошая девушка, при первой же возможности оставившая политотдельскую работу в Астрахани и комиссаром ушедшая на фронт.

Феня Костромина... Как-то не верится в ее смерть, так много жизни, радости, энергии и неиссякаемой веры в революцию и победу было в этом простом человеке. «Подумаешь, на фронт... удивил... герои... На фронте-то в сто раз легче, чем тут», — вспомнились мне ее слова. И вот ее нет, нашего чистого, чест-

---

<sup>12</sup> К а з а р л ю г а — казак.

ного товарища, нет милой, простой и скромной девушки, вместе со многими бойцами отдавшей свою юную короткую жизнь за советскую власть.

Похоронили ее в братской могиле, на холме у реки.

Елецкий, только утром прибывший из-под Черного Яра, рассказал подробности смерти Фени. Батальон красноармейцев под шрапнельным и пулеметным огнем атаковал и выбил из окопов офицерскую роту и две сотни кубанских пластунов.

В атакующей цепи шла и Феня. Осколок шрапнельного стакана поразил ее в грудь.

Под Черным Яром идут затяжные бои, но успех явно склоняется на нашу сторону. Автомобильный дивизион, детище астраханских рабочих, превративших в бронемшины несколько автомобилей, творит чудеса. Он стал пугалом для тылов противника, прерывая их коммуникации.

Я вышел из штаба корпуса, все еще думая о Фене Костроминой.

— Ты ще, друже, идэш, як куркуль тавричанский, и людей не замечаешь.— Передо мной стоят Проказин и Лозинская. Оба улыбаются, но я молчу, так невыносимо тяжело сказать сейчас этим людям о смерти нашей Фени.

— Что случилось... что молчишь?..— спрашивает Лозинская.

— Феня погибла... Убита под Черным Яром,— негромко говорю я,— только что слышал об этом в штабе.

Какой-то странный звук, похожий на сдавленный вскрик, вырывается из горла Проказина. Он бледнеет, смотрит на меня остановившимся взглядом. Его клюка падает на снег, а сам он хватается за Лозинскую, от горя закусившую губу.

Недоумевая, я смотрю на них.

— Когда... убита? — сдавленным шепотом еле говорит Проказин.

— Позавчера... При отражении атаки белых,— понимая, что я сделал что-то неосторожное, отвечаю, поднимая костыль Проказина.

Он берет его как-то машинально, все еще глядя через меня словно невидящим взглядом.

— Ну... вы шагайте, товарищи... а я догоню вас,— прерывисто, как бы с трудом, говорит наш секретарь ячейки и, повернувшись, уходит назад.

Он скрывается за углом.

— Что ты сделал, Мугуев, что ты сделал, зачем? — волнуясь кричит Лозинская. Я хочу ответить ей, но она жестом останавливает меня.— Разве ты не знал, что он любит Феню? — чуть не плача выкрикивает она.

— Не знал,— растерянно говорю я.

— Ах, «не знал»,— повторяет она,— все в поарме знали, один ты не знал этого.

— Честное слово, не знал... да откуда мне знать-то. В поарме я был недолго, потом ушел в тыл белых.— По моему лицу и растерянности она понимает, что я действительно ничего не знал об этом.

— Бедная девочка,— сдерживаясь от слез, говорит Лозинская.— Ах, и неуклюжий ты какой-то.

— А она, Феня, тоже любила его? — спрашиваю, не обращая внимания на слово «неуклюжий».

— Да нет... она знала, конечно, тихое обожание Проказина, немножко даже злилась на него за это, особенно когда мы подсмеивались над ней, но никогда он ни словом, ни звуком не показал ей своего чувства. Ему, бедному, казалось, что никто не догадывается. Хороший он.— Лозинская тихо говорит: — Прощай, Феня, прощай, товарищ!

Мы вместе идем до самого политотдела корпуса. Молча расходимся: она в политотдел, я к себе.

Заболела тифом Воеводина, подруга Нади.

— И давно? — спрашиваю Надю.

— Уже третий день. Мы обе думали, что это простуда, но доктор сегодня определил сыпняк.

С тревогой смотрю на девушку:

— И все это время вы вместе?

— Конечно. Я ухаживаю за ней... У нее сильный жар, было даже что-то вроде бреда.

— Вам надо поостеречься... сыпняк так заразителен,— говорю я.

— Как «поостеречься»? — перебивает меня Надя.

— Меньше бывать вместе.

— Бросить ее, бедную, одну? Отодвинуться в сторону? Хороший вы мне даете совет.— Она гневно смотрит на меня.— Женя одна, кроме меня, возле нее никого нет, она беспомощна, и я ей сейчас нужна больше, чем когда-либо. Я только что была в отделе, и товарищ Ковалев разрешил мне до тех пор, пока Женю не отвезут в лазарет, не ходить на работу,— холодно глядя мне в глаза, говорит девушка.

— Я беспокоюсь за вас, вы же знаете, Надя...

Но девушка прерывает меня:

— Возможно, завтра Женю увезут в больницу.

Она холодно кивает головой и уходит, даже не взглянув на меня.

Приехал комкор Бутягин, и мы, трое уполномоченных Реввоенсовета, пришли на совещание. Соловьев, за ним Ковалев и последним я доложили о состоянии корпуса, о степени его подготовленности к удару на юг, словом, обо всем, что входило в наши обязанности. Затем докладывал о дислокации войск и их боевом состоянии начальник штаба корпуса Смирнов. Военкомы Тронин, Костич, командующий кавалерией экспедиционного корпуса Сабельников и еще некоторые работники штаба дополнили наш доклад.

Бутягин слушал, делал какие-то отметки в блокноте, задавал различные вопросы.

— Итак, товарищи, я могу доложить Реввоенсовету, что экспедиционный корпус готов к выполнению своей задачи? — обращаясь ко всем сразу, спросил он.

— Мы еще полностью не знаем ее, Юрий Павлович, — улыбаясь сказал Смирнов. — Что стоит перед нами: наступление на Кавказ или демонстрация для отвлечения сил противника с целью помочь нашим наступающим армиям? Из приказа РВС видно, что наступление должно быть с ограниченными целями.

— Если оно будет успешно развиваться, мы продолжим его, — прервал его комкор.

— Этого в приказе нет, — сказал Тронин.

— Это само собой вытекает из него: сильная демонстрация на Кизляр, в случае успеха переходящая в полное наступление.

— Для наступления, подчеркиваю — наступления, у нас нет достаточных сил и, что особенно важно, зима — неподходящее время, — сказал Смирнов. — Условия похода будут крайне тяжелы, а для внушительной демонстрации мы готовы.

— И я считаю, что зимой по этим степям в декабре наступать нельзя, надо повременить до февраля. Я год назад прошел зимой по этим степям и хорошо знаю условия зимнего наступления, — заявил Ковалев.

— Спорить не о чем. У вас есть приказ Реввоенсовета. По докладу командиров и комиссаров частей видно, что корпус готов нанести удар по белым, а что это будет, отвлекающая демонстрация или наступление, покажет будущее. Во всяком случае, девятая, десятая и Конная армии в зимних условиях идут с боями вперед, — твердо закончил Бутягин.

— Разве можно сравнить густонаселенные русские и донские равнины с нашими пустынными степями, омываемыми ледяным Каспийским морем? — спросил Тронин.

— Товарищи, раз приказ РВС есть, комкор подтвердил его и указал свои соображения, вопрос ясен. Корпус к выполнению задачи готов, — строгим официальным тоном сказал Смирнов.

Вскоре части, выдвинутые к Эркетени, получили приказ быть готовыми к наступлению. Из Яндык, Оленичева и Промысловки передвинулась к югу расквартированная в них пехота. Батареи ушли к Эркетени, обозы потянулись за ними. Комкор с Трониным и Смирновым уехали туда же.

В Яндыках стало просторнее, и теперь это село похоже на тыловую центр фронта.

Женю отвезли в больницу.

— Тиф, ослабленный организм, но ничего страшного, молодая, справится с болезнью,— сказал врач.

Надя после того памятного разговора настороженна и суха со мной. Она много работает, печатая и для меня информационные сводки и донесения Кирову. И чем строже и официальнее она, тем дороже и ближе делается мне эта хорошая, так неожиданно встретившаяся на моем пути девушка.

Крепкая степная зима пришла в Яндыки, но мороз был какой-то добрый, ядреный, здоровый.

Все ходили бодрые, с красными от холода щеками, веселыми глазами и хорошим настроением.

«Скоро в поход... Наступаем!!!» — было в глазах, в душе и на языке каждого.

Женя поправляется. Она еще слаба, но молодость берет свое. Надя часто ходит в больницу. Постепенно ощущение неловкости и холодок прошли, и мы вечерами опять гуляем по Яндыкам. Хорошее, ясное и доверчивое отношение Нади ко мне радует меня.

Вернулся из поездки Бутягин. Он побывал в Эркетени, ездил, осматривая дороги, и в сторону моря, побывал в хатонах, довольно скудно размещенных по путям нашего будущего наступления.

Ночевать буду у вас. Надо поговорить кое о чем,— сказал он мне в штабе. Вечером он зашел ко мне.

Надя, печатавшая сводку для Астрахани, ушла домой. Аббас и комкор долго жали друг другу руки, но скудный запас у одного русских, у другого тюркских слов помешал им завести долгий разговор о Сибири, каторге и ссылках, которые вдоволь изведали оба. Потом Аббас сел у пылавшей печки, а Бутягин стал расспрашивать меня об агентурных данных. Особенно его интересовали Кизляр и положение в горах, у Гикало.

— Храбрый, умный и осторожный человек. Если б у него было тысяч десять надежных бойцов в тот момент, когда мы двинем на Кизляр...— задушевно говорил Бутягин.

Аббас, не так давно вернувшийся от Гикало, утвердительно кивает головой.

— Балшой, храбранный чаловек Миколлай Гикал,— говорит он.— Его чечен, его рабочи, его солдат кирепка любит. Чох яхши адам<sup>13</sup>,— неожиданно по-тюркски заканчивает Аббас.

Я рассказываю комкору о камышанах, подробно останавливаясь на их численности, вооружении, настроении и той помощи, которую можно ожидать от них.

— Вы преуменьшаете их значение. Надо учесть революционную сознательность и высокий их героизм,— говорит комкор.

— Это все так, но высокие слова не должны вводить разведчика в ошибку. Пафос в нашей работе опасная вещь, уводящая в сторону от дела. Трезвый расчет, точные выводы, сухая, неприкрашенная правда — вот что необходимо разведке.

— Неисправимый педант,— смеется комкор,— во всяком деле нужна поэзия, вдохновение и оптимизм.

— Но не в разведке. Здесь розовый оптимизм может привести к черному концу, к гибели сотен людей.

— Специалист подобен флюсу — однокбок,— помните изречение Пруткова? Но ничего, будущее покажет нам, кто прав, а теперь рассказывайте о камышанах правого, святокрестовского направления.

Докладаваю ему. Опять идут цифры, количество людей, оружия, данные о частях противника, их дислокации, настроении.

— Мы их расшибем в два счета,— весело говорит Бутягин,— белые трещат по всем швам. Наш удар по Кавказу будет смертельным для Деникина, нокаут, как говорят боксеры... А кто эта красивая девушка, только что печатавшая здесь на машинке? — неожиданно спрашивает он.

— Сотрудница отдела снабжения, моя будущая жена,— коротко говорю я.

— Это хорошо. Поздравляю вас,— говорит комкор.— А теперь возьмите вот этот пакет. В нем два миллиона денег. Это Киров подбрасывает вам подкрепление, а я,— он встает,— иду спать.

— Но ведь вы хотели у меня.

— Нет... вы человек почти женатый, пойду к Смирнову.

Он крепко жмет нам руки, оставляет на столе тючок с миллионами и, сопровождаемый Аббасом, выходит на крыльцо.

Вернувшись, Аббас берет туго завязанный тючок, смотрит на него и равнодушно спрашивает:

— Дэнги?

Я киваю головой.

---

<sup>13</sup> Очень хороший человек.



— Куда класть, сюда? — И тучок ложится в угол, где лежат остальные наши миллионы.

Завтра ночью наши части переходят в наступление.

Все готово к удару. Войска стоят на исходных позициях, приказ командующего фазослан по частям.

Утром я отправляюсь в Эркетень и дальше за наступающими полками Бучина, Полешко и Янышевского. Через два дня меня где-то впереди нагонят товарищи из политагентуры, которых с деньгами и инструкциями нужно будет перебросить через фронт, к Хорошеву, в кизлярские камыши.

К концу занятий я зашел к Наде. Работа отдела уже заканчивалась, и, подождав немного, пошел с ней домой.

— Надя, завтра уезжаю в Эркетень и дальше...

Она взглянула на меня.

— Когда вернусь, не знаю, но... вернусь. А возможно, что вскоре и вы все двинетесь за нами дальше.

Она молчала. Я взял ее руку в свою.

— Мы встретимся, обязательно встретимся, Надя.

Она остановилась и молча, не отнимая руки, кивнула головой.

Мы пошли по снежной, холодной улице Яндык. Шли и молчали. Подходя к дому попадьи, Надя положила мне руку на плечо и как-то тепло и робко сказала:

— Возвращайтесь живым, невредимым... Я буду ждать вас,— и у самого порога дома осторожно и доверчиво поцеловала меня в губы.

Белая степь курилась в сотнях снежных смерчей, поднимаемых вихрем. Ветер свистел и мчался по ледяной, безмолвной равнине. Свинцово-серое небо нависло над землей. Порывы ветра обжигали лица, кони с трудом шли — так силен был этот поминутно менявший направление ветер, дувший одновременно и в лицо, и в спину и с воем проносившийся мимо. Заснеженные дюны с шорохом осыпались и медленно меняли направление. Только ветер да этот шорох были слышны на равнине. Люди двигались молча, кони бесшумно ступали в снег, по бабки увязая в нем. Четыре орудия еле тащились за пехотой.

Растянувшись на добрую версту, шел передовой отряд экспедиционного корпуса, которому предстояло к утру захватить Би-рюзак.

Пурга выла, ветер свистел, и тяжелые снежинки неслись по всем направлениям. Дойдя до условно обозначенного на карте буквой «Х» места, отряд остановился.

Здесь когда-то, задолго до этих дней, стоял деревянный домик дорожного мастера и три-четыре калмыцкие юрты. Место

это так и называлось — «Хатон», но сейчас здесь не было ни домика, ни юрт, ничего. Еще год назад разбитые, замерзающие, почти поголовно больные тифом остатки отступавшей на Астрахань 11-й Северо-Кавказской армии, спасаясь от холода и пурги, разобрали на топливо брошенный хозяевами деревянный домик, а калмыки, сняв свои юрты, откочевали из хатона в глубь степи.

Отряд остановился у пункта «Х», ничем не отличавшегося от любого другого места в степи. Та же равнина, безлюдная, необитаемая, те же занесенные снегом пески, тот же обжигающий ветер и ледяной воздух.

Полешко дождался растянувшийся хвост колонны. Кони стояли, спрудившись в тесную кучу, понуро опустив головы. Конники жались возле них. Несколько пехотинцев толкались и барахтались, стараясь согреться возней и борьбой. Пушки подошли и остановились у колонны. По сторонам отдыхающего отряда виднелись фланговые конные дозоры, да разъезд под командой Усаченко ушел вперед по заметенной снегом дороге.

— Полчаса отдыха. У кого есть махра — кури, у кого нет — дыши воздухом, а кто любит трепака — танцуй под мороз да ветер, — пошутил Полешко.

Он с командиром батальона и двумя артиллеристами пошел вперед, нащупывая под снегом дорогу, ведущую на Бирюзяк.

Было нелюдимо и пустынно. Однообразие снежной степи угнетало глаз, а бесконечный вой ветра нагонял тоску. Но красноармейцы, казалось, не замечали ничего. Почти все они были уроженцами Северного Кавказа. Тут были кубанские, терские казаки, даже во сне видевшие свои, оставленные год назад, станицы и семьи. Тут были ставропольские крестьяне, бежавшие от белогвардейцев и своих кулаков, много армян, осетин, горцев Дагестана. Все они ждали этого часа, когда снова пойдут в наступление на Кавказ. И вот этот час настал.

Равнины калмыцких степей граничили с моздокскими и кизлярскими степями. Ставрополье начиналось уже за Кумой. Что им был ледяной ветер с моря? Их не пугало однообразие снежной пустыни, через которую год назад отходили они. Здесь, в песках, лежали непогребенными останки их братьев и друзей, их жен и матерей, отступавших вместе с ними в Астрахань.

Они знали и верили в то, что советская власть победит, что деникинцы будут разбиты и что они, терские, кубанские, ставропольские и прочие большевики, вернутся победителями в свои станицы, деревни и хутора.

И вот приказ отдан, и они идут к своим местам.

Поистине неповторим в своем ратном упорстве, отваге и му-

жестве русский человек! Сколько горя, лиха, бед и несчастий пережили они, вот эти, сейчас весело и беззлобно согревающие себя толчками, шуткой и борьбой люди. Голод, поражение, тиф, развал старой армии, виселицы — все видели и испытали они.

Из снежной пыли и крутящихся белых вихрей вырвались двое конных. Это были связные от ушедшего вперед разъезда.

— Товарищ командир отряда! От помкомполка донесение до вас, — слезая с коня и подходя к Полешко, доложил боец.

— Ну, как у вас там? Беляков не видно? — вскрывая пакет, спросил Полешко.

— Не видать. Заховались по домам, возля баб своих преют-ся... Да где там, разве им придет в голову, что в такую пургу да метель мы наступаем.

— Можно двигаться. Кучура доносит, что ни одной живой души. Собаки и те попрятались по конурам.

Полешко взглянул на небо, затем на ручные часы.

— До Бирюзьяка верст двадцать, а то и все двадцать пять. Если двинемся через полчаса, то не спеша подойдем туда к ночи. Темнеет здесь быстро, часов в восемь село уже спит. А ну, хлопец, повернись спиной, та-ак... — и он, положив на спину связного полевую книжку, стал писать приказ Кучуре. «Остановись возле Бирюзьяка и до наступления темноты не двигайся к селу. Действуй осторожно, не выдавая своего присутствия противнику. Дороги на Лагань и Таловку перережь своими постами. Боя не начинать ни в коем случае. Если ж будет крайняя необходимость — действуй холодным оружием. Бездеятельность противника и полная его уверенность в безопасности — залог нашего успеха. К семи часам вечера вышли навстречу нам связных, до этого полней выясни обстановку, разведай, где выставлены дневные и где будут ночные дополнительные караулы белых. Где их посты и пулеметы. Крайне нужны пленные, но языка надо брать наверняка и без шума. Связь с нами держи обязательно. Полешко».

Связные затрусили по снегу к эскадронам Кучуры, и отряду было дано сорок минут на отдых и перекур.

Над снежной равниной курились, сшибались и разбегались белые смерчи. Ветер крепчал, и с моря все сильнее доносился гул расходившейся стихии. Но люди не обращали внимания на мороз. Одни курили самокрутки, дымки махры вились над головами, другие слегка отпускали подруги коням, третьи молча жевали сухари. Кое-кто вполголоса беседовал с соседом.

Но глаза и думы всех были устремлены к югу, к Тереку и Кубани, к тем местам, куда наконец двинулись войска.

Сорок минут отдыха прошли, и Полешко с пушками, тачанками и пехотой тронулся в путь.

Бирюзьяк был первым селом, которое занимали белогвардейцы. «Ничья земля» лежала между Эркетенью и Бирюзьяком по крайней мере на 60—70 верст, и эта огромная равнина только изредка «освещалась» (по военному выражению) разъездами наших или неприятельских кавалеристов. Но зимой, в конце декабря 1919 и начале 1920 года, в самую лютую стужу с ледяными ветрами Каспия, с холодным безмолвием пустыни, никому из белогвардейцев и в голову не приходило, что находящиеся где-то под Астраханью немногочисленные красные части могут перейти в наступление через мертвую ледяную степь на Кизляр.

Однако 11-я армия сделала это, и не только на Кизляр, но одновременно с этим перешла в наступление и всем правым флангом экспедиционного корпуса в направлении на Святой Крест.

Тем, кто хоть немного знает, что такое безжизненные, растянувшиеся на многие сотни верст, бездорожные даже летом ставропольско-астраханские степи, кто хоть раз побывал на калмыцких солончаковых равнинах, тот поймет, какого геройства, самопожертвования и напряжения требовал этот зимний поход на Кавказ в январе 1920 года.

Село Бирюзьяк было разбросано по берегу залива, полукосой врезавшегося в невысокие холмы, спускавшиеся в степи. Под холмами раскинулся поселок с несколькими десятками рыбацких домов.

На одном из холмов возвышалось довольно большое кирпичное здание. Здесь до 1918 года находилась почтовая контора и двухклассная школа. Гражданская война разогнала обитателей этого здания, и сейчас в нем была расквартирована рота пехотного апшеронского полка с тремя офицерами. Рядом с ней находилась и радиостанция, которую обслуживал взвод «искрового телеграфа» военных моряков Каспийской флотилии белых.

Во главе гарнизона был мичман Чихетов, молодой человек лет двадцати восьми.

Мичман прибыл в Бирюзьяк из порта Петровска уже месяца четыре назад. Особых знаний военно-морского дела он не имел, так как кончил всего-навсего Бакинскую мореходную школу. Но Каспий и его условия знал довольно прилично, и так как моряков у неприятеля было немного, то его и назначили начальником гарнизона Бирюзьяка, присвоив чин мичмана.

Чихетов перед самым отъездом из Петровска женился на молодой и хорошенькой девушке. Свадьбу справили за пять

дней до отъезда его в Бирюзьяк. Молодожены расстались, но спустя три месяца молодая по вызову мужа приехала из Петровска на пароходе «Вещий Олег» погостить у мужа и провести рождественские праздники вместе с ним.

Жили Чихетовы возле радиостанции в просторном рыбацком доме, на вершине холма, с которого спускалась тропинка к косе, густо заросшей высоким камышом. Камыш этот, напоминавший собой молодой и густой лесок, окаймлял берег залива, шумел под ветром и придавал косе живописный вид.

Чихетова каждое утро сходила к заливу, уже затянутому льдом, гуляла на косе и с радостью думала о том, что праздники заканчиваются и она скоро, может быть через пять-шесть дней, возвратится обратно к отцу и матери в город Петровск. Здесь было скучно, однообразно и страшно. Одни и те же лица, одни и те же дела, все те же разговоры о войне, большевиках, сторожевой службе и караулах. И только любовь к мужу задержала ее, и она не отправилась день назад на пароходе «Россия» в Петровск. «Вещий Олег» должен был прийти в четверг 7 января (по старому стилю), и она решила провести с мужем крещение, а 8-го уехать обратно в Петровск.

Гарнизон Бирюзьяка состоял из 142 солдат при трех пехотных офицерах и взвода станковых пулеметов, которым командовал поручик Купцов. Всего в гарнизоне находилось четыре пехотных, два казачьих, два артиллерийских офицера и инженерный прапорщик — начальник радиостанции. Скука в селе была невероятная. Войной, по сути, здесь и не пахло. Она проходила где-то в центре России, и ежедневные сводки, передаваемые по радио в Гурьев, порт Петровск и Красноводск, говорили о том, что на равнинах Украины, в полях под Воронежом и придонских степях идут кровопролитные бои. Здесь же, на берегах Каспия, в ставропольско-терских краях, царила тишина. 11-я Красная Армия была далеко за снежными степями. Зима, бездорожье, отсутствие и отсутствие воды делали невозможным ее наступление на Кавказ, и выдвинутые вперед гарнизоны Кизляра, Черного Рынка, Таловки, Лагани, Бирюзьяка, а также ставропольские — Величаевское, Урожайное, Терновка и другие — беспечно отдыхали, в бездействии, скуке и пьяной гульбе коротая свои дни.

— Хорошая у нас служба: и фронт и отдых. Никто в станицах или штабах не станет попрекать нас в безделье. Мы ж на фронте, и караулы и линию обороны держим, и охрану от врага несем, а никто его и в глаза не видит, — любил повторять есаул Поздняков, командовавший всем направлением Лагань — Черный Рынок.

И действительно, для казаков терских станиц Кизлярского

отдела и для мобилизованных солдат-апшеронцев этот Астраханский фронт стал раем.

Уже давно не было здесь не только боев, но даже и обыкновенных поисков. Ни разведчики, ни кавалерия не соприкасались друг с другом. Только иногда крестьяне по своим делам ездившие за линию фронта, сообщали и красным и белым, что «воюющие стороны» и не думают друг о друге, неся обычную, ставшую неопасной и скучной сторожевую службу.

Мы знали об этом. Наша агентура и камышане, как под Святым Крестом, так и под Астраханью, регулярно сообщали нам о сонном затишьи, охватившем всю прифронтовую полосу неприятеля. И, готовясь к удару на Кизляр и Ставрополье, мы усиленно распространяли слухи среди крестьян и ловцов о том, что весной, с наступлением тепла, и наша 11-я армия ударит со стороны Яндык на Кавказ.

И вот, под прикрытием этой распространяемой нами «дымовой завесы», мы в самые лютые морозы декабря 1919 и начала января 1920 года внезапно пошли в наступление на Святой Крест и Кизляр.

Офицеры гарнизона вечером собрались у Чихетова. Начальник Бирюзьякского гарнизона был не в духе. Предстоящая разлука с женой, безвыходная скука и полная оторванность от веселой тыловой жизни, а самое главное, сплошные неудачи на центральном фронте и отступление белых армий, смахивавшее на бегство, омрачали праздничное настроение мичмана.

Несколько бутылей с красным кизлярским вином, индейка и знаменитое рыбацкое блюдо — белорыбница, запеченная в тесте, стояли на столе. Жена мичмана хозяйничала, отдавая приказания денщику и прислуживавшей им девушке, дочери домохозяйки.

— Хорошо, господа, что мы где-то на отлете, у черта на куличках, где нет ни войны, ни мира, одна скука, — поднимая бокал, сказал поручик Купцов. — Хотя, откровенно говоря, от этой тоски да скуки, что окружают нас, можно взбеситься...

— ...Или спиться с круга! — осушая стакан, мрачно перебил Чихетов. — Сегодняшняя сводка еще хуже, чем вчерашняя. Буденный со своей кавалерией ломится к Ростову, под Царицыном упорные бои. Войска Май-Маевского уходят с Украины, донская конница где-то весьма подозрительно затерялась. Какая-то сволочь взорвала мост у Батайска... В тылах ропот, слухи, кое-где мятежи...

— Хорошо начинаем новый, двадцатый год! — упрямо иронизировал прапорщик.

— Утренняя сводка говорила о ставке главнокомандующего в Ростове, а вечерняя передана неизвестно откуда. Из Кушевки, что ли,— снова наполняя стакан вином, мрачно сказал Чихетов.

— Не часто ли будет? Еще впереди много времени. Давайте хоть споем, поиграем,— беря гитару в руки, напомнила ему жена.

Мичман махнул рукой, вздохнул и молча отодвинул стакан.

Наша жизнь коротка, все уносит с собой,

Наша юность, друзья, пронесется стрелой!—

запела Чихетова, играя на гитаре.

Ей подтянули. И старая студенческая песня заполнила комнату.

— К черту! Под Новый год не надо петь прустной песни! И без того тоска одолевает. Давайте повеселее! — закричал мичман и запел:

Оружьем на солнце сверкая,

Под звуки лихих трубачей...

По улицам пыль поднимая,

Проходил полк гусар-усачей...

Жена, или, как позже выяснилось, приехавшая из Кизляра, к артиллеристу веселая девушка Шурочка, и поручик Купцов запели на мотив «Ой-ра» шансонетку, и все, оборвав «Гусаров», подхватили слова шансонетки. Прапорщик вскочил и стал лихо, с удивительным мастерством откалывать коленца «Ой-ры». Шурочка, приподняв подол платья, плясала возле него. Чихетова с безразлично-меланхолическим видом играла на гитаре, а артиллерист не в тон «Ой-ре» басил:

Все танцуют.

Ой-ра, Ой-ра...

Солдат и девушка уносили пустые бутылки и осколки разбившейся тарелки.

— А все-таки ску-учно! — прерывая шум, сказал Чихетов. — Мы, господа, как будто на похоронах веселимся.

И эти слова отрезвили всех.

— Действительно, уж очень тут тоскливо,— неожиданно вздохнула Шурочка.— В Кизляре и то не в пример было веселей. Уеду я, Мишка, завтра обратно,— решительно сказала она артиллеристу.

— А я не дождусь, когда пароход придет,— не обращая внимания на состояние остальных, сказала Чихетова.— У меня все сердце что-то сжимается и ноет... Как бы чего не случилось.

— Глупости! Что тут может случиться. Просто тебе скучно

и непривычно в этой берлоге,— ошисходительно сказал муж.— Ничего, Ниночка, подожди еще сутки, а потом к отцу-матери в Петровск. А я спустя месяц приеду к вам в отпуск.

— Что тут может быть,— махнул рукой артиллерист.— До красных триста верст, да они сами от страха там дрожат, как бы мы на них не навалились. А что скучно здесь, так это верно. Давайте выпьем, друзья, за отъезд Шурочки в Кизляр, а Нины Георгиевны в Петровск, и да погибнут большевики и всевозможные красные на земном шаре.

— Ура-а!!! — закричали все и выпили за победу белогвардейской армии.

А в это время Кучура своими эскадронами уже окружил Бирюзак и закрыл все пути бегства к Кизляру.

Веселье как-то не получалось, праздничное настроение не клеилось, как выразился прапорщик Очкин, дважды пытавшийся дирижировать нестройным, разноголосым хором подвыпивших, но отнюдь не развеселившихся людей. Ни застольная грузинская песня «Мравол жамиер», ни строевая юнкерская песня «Взвейтесь, соколы, орлами!» не удавались, и прапорщик, махнув рукой, молча осушил стакан, наполненный до краев красной «кизляркой».

Что вы плачете здесь,  
Одинокая, бедная деточка...  
Кокаином распятая  
В мокрых бульварах Москвы...—

не глядя ни на кого, жалким тоненьким голоском, как бы отвечая своему настроению, вдруг запела Чихетова и неожиданно зарыдала.

Песня оборвалась, но мужчины не обратили внимания на неожиданный финал песенки Вертинского.

— Нервы... нервы,— покачал головой муж.— Я понимаю... в такой дыре, как наш Бирюзак, не то что заплачешь, а и волком взвоешь.

— Успокойтесь, милочка, послезавтра придет пароход и вы уедете в Петровск,— глядя по голове тихо плачущую женщину, успокаивающе сказала Шурочка.

Гости стали расходиться. Ушел прапорщик Очкин, ушел поручик Купцов, ушла и чета артиллеристов. Денщик унес грязные тарелки, остатки ужина и недопитые бутылки с вином. Мичман разделся и потушил огонь.

Бирюзак спал.

С моря дул холодный штормовой ветер. Вскоре погасли и последние огни в домах. На холме, где находилась радиостан-



ция, было темно и тихо. Мирно спали и караул, и часовые, и даже собаки, забившиеся от вьюги и ветра в свои конуры, мирно спали в эту холодную новогоднюю ночь.

А дозоры Кочуры уже перерезали пути к селу, заняли исходное положение и ждали приказа, чтобы войти в уснувшее пьяным сном село.

298-й полк под командованием Янышевского подходил к Бирюзяку.

Закутанный в овчинный тулуп часовой сладко спал. Ни толчки, ни потряхивания долго не могли разбудить его. Наконец он проснулся и, сладко зевая, пробормотал:

— Смена? А я чуток заспался...

— Смена,— подтвердил кто-то из разбудивших его людей,— а будешь шуметь, так и вовсе тебе капут будет. Красные мы, на смену вашей белой шатии пришли. Понял?

— Так точно! — трезвея от страха и неожиданности пролепетал солдат, жмурясь от наведенного на него нагана.

Все посты и караулы были сняты за пятнадцать — двадцать минут, все солдаты были пьяны, крепко спали и не сразу поняли, в чем дело. А поняв, сейчас же покорно поднимали руки вверх, охотно сдаваясь в плен.

— Разрешите, господин-товарищ, проведу я вас по квартирам, где господа офицеры проживают,— предложил один из артиллеристов.

— Они тоже набузовались чихиря да водки, так что голыми руками заберете,— объяснил фельдфебель, навытяжку стоявший перед Кучурой.

— Да мы, брат, и без вас все еще неделю назад знали. Ну, а коли есть охота, валяй показывай,— засмеялся Кучура и, сопровождаемый красноармейцами и словоохотливым артиллеристом, пошел по селу, в котором уже хозяйничали его эскадронцы.

Из хат выводили пленных, сонных, еще не протрезвившихся после обильного праздничного возлияния. Очумелые от страха и удивления, они молча шли к сараю, где уже находилось человек тридцать все еще не пришедших в себя солдат.

Артиллерист-поручик был поднят из теплой постели. Его временная жена, спросонок не поняв, в чем дело, с криком и бранью накинулась на трех эскадронцев, осмелившихся нарушить ее сон.

— Хамы, дураки, сволочи... вон отсюда! Не видите, что ли, офицера и его даму,— затараторила было она, но сразу же смолкла, уставившись взором на красную звезду на серой папахе Кучуры.

— Вы, мадам, того... прикусите язычок, а то — обрежем! Не

видите разве, кого бог в гости прислал?! — пошутил Кучура.

«Дама» смолкла и стала одеваться, бросая косые испуганные взгляды на разоружавших ее «мужа» красноармейцев. Но поручик был тих и только тяжело вздыхал, одеваясь. Он так, наверно, и не попал бы ногой в сапог, если б не один из эскадронцев.

— Не ту ногу суешь, ваше благородие, левую надо, левую, — еле сдерживаясь от смеха, напомнил он.

Чихетов был взят тоже в постели. Он долго не мог понять того, что произошло. Когда же наконец понял, охватил голову руками и громко и тяжело застонал.

Жена его не спала, когда в комнату вошли красноармейцы. Она лежала в кровати, читая книгу. Эта книга, «Человек, который убил» Клода Фаррера, через два-три часа попала ко мне, потом пошла по рукам политотдельцев.

Думая, что вошел денщик, она тихо сказала:

— Надо стучать, Фоменко, сколько раз я говорила вам, что без стука... — Тут она оборвала фразу. Вздвигая второго эскадрона терский казак Калюжный молча и выразительно показал ей на кинжал, висевший у него на поясе.

Чихетова обмерла, но молчала. Она молчала и тогда, когда разбудили ее все еще пьяного мужа, и тогда, когда вошедший Кучура приказал:

— Одевайтесь. Вы в плену. Через час отправитесь в тыл.

Она как-то машинально оделась. Заговорила лишь два часа спустя.

— Вы знаете, я все еще не могу выйти из оцепенения. Во мне все как бы умерло. Я чувствовала, чувствовала, что случится что-то ужасное, — с тоской и болью говорила она мне на опросе пленных.

Но и тут она была какой-то оцепенелой, деревянной, без слез, без страха, без упреков. Она представляла прямую противоположность кизлярской подруге поручика-артиллериста, все время визгливо и без умолку неешей всякий вздор, то и дело пересылая его руганью и упреками по адресу ее неудачливого ухажера, выписавшего ее на дни рождественских праздников сюда.

— Дурак такой... вояка несчастный! Они только, господин комиссар, пьянствовать да с бабами валяться могут. Я уже давно раскусила их, этих белых сволочей... а меня не расстреляют? Я ж сама простого звания, — тараторила она.

Радиостанцию, на которой было сорок солдат, три пулемета и двое техников-радиостов, взяли тоже без выстрела. Брал ее сам Кучура с тридцатью кавалеристами своего эскадрона. Спе-

шившись в редком, оголенном лозняке, недалеко от села, эскадронцы через лед перешли косу и, войдя в густо росший на приволье камыш, по двое, по трое стали взбираться на холм, высившийся над селом, заливом, косой и пологим морским берегом.

Окна бывшего почтового отделения, теперь отведенного под радиостанцию, были темны, и только в двух из них горел свет. На станции царила тишина. В помещении, в котором располагалась охрана, также не замечалось никаких признаков жизни: солдаты спали.

Фельдфебель, так охотно предложивший свои услуги в пленении своих офицеров, стоял рядом.

— Вы не беспокойтесь, товарищ начальник, я сам трудовой человек и воевать с вами пошел из-под палки. Мобилизовали насильно, пришли белые в село. «Кто, спрашивают, у вас есть военные?» Ну, односельчане, конечно, на меня: «Вот, мол, вояка. Три года в окопах на Австрийском провалялся». Они ко мне: «Офицер?» — «Никак нет, взводный младший унтерцер самурского пехотного полка». — «Ах ты, сукин сын, такой-сякой. Вся Расея против красных воюет, а ты в селе отсиживаешься. Вешать таких надо». — «Никак нет, говорю, я с доброй охотой. Только вот хотел с семьей маленько пожить, хату починить, а потом и к вам». — «Мы, говорят, тебе починим. Дезертир, сволочь окопная, марш в запасный батальон!» Ну, я, конечно, и пошел, а через десять дней сюда из Грозного прислали. А мичман Чихетов, как узнал, что я бывший унтер да три года в окопах вшей кормил, и произвел меня в фельдфебели. Мне же все это ни к чему. Хватит, с немцами навоевался, чтоб еще со своими, трудовыми братьями драться.

— Вот ты, браток, и докажи нам, что слова твои не пустые, а настоящие. Тогда и мы тебе доверие окажем, — сказал Кучура.

— С полной моей охотой, товарищи, — радостно ответил унтер и действительно в эту ночь оказал нам немалую услугу.

В небольшой «караулке», некогда бывшей кладовой, сидел на полу часовой, с пьяным и сонным видом воззрившийся на унтера и вошедших с ним людей.

— Ты что, пес, пьян? — с деланно сердитым лицом спросил унтер.

— Никак нет... гос-по-дин унтерцер... присел маленько на пол да вот... подняться никак не могу; — шаря руками по полу, объяснял часовой.

От него разило вином, пустая бутылка лежала возле, на столе были остатки тарани и темные пятна от пролитого на бумагу чихиря.

— Поднимите его, хлопцы, — приказал Кучура, и осовевшего от вина и долгого пьянства солдата вывели во двор.

В следующей комнате в пирамиде стояли составленные винтовки. У окна торчал пулемет «кольт», возле разметавшегося во сне солдата был зачехленный «максим». Поодаль спали еще несколько белогвардейцев.

Бойцы окружили их, а Кучура вошел в третью, самую большую комнату, в которой на широком топчане похрапывал прапорщик. Возле него на полу, на соломе, спали моторист и радиотехник. Все трое были до того пьяны, что даже после того, как их подняли с постелей и объяснили, в чем дело, те по-прежнему молча таращили на Кучуру и эскадронцев мутные глаза, пьяно икая и вздыхая.

Радиостанция без выстрела была взята нами, а через несколько минут Бирюзьяк целиком вновь стал советским. Разбуженные ловцы и крестьяне с радостью приветствовали красных.

Выставленные на дорогах пикеты и дозоры перехватили несколько белых солдат и сотрудничавших с ними кулаков, пытавшихся бежать в Кизляр.

Так в «ночь под рождество», по старому стилю, первый удар по белым на кизлярском направлении принес нам успех без пролития крови.

Предстояли новые дела.

Часов в одиннадцать дня я опрашивал попавших в плен офицеров, казаков и так неудачно гостивших в Бирюзьяке дам.

Я с благодарностью вспомнил Сергея Мироновича, сразу и правильно понявшего мою просьбу о разрешении отбирать необходимых мне людей из числа пленных казаков и офицеров Терской и Кубанской областей. Никто теперь не мог мешать мне в моей работе по закордонной политагентуре. Все, кто казался мне полезным для нашего отдела, сразу же после опроса попадали в наше распоряжение. До сих пор это было лишь официальным, написанным на бумаге решением Реввоенсовета, теперь же, с сегодняшнего дня, это решение становилось законом для штаба нашего корпуса.

И вот в первый раз я произвел опрос пленных и отобрал из числа терцев и кубанцев подходящих для нас людей. Остальные после опроса были отправлены в тыл корпуса.

Все, что было описано в начале этой главы, начиная с рождественской ночи и кутежа у Чихетова и вплоть до настроения праздновавших рождество женщин, до самых незначительных деталей вечера, взято из долгих и горьких рассказов офицеров и их дам, попавших к нам в плен.

Был холодный зимний день. Ледяной ветер дул с моря, его порывы пронизывали до костей.

Опрос кончился, и пленных требовалось отправить в Яндыки.

Я посмотрел на безмолвно, бездумно стоявшую передо мной Чихетову. Ее большие глаза были пусты, в них — отчаяние и обреченность.

— Я знала... я знала, что что-то страшное случится в эту ночь,— тихо, словно куда-то в сторону, сказала она.

На ней была нарядная городская шубка с лисьим воротником. На ногах лакированные туфли, шелковые чулки, на голове какой-то капор. Идти пешком по ледяной степи, под ударами пронизывающей насквозь моряны было равносильно смерти. Я приказал Чихетову и случайную подружку артиллериста посадить на телегу.

— Спасибо,— глухим, срывающимся голосом сказал мичман.— Я боялся за нее...— он глазами указал на сидевшую без движения жену.— Спасибо, я ожидал всего, только не этого...— Голос его дрогнул, он отвернулся.

Через окно я видел, как в телегу, полную соломы, уселись женщины, как пленных окружил конвой и как вся эта печальная процессия двинулась из Бирюзьяка. Возле телеги шагал мичман.

В половине двенадцатого дня наконец протрезвился механик радиостанции, все это время усиленно повторявший, что он «студент-технолог, силой мобилизованный в добрармию». Он старался угодить нам. С его опухшего от пьянства лица не сходил улыбка.

— Товарищи, господа-командиры, скоро двенадцать, а ровно в полдень мы принимаем из Петровска утреннее радио и затем к часу дня передаем его в Гурьев. Как быть? Если мы не примем и не отзовемся на вызов, то в Петровске забеспокоятся и все поймут. Как быть? — повторял он, заглядывая Полешко в глаза.

На коротком двухминутном совещании было решено: первое — принять из Петровска очередное донесение, второе — вести с белогвардейцами обычный разговор, третье — сообщить, что все спокойно, и четвертое — просить Кизляр, чтобы выслали возы с продовольствием, бочку с белым и бочку с красным вином, роту солдат или сотню казаков с пулеметами, так как, по донесению лазутчиков, в районе Эркетени замечено передвижение красных.

Все это было написано на бумаге и положено под нос радисту.

— Ну гляди, студент, от этой передачи зависит твоя судьба. Передашь все, как говорено,— останешься у нас, будешь работать для народа, как свой, советский человек. Обманешь, передашь от себя что-либо — тут же тебе омерть,— показав пальцем на кобур у нагана, сказал Полешко.

— Да что вы, товарищи.. Буду работать честно, на кой мне эти белые бандиты, ей-богу!— даже перекрестился механик.

Ровно в двенадцать поступила обычная сводка из Петровска. В ней наряду с привычной брехней белого командования о победах где-то в Сальской степи и у Красного Яра коротко говорилось об отходе для укрепления растянутого фронта добровольческого корпуса Май-Маевского от Харькова. В конце было сообщение о том, что в Петровске повешено одиннадцать мужчин и три женщины-большевички, «захваченных при попытке к бегству из местной тюрьмы». Имена их не указывались, но подробности казни сообщались. Радиосводка заканчивалась призывом командования белогвардейской армии к населению: «Не верить пропаганде большевиков о неудачах добрармии, которая в ближайшие дни расправит свои плечи и окончательно добьет большевиков».

— Ну как? Годится или нет?

— Эти пришлют. Сейчас они полковнику Козыреву докладывают. Часа через два получите ответ.

Днем я пошел к моему старому знакомцу, Степке, отчаянному вралю и славному парню, провожавшему меня недавно из Бирюзьяка. Дома была только старуха Домна, подслеповато и напряженно всматривавшаяся в незнакомца.

194

— Не угадаю, голубчик... не припомню, може, скажешь, кто? — продолжая разглядывать меня, сказала старуха.

Я назвал.

— Иль забыла, как прятала меня от белых да Чихетова в подпол, когда Матюша, родич ваш, что в Оля живет, привел меня к вам ночью... а потом я со Степкой вашим далее, к камышам, подался. Да где сам Степка-то?

— Признала, батюшка, вот теперича признала. Доброго здоровья, товарищ милый, а то сразу-то не угадаешь... а Степка вон он, на кошме в углу лежить, тиф у него али какая другая болезнь... седьмой день парень мается... А хозяин наш в подводы с вашими на позиции поехал... Может, к вечеру али к завтраму вернется... Да ты присядь, присядь вот на стульчик, — выдвигая вперед свой единственный стул, предложила старуха.

— А дочка где?

— А она тут, в селе... Вот-вот возвратится.

— Степа, друг милый, ты что это заболел? Мы к тебе в гости пожаловали, кадюков вон погнали, село заняли, а ты слег... Ну, что с тобой? — садясь возле больного, спросил я.

Степка с трудом поднял на меня глаза и, вряд ли даже узнавая, сказал:

— Я ничего... малость захворал... На той неделе простыл.

— Чуть не утоп малый, — сокрушенно сказала старуха, — на берегу под лед провалился, еле ребята вытащили.

— Не... не ребята... Я... сам... сам вылез, — храбрясь, заговорил Степка.

— Конечно, сам. Ты ведь парень храбрый... а теперь лежи да молчи, а я к вам, — обратился я к Домне Саввичне, — доктора пришлю. Он его быстро на ноги поставит. Нам такие молодцы, как Степа, нужны. Ну, будь здоров и жди доктора, — сказал я, уходя.

Медик санчасти, Казарьянц, которого очень хвалил, отправляя в наш корпус, комиссар сануправления армии Саградьян, был милый и знающий человек. Осмотрев паренька, Казарьянц вечером зашел ко мне.

— Что-то вроде сильной простуды, но никак не тиф. Я дал ему порошков, поставил горчичники, утром зайду еще. Думаю, что через неделю наш пациент будет на ногах.

Я велел отнести Степке и его родным фунтов десять трофейного сахара, две пачки чаю и кварту красного кизлярского вина.

Утром и мать и отец Степки пришли благодарить нас за помощь сыну.

Дела не ждали, и я больше не мог навестить больного, но от врача знал, что Степка поправляется.

Рота красноармейцев и эскадрон Кучуры засели в засаду. День прошел тихо. Крестьяне Бирюзьяка приглашали к себе бойцов, кормили их белым, ноздреватым пшеничным, давно нами не виданным хлебом. Белорыбица, тарань, вобла, пшеничная мука всех сортов и даже мясные английские консервы корн-беф, по три и пять килограммов банка,—все это попало нам в качестве трофеев в продовольственном складе гарнизона.

За год гражданской войны я, несомненно, в первый раз поел досыта хлеба, корн-бефа и других деликатесов, от которых отвык за время суровой, спартанской, ограниченной в бытовых условиях жизни.

— Наш хлеб, кубанский... а это пшеничка терская, не иначе как прохладненская али с Червленной завезена,—поглядывая на мешки с мукой, говорили эскадронцы, почти все казаки кубанских и терских станиц.

Помня о голодных товарищах, о больных и раненых красноармейцах, о детях, лишенных мяса и муки, мы в тот же вечер отослали почти все захваченное у неприятеля продовольствие в Яндыки, оставив себе малую часть трофеев. Условия зимы, бездорожья, оторванности от тылов заставляли нас думать о том, как будем снабжать продовольствием, одеждой и боеприпасами наши наступающие на Кизляр войска.

Ночь прошла спокойно. Сводка, полученная по радио из Петровска, и очередная болтовня радиста с Кизляром не изменили ничего. Было ясно, что белогвардейцы даже и не подозревали о нашем наступлении и захвате Бирюзьяка.

Радист-техник старался так усердно, что пришлось даже остановить его в беседе с Кизляром, когда он хотел было запросить у коменданта города еще вина для Бирюзьяка.

— Ты без нас, мил-друг, ничего не сочиняй. Передавай только то, что указываем. Там, в Кизляре, тоже не дураки сидят... одно лишнее слово, и кончена наша конспирация. Строго выполняй то, что указано,—предупредил радиста Полешко.

Его опасения оправдались. Ночью, под самое утро, пришла внеочередная, экстренная радиограмма из Кизляра.

Радиовал полковник Козырев: «На ставропольском направлении, со стороны астраханских частей Красной Армии, в районах Величаевское — Степное обнаружено продвижение пехоты и кавалерии большевиков. Их усиленные разьезды заняли Терновку. По данным разведки, из Яндык вышла колонна красных с артиллерией и конными частями. Возможно, что удар их будет нанесен в вашу сторону, хотя условия зимнего времени и растянутость коммуникаций красных позволяют думать, что это простая демонстрация с целью задержать на Тереке наши резервы,



направляемые на помощь центральному фронту, в районы Дона и Харькова. Усиьте разведку, вышлите вперед к калмыцким улусам казаков. Пусть пройдут по степным хатонам. Все данные разведок немедленно радируйте мне.

Полковник Козырев».

Из Эркетени подошла кавбригада под командованием Водопьянова. За ней на подходе был стрелковый полк, две артбатареи, особый матросский отряд Кожанова. Бирюзьяк заполнился людьми. Там, где легко размещался небольшой гарнизон противника, теперь находилось свыше тысячи бойцов и около восьмисот коней. Продовольствия и фуража, которые мы рассчитывали захватить у белогвардейцев, оказалось недостаточно. Надо было думать о том, как накормить все прибывающие части.

В Яндыки, в штаб корпуса, были срочно посланы донесения о немедленном продвижении к Бирюзьяку продовольствия, боезапасов и фуража.

Полусотня гребенских белоказачков, главным образом уроженцев станицы Ново-Александрийской, или Копая, как ее именovali сами казаки, беспечно растянулась на добрую версту. Впереди шли дозоры, бокового охранения не было, так как и ровная степь, и отсутствие красных гарантировали полную безопасность движения.

— Впереди Бирюзьяк да от него еще верст сто пустой, никем не занимаемой земли. Чего людей даром гонять в дозоры, — решил хорунжий Бычков.

Из Кизляра вышли весело, с песнями, предварительно хлебнув «родительского чихиря» — вина, заготовленного еще из урожая прошлого года. Пулеметы везли в первом возу зачехленными, ленты от них были на другом возу вместе с мукой, пшеном, мясными консервами и пятью тушами забитой для войск скотины.

Казаки то съезжались, то растягивались в цепочку, давно потеряв походный строй «по три», в каком они вышли из Черного Рынка, где провели прошлую ночь.

Стужа становилась все сильнее. По степи кружилась поднятая ветром снежная карусель. До Бирюзьяка оставалось верст пять.

Хорунжий остановил свою растянувшуюся полусотню.

— Цыганский табор, а не казаки! А ну, подтянись! — орал он на казаков, не обращавших на него внимания.

Он остановил коня, поджидая отстающих. Голова колонны тронулась, возы с грузом двинулись дальше, а хорунжий, чертыхаясь, все подгонял показывавшихся из-за бугра казаков.

— Догоняйте, черти не нашего бога, полусотню... Там за ериком, возле леска, — привал. Останови отряд, пять минут отдыха, а потом с песнями прямо в Бирюзьяк... а то срамota одна, не казаки, а бабы брюхатые на конях! — приказал хорунжий вахмистру.

— А вы, Илья Егорыч? — откозырнул вахмистр.

— А я до ветру схожу и после догоню вас галопом. Так гляди, Иван Андреич, за порядком.

— Слушаю-сь! — И, нахлестывая коня, вахмистр поскакал вперед к голове растянувшейся колонны.

С хорунжим остался его вестовой, державший в поводу коня.

Как только дозоры казаков прошли мимо засевших в лесу и в овражке эскадронцев Кучуры, из ерика нестройной толпой выехали телеги, а за ними кучно ехавшие казаки. Нагнавший их вахмистр остановил колонну.

— Стройся справа по три, сукины дети, — орал он, — чего сбились в кучу, становись по три...

Он еще что-то хотел сказать, но внезапно смолк.

Из ерика вышли трое. Справа от дороги поднялись из-за снежной дюны еще четверо, а из леска выехали несколько конных. Две пулеметные тачанки с наведенными на казаков «максимами» были за ними.

— Эй, казаки... бросай оружие. Вы оцеплены со всех сторон. Здесь две роты стрелков и два эскадрона. Бирюзьяк уже взят нами, сопротивление бесполезно, — выезжая чуть вперед, закричал один из всадников.

Казаки оцепенело смотрели на неожиданно, точно из-под земли поднявшихся красных. Вахмистр схватился за кобуру нагана, кто-то из казаков рванул назад коня, другой вскинул на прицел винтовку...

Короткая пулеметная очередь просвистела над растерянной, оцепеневшей толпой.

— Говорю, сдавайтесь без боя, а то расстреляем всех. Вокруг пятнадцать пулеметов, — грозно соврал Кучура. — Я сам, ребята, терский казак станицы Государственной. Какого вам черта за атаманов да за фазную оwoлочь гибнуть? А ну, бросай оружие.

Один, за ним другой, потом третий... сначала медленно, затем все быстрее и быстрее стали прямо с коней бросать на землю винтовки... И только двое из самого хвоста колонны, думая спастись бегством, повернули внезапно коней и, хлестнув их нагайками, понеслись бешеным карьером назад, по кизлярской дороге. Они перемахнули через ерик и вместе с конями грохнулись на полном скаку оземь.

Шестеро эскадронцев с двумя ручными пулеметами срезали обоих всадников вместе с их конями.

Хорунжий Бычков и его вестовой, видевшие, как под пулеметными очередями повалились наземь оба казака, понеслись во весь карьер обратно к Черному Рынку.

Эти два человека только и спаслись из всего отряда, так беспечно шедшего на пополнение гарнизона Бирюзьяка.

С пехотными частями, пришедшими из Эркетени в Бирюзьяк, прибыла и часть сотрудников закордонной политагентуры, как официально называется наш отдел.

Приехали Самойлович, Дангулов, Румянцев, Аббас Бабаев, чеченец Махмудов из аула Гойты, ингуш Хасултан Нальгиев, еще четверо дагестанцев и один карачаевец. Пользуясь тем, что начались боевые действия, решено перебросить их через линию фронта с помощью камышан.

Дагестанцы Муралиев, Сеидов и связной, уже дважды ходивший в Левашу, кумык Асаев, взяв миллион двести тысяч рублей николаевскими деньгами, должны будут из камышей, перейдя переправу через Терек, углубиться в предгорья Дагестана, где их встретят ожидающие в ауле Костек связные Бориса Шеболдаева.

В последнем письме, пересланном мне из камышей Хорошевым, Шеболдаев настоятельно просил прислать больше николаевских денег, «некрупной купюры», весьма необходимых ему в горах. То же самое писал и Николай Гикало.

Как и чеченцы, дагестанцы не принимали денкинских денег, а брали за провиант и фураж только николаевские да керенские.

Из тех денег, которые навалом принес мне на спине никем не охраняемый Аббас Бабаев от Кирова, сейчас оставалось около двух миллионов семисот тысяч. Я подумал, подумал—и выделил для Гикало тоже миллион двести тысяч, сто пятьдесят тысяч послал Хорошеву в камыши, но даже и эта сумма была весьма значительна, так как, по данным нашей агентуры, в Баку золотая десятирублевка на денежной бирже стоила девяносто рублей.

Под утро все сотрудники нашего отдела должны были уйти по затянутому льдом побережью Бирюзьяка к камышанам. Проинструктировав их еще раз, я назначил старшим экспедиции Самойловича.

Ночь уже давно легла над Бирюзьяком, но шум, голоса, движение обозов, цоканье копыт проезжавших по окаменело замерзшей земле коней не прекращались. Штаб корпуса, зная, что двое белоказаров успели ускользнуть из кольца нашего окруже-

ния, приказал немедленно наступать на Таловое — Черный Рынок — Кизляр.

Войска двинулись дальше, мне же предстояло, пользуясь смятением и сумятицей на фронте, перебросить через охранение противника экспедиционную группу. Нужно было, чтобы и Гикало в горах Чечни, и Шеболдаев в Дагестане, и ставропольско-кизлярские камышане, и осетинские партизаны — словом, все, кто ждал прихода Красной Армии, зашевелились и своей демонстрацией отвлекли б на себя часть сил врага.

С утра задул свирепый ветер с моря. Из окна дома я вижу, как под ударами ветра то ложится, то встает, то мечется в стороны густая гривастая полоса камыша, окаймлявшего косу. Море «штормует», как сказал хозяин, местный рыбак.

Мороз усиливается. По земле метет метелица, снежные вихри со свистом летят по воздуху, обрушиваясь на Бирюзьяк.

А каково сейчас бойцам, стремительно наступающим на Черный Рынок?

А каково моим товарищам, в слепящем снежном вихре бредущим по береговой кромке Каспия, чтобы где-то незаметно перейти линию фронта?

Знаю, что они ее перейдут, фронт здесь не сплошной. Войска находятся лишь в населенных пунктах, на пересечении дорог и рыбацких поселков, раскиданных по берегу моря. И деньги и люди будут у камышан. Местные проводники, ненавидящие белогвардейцев, потайными тропами доведут их до камышей, а оттуда уже нетрудно, перейдя Терек, соединиться с партизанами Дагестана и с отрядом Шеболдаева. Труднее будет тем, кто пойдет к Гикало, в Чечню. Им придется пробираться через казачью область или же кружным путем, через Темир-Хан-Шуру, оттуда горными путями через весь Дагестан.

Ветер усиливается. Прибыли еще два батальона пехоты и пулеметный взвод 37-го кавалерийского полка.

Мы опросили взятых Кучурой в плен казаков. Почти все боюдачи третьего призыва, то есть люди по сорока пяти — сорока восьми лет от роду. Иногда среди них попадаются и казачонки, лет по семнадцати, еще даже не отбывшие подготовительной станичной службы — «бигара», как ее называют здесь.

Казаки сначала дичились и боялись меня. Они все были уверены в том, что половину из них расстреляем, а другую половину насильственно мобилизуем в пехоту.

— Почему ж в пехоту?

Пленные жмутся, перешептываются между собой.

— Ну, станичники, почему ж в пехоту? — снова спрашиваю я.

— А чтоб из нас мужиков исделагь. Раз казак без коня, в пехоте, значит, вроде иногороднего,— несмело решается наконец кто-то из пленных.

— Из казаков, значит, в мужики переделать,— добавляет рябоватый казачина, сидящий возле меня.

— А зачем это? — спрашиваю его.

— А чтоб казаков навовсе изничтожить.

— Чтобы, значит, такого сословия и не было.

— Оно, конечно, казаки много полютовали в пятом годе, однако не мы ж, отцы али то деды наши были,— раздаются вдруг общие голоса.

— А землю нашу, спокон веков жалованную да кровью завоеванную, отобрать.

— Чеченам да мужикам раздать,— говорит рябой казак.

— И кто вам такую чушь в башки втемаяшил? Ну, вот вы — казаки, а кто я, ну кто я есть такой? — спрашиваю удивленно замолчавших казаков.

— Не можем знать... Может, комиссар, может, и начальник. Да разве ж узнаешь... человек и человек,— вдруг вразнобой говорят пленные.

— А вот кто. Такой же терский казак, как и вы, да только еще бывший подъесаул.

Пленные оторопело смотрят на меня. Кто-то недоверчиво ухмыляется, а один неожиданно повторяет:

— Ну да, из казаков... Вы, господин товарищ, по личности вроде как из жи...— он поправляется,— ...из явреев али поляков будете.

— Ну и дурак. Говорю тебе—терец я, да еще и бывший офицер.

— А из какой станицы? — любопытствует рябой.

— Чернойарской, Моздокского отдела, той, что недалеко от Моздока, рядом с Прохладной находится.

Казаки озадаченно молчат, но рябой не сдается:

— А какого будете полка, господин подъесаул?

Все настораживаются.

— Первого горско-моздокского, генерала Круковского полка. Да я и ваш, кизлярско-гребенский полк, хорошо знаю. Там у меня родной брат сотником всю войну в третьем полку на турецком фронте провоевал,— и я называю свою фамилию.

Казаки ошеломлены. Один, а за ним еще двое, оказывается, служили в 3-м полку и хорошо знают моего брата.

— А тот помощник командира полка, Кучура, что вас в плен взял,— тоже терский казак и служил урядником в моей сотне всю мировую войну, на турецком фронте. И среди нашей кавалерии половина казаков — кубанцев да терцев, а вы говорите,

что мы вас земли да сословия казачьего лишить хотим.

Трудно было ожидать такого результата, какой произвели среди пленных эти слова. Казаки шумно заговорили, зажестжикулировали, кто-то вскочил с места, горячо и возбужденно крикнул:

— Ну что, братцы, врал я вам али говорил правду?.. Ну, отвечайте... За что меня на станичном плацу плетью пороли, а?

Он выгнулся вперед и энергично воскликнул:

— Большевиком меня окрестили... чуток было под суд не отдали. А за что? — Он повернулся ко мне и единым духом выпалил: — За то, что я разок-другой посумлевался насчет войны. Зачем, говорю, кому она, такая, нужна? Русские с русскими воюют, станицы да хутора изничтожают, а польза кому? Ни казакам, ни мужикам ее не надо. Ну, донесли... Отец-старик два дни к атаману ходил, магарыч носил, еле выплакал. Посекли меня по приговору стариков на станичной площади, тридцать плетюганов в зад всыпали и — айда под Кизляр, в штрафную сотню... Спасибо, в плен попал, хоть голова целая останется.

Казаки долго судили и рядили, как бы вовсе не замечая меня, так, как бы обсуждали они свои дела на станичном сходе или на завалинках перед хатами. Говорили они часа полтора, не менее. Потом сразу стихли. Я понял, что наступила минута, когда они или превратятся вновь в пленных, или станут для меня тем самым «материалом», каким охарактеризовал их Киров.

— Господин подьесаул,— тихо начал один из пленных.

— Подьесаулов здесь нет. У нас говорят просто—товарищ,— остановил его я.

— Нехай будет товарищ, нам все одно, хучь и в подьесауле обиды нет. Не в том, товарищ, дело,— миролюбиво согласился казак.— А дело будет в другом. Мы послушали вас и, сказать прямо, очень довольны, что казаков и здесь, середь красных, хватает. Потом же и обращения с нами не такая, какую нам господа офицеры делали. Опять же враки и то, что вы усех казаков вешаете, рубаете и прочими другими казните. Так я говорю, ребята, али нет? — неожиданно спросил казак молчавших пленных.

— Так... в акурат... точно! — слышались короткие возгласы.

— А значит, что и мы, казаки, которые хлебобобы и в карателях не служили, воевать с вами не хотим. Так? — снова повернулся он к казакам.

— Не жалаим! — хором подтвердили они.

— Вот... не жалают,— удовлетворенно сказал казак.— Ну, а чего же теперя с нами исделаете, раз мы есть пленные? Отпущать нас назад — нельзя. Это и глупому видать. В тюрьму нас

садить — не за что. Убить — совесть не позволит. Ну, так чего ж вы с нами, дорогой товарищ красный офицер, делать будете?

Он смолк, и все пленные в упор, с нетерпением в глазах, смотрели на меня.

И опять передо мной встала наша ночная беседа с Кировым, и снова он, как почти и всегда, помог мне.

— Поживете немного у нас в тылах. Кто хочет — в обозе послужит, кто пожелает — в кавалерию нашу вступит, а кто по-прежнему дураком будет да за атаманов держаться станет, того мы к ним обратно пошлем! Нехай с ними целуются.

Взрыв хохота заглушил мои последние слова. Смеялись все.

— Ну, теперь вижу, чистый наш казак, хучь из офицеров, — продолжая смеяться, сказал тот, который выступал от всех пленных. — Ты нас вроде как ловишь, на кукан, хитрый, надеть хочешь. Ну кто такой дурак, что скажет — я жалаю к себе в станицу, отпускай меня обратно?

— А почему не скажет? Разве ты сам не пошел бы обратно? — спросил я.

— Никак нет, не пошел бы. Шуткуете, товарищ командир.

— А я не шучу. Говорю вполне серьезно. Вы, ребята, каких будете станиц?

— Копайской...

— Николаевской... Копайской...

— Ново-Александрийской... Червленной...

— Копайской... Шелковской... Копайской... — слышались голоса.

Оказалось, что большинство пленных были уроженцами станицы Копайской.

— Вот что, товарищи. Выберите из своей полусотни двух человек. Одного из станицы Копайской, другого — ну хотя бы из Червленной. Я заготовлю им пропуск через фронт, и сегодня же ночью мы пропустим их. Согласны?

Казаки озадаченно смотрели на меня.

— Да, да. Я их переправлю через фронт, а они пусть явятся в Копайскую и Червленную и расскажут родным о том, что все казаки, попавшие в плен, живы, здоровы и находятся в гостях у красных казаков Терека и Кубани.

Пленные изумленно и жадно смотрели на меня.

— Пусть ничего больше не говорят, пусть не хвалят нас, а то им за это может здорово нагореть от атаманов. Пусть только расскажут, что все вы живы и вскоре вернетесь к вашим семьям. Согласны? Ну вот хоть ты, Гаврилыч<sup>14</sup>, пошел бы назад, к сво-

<sup>14</sup> Шуточное наименование казаков в старой армии.

им, если б тебя сегодня освободили? — спрашиваю я рябого казака.

— А то! Пешки побег бы... Да рази ж кто мене отпустит? — махнув рукой, говорит он.

— Отпущу и тебя. Ты, видать, казарлюга добрый, не откажешься, — смеюсь я.

— Эге ж! Он как вдарится бечь до жинки, так его и на коне не догонишь, — смеется пожилой копаец с полуседой, лопатой бородой.

— Ну, так и тебя отпущу. Вали до своей хаты и жинки, только, брат, уговор. Не врать. И не хвали нас, будто здесь рай да пряники медовые, и не бреши, что над тобой лютовали красные, а ты, ровно Кузьма Крючков, один всех на пику насадил, а потом бежал. Говори то, что есть.

Казаки хохочут.

— А ведь вы, товарищ подьесаул, звиняйте, начальник, правду про него сказали. Наш Лепилкин, это его фамилия такая, на усю станицу первый брехун... Такого и в Грозном не найдете, — говорит кто-то, и все дружно хохочут, один только Лепилкин жмурится, покачивая головой. Я вижу: казаки довольны, они полностью поверили мне, и дело, по которому будут отпущены трое из них, дело доброе и принесет плоды.

— Итак, ребята, вы трое, готовьтесь в дорогу. К утру мы переведем вас через фронт. Доброго вам пути и здоровья, а вы уж делайте свое дело по совести и чести. Остальным поужинать и спать. Утром вас отведут в тыл, в село Яндыки. Там останетесь все до моего возвращения.

— А не угонят нас куда, без вас-то? — тревожно спрашивает меня бородач.

— Нет, товарищи. Поэтому ничего не бойтесь. Будете жить в селе, без охраны, а только старшой ежедневно утром и вечером будет докладывать коменданту о вас. Понятно, товарищи?

Слово «товарищи» нравится им.

— Так точно... да и куда тикать-то. Кругом степь да солдаты... Вы уж, товарищ начальник, не сумлевайтесь, мы вас не поведем, — раздаются голоса.

— Только ты, дорогой, нас не забудь. Скорей возвернись в Яндыки... все ж свой человек будет, — тихим, упрашивающим голосом говорит кто-то. Остальные молча смотрят на меня.

— Не беспокойтесь... Раз обещал, так точно и будет, — прощаясь с пленными, говорю я.

Ночью еще много дела. На заре казаки уходят через линию фронта. На всякий случай двух мы перебрасываем в разных участках нашего наступления. Третий — Лепилкин — отправлен на



ловейкой лодке по берегу моря спустя три часа после ухода первых двух.

Бои развернулись по всему фронту кизлярского направления. По беспрестанной работе радиостанции Петровска, Грозного, Екатеринодара, Владикавказа и Гурьева, по части перехваченных или незашифрованных радиопрамм видно, что весь северокавказский тыл Деникина пришел в движение.

Кое-что мы читаем в обрывках перехваченных телеграмм. «Помощи... резервов... внеочередная мобилизация... все на защиту Терека...» — вот лейтмотив истощенных воплей этих радиостанций противника.

А бои разворачиваются все сильнее. Лютый мороз, январская стужа сковали землю, и белый пар столбом стоит над трубами бирюзякских хат.

Плохо одетые бойцы наступают и идут на юг.

В море, на большом расстоянии от берега, прошли три белогвардейских военных корабля. Это были «Крюгер», «Орленок» и «Неделимая Россия».

Спустя час двадцать минут после их появления «Орленок» развернулся и открыл кормовой огонь по Бирюзяку. За ним стали стрелять и остальные два.

Трехдюймовые снаряды легли за селом. Один разорвался на поле, другие два — на окраине Бирюзяка.

Наши два орудия, стоявшие в укрытии на холме, у косы, молчали.

Неприятельские суда подошли ближе. И тогда артиллеристы ударили по кораблям.

Первый снаряд снес рубку и часть мостика, возвышавшегося над палубой; второй упал у борта. Дым окутал белогвардейский крейсер. И сейчас же три дредноута на всех парах кинулись в море. Они уходили, а за ними тянулся свинцовый хвост дыма поврежденного судна.

Большее флот неприятеля не беспокоил нас. Этим недолгим боем закончилось сражение между тремя кораблями Деникина и двумя пушками, которыми командовал бывший унтер-офицер, командир взвода Терентий Сизов.

Мороз усиливается, погода портится, ветер не переставая свистит за окном.

— Лютует буря, — всматриваясь через стекло в степь, вздыхает хозяйка. — О-ох и студено в поле, — качает она головой.

Ветер, точно бешеный пес, сорвавшийся с цепи, воет, скулит, кружит по степи.

А наступление наших войск продолжается. Взяты Бусыгины

хутора, село Лучники, Корнюшин Пост. Конница Водопьянова ворвалась в Черный Рынок. Пехота, посаженная на заводных коней и «вторым номером», то есть позади всадника, перерезала дорогу бегущим на Кизляр белогвардейцам и окружила свыше двух батальонов. Захвачены четыре полевых орудия, шестнадцать пулеметов, пленные, обоз.

Все больше и больше растягиваются наши коммуникации, все дальше уходят части от баз, а подвозить по этой ледяной, охваченной ветрами и выюгами пустыне необходимые частям боеприпасы, продовольствие, фураж и теплую одежду невозможно.

Только что получена телефонограмма за подписями комкора Бутягина и штабкора Смирнова: «Обеспечить тылы провиантом, искать своими средствами фураж для коней, закреплять пройденные населенные пункты гарнизонами и комендантскими этапными пунктами».

Итак, наступление на Кизляр продолжается, несмотря на ясное указание штаба 11-й армии и самого Кирова «удачно начатую демонстрацию не превращать в наступление на Кизляр».

Комкор, судя по этой телефонограмме, на свой страх и риск решил закрепить удачное начало демонстрации стремительным движением на Кизляр.

Вторая телефонограмма от Ковалева. Этот опытный и хорошо разбирающийся в обстановке человек предлагает немедленно же начать заготовку сена через местные калмыцко-ногайские хаты и косить находящуюся под снегом прошлогоднюю траву и молодой камыш.

Эта мера и удивила и обрадовала нас. В голову как-то не приходила мысль о том, что зимой, в лютые январские морозы, можно скосить не скошенное летом сено. А ведь оно здесь имеется, раскиданное по ложбинкам и пригоркам побережья. Уполномоченный отдела снабжения корпуса Петров бросился выполнять этот приказ.

А с фуражом у нас плохо. Кони голодают, кормят их редко и помалу, жалко смотреть на исхудавших, понурых лошадей, стынувших на холодном ветру по дворам и под окнами бирюзякских хат. Конюшен тут на такое количество коней, конечно нет, фуража — тоже. И бедные животные жмутся друг к другу, терпеливо и понуро ожидая редкой и скудной кормежки.

Прибывают раненые, есть и обмороженные. Их, по возможности, быстро отправляем на Эркетень. Чем дальше продвигаются наши части к Кизляру, тем сильнее и ожесточенней становится сопротивление врага. Из опроса пленных, по захваченным документам и расшифрованным радиограммам видно, что ата-

ман Терского войска генерал Вдовенко бросил все свои резервы на защиту Кизляра.

Из Грозного прибыли запасные полки кизлярский и ширванский, батальон терских пластунов, драгунский запасный дивизион. Из Петровска пришли шесть броневедомостей, все шесть английские, морская рота и сводный гренадерский батальон, составленный из добровольцев города и кулаков рыболовецких промыслов.

Сопротивление усиливается с каждым часом. Усиливается и пурга. Дороги заметает снегом. В десяти саженях не виден человек. Мгла и снежные вихри заполняют степь.

А подвоза необходимого частям продовольствия все нет. Связь с Эркетенью прервана. Телефонная линия повреждена. Вряд ли это злой умысел, скорее всего буря с ураганскими ветрами нарушил нашу телефонную связь. Пытаемся восстановить ее, главным образом через посты летучей почты, но это долгая и не очень надежная связь.

С фронта поступают плохие вести: «Белые окопались, засыпают нас снарядами. Они — в домах, мы — в открытом поле... шлите боеприпасы, шлите подкрепления, шлите медикаменты. Коня падают от голода и усталости, шлите фураж».

Вот то, что в течение одного дня по многу раз требует фронт. А у нас в Бирюзьяке ничего нет. Наши кони тоже шатаются от бескормицы, на них шагом эвакуируем в тыл раненых.

Мороз все усиливается. Беснующаяся пурга заполнила обледенелую степь.

Наши части оставили Черный Рынок. Давление со стороны противника усилилось. Шесть английских броневедомостей при поддержке трех белогвардейских совершили налет на наше выдвинутое вперед охранение. За бронемашинами шли батальоны пластунов, по флангам двигалась казачья конница. Здесь впервые нами были обнаружены драгунские эскадроны, введенные в бой неприятелем.

На окраине Черного Рынка разыгрался ожесточенный, продолжающийся четыре часа бой.

Подпустив автомобили врага на прямой выстрел, наши батареи открыли ураганный — то картечный, то шрапнельный — огонь. Три английские машины были подбиты, одна взорвалась от прямого попадания снаряда. Пехота, остановленная орудийным и пулеметным огнем, залегла, а кое-где и отступила, оставая на снегу убитых.

Дивизион Кучуры, подкрепленный кавалерийским полком Марка Смирнова, атаковал кавалерию неприятеля. Сняв ее фланг, красные кавалеристы обратили в бегство всю, вдвое пре-

восходящую их конницу белых. Были захвачены пленные, из которых несколько казаков вскоре попали в наш отдел.

Но неудача не остановила противника. Он вновь и вновь вел наступление на село. Его резервы, все это время находившиеся в тылу, также вступили в бой.

Наша артиллерия редко отвечала на ожесточенный огонь белогвардейских орудий. Стало ясно, что противник во что бы то ни стало решил вернуть Черный Рынок.

Атаки все нарастали, все ближе и ближе подходила вражеская пехота, все яростней становился огонь батарей. Их тыл, Кизляр и богатые притеречные станицы, был рядом, и они обеспечивали противника людьми, боеприпасами и продовольствием. За ними раскинулась цветущая Терская область, за нами — голодная, ледяная пустыня без дорог и тыла.

А буран все усиливался. Казалось, будто и природа, и Каспийское море пришли на помощь врагу. Ледяное дыхание моряны и полярный холод окутали степь. Замерзала вода в пулеметах, стыли руки, отмерзали пальцы. И люди и кони валились с ног от холода и голода.

Положение на фронте все ухудшается, а холод, метель и шторм на море усиливаются. Сплошной вой ветра и крутящаяся карусель спящих глаз снежинок.

Раненые прибывают. Их перевязывают в нашем передовом медпункте. Три врача, фельдшер и несколько сестер да барак, срочно переоборудованный под лазарет, — вот и все. Между Эркетенью и Бирюзьяком днем и ночью, по мере сил и возможности, ходят две старые автосанитарные машины и десятка полтора саней, в которых увозят раненых, больных и обмороженных красноармейцев, а таких очень много.

Конечно, в связи с неудачей и нашим отходом от Кизляра и Черного Рынка настроение неважное. Только теперь начинаешь понимать, как прав был Киров, когда не согласился утвердить это наступление.

— Зимой, в январские морозы, пройдя сотни километров пустыни, мы не сможем разбить белых. У нас будут растянутые коммуникации, а за спиной зловещая ледяная пустыня.

Его слова оправдываются.

Только беспечное легкомыслие комкора, заверившего Реввоенсовет 11-й армии, что это будет не наступление, а лишь отвлекающая врага демонстрация, позволило ему начать удар на Кизляр. И вот результаты!

Демонстрация, начатая удачно, своим легким успехом опьянила комкора, и он, несмотря на предупреждения начальника штаба Смирнова, не обеспечив тыла, не подвезя нужного коли-

чества боеприпасов и продовольствия, решил после захвата Бирюзьяка «на плечах бегущего врага», как писалось в старинных реляциях, ворваться в Кизляр.

Теперь первоначальный успех сменяется неудачей. Имея короткие коммуникации, за спиной десятки казачьих станиц, укрепленных сел, такие города с сильными гарнизонами, как Петровск, Кизляр, Грозный, Моздок и Владикавказ, подтянув силы даже из Пятигорска и Армавира, вернув шедшие на центральный фронт пластунские бригады и две конные дивизии терцев и кубанцев, белогвардейцы обрушились на наши оторвавшиеся от Астрахани немногочисленные полки.

И теперь — отход. Отход в самое суровое для этих мест время, под вой бурана, под свист ветра, под ударами разгулявшейся метели. Без дорог, без теплых вещей и, самое главное, не имея на огромных переходах ни жилья, ни эвакуационных пунктов — ничего.

Ковалев, предупреждавший комкора о преждевременном начале наступления и о неподготовленности тылов к захвату Кизляра, оказался прав.

Отходим. Части медленно текут через Бирюзьяк. Пушечные удары то глухо, то явственно доносятся до села.

Пехота 298-го полка окапывается вокруг Бирюзьяка. Окапывается... Вряд ли это слово тут можно применить, когда речь идет об этой твердой, мерзлой, как в Заполярье, земле. До конца февраля она будет твердой и холодной, как сталь. Так что какие уж тут окопы!.. Просто строим нечто вроде завалов и баррикад, и то лишь для того, чтобы хоть на время, пока будут эвакуированы отсюда раненые, задержать противника на подступах к селу.

Обозы с самого утра тянутся назад, к Эркетени. Увезли и радиостанцию вместе с ее «искровиками». Ушли и моряки Кожанова. «Братишки» одеты почему-то легче всех, среди них наибольший процент обмороженных.

Только что ушел и контрольный пункт особого отдела. За ним потянулся штаб группы. В Бирюзьяке осталось частично лишь полевое управление штаба корпуса.

Удары пушек все ближе и ближе.

Вот еще несколько раненых, только что прибывших сюда из боя.

Пора уходить и нашему отделу, но я все еще не получил донесение о благополучном переходе через фронт направленных за кордон товарищей. Связных ни от Хорошева, ни от Шеболаева нет.

Конечно, если мы уйдем отсюда, то они в конце концов най-

дут нас и в Эркетени и даже в Яндыках, но когда это будет? Да и надо знать о судьбе товарищей. Надо донести о их пребывании за кордоном Кирову, а что я могу сообщить, когда до сих пор ничего нет. Фронт же с каждым часом приближается к Бирюзю.

Из Черного Рынка вернулся Бутягин. Комкор был с нашими эскадронами далеко впереди пехоты, он дошел даже до железнодорожного разъезда 51.

Храбрый, спокойно наблюдавший за ходом боя, он не раз попадал под огонь противника. Но нужно ли это командиру корпуса? Надо ли ему находиться под обстрелом артиллерии и пулеметов противника?

По-моему, нет. Это дело командиров отдельных частей, но не командира корпуса.

А что, если его убьют?

Но Бутягин смеется:

— Не отлили еще пули на меня... нет такой!

Нашу неудачу он считает временной и случайной. Уезжая в Яндыки, он говорит мне:

— Через три недели мы будем в Кизляре.

Ночью к нам прибыл Смирнов. С ним начальник оперативного отдела Свирченко и порученец Савин. Утром иду к Смирнову. Одетый в довольно поношенную бекешу, он встречает меня возле барака, где идет эвакуация больных. Обменявшись двумя-тремя фразами, мы отходим в сторону.

— Неважные дела... Отступаем... правда, и белые, по-видимому, потрепаны и не очень активны. Командуй ими смелые и толковые начальники, они давно смяли б Полешко и Янышевского с их небольшими силами. Ведь беляков раз в шесть больше, чем нас.

Интересуюсь, будем ли мы держать Бирюзю или отойдем от него.

— Судя по нерешительным действиям белых, они вряд ли дойдут сюда. Их основная задача — отбить наш натиск на Кизляр, но отдельные части могут атаковать нас в Бирюзье.

Спрашиваю его, как поступить нашему отделу.

— Уходить, и сегодня же. Через час я возвращаюсь в Яндыки. У меня есть место в машине, подвезу, — улыбаясь, говорит Смирнов.

— Не могу. Буду ждать связных до вечера.

— Ну, увидимся в Яндыках. ...Скажу все же: мы хоть и отошли, но своим ударом как-то помогли общему делу борьбы с врагом. Ведь белые задержали на кубано-терской земле большое количество мобилизованных солдат и казаков. Суматоха и

паника в городах Северного Кавказа огромная. Участились случаи бегства в Грузию и Азербайджан, усилилось дезертирство, а помощь, обещанная казаками Деникину, задержалась здесь.

— А как дела на ставропольском направлении?

— Там хорошо. Гарнизоны противника, не приняв боя, бежали отовсюду к Святому Кресту. Урожайное, Степное, Величаевское и еще некоторые села в руках тамошних повстанцев. К сожалению, вот тут мы зарвались и двинулись дальше указанного Реввоенсоветом пункта... Слышите? — кивая головой в сторону рева пушек, говорит он.

Мы прощаемся. Пушки все гудят в стороне Черного Рынка, и все нет связного от моих друзей.

Час назад пришла выведенная из боя конница Водопьянова, ее переводят под Святой Крест. Его два эскадрона вместе с сотней конников Кучуры атаковали шедшую на Бирюзьяк пехоту противника. Сабельный удар наших кавалеристов разметал белых. Это было последним актом нашей демонстрации на Кизляр, к несчастью превратившейся в наступление.

Белогвардейцы по всему фронту остановились.

Между нами и противником опять легла ничейная, ледяная от вьюги пустыня, с той лишь разницей, что Бирюзьяк остался в наших руках.

Наконец-то я увидел вернувшегося из камышей Дангулова, пришедшего вместе со связным дагестанских партизан из Левашей. Связной принес письма Реввоенсовету и мне от Шеболдаева, а Дангулов — от Хорошева из камышей. Вернулись также Самойлович и Бабаев, которых Хорошев предполагал перебросить в горы в следующий раз.

Посланные нами товарищи уже там. Деньги и люди целы, не сегодня-завтра разведчики разделятся на две группы: одни уйдут к Шеболдаеву в Дагестан, другие — к Гикало в Чечню.

Теперь можно и нам возвращаться в Яндыки.

Возвращаться, но как? На чем, когда весь немногочисленный транспорт занят?

Собираю свою полевую группу политагентуры. Нас всего пять человек: Дангулов, связной дагестанцев Махмуд Акоев, Самойлович, Аббас и я. Иду к Полешко просить отправить нас на чем-либо в Эркетень. Он морщится.

— Э-эх, сказал бы ты мне это час назад, имелись машины, а теперь ничего нема. Вот разве... — он в раздумье почесывает переносицу, — через час грузовик последний отойдет, на нем, правда, места не будет, ну вы, хлопцы, як-нибудь рассаживайтесь на нем.

После долгих расспросов выясняю, что грузовик этот довер-

ху набит имуществом полевого лазарета. Иду на розыски машины и после хождения на ледяном ветру нахожу шофера, закутанного в собачью доху с треухом на голове.

— Ехать-то едем, а вот доедем ли, это, братики, никто не знает,— говорит он, но охотно помогает нам рассестись среди тюков и ящиков лазарета.

Прощаюсь с Водопьяновым. Его конники завтра после отдыха тоже уйдут на Эркетень.

— А Бирюзьяк бросаем? — спрашиваю его.

— Не знаю. Белые сюда не идут, нам он тоже не нужен. Оставим небольшой конный отряд сабель в пятьдесят. Очухаются белые, тогда наши отойдут назад, а нет, будут зимовать посменно до нового удара,— говорит он.

В четыре часа дня наш переполненный грузовик, пыхтя и дымя, двинулся на Эркетень. Сидя кое-как на вещах, мы, обдуваемые ветром, подняв воротники шинелей, коченеем от леденящего ветра. Холод проникает отовсюду: Я гляжу на Дангулова. Он посинел, кончик носа белый, глаза полны страха.

— Боюсь, замерзнем мы здесь к черту,— еле говорит он,— а как ты?

— Замерз, не чувствую ног,— отвечаю ему.

Аббас молчит. Он только вздыхает, по его лицу видно, что и он закоченел не меньше нас.

А грузовик все бежит по суровой снежной равнине. Слева видны покрытые снегом дюны. С них, перекатываясь и свистя, взлетают под ветром белые вихри. Они слепят глаза, попадают в уши, в нос. Колют эти проклятые снежинки, как иглы, а машина, урча, все бежит и бежит.

Нет, кажется, уже мочи выдержать проклятый холод.

Тучи обволокли небо. С моря веет ледяным дыханием. По дороге кое-где видны следы ушедших ранее повозок и машин. Их заносит снегом, и дорога на Эркетень не всегда видна водителю. Раза два он останавливает свой грузовик и, бредя по снегу, вглядывается в занесенный снегом путь. Тогда мы, еле двигая ногами, слезаем с грузовика и прыжками, толкотней и бегом согреваем себя.

Рядом с водителем сидит толстый завхоз госпиталя. Один только он не бегают, не греется и даже не выходит из машины. Ему в кабине тепло, и он, вероятно, боится, чтобы кто-нибудь из нас не занял его место.

Покричав и побегав минут пять, мы снова забираемся в грузовик. Он опять бежит к Эркетени.

Проехав верст тридцать пять, машина вдруг стала. Шофер, чертыхаясь, вылезает из нее, за ним тянется и завхоз. Нам ста-



новится ясно, что произошла какая-то поломка, иначе этот толстяк не оставил бы своего теплого, насиженного места.

— В чем дело? — прыгнув, спрашивает Дангулов.

— В чем?.. А в том, что «доехали». Что-то с мотором неладно. Придется покопаться в этом старом барахле, — сердито бросает водитель.

Толстяк молчит, поводя по сторонам глазами.

— А долго это? — допытываются пассажиры.

— А черт его знает... Может, долго, а может, и скоро. Вы, товарищи, если желаете, идите вперед, дорога тут ясная, не собыстесь, а я нагоню вас, — предлагает водитель.

Идти по дороге не в пример лучше, чем мерзнуть в машине под холодными ударами ветра.

Мы снимаем с машины нашу «канцелярию», уместающуюся в одной полевой сумке, берем по винтовке, по патронташу и уходим вперед.

Толстяк завхоз переступает с ноги на ногу, но видно, что не решается идти с нами.

— Будь здоров, — кричит Дангулов, — чини, а мы пока прогуляемся по дороге.

Шагаем по то появляющейся, то исчезающей дороге. Буран как бы пританцлся. Он то стихает, то вдруг внезапно рвет снег и землю под нашими ногами.

На ветру трудно разговаривать, поэтому идем большей частью молча, лишь иногда перекидываясь отрывистыми фразами.

Продвигаемся легко, снег на дороге неглубок, ногам тепло, и бодрым солдатским шагом мы идем минут тридцать. Затем останавливаемся, оглядываемся назад. Грузовик темнеет вдаль, возле него слабо маячит фигура водителя. Аббас закуривает, угощая Дангулова и связного от дагестанцев.

Постояв минуты три, мы двигаемся дальше. Снег, ветер и дыхание моря опять окружают нас.

Дорога исчезла. Внимательно оглядываем землю, ищем скрывшийся «тракт», как официально именуется эта даже летом еле приметная в песках дорога.

— А не сбились ли мы? — тревожно спрашивает Дангулов.

Все взволнованно глядят на него. То, что высказал он, смущало и нас.

— Да как будто бы нет, — неуверенно говорю я, — вот она, кажется, тут, под ногами, эта дорога.

Нагибаемся, разглядываем снег, разбрасываем его ногами, но дороги здесь нет. И рядом ее тоже не видно.

— Позвольте, товарищи, куда же она делась, ведь мы все

это время шли по ней,— твердо говорит Самойлович,— здесь дорога, не могла ж исчезнуть.

Снова нагибаемся, ищем пропавший тракт и снова не находим его.

А ветер еще лютее свистит в ушах, снег еще пуще кружится и лезет нам в глаза и уши. Или так кажется нам? Но от этого не легче.

— Стойте, товарищи,— говорю я,— не разбредаться! Так мы и вовсе потеряем и дорогу и направление.

Останавливаемся, сбиваемся в кучку и внимательно осматриваемся по сторонам.

Проклятая степь. Она одинакова со всех сторон. Трудно разобраться, куда, в какую сторону надо шагать.

— Ребята, главное — не паниковать и второе — знать, в какой стороне Эркетень,— вразумительно говорит Самойлович.

— Постоим, подождем машины. Ведь должна ж она наконец нагнать нас... или хоть услышим ее шум,— говорит Дангулов.

— Пугаться-то, конечно, не надо. Не машина, так кто-либо, а встретится,— говорю я,— ведь позади нас сколько народу еще осталось, а впереди там весь тыл корпуса.

— Так-то так, да пока кого встретишь, тут сто раз замерзнуть можно. Я уж заоченел вовсе,— с трудом говорит Самойлович.

Холод лезет не только за воротник, но и в душу. Хотя мы и храбримся, говорим разумные и убедительные слова, но все заоченели. Надвигается вечер, небо стало темно-свинцовым, а даль затянуло мглой.

— И ветер какой-то бешеный. Дует со всех сторон. Не знаю, куда и повернуться,— говорит Дангулов.

Ему около сорока лет, к тому же он в армии не служил.

— Черт его знает, куда идти,— разводит Дангулов руками. Одну варежку он потерял в пути и красные короткие пальцы старается засунуть под мышку.

— Ты начальник... ты и веда,— вдруг говорит Бабаев. И все молча и выразительно смотрят на меня.

А куда вести?.. Ведь я и сам сбился с пути и знаю только направление на Эркетень. Но этого мало. До села, вероятно, верст пятьдесят, а может быть, еще и с гаком. А ночь нависает над нами, ветер лютует, мороз до того свиреп, что трудно даже шевелить губами... Но и стоять нельзя, на ходу как-то теплей и спокойней.

— Идем вперед, во-он на ту осыпающуюся кочку,— указываю я.

— А дальше что? — флегматично спрашивает Самойлович.

— А дальше другая, за ней третья,— невесело смеется Дангулов.

— И все же будет ближе к Эркетени,— серьезно говорю я,— а стоять на месте — это значит развентиться и...

— ...замерзнуть,— заканчивает за меня Самойлович.— Айда, ребята, вперед. На фронте и хуже бывало, а тут,— он смеется,— одиннадцатая непобедимая армия,— и слабым, еле на ветру слышным голосом поет:

Смело мы в бой пойдем  
За власть Советов...

Мы подхватываем и под снегом, ветром и свистящим песком скидываем за плечи винтовки и идем вперед...

— Как у Блока... И идут они двенадцать, за плечами ружья,— вспоминаю я не так давно прочитанную по совету Кирова поэму «Двенадцать».

Шагаем, утопая в снегу и вязком, скрытом под ним песке.

Ясно одно — мы сбились с пути и идем наобум Лазаря. Идем долго, молчим, и только когда кто-нибудь споткнется или провалится по колено в снег, тишина нарушается возгласами, не подходящими для печати. А вечер быстро сходит на землю, и никакой машины ни позади, ни впереди нас не слышно.

Люди устали, хочется есть, хочется спать, хочется присесть и отдохнуть. И ничего этого сделать нельзя. Мы бредем по песку и снегу и молчим, боясь заговорить первым.

Что-то темнеет вправо от нас. Останавливаемся.

— Не то человек, не то волк,— наконец говорит Дангулов, даже не подозревая о том, что сейчас он почти точно передает слова Пушкина из «Капитанской дочки».

— Человек,— уверенно говорит Самойлович. Аббас и связной дагестанец молчат.

И мы видим, как черное пятно движется нам навстречу.

— Видать, такой же бедолага заблудился в степи,— говорит Дангулов.

Мы сходимся. Перед нами подросток калмык, лет шестнадцати, в длинном до земли тулупе и малахае-треухе на голове.

Мальчик внимательно смотрит на нас.

— Бальшаки? — спрашивает он и, не дожидаясь, говорит:— Айда наша хатон. Тута близка... наша ходит степь, люди смотрит, которая дорога нету...

Вот оно что; мы радостно смеемся и, забыв об усталости, спешим за ним. Спустя несколько минутходим с высокой полузанесенной снегом дюны, у подножия которой видим хатон из двух калмыцких юрт. Пахнет дымом, возле кибиток стоят кони.

Мне становится страшно от мысли, что не попадись нам на встречу этот мальчуган, мы пошли бы совсем в другую сторону и невдалеке от жилья могли замерзнуть в этом беснующемся буряне.

— Я пет красноармейца нашла,— словоохотливо рассказывает калмычонок,— моя два день искала люди, большой начальник все хатон бумага давал — искал ваша люди,— вводя нас в одну из юрт, сообщает он.

Мы устало щуримся на огонь, разведенный прямо на полу. Возле него сидит пожилая калмычка с бесстрастным лицом, за ней калмык лет пятидесяти. Он вежливо улыбается нам.

— Здравствуй, пожалуйста,— говорит он и бережно берет под руку Дангулова, по-видимому, считая его главным.— Садись... чай кушать... мяса жрать будем,— говорит он.

Снимаем винтовки и усаживаемся у очага. Он дымит, от него идет тепло, на треноге висит казан, а в нем что-то бурлит и переливается. Он исходит паром, а нам все это кажется сном... и в то же время хочется, очень хочется спать.

— Наша Санджи много люди нашла,— указывая на сына, говорит хозяин,— два матроса,— он поднимает вверх три пальца,— красноармейца.

Его жена разливает по большим глиняным чашкам бурый калмыцкий чай. Он с перцем и солью, чувствуется в нем и курдючное сало. Я, Аббас и дагестанец с наслаждением пьем его, только Дангулов, глотнув раз-другой, морщится и ест кусок вареного мяса, красного и жилистого.

Я молчу, не желая портить ему и Самойловичу аппетита. Мясо это, судя по цвету, даже не верблюжатина, а конина, но они с аппетитом едят, а мы с удовольствием пьем уже по второй чашке калмыцкого чая.

После ужина узнаем, что из Эркетени пришел приказ калмыкам каждый день по несколько раз осматривать степь и искать заблудившихся в ней красноармейцев.

Позже я узнал, что сделали это начальник штаба корпуса Смирнов и комиссар Костич.

— Эркетень и Яндыки русская поп церква бум-бум делает... люди помогает,— сказал Санджи.

И этот постоянный колокольный звон в церквях Эркетени, Оленичева и Яндык производился также по приказу штаба корпуса, и измученные, сбившиеся с направления люди, слышав в степи колокольный звон, шли на него.

Как мы ни крепились, но усталость и утомление свалили нас. Скинув рубахи, валенки и ботинки, повалились тут же на пол.

Санджи с отцом подоткнули нам под головы какие-то войлочные попоны, и мы заснули крепким сном.

Проснулся я под утро. Очаг уже потух, и холод разбудил меня. Я оделся, проверил оружие и, накинув полушубок, вышел во двор. Двора, собственно говоря, никакого не было, а была белая, вся в снегу, степь. Но теперь она выглядела тихой и спокойной. Буран утих, ветер спал, солнце сияло, и все было так красиво и мирно, что на душе стало легко. Дорога на Эркетень проходила рядом.

За мной вышел и Санджи. Он снова отправлялся на поиски затерявшихся людей.

— А далеко до Эркетени? — спросил я.

— Близка... одиннадцать верста, — сказал он и пошел снова в пески.

Войдя в хатон, я только теперь увидел, как тут грязно. Слезавшийся, никогда не мытый войлок, нестиранные, черные от грязи и копоты тряпки, которыми хозяйка-калмычка стерла чашки, готовить налить в них уже закипавший чай. Два широких одеяла неизвестного из-за грязи цвета и бесформенная подушка служили украшением юрты. Три ножа разной величины и шило, все давно не чищенные, лежали у очага.

Я посмотрел на моих уже готовых к походу товарищей. Они поняли меня и стали прощаться с калмыком. Он долго уговаривал нас «пити чай», но, убедившись, что мы спешим, пошел с нами, выводя нас на прямую дорогу на Эркетень.

Она была возле хатона, ясно видимая, даже со следами недавно прошедшей машины.

— Видать, наша, — решил Дангулов. И мы снова пешим порядком пошли к Эркетени. Путь оказался долгим, вовсе не «одиннадцать верста», как сказал Санджи, а добрых двадцать, но наш молодой спаситель, по-видимому, не знал другой, большей цифры. И на том спасибо.

Часов около десяти мы не торопясь дошли до Эркетени. Утро стояло ясное, дорога все время вилась под ногами, и светлое, хорошее настроение не покидало людей.

В километре от уже видневшейся Эркетени на нас в карьер и с криком понеслись десятка полтора всадников. На всякий случай мы остановились, вскинули на руки винтовки и стали ждать.

Всадники подскакали. При ближайшем рассмотрении они оказались моряками из отряда Кожанова, несшими патрульную службу вокруг Эркетени.

Спустя полчаса мы уже грелись в одном из домов села, и тяжелый поход через степь казался нам давно забытой историей.

\* \* \*

Вот и Яндыки.

Тот же пейзаж. Дымки над домами, широкие улицы, почтово-телеграфная станция, штаб, отдел снабжения, мой дом, а немного поодаль дом попадья, в котором живет Надя. Конечно, я не раз вспоминал за эти дни ее и в Бирюзяке, и в ночь, когда мы плутали по снежной равнине, замерзая и сбиваясь с пути. Но по старой армейской привычке, выработанной еще в мировую войну, в минуты напряженности, боевой работы и опасности не думать ни о чем другом, кроме того, что окружает тебя, я отогнал от себя всякие воспоминания. Буду жив, они будут снова со мной. И вот я в Яндыках.

После хорошей бани, чистого белья и вкусных коржиков, которыми накормила нас Алена, племянница хозяйки, мы принимаемся за работу. Самойлович готовит доклад о камышанах, связанной дагестанцев — о своем отряде, Дангулов чертит карту пути камышанам, Аббас молчит. Я же суммирую донесения Хорошева и Шеболдаева, чтобы завтра с отправляющимся к Кирову дагестанцем отослать свой доклад.

Работали часов до четырех. Наконец все готово. Товарищи расходятся, выхожу и я, иду в штаб, где узнаю от Смирнова обстановку на фронтах. Белогвардейцы почти всюду бегут. Наши 10-я и 11-я армии 3 января 1920 года в лютую стужу заняли Царицын.

Сарепта, Котельниково, Зимовники, Ельмут, Торговая освобождены 7-й кавдивизией и 50-й пехотной дивизией Ковтюха, входящими в 11-ю армию. Наш удар на Кизляр сыграл большую роль. Шедшие под Ростов резервы противника были немедленно возвращены на Терек и Ставрополь. Дезертирство с фронта стало частым явлением в частях врага.

Смирнов дает мне сводки за последние пять дней.

Да, конец белой Вандеи неминуем. И как бы ни дрались еще не добытые корниловцы, марковцы и дроздовцы, их гибель predetermined. Конная армия Буденного громит белых, рассекая их отходящую массу на части.

— Вчера говорил по проводу с Кировым. Несмотря на неудачу под Кизляром, мы вскоре вновь наступаем, и уже на этот раз всерьез, — говорит начальник штаба корпуса.

Тренина нет в Яндыках, он находится на ставропольском направлении. Судя по тому, что туда двинуты наши резервы, в недалеком будущем мы станем наступать на Ставрополь и Пятигорск.

— А ведь белые не только не дошли до Бирюзяка, но в по-

опешном отходе оставили Лагерь и все села до Черного Рынка. Вот что наделали последние удары Полешко и Кучуры,— говорит Смирнов, водя карандашом по карте.

— Последние конвульсии деникинской «добармии». С отчаянием, без надежд, без веры, без смысла дерутся они вокруг Ростова, губя и своих и наших... А конец все равно определен,— говорит комиссар штаба Костич, и мы трое разглядываем карту, на которой по несколько раз в день все дальше на юг передвигает красную ленту Свирченко.

Из штаба корпуса иду к Наде.

Мы встретились, и оба поняли, что жить дальше мы должны и будем вместе. И она стала моей женой.

Разбирая отдельные документы, приказы, солдатские письма, которые прислал нам Шеболдаев, я нашел немало интересных и своеобразных бумаг.

Тут были и деникинские, и турецкие, и даже бичераховские документы, рисовавшие междоусобицы, политиканство, взаимные раздоры, царившие в лагере врага в 1918—1919 годах.

Вот донесение командира ширванского полка, подполковника Азарьева о том, что в полку произошло «возмущение» и что семеро офицеров убиты солдатами, с оружием в руках бежавшими в горы к «большевистскому агенту Шеболдаеву». Вот дислокация войск дагестанского правителя генерала Алиева. Рядом бумажные деньги «Эмира Чечни Узуна-Хаджи», напечатанные на простой бумаге серо-голубого цвета с громкими словами: «Деньги обеспечиваются всем достоянием, имуществом и казной Эмирата», а вот полуистрепанное письмо генерала Лазаря Бичерахова есаулу Слесареву, которого осенью 1918 года Бичерахов послал из Петровска для штурма Кизляра и ликвидации там советской власти.

Слесарев был наголову разбит красноармейцами, которых возглавлял начальник гарнизона Кизляра Хорошев, а затем добит в станице Копайской нашими частями под командованием Степана Шевелева, бывшего полковника старой армии, добровольно вступившего в Красную Армию и честно, мужественно сражавшегося с врагом.

Генерал Бичерахов писал своему есаулу: «По ликвидации кизлярской группы большевиков идите на Грозный, овладейте им и, соединившись с моздокской армией моего брата Георгия Бичерахова, очистите Владикавказ...»

Среди присланных бумаг были и обрывки удостоверений на имя «сотника Терского войска Прокопова», полуистлевший документ полковника Астраханского казачьего войска Александрова, хорошо сохранившиеся удостоверения полковника Феокти-

стова, письма, переписка, полковой журнал, список людей, состоявших на довольствии какого-то батальона.

Все эти бумаги принадлежали людям отряда есаула Слесарева, после своего разгрома в станице Копайской в панике перешедшим через Терек. Там они сдались турко-дагестанским контрреволюционным частям Нури-паши, и почти все, сдав оружие туркам, были расстреляны где-то в районе аула Костек.

Рассказывая об этом в своем письме, Шеболдаев просил обо всем довести до сведения Сергея Мироновича и отослать документы ему.

Бумаг набралось много, и я до трех часов ночи просидел над ними. Донесения Хорошева были более современными. Он докладывал лишь о том, что происходит в Кизляре и по станицам в настоящее время. Прислал он и два информационных письма от Гикало. Одно за подписью начальника штаба Алексея Костерина, другое подписано самим Гикало и его помощником по политической Александром Носовым.

Обстановка пока тяжела, но гром наших побед сказывается даже среди самой реакционной части горцев. Муллы, шейхи и сам «премьер-министр» Дышнинский говорят с Гикало уже другим языком. Они даже делают вид, что помогают ему, часто называя в Шатой, а иногда приглашая и к себе на совещания. С белогвардейцами они порвали, но некоторых своих офицеров и часть русских белогвардейцев укрывают в глубине горных аулов.

«Эмир» Узун-Хаджи в своей недавней речи, обращаясь к чеченцам, сказал: «Из русских, неверных, лучшие все же большевики, так как свергли своего царя, который ненавидел мусульман». Гикало замечает по этому поводу: «Вот и разберись, какой политической линии держится этот самозванный имам, если его клеветет и правая рука, бывший пристав Дышнинский, ласково улыбается нам и обещает для окончательного разгрома Деникина «сто тысяч самых храбрых джигитов», а у самого нет и 3000 посредственных бойцов». Но лицемерие правящей верхушки понятно каждому из нас. Что касается горцев, простых горцев, то они за нас. Это видно из всех писем и донесений товарищей.

«Денег, еще денег», — просят наши подпольщики, и на днях мы пошлем им миллионы, которые привез Бутягин.

Из ставропольских глубинных степей сегодня пришли двое «делегатов от народа», как они называют себя. Один Парфен Кривенко, другой помоложе, Андрей Сердюк. Первый из села Соломинка, Андрей — из Гашуна. Шли они долго, прячась и от полиции, и от отрядов кулацкой самообороны. В прикумских камышах они провели трое суток и оттуда вместе с



проводниками камышан Липатовым и Жулевым добрались до нас.

— Пора наступать... мужики задыхаются от кадюков... каждое утро люди за околицу выходят, в вашу сторону глядят! — говорит Кривенко.

— Замучили, ироды, мобилизацией, конной повинностью, постоями, налогами... Грабят почему зря, народ плетью порют, — вздыхает Сердюк.

Они принесли донесения камышан, точную дислокацию частей противника, документы, отобранные у перебежчиков и пленных.

— Ногаи к нам бегут... Им тоже от белых дюже достается. Из ногаев у нас в камышах два взвода имеется, — докладывает обстановку под Прасковеей камышанский связной Липатов.

После доклада ставропольцы идут отдыхать. Я спешу в штаб, чтобы доложить Смирнову эти данные.

Не могу не рассказать о комическом эпизоде, который с мрачным видом поведали нам ставропольские посланцы.

— У нас, в селе Урожайном, — рассказывает Жулев, — живут кулаки из тавричан, Лихаревы. Крепко живут, семья у их большая, два старика, у обоих по два каменных дома, один в Кресте, другой в Ставрополе — с подвалом, а в селе бакалейная лавка. Оба брата — хозяева, только один, Митрий, тот в Ставрополе проживает, иногда в село наезжает, а меньшой, Степан, тот по все дни в Урожайном живет. Ух и кулаки ж они оба, как пауки сосут каждого бедняка. Ну, Митрий, тот далече, а Степан тут вон, возля нас, и его прижимку мы, конечно, в пять раз больше чуем, чем того, другого. Каждый человек у него в долгу, каждый перед ним спину гнет, а он, паскуда, над всеми куражится. «Я вас, таких-сяких немазанных, в бараний рог согну. Вы у меня напляшетесь, слезами, сволочи, изойдете».

А почему? Потому он богатей, все у него в долгу, как в рукавице, сидят, вот он и куражится. А сила у него большая: и урядник, и пристав, и мировой, и родовые — все им куплены, все за Лихаревых держатся.

Ну, сказать правду, и мы их, пауков, возненавидели дюже. Спим и думаем, как бы им чем нашкодить, конец исделать. Куда там, кругом беляки да земская стража. И вдруг, дорогой мой товарищ, — хлопая меня по колену, возбужденно выкрикивает Жулев, — налетели мы из камышей. Белые в тот день в карательную ушли; в селе мало кто из них остался. Заняли мы село. Кто к своей жинке, кто до матери подался, а другие караулы у села заняли. А я, как лютой злобой горел к этому самому Степану, вместе с дружкой моим, тоже партизаном из камышей, только

из другого села, Величавого, заскочил к Лихаревым. В одной руке праната, в другой — наган, у дружка обрез с полной обоймой. «Ну, думаю, сейчас, контра, кулацкая твоя морда, расквитаюсь я с тобой за бедняцкую кровь да слезы».

Имел я слушок, что здесь он, Степан, никуда не бежал, как мы с маху Урожайное захватили.

Вбегаем во двор, а посереде него суматоха идет. Вся семья Лихаревых здесь, орут, кричат, плачут. Жинка Степанова волосы на себе рвет.

«А-а,— кричу,— сукины дети, теперя ревете, как наша взяла. Где Степка, давай его сюды, стерву, сейчас его кончать будем».

А Прасковья, жена его, кричит, слезами разливается:

«Да что, окайнные, не видите, что ли, горяшка, которое с нами приключилося?»

Сама ревет, а сама пальцем тычет в сторону. И остальные старухи, ребята и другие Лихаревы как взревет да взвоют.

Глядим мы в сторону и видим: сидит на своем заду Степан-куркуль, мучитель этот, к дереву спиной за руки да за ноги привязанный да еще ремнем через живот опять же к дереву приторочен. Смотрит на нас, глаза таращит, чего-то мычит, из глаза мутные, из носу сопли текут, по всей морде повисли, из рота слюни пузырями скочут, как из бочки брызжут. Весь дергается, сопит, всю грудь обслонявил и левой ногой об землю топаёт, ровно жеребец кованный. Мы к нему, а он слюни пуще прежнего пускает, зубами щелкает, а сам мычит, а чего мычит — непонятно. А нас, конечно, не узнает.

«Чего с ним такое?»—спрашиваю я Прасковью, а дружок мой держит обрез и на мене глядит.

«Сбесился он... его собаки неделю назад покусали...—взвыла Прасковья,—мы ему говорим, може, бешеная, а он...» Тут она, ровно кликуша, забила в падучей, а остальные воем завыли... Все орут, один Степан сидит на заду и сопли пускает да теперь уж не одной, а обоими ногами по земле стучит. А вид у него противный, ну прямо самашедший, весь в слюне да пузырях.

«Сбесился?»—спрашиваю я, а бабы утирают глаза да башками кивают.

«Так ему, сволочу, и надо,—говорю я,—видать, бог-то, он есть, наказал еще допреж нас кровопийцу».

И опять завыли бабы на всякие голоса, а дружок мой важно говорит:

«Может, все-таки его для верности из винта вдарить?»

Тут и ребятенки лихаревские, и старухи так завыли, заорали, что я постеснялся при них такое сделать.

«Божий суд, говорю, нехай сам собой издыхает. Идем, Са-

шок». И пошли мы середь тишины, только слышно, как бешеный ногами стучит да пузыри соплявые пускает.

А тут тревога. Беляки с полдороги возвращаются. Ну мы собрались — и обратно, в камыши. Кто жинку, кто брата с собой захватил, но и, конечно, провизии и патронов тоже.

А через день докладывают нам беженцы из села: «Обманул, обмикитил вас Лихарев. Он, сука, как пули слышал, сейчас же свою комедию устроил. Его жена, Прасковья, с свекровью, привязали его к дереву». До чего ж хитер, собака. Это у них зараньше придумано было. Вот как оно бывает! — покачивая головой, закончил Жулев. — Да ты хоть фамилию мою не записывай, чтоб над дураком не смеялись, — просит он, видя, как я, улыбаясь, записываю его рассказ.

Вместе с очередной сводкой посылаю Кирову рассказ незадачливого партизана. Пусть посмеется Сергей Миронович на досуге.

Вчера кавалерийскому разъезду нашего 1-го кавполка сдалась без боя полурота солдат ширванского полка, только три дня назад пришедшая из станицы Прохладной.

Полурота в 92 человека, с фельдфебелем, тремя унтер-офицерами и прапорщиком при двух станковых и двух ручных пулеметах, сдавшаяся 26 конникам, явление обещающее.

Почти все солдаты — крестьяне, мобилизованные Деникиным. Они сразу же потребовали зачисления их в ряды Красной Армии. Забавная история произошла с прапорщиком. Он сам очень охотно перешел к нам и, по словам солдат, тихий, добрый и благожелательный человек.

Когда я опрашивал его, он неожиданно сказал:

— Ну какой я офицер? Ведь я же артист, — и тут же пояснил — артист бакинского кафешантана «Луна». — Я там в течение последних двух лет танцевал в дамском платье, с большим шиньоном на голове. Я, конечно, пудрился, красил губы, ставил на щеку мушку, даже белился. А зрители и не подозревали о том, что я мужчина, — посылали мне конфеты, цветы, духи, записки. Звали к себе и так далее.

— А как же вы очутились на фронте?

— А меня, как бывшего прапорщика, мусависты выслали вместе с другими бывшими русскими, по требованию Деникина, на Северный Кавказ, и мы все пополнили его войска, — смеется прапорщик-шансонетка.

Позже я узнал, что, прибыв в Астрахань, этот «артист» устроился в культотделе поарма и выступал в спектаклях, как недурной тенор.

Наша разведка, продвинувшись из Бирюзьяка к югу, дошла до Лагани и сел Терновская, Талагай. В них нет противника, даже в Черном Рынке стоит всего-навсего одна, перепуганная насмерть, казачья сотня. Все остальные стянуты к Кизляру и к линии казачьих станиц.

Паника и страх бушуют в тылах противника. К Петровску бесконечной вереницей идут забытые семьями белогвардейцев и их домашним скарбом поезда.

Утром уходит за фронт еще одна группа моих казаков. Это уже четвертая, а всего переправлено пятьдесят четыре человека. Остальные частью вступили в эскадроны Кучуры, Косенко и Водопьянова, частью же работают в лазарете и на транспорте.

— Скоро будем дома. Денижке конец — конец и войне. Ближе весна, пахать надо, подымать землю, а войну к шути. Не-хай она пропадет вовсе, — говорят они.

В десятых числах февраля наступает сильное потепление. Дуют теплые ветры, снег начинает таять, и белая степь быстро темнеет. Лютая астраханская зима миновала.

На двое суток я был вызван Кировым в Астрахань. День провел в подготовке к большому докладу, второй — в ожидании совещания в Реввоенсовете. Но доклада делать не пришлось. Сергей Миронович, командарм Василенко и бывший начальник политотдела армии Мдивани Буду, недавно приехавший из Саратова, вызвали меня на совещание, которое целиком было посвящено самой экстренной связи с Гикало. К нему надо немедленно по возвращении в Яндыки послать через Хорошева, с помощью Шеболдаева, троих абсолютно верных, отважных людей с пакетом, который должен быть лично — Киров еще раз повторил — лично передан Гикало. Если в пути обстоятельства сложатся драматично, то этот пакет должен быть немедленно уничтожен.

— На этот раз документ, который вы отправите Николаю Гикало, нам важен не менее жизни этих трех товарищей-коммунистов. Кого вы пошлете с пакетом? — заключил Киров.

— Если разрешите, я сам с Аббасом и ингушом Нальгиевым отвезу его Гикало.

— Очень хорошо, — с сильным грузинским акцентом сказал Мдивани. Василенко молчал.

— Нет. Вам идти за фронт нельзя. Юрий Павлович Бутягин сдает корпус, на его место назначен Смирнов. Мы накануне большого, решающего наступления. Начполитагентуры должен быть с корпусом и всегда под рукой Реввоенсовета. Аббас — это хорошая кандидатура. Он старый большевик, политкаторжанин. Нальгиев, это который же, не тот, что с оспинками на лице?

— Он! — говорю я.

— Нальгиева я знаю мало, но раз вы доверяете ему, пусть будет он, тем более что ингуш пригодится в экспедиции по Чечне. Ведь, — обращаясь к Буду и Василенко, говорит Киров, — язык ингушей и чеченцев почти один. Ну, а кто третий? Кто возглавит поход?

— Самойлович. Больше некому. Он мой помощник, в курсе почти всех закордонных дел, коммунист с июля восемнадцатого года, точный и рассудительный человек. Он справится с задачей, тем более что он уже дважды ходил в камыши, под Кизляр.

Все трое молчат, потом Киров говорит:

— Хорошо. Пусть будет Самойлович, проинструктируйте его как следует перед уходом и скажите, что бумага эта для Гикало важна нам не только в военном, но и в международном отношении. Крайне, крайне важна и ни под каким видом не должна попасть в иные руки... Только Гикало.

— Понимаю, — говорю я.

Ночью на санях возвращаюсь обратно в Яндыки.

Киров не сказал мне, что это за письмо, при вручении которого я впервые за все это время расписался в получении. Присутствие Мдивани и два оброненных им слова дают мне основание думать, что документ этот политический и связан с Закавказьем. Быть может, из Чечни он надежнее попадет через горы в адрес нашего подпольного Кавказского большевистского комитета.

Наш шифр «Птичка божия» работает всюду, и Шеболдаев и Хорошев охотно, а иногда даже излишне часто шифруют «птичкой» свои донесения. Кое-что можно было бы и не зашифровывать, не заставляя меня терять время на расшифровку, но жизнь в горах и камышах, оторванность от своих, от красноармейского уклада жизни влияют на товарищей, а некоторая романтика приключений и пафос, которые особенно близки Хорошеву, заставляют его шифровать «таинственными цифрами» иногда самые простые донесения.

Я улыбаюсь, вспоминая рассказ Хорошева о том, что для него «Овод» Войнич — самая любимая и близкая книга и что он, подобно ее герою Артуру, еще в юности закалял свою волю добровольными лишениями и презрением к физической боли.

Ничего, это все пустяки, а главное — и тот и другой храбрые, смелые, преданные до последней капли крови делу революции, делу большевиков.

Самойлович готов к отъезду. Нальгиев и Аббас — тоже. С ними посылаю и чеченца Махмуда Альтемирова из аула Шали

и ингуша Берта Евлоева, которые находятся в резерве, в Яндыках.

Все пятеро — мужественные люди, и все пятеро живыми не сдадутся врагу, если их постигнет опасность.

Аббас увозит деньги для Гикало. Хасултан Нальгиев берет десятка три наших армейских газет и экземпляров двадцать «Правды» и «Известий» для камышан. Самойлович зашивает в карман ватной безрукавки письмо для Гикало. В другом кармане — крепко закупоренная бутылка с бензином и капсюлем на горлышке. В случае неминуемой гибели взрывается капсюль, и бензин и безрукавка сгорают вместе с письмом.

Надя печатает письма, которые я отправляю товарищам. Письма эти несекретные. В них отвечаю на запросы тех, кто остался в тылу у противника. Носов спрашивает у своего брата Николае, студенте-медики, где он, не находится ли с нами. Дадаев просит сообщить, жив ли его отец, Осман, ушедший в начале 1919 года в Астрахань. Долидзе просит переслать в Грузию восточку о том, что он жив, и т. д.

Надя печатает зашифрованные мною указания Реввоенсовета Хорошеву и Шеболдаеву о скором нашем генеральном наступлении по всему Кизляр-Ставропольскому фронту. Командарм приказывает отрядам камышан, дагестанских повстанцев и чеченскому отряду Красной Армии Гикало 8 марта произвести одновременное наступление на своих участках и ударить по тылам и гарнизонам противника. Прощаясь с Самойловичем и товарищами, предупреждаю их, что только Аббас и Самойлович должны будут возвратиться обратно. Остальные трое, Евлоев, Альтемиров и Нальгиев, явятся к нам в конце марта в город Владикавказ.

— Неужели в марте все будем во Владикавказе? — спрашивает Евлоев.

— Обязательно, Берт, — говорю я, и все мы, довольные, улыбаемся друг другу.

Все готово, товарищи уходят в сторону Эркетени. Переводить через фронт их будет наш старый знакомый Аким, который не так давно сопровождал меня к камышанам.

Теплеет с каждым днем. Снега все меньше и меньше, степь быстро сохнет под теплыми ветрами, набегаящими с юга. Солнце совсем по-весеннему согревает землю.

— Ранняя ноне весна, — говорит мне хозяйка, — неделю так стоит, вся степь травой накроется.

Мы с Надей иногда гуляем по тем местам, где еще недавно был глубокий снег. Ерик позади Яндык набух талой водой, и ручей разливается, бурля и шумя по оврагу.

Смирнов принял корпус. Новым начальником штаба назначен тот самый Степан Степанович Шевелев, защитник Кизляра, разгромивший отряд бичераховского есаула Слесарева.

Почти все сотрудники политотдела корпуса ушли на ставропольское направление.

— Довольно быть в Яндыках... скоро наступление, — сказала Лозинская, два дня назад уехавшая в район Степного.

— Просто стихийное бедствие, — шутя говорит Костич, — еще неделя, и мне не с кем будет работать в политотделе. Я обратился за помощью к Трониному, а он смеется: «Правильно товарищи поступают, что уходят политкомами и агитаторами в полки. Ведь это я сам им посоветовал, а ты, Костич, управляйся как можешь. Сейчас коммунисты в полках нужнее, чем в Яндыках».

Смирнов двинул все резервы вперед. Его приказы точны, ясны и лаконичны.

Ковалев доволен: со Смирновым работать труднее, зато надежней и интересней. У него каждый шаг продуман, задачи даны и исполнение их проверяется в срок.

Яндыки все больше и больше становятся тыловым селом. Если бы не обязательное пребывание центра политагентуры в нем, я тоже перебрался бы вперед.

Радостные вести идут и с той стороны фронта. Получена шифровка из Эркетени. Самойлович, Аббас и остальные товарищи уже прибыли к камышанам. Их связной принес донесение от Хорошева. Все идет нормально. Полковник Козырев, бывший начальник кизлярского белогвардейского гарнизона, смещен. Он сдал дела полковнику Складчину. На второй день после назначения Складчина взбунтовались две роты ширванского запасного батальона. Вызванная на помощь казачья сотня пыталась разоружить их. Ширванцы с боем пробились сквозь казачье окружение и, переправившись у Бақыла через Терек, ушли в Дагестан к Шеболдаеву.

Приказ о наступлении отдан. Отряд Янышевского, пройдя Дубовскую, вдоль железной дороги движется на Шелковскую. На ставропольском направлении дела идут еще успешнее. Кавалерийские разъезды почти без выстрела дошли до Святого Креста. Навстречу конникам из сел выходят делегации крестьян, со слезами радости встречающие их.

— Бежали еще вчера, тут до самого Святого Креста ни одного кадюка не осталось. Как ваши пошли в наступление, так они все вдарились бечь к Кресту, — наперебой рассказывали крестьяне. — А каратели первыми ссыпались, кто куда, и кулачье с ними. Тавричане, что хутора да усадьбы в степи имели, посадили на тачанки жен да ребят, накладали на мажары да телеги до-

бра и айда на Ставрополь. А скота сколько погнали, особенно овец, тут тебе и швицкие, и валуха, и каракулевые, и всякие. Ну, чабаны тоже не дураки, кто и погнал отары на Терек, а которые и в степь ушли, вас ждут, подарочек вам делают.

Из камышей приходили люди. Это местные жители, такие же, какне были под Кизляром.

Из дальних хуторов прибывали делегаты. Их посылал народ.

— Швыдчей идите. Ждем вас не дождемся, надоели проклятые кадюки, хуже вши и комара,— сообщают они.

2-й эскадрон жавполка, которым командует Чайка, вышел из Величаевского на разведку в сторону Святого Креста. Идя вдоль речки Томузловки, головные дозоры эскадрона остановились. Из зарослей камыша и кустарника показалась конная, все увеличивающаяся группа. Всадники о чем-то посовещались, и затем двое конных, держа над головами белые платки, поскакали навстречу нашим дозорам.

— Кто такие? — спросил командир взвода Скачко.

— А вы кто? Красные? — спросил один из всадников.

— Советская кавалерия, — гордо ответил Скачко.

— Мы — всадники осетинского полка, — сказал конный. — Там, — он показал рукой на видневшихся в отдалении кавалеристов, — еще сорок два человека. Все осетины, все мобилизованные насильно, все не хотят воевать с вами.

— Хотим к вам, хотим вместе бить белых, — добавил другой.

— Так вы что, ребята, сдаетесь, что ли? — сообразил наконец Скачко.

— Не сдаемся, а переходим к вам. Мы еще в восемнадцатом году были красными, да нас насильно мобилизовал Деникин.

— А наше село — аул такой есть, Христиановское, — из пушек разбили да человек сорок повесили и расстреляли, — снова добавил другой.

— В таком случае нехай все ваши сдадут нам оружие, после чего двинемся обратно к эскадрону, — приказал Скачко.

Осетины поскакали к своим, и через двадцать минут все их винтовки были сложены в одну кучу, а всадники присоединились к эскадрону Скачко.

После опроса перебежчиков отправили в Яндыки, и семеро из них пополнили наш резерв. Остальные спустя десять дней, по их собственному желанию, были зачислены в кавалерийскую бригаду Водопьянова.

Беседуя с ними, я узнал, что после экзекуций карательных отрядов Покровского, Шкуро и Дорофеева часть осетин бежали в горы и в Закавказье.

— В Алагирском ущелье, в селе Унал, и сейчас нет белых.



Они боятся идти туда. В Унале народная власть и сильная, хорошо вооруженная самооборона,—сказал один из осетин.

— А недавно наши убили двух осетинских офицеров и одного русского. Это были каратели, и народ не мог забыть их зверства.

— За Бигоева — это один из убитых офицеров — злодей Хабаев много крови взял у невинных людей,—добавил третий.

— Кто этот Хабаев?—спросил я.

— Правитель Осетии, доверенное лицо Деникина. Он и полковник, он и правитель, он и главная власть в Осетии... а сам — злодей и палач нашего народа,— снова сказал Маргоев, тот самый всадник, который первым подскочил к дозорным Скачко, возле Томузловки.

— А какие отряды находятся в горах? — спросил я.

— Точно не знаем, но говорят, будто имеются отряды Тогоева, Ботоева и Баракова.

19 января взят Святой Крест. Конные эскадроны 1-го и 2-го полков кавбригады Водопьянова ворвались в город. Несколько беспорядочных залпов, две пулеметные очереди и в ответ лихой сабельный удар наших кавалеристов.

Бой за город шел долго. Разрешился он конной атакой Чайки, которая продолжалась сорок минут, из них пятнадцать минут было рубки и погони за разбегавшимися кулацко-офицерскими сотнями отряда полковника Панченко и двадцатипятиминутный артиллерийский и ружейно-пулеметный обстрел казарм, школы и вокзала.

Белые сдавались группами, поодиночке и целыми взводами.

Из 440 офицеров и юнкеров, лишь неделю назад прибывших из Армавира для защиты Святого Креста, сдались 316 человек, 58 было убито, остальные разбежались.

Дивизион конных чеченцев, сотня осетинского полка и батальон (в котором насчитывалось не больше 200 штыков) терских яластунов при начале нашей атаки спешно отошли к вокзалу. Большая часть их попала в плен, не успев сесть в вагоны, человек около трехсот умчались в сторону Прохладной, стреляя в панике по сторонам.

Бронепоезд «Георгий Победоносец», курсировавший на путях, дав три выстрела из орудия, унеся к Ставрополю, оставив дымный хвост на ветру. Семь полевых орудий, одиннадцать пулеметов, три бомбомета, склады с боеприпасами, 4500 пудов муки в мешках, 70 тысяч пудов зерна, английские консервы, много сахара и английского консервированного молока стали трофеями этого дня.

Смирнов объехал город. Всюду были признаки поспешного

бегства. Из домов с поднятыми вверх руками выводили прятавшихся там офицеров и юнкеров.

Человек десять кавалеристов, спешившись, переворачивали на колеса французский броневомобиль «рено». Солдаты из плененных с радостью помогали им.

Брошенное трехдюймовое орудие стояло на площади.

Из подворотни тащили рыжеусого, круглолицего, с помутневшими от страха глазами человека в котелке.

— Переделся, сволочь, попил нашей крови, Иуда...— давая ему оплеухи и толчками подгоняя его, кричали конвоиры.

— Не бить! Если заслужил, свое получит через трибунал, а рукам воли не давайте! — закричал комкор Смирнов.

— Начальник контрразведки Матюхин, душегуб наш,— зашумели голоса.

— Знатная птица! — с любопытством оглядывая человека в котелке, сказал Смирнов.— Отвести его в штаб.

Отделение местного казначейства было захвачено так внезапно, что все деньги, миллионов около семи, царские, керенские, деникинские и даже грузинские, попали в руки красноармейцев, ворвавшихся в банк.

— А где еще за гроши? — с удивлением разглядывали они аккуратно сложенные и перевязанные бечевкой стопки, с трех сторон заклеенные сургучной печатью.

— А это, господа-товарищи, марки, так сказать, заменители ассигнаций, банковские марки, а это купюры и талоны от выписанных билетов, наравне с банкнотами имеющие хождение повсюду,— словоохотливо объяснял недоумевающим красноармейцам значение и ценность каждой кипы чиновник банка.

Захваченные деньги положили в мешок.

На улицах появлялось все больше жителей.

За городом, в направлении Сухой Буйволы, слышались орудийные удары и отдаленное тьяканье пулеметов.

Белые отошли от Святого Креста и окопались по реке То-музловке и окрестным селам. Орловка была занята эскадронами 1-го кавполка под командованием Марка Смирнова. В Солдатско-Александровском были деникинцы. Почти все Прикумье стало советским, но территория в сторону Ставрополя, Георгиевска, Моздока все еще занята противником.

Партизаны прибывали непрерывно. Это были бойцы из отрядов И. Г. Шило, камышане И. П. Гулая, розовые, прятавшиеся под Георгиевском. Приходили они как солдаты революции — с оружием, с песнями, с доблестным воинским духом, приводя с собой пленных.

Под селом Орловским они убили одного из наиболее мрач-

ных карателей, капитана Измайлова, наводившего страх на бедняков.

Командир 2-го кавалерийского полка Чайка, захвативший город, уже второй день бился с отошедшими на Ставрополь пластунами, чеченскими и офицерскими частями противника. Два полка 28-й стрелковой дивизии под общим командованием Полешко продвинулись по Томузловке, охватив фланг неприятеля. К деникинскому бронепоезду «Георгий Победоносец» на помощь пришел второй — «Генерал Алексеев». Бронепоезда методично били по нашей пехоте, мешая ей продвигаться вперед.

Тогда командующий кавалерией экспедиционного корпуса Сабельников вместе с ротой бойцов 1-го камышанского полка, пройдя степью около пятнадцати верст, в тылу у белогвардейцев взорвал железнодорожные рельсы.

Беляки стали медленно отходить к югу. Они сбили наш кавполк, отогнали камышан от железнодорожной линии и после четырехчасового напряженного, все усиливавшегося боя исправили путь, и оба бронепоезда отошли к Ставрополю. Вся масса белых, уходившая от Святого Креста, отступала за ними. Прикумье почти целиком, за исключением отдельных мелких очагов сопротивления, стало советским.

Смирнов донес в Реввоенсовет 11-й армии Кирова: «Частями Кавказского экспедиционного корпуса вместе с доблестными камышанами после упорных боев взят город Святой Крест — оплот белогвардейщины на востоке Ставрополя. Начальник белогвардейского гарнизона полковник Пята убит.

В результате торящих боев уничтожены и разгромлены белые части 1-го чеченского полка дивизии Султан-Крым Гирея, дивизион осетинского полка, четыре сотни кубанских пластунов, два батальона терских, батальон пехотного апшеронского полка, сводный офицерский отряд в 350 человек и местная кулацкая самооборона из земской стражи и полиции численностью до 500 человек.

Убито 460 человек и взято в плен свыше тысячи белых. В числе трофеев: 12 орудий, 58 пулеметов, один бронеавтомобиль, семь бомбометов, пять миллионов ружейных патронов, четыре состава поездов с тремя исправными паровозами, казначейство, склады продовольствия и многое другое. Преследование противника и учет трофеев продолжаются.

Весь день из камышей, из бурунов, от отдаленных степных хуторов приходили и приезжали прятавшиеся там от белых крестьяне, партизаны, бежавшие из плена красноармейцы и молодежь, спасавшаяся от мобилизации и карательных отрядов.

Пехота 261-го полка вышла далеко за город и заняла пози-

ции. Пять эскадронов бригады Водопьянова, раскинувшись разьездами по степи, пошли дальше. Бронеавтомобиль, давно поставленный на колеса и исправленный в ремонтной железнодорожной мастерской, стоял возле штаба.

Связисты тянули катушки проводов, патрули прохаживались по городу, партизано-камышанские сотни двинулись по дорогам к своим родным местам.

Вокзал был ярко освещен. Там рабочие Святого Креста чинили, ремонтировали и приводили в порядок все свое подвижное хозяйство, которое уже утром нужно будет нам для наступления. А сзади по величаевско-астраханскому тракту шли резервы корпуса: артиллерия, пулеметные тачанки, а за ними двигались обозы и тыловые учреждения.

Утром ушел вперед и отдел снабжения. Его имущество и люди были уже на колесах. Надя вместе с Женей Воеводиной пошли возле подвод, на которые нагрузили имущество. В повозках личные вещи, много сена. Девушки устроились удобно. Вместе с ними в повозке четверо сотрудников отдела и штаба.

Я попрощался с Надей.

— Нагону в дороге,— сказал я,— но помни, что война еще не кончилась. Куда бы она ни раскидала нас, встретиться мы должны во Владикавказе. Пиши прямо в Ревком или штаб гарнизона Владикавказа.

Весна была ранней, теплой и влажной. От земли шел пар, горячие ветры обдували ее, и мгла, волнистая и зыбкая, поднималась над полями. Под лучами солнца давно сошел снег. По затвердевшей дороге легко шли подводы. Я дошел с Надей и Женей до выезда из Яндык. Степь, уже теплая, серо-зеленая, с проталинами и кое-где черными пятнами еще сырых оврагов, лежала перед нами.

Вереница повозок и подвод скатилась с пригорка в степь. Скоро они исчезли за холмами, и я пошел в село.

На душе было смутно и грустно.

Все уезжали, все уходили на юг, уехала и Надя, а я все ждал в Яндыках Самойловича. Да когда же он наконец вернется да и вернется ли? Может быть, он вместе с отрядом Гикало войдет на днях в Грозный, а может быть, погиб? Ведь в той кровавой резне, которая сейчас идет в горах Дагестана, очень просто погибнуть.

Из Бирюзьяка позвонил Плеханов:

— Наши заняли все села вокруг Кизляра. Партизаны беспрепятственно вышли из камышей. Конные разьезды Косенко перерезали железные дорогу Кизляр—Червленая. Из станицы

Копайской прибыла казачья делегация. Станичники приглашают наших к себе. Обещают встретить с колокольным звоном, со стариками и хлебом-солью перед околицей. Черный Рынок занят нами. Хорошев сегодня войдет в Кизляр. Полковник Складан со своей карательной бандой бежал в Грозный. Казаки из делегации спрашивают тебя, говорят, что служили в твоём отделе.

Войны, по сути, нет. Вся белая шатия драпает кто куда, а по дороге их перехватывают зеленые, розовые... Завтра возвращаюсь в Черный Рынок, а оттуда к Хорошеву в Кизляр.

После двухдневных напряженных операций по очистке опорных пунктов белых по реке Томузловке их сопротивление было сломлено. Большая часть деникинцев сдалась, остальные убиты или же бежали, рассеявшись по болотам, кустарнику и камышам Прикумья. Но и нам нелегко досталась эта победа.

В боях погибли командир эскадрона Загуменный, политком Арон Зандер и командир стрелковой роты Чернов. Все эти отважные люди с боями прошли тяжелый боевой путь от Астрахани через пески и степи, через бои и стычки с врагом и вот, накануне окончательной победы над врагом, сложили свои головы на самых подступах к Кавказу.

Донося о наших потерях, комкор Смирнов особенно подчеркнул заслуги погибших товарищей при ликвидации последних очагов белогвардейщины Прикумья.

Наступающие с Дона полки 34-й дивизии Нестеровского, отдельная бригада 50-й пехотной дивизии и три полка 7-й кавдивизии с боями идут на Ставрополь. Конница Сабельникова ринулась на Георгиевск.

В коротком письме ко мне Александр Сергеевич Смирнов просит захватить с собой забытую им в Яндыках на квартире бекешу. Этот всегда веселый и приятный человек так заканчивает свое письмо:

«Все пушки, пушки грохотали,  
Трещал наш пулемет.  
Кадеты отступали,  
Мы двигались вперед.

До свидания, до встречи в Пятигорске».

В сенцах раздались голоса.

— Тута... дома он сейчас. Вы входите сюда, батюшка,—услышал я голос хозяйки.

«Кто б это»,—подумал я. Дверь открылась. На пороге стоял Мдивани, тот самый Буду, с которым недавно я беседовал в Астрахани, у Кирова.

— О-о, гамарджобат, амханако,— улыбаясь, по-грузински заговорил он, широко расставляя руки.

Я приветствовал его. Он был приятный человек — веселый, общительный, остроумный, и мне, оставшемуся почти одному в Яндыках, очень кстати пришелся этот неожиданный гость.

— Завтра или послезавтра Мироныч и Василенко прилетят, а за ними Механошин прибывает. Словом, скоро на Кавказе будем. Дела идут превосходно.

Алена принесла чай. Мдивани ел, пил, шутил с хозяйкой и Аленой.

— Создан Северо-Кавказский Ревком под председательством Серго. Я, Киров и Стопани — члены Ревкома. Утром уезжаю в Святой Крест. А как вы?

— Сижу, жду у моря погоды. Самойловича все нет,— говорю я.

— Ждите Кирова. Без него ехать нельзя. Документ, переданный через Самойловича Гикало, очень важен.

Буду рассказывает об общем положении на Южном, теперь Кавказском, фронте.

— Конец генералам. Контрреволюция разгромлена, и ее остатки бегут к Новороссийску, Тифлису и Баку.— Буду думает и затем медленно заканчивает: — Но мы и там доберемся до них.

И я понимаю, что с разгромом Деникина еще не кончилась боевая страда Красной Армии.

— Пойдем на телеграф,— говорит Мдивани,— я должен связаться с Кировым и Бесо.

На широкой улице людей мало. Изредка проедет телега или пробежит грузовик.

— Завтра двинусь дальше,— говорит Буду.— Мои товарищи остановились у коменданта.

— Ночуйте у меня,— предлагаю я.

— Нет. Мы рано утром выедем дальше,— отвечает он.

Гринь тоже готов к отъезду из Яндык. Его сотрудники почти со всей аппаратной уже уехали в Святой Крест, а он пока остался здесь.

Гринь садится за аппарат, Астрахань отвечает на его вызов.

Поговорив минут десять с Квиркелией, мы возвращаемся домой. Когда подходили к дому, меня удивил свет в боковой комнате, занимаемой мною. Ни хозяйка, ни Алена никогда не входили без меня в нее. Открыв дверь, я увидел за столом Аббаса. Он смачно пил чай, безмятежно глядя на нас.

— Приехали? — в один голос закричали мы.

Аббас засмеялся.

— Се чисти парадки,— сказал он.— Товарыш Джикало письмо писал, салам говорил...

— А где Самойлович?

— Он абана мица пошла,— на языке, который понимал один я, продолжал Аббас.

— Он в баню пошел, мыться,— пояснил я Буду.

— Ага,— подтвердил Аббас.

— Передали пакет Гикало? — спросил Мдивани.

— Сами руки адал... расписка Самалович визал,— утвердительно сказал Аббас.

Вскоре явился из бани и Самойлович. Он вынул из кармана расписку:

— Пакет уже переслан куда нужно. Гикало шлет поклон, благодарит за деньги. Перед нашим уходом его отряд готовился к наступлению на Грозный. Товарищи Мордовцев, Носов, Дадаев выступили с частями вперед.

— Иди на телеграф, свяжись с РВС и доложи о своей поездке. Да спроси Кирова, можно ли теперь нам двигаться на Святой Крест,— говорю я Самойловичу.

Он спешит на телеграф.

На душе радость. Ни единой тревожной мысли, ничего неясного. Завтра или послезавтра уйдем наконец и мы.

Я провожаю Буду к дому, где он ночует.

Утром Мдивани уехал. Теперь и мы были готовы в путь. Завтра Киров будет здесь, и завтра же после доклада ему и командарму мы выедем на Святой Крест. Все, что было связано с Яндыками, кончилось. Фронт двигался на юг, наши войска добивали «добравмию» Деникина. Отдел политагентуры заканчивал свою работу. Гражданская война, так долго лихорадившая страну, пламенем охватившая всю Россию от ее северной до южной и восточной границ, заканчивалась. Последние толки противника, разбитые, разгромленные, деморализованные, бежали к морю. Остатки их или сдавались, или уничтожались Красной Армией.

Яндыки, село, в котором я пережил и тяжелые часы неудач, и радостные дни победы, село, в котором изменилась и моя личная жизнь, стало мне родным.

Я с грустью прошел по его широкой улице, спустился к яру, через который пролегалла дорога на Промысловку, постоял у околицы, где прощался с Надей. Потом пошел обратно в село. Теперь оно сделалось захолустным, самым обыкновенным селом. Ни конных, ни пеших солдат почти не видно на площади Яндык. Две-три крестьянки прошли с коромыслами мимо, сухонький старичок остановил меня, попросив «табачку на завертку»; про-

ехала телега, и несколько собак с лаем понеслись за ней. Возле комендатуры и управления тыла мелькнули несколько красноармейцев. Вот все, что попало мне на пути, когда я возвращался домой.

Здесь Самойлович, разложив на столе карту Ставрополя и Терской области, усиленно водит по ней красным карандашом. Он только что побывал у Гриня, и наш brave начальник военной почты показал ему последнюю сводку. В ней говорилось:

«Ставрополь взят 29 февраля. В упорных боях под городом полками 7-й кавдивизии и отдельной бригадой 50-й пехотной дивизии разгромлен и уничтожен 4-й белогвардейский корпус генерала Писарева. Путь на Невинномысскую и Армавир открыт. Части 7-й кавалерийской дивизии преследуют бегущего врага. Наша кавалерия подходит к Георгиевску. На станции Узловой скопление товаро-пассажирских поездов, брошенных белыми. Среди них четыре бронепоезда. По непроверенным данным, Грозный оставлен добровольцами. Станции Дубовская, Калиновская, Старогладковская, Шелковская, Червленая без боя сдались нашим передовым разъездам. Некоторые станции с колокольным звоном, с хлебом-солью встречают наши войска. Остатки белых рассеялись, убегая кто куда, главным же образом на Владикавказ, откуда белые намереваются уйти через Военно-грузинскую дорогу в Тифлис, под крылышко Антанты и пружинских меньшевиков».

Дверь в нашу комнату распаивается, и мы слышим радостный взволнованный голос Аббаса:

— Иди здесь, суды... суды, товарищ Киров.

Мы ошеломлены. Как, Киров? Ведь он только завтра должен быть в Яндыках. Мы поднимаемся, в эту минуту в комнату входит улыбающийся Сергей Миронович. Он приветственно помахивает рукой, за ним виднеется командарм Василенко, за которым широко улыбающийся Аббас. Наш азербайджанский товарищ просто влюблен в Сергея Мироновича. Вот уже скоро пять месяцев, как он передан нам в отдел Кировым, и я все это время вижу, как Аббас глубоко чтит и уважает его, как он беззаветно верит ему и как он преданно любит его.

— Э-э, да вы, видно, думаете здесь пробыть еще лето,— смеется Киров, оглядывая комнату.

— Наоборот, ждем вас и вслед за вами в путь,— говорю я. Василенко многозначительно кивает на карту.

— Можете сделать еще одну поправку,— говорит он,— два часа назад заняты Прохладная и Георгиевск. Белоказачья линия Кизляр—Армавир—Екатеринодар разрублена нами.

Пока мы беседуем, Аббас вместе с хозяйкой вносит чай, сва-



ренные вкрутую яйца, белые «кругляши», шипящие на сковороде мясные консервы из «неприкосновенного запаса».

— С удовольствием поедим. Ведь мы вылетели из Астрахани, даже не позавтракав,— говорит Василенко.

Мы едим, пьем чай, и только тут я случайно, из оброненной Кировым фразы, узнаю о том, что их самолет чуть-чуть не разбился при посадке в Яндыках.

— Черт его знает что произошло,— смеется Киров.— То ли мы зацепились при посадке за телеграфную проволоку, то ли еще что, но едва не разбились,— он машет рукой и, переводя разговор на другую тему, спрашивает Самойловича: — Значит, наш пакет с документами лично передан Гикало?

— Вот его расписка,— передавая ее Кирову, говорит Самойлович

— Великолечно. Все сделано хорошо, и я от имени Реввоенсовета благодарю вас,— пожимая руку Самойловичу, говорит Киров.

— А минн нэт?—отрываясь от хозяйничания за столом, спрашивает Аббас.— Я се дорога не... испал... его бережил,— тыча пальцем в Самойловича, обиженно говорит Аббас.

Взрыв хохота останавливает его.

— Тебя в первую очередь, дорогой, старый товарищ,— обнимая Аббаса, говорит Киров.

Самойлович докладывает ему о камышанах, об отряде Гикало, о настроеннях в тылу неприятеля, но Сергей Миронович останавливает его:

— Теперь это не главное. Главное в том, что пакет вручен Гикало и что вы благополучно вернулись обратно. После вашей информации по телеграфу товарищ Квиркелия подробно доложил командарму и мне о вашей поездке, и мы в курсе всего.

Командарм смотрит на часы. Киров кивает ему головой и, поднимаясь с места, говорит:

— Проводите нас на телеграф. Если после нашего отлета придет что-либо срочное, захватите с собой или же пошлите по летучей почте мне, на Святой Крест. Утром выезжайте туда же. Завтра Механюшин выедет из Яндык,— вероятно, в пути он догонит вас и группу ответственных работников, направляющихся на Кавказ. Они сегодня будут ночевать в Яндыках, а завтра вместе с ними выезжайте. Через пять дней нам всем надо быть в Пятигорске.

Спустя тридцать минут аэроплан поднимается над Яндыками и на небольшой высоте летит на Святой Крест.

Самолет плохонький. Я слаб в определении систем, но Самойлович важно говорит:

— «Фарман». Последней конструкции.

Я недоверчиво гляжу вслед «фарману» последней конструкции, который, треща и покачиваясь на ветру, уходит на юг.

Вечером прибыли из Астрахани те «ответственные товарищи», о которых говорил Киров. Среди них старые друзья. Юсуп Настуев, спешащий в свою родную Балкарию, Ваня Саградьян — комиссар санитарного управления армии, начальник особого отдела Панкратов, командир бронепоезда Ефремов и еще несколько работников штаба.

Ночуют они у нас, а утром все вместе оставляем Яндыки.

Весна от края и до края охватила степь. Молодая зелень буйно покрыла землю. И чем дальше на юг, тем роскошнее цветение буйной растительности. Зеленый поток бурлит вокруг, а воздух, насыщенный пряным ароматом пробуждающейся земли, пахнет так одуряюще, так волнует нас, что мы с нескрываемым восхищением всматриваемся в даль, подернутую дымкой испарений, дышим степным, омытым ветрами воздухом.

Это весна, и мы надеемся, последняя военная весна.

Чем дальше на юг, тем меньше черной, еще сырой земли, тем больше молодой, стремительно поднимающейся травы.

Ночуем в пустой, брошенной хозяевами экономии. Овчарни, длинные сараи без рам, пустые глазницы одиноко торчащей хаты. Никого. Война вымела отсюда все живое.

Утром снова в путь. Усталые кони еле тянут подводы, то и дело останавливаясь для отдыха.

— Не дело... Этак мы попадем к шапочному разбору, — покачивает головой Ефремов. Боевому командиру не терпится скорее вернуться к своим бойцам.

— Айда пешком... пока отдохнут кони; мы сделаем верст пять, — предлагает Саградьян.

— А там нас догонит и подберет на свой грузовик Механосин, — оптимистически говорю я, и мы, вооруженные винтовками, идем пешком.

«Степь да степь кругом»... Ровная, зеленая с кое-где еще черно-влажными пятнами от недавно сошедшего снега. Чуть прохладно, но эта утренняя свежесть бодрит и укрепляет нас.

Мы широко шагаем по дороге, а она бесконечной лентой вьется впереди. Чаше попадаются курганчики, зеленобокые холмы и большие свинцово-серые валуны, обтесанные временем, ветрами и дождем.

Идем бодро, то запевая, то беседуя, а то останавливаясь для перекура и минутной передышки.

Уже часов около девяти. Подвод все нет, но мы даже рады

этому: так приятно идти хорошим, солдатским шагом, под свежим ветерком, под лучами начинающего притгевать степь южного солнца.

— А ну, братики, постойте. Я его сейчас ахну из нагана, — останавливаясь, говорит Ефремов.

— Кого это из нагана? — удивленно спрашивает Настуев.

— А вон мишень. Орел сидит на кургане, — вытаскивая из кобуры револьвер, показывает Ефремов.

До орла шагов сорок пять. Степной хищник сидит спокойно, величаво, не обращая на нас никакого внимания. Лишь иногда, скосив глаз, он как бы мельком презрительно замечает людей и снова спокойно, не мигая смотрит вдаль.

— Не попадешь, — критически замечает Саградьян, — из ружья — другое дело.

— Из ружья и ребенок попадет, а я вот из нагана, — щуря глаз и тщательно прицеливаясь в орла, говорит Ефремов.

Мы ждем. Ждет, по-видимому, и орел, так как его глаз внимательно наблюдает за нами.

Бухает выстрел. Под самыми лапами орла взлетает комочек земли, но птица продолжает сидеть.

Снова гремит выстрел, и орел, точно теперь понявший, что с ним не шутят, стремительно срывается с места и, взмахивая крыльями, поднимается ввысь.

— Полетел сдыхать, — смеется Панкратов.

— Чутьку ниже взял. Вот что значит не стрелял уже три недели, — сокрушенно говорит Ефремов.

— В стрельбе нужна ежедневная тренировка, — важно заявляет Самойлович, кстати сказать стрелок плохой, только недавно научившийся обращаться с оружием.

И мы снова шагаем вперед, а запахи степи все сильнее окутывают нас.

Пройдя еще верст одиннадцать, мы заходим в большой, вытянувшийся вдоль дороги сарай. Возле стоит небольшая хатка, из трубы которой приветливо вьется дымок. У сарая расседланные кони, две телеги с каким-то скарбом и красноармеец без рубахи.

— Сюды, товарищи, — кричит он и машет нам рукой.

Это летучая почта, расквартированная в экономии Мазаева, одного из главных овцеводов края, своевременно бежавшего в Ставрополь.

— Ций Мазай ух и гадюка, — сплевывая сквозь зубы, рассказывает красноармеец. — Вин як павук сосал усих крестьян. Тикал, сукин сын, отседа, як наши с Яндык пошли.

— Та не сам Мазай, — поправляет рассказчика другой крас-

ноармеец.— Той, що мильены имел, той в Ставрополе жил, а тута приказчик був.

— Ну, тот чи ни тот, а тож сволочь для народа,— категорически решает первый и гостеприимно зовет нас в хату попить чайку.

Уже час дня, а подвод все нет.

— Полежим на сене,— предлагает Ефремов, и мы ложимся на охапку сухого, еще не потерявшего свой пряный аромат сена. Один только Аббас не желает отдыхать. Он бодрствует, поглядывая на дорогу.

— Сипат нада ночу... один баба спит днем,— философски говорит он и, закинув за плечо винтовку, идет к дороге.

Около трех часов дня подъехали подводы. Пока обозные выпрягали лошадей и возились с поклажей, мы, хорошо отдохнувшие и подкрепленные сном, решаем снова походным порядком отправиться дальше.

— Братцы, возьмите и меня с собой. Надоело трястись в подводе,— взмолился Мизгирев. Он набрасывает на плечи кожанку, берет в руки палку и идет за нами.

— Товарищи,— кричит нам один из возниц,— мы нонеча дальше не поедем, так что на подводы не рассчитывайте. Кони даже устали.

— А мы и не рассчитываем. Дойдем до следующей почты, там и заночуем.

— Ну, як знаете! — соглашается обозный.

Над степью стоит солнце. Оно уже горячо обжигает лицо. Ветерок, прохладный и влажный, набегает с юга. Над нами кружат орлы. Их, этих степных хозяев, много, а еще выше белыми стадами то вместе, то разрозненно, словно отбившиеся от отары овцы, проплывают облака. Воздух чист, свеж, прян. Дышится легко, ноги широко шагают по земле, а сиренево-дымная даль бесконечна в своем прозрачном однообразии.

Так мы идем вперед, то останавливаясь на пятиминутный отдых, то присаживаясь для перекура на камни.

По дороге — никого. Ни конного, ни пешего. Только степь да горячее солнце. Так проходят три часа.

Ефремов по карте определяет место, где мы сейчас находимся.

— До Величаевского еще верст тридцать пять, — говорит он.

Хоть идем мы легко, однако утомление начинает сказываться. Аббас и Мизгирев, люди по сравнению с нами пожилые, им больше сорока лет, начинают отставать, часто присаживаются у дороги.

— И что это Механошина все нет. Пора б ему нагнать нас,— говорит Саградьян.

Мы оглядываемся назад, как бы ожидая, что сейчас появятся грузовики.

— Не торопитесь. Ему что, он сейчас, наверное, в Яндыках чай распивает,— говорит Панкратов и замолкает. До нас все явственнее доносится шум пока еще невидимых машин.

— Братцы, да вы, случаем, не волшебники? — спрашивает Мизгирев. Мы смеемся, глядя назад, откуда все сильнее слышится шум автомобилей.

— Довольно топать, теперь, как мировая буржуазия, рассядемся в машинах и айда дальше,— смеется Самойлович.

За курганами взлетает пыль. Она вьется, то поднимаясь столбом, то кружась вдоль дороги.

Еще несколько минут, и два грузовика и большой потрепанный «мерседес» показываются на дороге. Мы машем руками, веселым криком встречая Механошина.

«Мерседес» останавливается, за ним становятся и грузовики.

— Здравствуйте, товарищи,— сидя в машине, говорит Механошин. Вместе с ним две какие-то женщины, быть может сотрудницы Реввоенсовета, но мы не знаем их.

— Здравствуйте, Константин Александрович. Вот хорошо, что нагнали нас, а то мы здорово устали,— говорит Панкратов.

— А ен кирепка балной, нога мала ходит,— указывая на Мизгирева, говорит Аббас.

Механошин молчит.

— Ну, братва, лазь на машины,— командует Панкратов. Мы шагаем к грузовикам.

— Товарищи, машины эти заняты важным грузом, который срочно должен быть доставлен в Святой Крест. Да и мест нет,— вдруг говорит Механошин и, уже не глядя на нас, бросает шоферу: — Поехали!

Мы ошеломлены.

— Как так «поехали»? — говорю я.— Машины эти уйдут только с нами.

— Что вам, грузы с барахлом важнее нас, ответственных работников армии? — загораживая путь «мерседесу», гневно говорит Ефремов. И все — Аббас, Настуев, Саградьян, Самойлович,— словом, все зашумели.

Механошин хмуро смотрит на нас, переводя взгляд с одного на другого.

— Машины не уйдут без нас,— подходя вплотную к «мерседесу», говорю я.

— А Сергею Миропычу мы доложим, как вы нас хотели бросить в дороге, — мрачно говорит Панкратов.

— Товарищу Кирову я сам расскажу о том, что вы занимаетесь самоуправством, — холодно отвечает Механошин, — если сумеете, то размещайтесь в грузовиках.

Его «мерседес» трогается с места и исчезает в клубах пыли.

Мы рассаживаемся в грузовиках. Здесь достаточно места еще для десяти человек. Странно и непонятно высокомерное нежелание Механошина посадить нас в машины.

— Барства много. Хоть и член Реввосисовета и коммунист, а от него барином за версту тянет, — сплевывая через борт, говорит Панкратов.

Грузовики трогаются.

Небо начинает темнеть. Его синева переходит в зеленовато-серый тон. Солнце уходит, и красная полоса заката окрасила край неба. От земли идут колеблющиеся тени. Розово-желтый закат затянул запад.

Мелькают холмы, деревца, курганы, запоздалый орлан, широко взмахивая крыльями, проносится над нами.

Вдалеке чернеет длинное деревянное строение. Это экономия. От нее до Величаевского недалеко.

Чаще стали попадаться хуторки, стоящие вдоль дороги сараи. Раза два мы обгоняем телеги и мажару, запряженную в пару круторогих волов.

Вечер спустился на землю, когда мы въехали на окраину Величаевского. Село не спало. В окнах горел свет, слышались голоса. Несколько красноармейцев и партизан встретили нас у околицы села. Они указали нам хату для ночлега, вызвали хозяина и, попрощавшись с нами, пошли в дальнейший обход села.

— Хучь тут и тихо, однако банды беляков ховаются в степу. А ну як ненароком наскочут, — объяснил мне командир патруля, бывший камышанин Петриченко.

Грузовики стали подле хаты, шоферы ночуют в машинах, а мы с наслаждением ложимся на солому.

Утром едем дальше. На дороге видны следы ушедшего раньше нас «мерседеса».

Ландшафт меняется. Больше зелени, деревьев, населенных пунктов. Чувствуется близость воды. Река Кума с ее притоками проходит вблизи. Живительная близость воды окрасила природу Прикумья. Дорога то идет прямо, словно вычерченная по линейке, то вдруг ныряет в сторону, взвывается и прячется среди зеленых кустов и шумящего по ветру камыша. Впереди видна экономия. Чем ближе к Святому Кресту, тем больше их, этих стених жулацких крепостей, оплотов местных богатеев, эксплуата-

торов своих крестьян. Около экономики стоят телеги, подводы, везы. Люди ходят возле них. Кто-то машет нам рукой. Водитель останавливает грузовик, и Мизгирев радостно кричит:

— Братцы! Наши, снабженцы... Догнали... Ну, тут я с вами прощаюсь, — и он лезет через борт машины на землю.

Действительно, это отдел снабжения корпуса, несколько дней назад ушедший из Яндык.

Я спрыгиваю с машины и спешу к табору (иначе его не называть), расположившемуся за экономией.

— Ждем двадцать минут, — кричит мне вслед Ефремов, — опоздаешь, бросим одного в поле.

Я спешу к «табору», ищу Надю и, как это иногда бывает, сразу же натапливаюсь на нее. Надя стоит у подводы, весело смотрит на меня. Лицо ее загорело, глаза оживлены. Ветерок треплет прядь волос, мы смотрим друг на друга и чему-то улыбаемся. Потом я беру ее за руку, целую, и мы отходим в сторону. Женя приветливо машет нам рукой.

— Как здоровье? Как дела?

Я хочу сказать что-то другое, но говорю почему-то совсем обычные, неподходящие слова.

Надя, по-видимому, понимает мое состояние. Она тепло улыбается, и мы, взявшись за руки, идем к дороге.

— Надя, сейчас я двинусь дальше. У меня нет даже и десяти минут, — говорю я.

Она ободряюще говорит:

— Ничего, важно то, что мы встретились... Ведь мог же ты ночью проехать мимо нас.

Мы, то останавливаясь, то снова шагая, гуляем вдоль дороги.

— Помни, из Пятигорска я поеду прямо во Владикавказ. Если вы минуете его, пиши мне туда, я сейчас же приеду за тобой.

Резко гудит машина. Долгий, настойчивый сигнал напоминает, что пора расставаться.

— Пора, Надя.

— Будь спокоен. Я найду тебя во Владикавказе, — говорит она.

Бегу к машине. Когда она трогается с места, вижу, как Надя, стоя у дороги, машет нам вслед рукой.

Святой Крест — небольшой степной город с типичными для таких городов постройками. Двух-, редко, трехэтажные дома, широкие улицы с палисадниками, вынесенными к тротуару. Однообразные лавчонки, серый, вытянувшийся в длину дом с надписью «Гостиница бр. Рудометкиных — Сплендид», чуть поодаль — меблированные номера «Лиссабон», затем «Апполо» ма-

дам Курочкиной и лавчонки, лавчонки. На площади, у собора, раскинулся базар.

Мы проехали его и, узнав от коменданта, где находится штаб, едем туда.

По обилию войска, по движению конных к вокзалу и тому, что у станции виднеется знаменитый «мерседес» Механошина, ясно, что командование и Реввоенсовет армии тут.

Сходим с грузовиков, разминаемся и, закинув винтовки за плечи, идем к штабу. Он расположен в здании вокзала.

— А где Сергей Мироныч? — спрашиваем мы Костича. Военком штаба смотрит на нас долгим взглядом, затем устало говорит:

— Идите, товарищи, в вагон Кирова. Вагон стоит тут же у перрона, третий от паровоза.

— Как дела на фронте? — спрашивает его Ефремов.

— Фронта нет. Рассыпался. Беляки бегут к границам Грузии и Азербайджана. Вы вовремя прибыли, друзья, через два часа отправляемся в Пятигорск.

— Когда он взят? — спрашиваю я.

— Занят вчера зелеными, а белыми брошен еще двое суток назад. Вчера же наши части вошли в город.

Мы входим в вагон. Это пульман, служивший кому-то из белогвардейских генералов штабом и квартирой одновременно. Одна половина вагона состоит из жилого помещения, другая — канцелярия.

— Входите, входите, товарищи, — слышим голос Сергея Мироновича, которому о нашем появлении докладывает дежурный при нем Савин.

Киров поднимается из-за столика.

— Добрались, партизаны, — пожимая нам руки, говорит он. — Вовремя доехали. Ведь через два часа наш поезд уходит на Пятигорск, а вы очень, — он подчеркивает, — очень нужны Реввоенсовету.

— Если б не машина Механошина, то и послезавтра б не попали сюда, — осторожно говорю я.

Киров быстро окидывает меня взглядом.

— Слышал, слышал о том, что вы чуть ли не силой отобрали машины у начальства.

Мы переглядываемся.

— Ну, что молчите? Ведь отобрали? — спрашивает Киров. Голос его серьезен, но в углах глаз смешинка, та самая милая кировская смешинка, которая так знакома и так любима нами.

— Почти так, но и не совсем так, — басит Ефремов.



— А вы что скажете? Ведь это вы первым накинудись на проезжавших? — говорит Киров, глядя на меня.

— Совершенно верно. Первым был я.

— Все были первыми, — перебивая меня, говорит Панкратов.

— Ну, ушкунники, потише, — останавливает Киров заговоривших разом товарищей. — Гражданская война заканчивается, а вы тут новую создаете? Сейчас идите, товарищи, отмойтесь, походите по городу и через час возвращайтесь сюда.

Спустя час мы вернулись обратно. В вагоне были Киров, Механюшин, комкор Смирнов, военком корпуса Тронин, комиссар штаба Костич, Ковалев Базекский, Шевелев и мы.

На столе, стоявшем посреди вагона, хлеб, холодное мясо, сыр, соленые огурцы, масло, сушеная тарань и несколько стаканов.

— Ну, товарищи, с победой, с приходом на Северный Кавказ, — говорит Киров. — Берите стаканы, и выпьем за Красную Армию, за Ленина.

Киров разлил по стаканам искрящееся красное трасковейское вино.

— Да здравствует Ленин и советская власть, — поднимая стакан, говорит он.

И мы впервые за год войны подняли стаканы с вином и до дна осушили их.

— За дружбу, — снова сказал Киров. — Ничего, товарищи, нет лучше и крепче нашей партийной солдатской дружбы, скрепленной долгими месяцами осады, лишений, самопожертвования, нечеловеческих усилий и труда, которые мы проявили в Астрахани.

Мы молча смотрим на Кирова, а он, глядя поверх нас куда-то вдаль, продолжает:

— Кончается гражданская война. Пройдут годы, новые времена и люди придут на смену нам, но о нас с благодарностью и гордостью будут говорить они, ибо мы жили, боролись, мучались и побеждали в самую тяжелую пору революции... Ваше здоровье, товарищи!

Мы смотрим на Кирова, на его вдохновенное, просветленное лицо, на его устремленный вдаль, как бы в будущее, взор и, не сговариваясь, разом подходим к Механюшину.

— Ваше здоровье, Константин Александрович, — говорю я. И все — Настуев, Ефремов, Саградьян, Самойлович — легко и свободно чокаемся с ним.

Механюшин взволнован и с видимым облегчением чокается с нами. Мелкое чувство взаимной обиды сдуло как ветром и унесло прочь.

Киров мягко улыбается и еще раз тихо повторяет:

— Ваше здоровье, товарищи!

И вот Кавказ. Спешная вершина Эльбруса белеет на голубом фоне небес. Дымно-белые гряды Кавказских гор тянутся с запада к Владикавказу. Свежий ветер, чистое небо, прозрачная дымка и зеленое цветение весны встречают нас. Бегут версты, стучат колеса, а мы стоим на площадках вагонов и дышим нашим родным, кавказским воздухом, смотрим и не насмотримся на наши горы.

Настуев держится за ручку распахнутой настежь дверцы вагона. Глаза его влажны, а лицо охвачено такой непередаваемой радостью, что я только тихо говорю:

— Помнишь, Юсуф, я говорил тебе в Астрахани, что мы скоро будем дома, — и вот Кавказ!

— Да, да, — повторяет он, не отводя глаз от белой шапки Эльбруса. Вряд ли он понимает мои слова. Волнение и радость так велики, что он не замечает даже и Кирова, тоже вышедшего на площадку.

— Вот мы и дома! — говорит Сергей Миронович, и его глаза тоже устремлены на белую вершину великана Шат-горы.

И вот Пятигорск. Слева Машук, впереди Бешту, а на светлосиней голубоватой дали Шат.

На улицах города патрули и конные разъезды. Белогвардейцы бежали пять дней назад. Станицы, села, города Терской области снова стали советскими. Владикавказ 23 марта 1920 года занят нашими частями и отрядом осетинских партизан под командой Баракова и Ботоева. Спустя час в город вошли еще два красновардейских отряда, один ингушский — Орцханова, другой прибывший из Грозного от Николая Гикало, под командованием Мордовцева.

Части нашей 11-й армии движутся к границам Азербайджана, и Смирнов с Ефремовым сегодня же ночью уезжают в Дагестан. Мост через Малку возле Прохладной взорван противником, и наши саперы возводят понтоны через реку.

Киров приказывает Квиркелиш, Костичу и мне немедленно выехать во Владикавказ.

И вот мы во Владикавказе. Григорий Иванович Остапенко, тот самый, к которому посылал меня летом 1919 года Киров, встретил нас со слезами радости на глазах.

Осетинские партизаны, ингушские красные бойцы, красноармейцы отряда Мордовцева, рабочая самооборона, конные и пешие люди, вооруженные с ног до головы и все с красными бан-

тами и перевязями на руках, песнями и улыбками встречают нас.

— Где Киров? — спрашивает Остапенко и, узнав, что Сергей Миронович еще в Пятигорске, ночью уезжает к нему. А город полон песен и ликования, веселых звуков лезгинки и шумной радости всех тех, кто ожидал освободителей.

Но не все рады нам. Это видно по растерянным лицам некоторых встречаемых, по все еще запертым магазинам, по хмурому виду недоверчивых посетителей, все это время приходящих к нам.

Вчера создан Ревком Терской области, в которую входят Чечня, Осетия, Кабарда и вся надтеречная казачья линия. Председателем Ревкома назначен наш милый Бесо Квиркелия, бывший военком штаба 11-й армии.

Меня назначили комиссаром внутреннего управления этой обширной, многонациональной области, а опыта ведения гражданских дел у меня нет. Знания только военные, а надо создать этот комиссариат с его филиалами по городам области.

Пришли два моих товарища, отправленные из Яндык к Гикало вместе с Самойловичем. Это ингуши Евлоев Берт и Хасулан Нальгиев. Они уже побывали в своих аулах, Сурхохи и Экажеве, повидались с родными и пришли «работать для советской власти», как выразился Евлоев. И тот и другой зачислены инструкторами в комиссариат внутреннего управления. Аббас Бабаев, приехавший вместе со мной из Пятигорска, назначен командантом нашего комиссариата.

Отделы создаются один за другим. Новые и новые люди приходят к нам. Мы берем их на работу или направляем в другие учреждения. Пришел и французский вице-консул господин Лемерсье, аккредитованный в Тифлисе при меньшевистском правительстве, но почему-то задержавшийся во Владикавказе. Вместе с ним пришли и представители местной греческой колонии, коммерсанты Марапдовы, Муратандовы и Кара-Георгопуло.

Со всеми — разговоры, а с французским консулом — беседа, так как господин Лемерсье, интересуясь нами, просит разрешить ему пробыть еще неделю во Владикавказе, а уж затем отправиться в Тифлис.

Нам понятен такой «интерес» француза, и мы уже на следующий день выпроваживаем к меньшевикам господина Лемерсье.

От Нади ничего нет. Меня беспокоит неизвестность. Части войск, а значит, и тылы проходят через Моздок, прямо на Петровск, минуя Владикавказ, и я лишен всякой возможности проследить за движением наших частей.

Профессора Гюнтер, Соловов, Спасский, актрисы Башкина, Черная, Ангарова, режиссер Воронов, актеры Поль, Курихин, Ордынский, поэты Венский, Михаил Слободской, Беридзе, писатели Юрий Слезкин, Булгаков, фельетонист Яблоновский и даже бывший священник-расстрига, эсер Григорий Петров, много женщин, отставших от убежавших куда попало мужей, какие-то старые баронессы с выцветшими глазами, подагрические сенаторы — все они приходят за советом и помощью к нам.

Явились и делегации от местного, так сказать, «дипкорпуса». Это персидский консул Шахбази Сатаров, консульский агент меньшевистской Грузии Схиртладзе и консул дашнакской Армении, он же местный армянский священник Тер-Саакян.

От Нади все ничего нет. Где она? Как я ни занят своей новой и напряженной работой, эта неизвестность все время тревожит меня. Только что зашел ко мне Базилевич, заведующий лишь сегодня созданным в городе загсом.

Базилевич, полный добродушный человек, говорит:

— Отдел записей актов гражданского состояния готов и с завтрашнего дня начинает свои функции.

— Для начала неплохо, — смеется Квиркелия, когда я рассказываю ему о моем комиссариате и его неуверенной работе.

— Все начинается с мелочей. Важно, что мы начали работать, создали комиссариаты, отделы, установили порядок и власть. Народ с нами, а там в ходе работы мы сами устраним недостатки. Ведь мы ж с тобой не учились управлять городами, не готовились стать во главе комиссариатов. Люди мы военные, воевали неплохо, а сейчас перед нами стали задачи поважнее, чем бои под Ганюшкином и Басами.

В Ревкоме шумно. Здесь центр всей партийно-административной и советской работы области.

Разговариваю с Симоном Токоевым, одним из наиболее активных членов Ревкома. Говорим о создании областной милиции. Рядом стоит Аббас, ревностно сопровождающий меня повсюду.

— Асслам алейкум, товарищ Ковалев, — слышу я его голос. Оборачиваюсь. У двери, что-то записывая в блокнот, стоит Ковалев, наш милый комиссар снабжения корпуса.

Я обрываю на полуслове разговор с Токоевым.

— Александр Пантелеймонович! Какими судьбами? Где твой отдел снабжения? Где Надя? — торопясь спрашиваю я.

Ковалев дописывает последние строчки, затем кладет блокнот в карман и спокойно говорит:

— Привет астраханцам. Все в порядке. Отдел мой сейчас

находится в Прохладной. Утром мы выезжаем в Петровск. Надя Вишневецкая там же.

Я хватаю его за руку:

— Почему ж ты не привез ее сюда?

Он смеется и еще спокойнее говорит:

— Во-первых, не знал, что ты здесь, во-вторых, выехал сюда скоропалительно, по приказу командарма Василенко, в-третьих, — это уже ваши личные дела. — И, видя, как я взволнован, Ковалев дружески говорит: — Вот что, через пятьдесят минут я возвращаюсь в Прохладную. Едем со мной. А утром я откомандирую Вишневецкую во Владикавказ, и вы вместе завтра же вернетесь сюда.

— Ему нельзя сейчас выезжать. Самый разгар организационной работы, и Ревком не разрешит такую отлучку, — говорит Токоев.

Я растерянно гляжу на них. Уехать сейчас невозможно.

— Товарищ Мугуев, — слышу голос Аббаса, — пиши балшой бумага — мандат. Я с товарищ Ковалев поеду Прохладны, привезу ханум, — кладя мне на плечо руку, говорит Аббас. Ханум — так он называет Надю.

— Правильно, — говорит Ковалев, — готовь бумаги, и мы через полчаса выедем с Аббасом.

Тут же, в Ревкоме, пишем «балшой бумага — мандат», ставим печать, мандат подписывает зампредревкома Дзедзиев, и Ковалев с Аббасом уезжают.

Итак, завтра Надя будет здесь.

Я иду в комиссариат, а на душе радостно и хорошо.

Моя квартирная хозяйка-гречанка, которой я сказал о приезде жены, усиленно занялась благоустройством нашего жилья.

Приехала Надя. Сменив военный полушубок и меховую шапку на легкое пальто и шапочку, она совсем превратилась в юную девушку-подростка. Аббас с сияющей улыбкой торжественно ввел ее в дом. Надя слегка смущена первой встречей на людях, где все обращаются с ней как с моей женой.

Мы идем в загс. Поднимаясь по широкой лестнице, встретили Базилевича.

— Ну как дела с отделом? Много бракосочетаний? — спрашиваю его.

Он разводит руками и смущенно говорит:

— Пока ни одного. Люди еще не привыкли, да и не знают о нем.

— Ну, готовьте бумаги, оформляйте наш брак, — говорю я. И первый зарегистрированный брак в г. Владикавказе был наш брак с Надей.

Базилевич радостно смеется, а Аббас, которого Надя в Яндыках научила подписывать свою фамилию, склонив набок голову, трудолюбиво и долго выводит свою подпись — свидетеля при бракосочетании.

«Аббас Бабаев» наконец появляется на бумаге. Базилевич ставит свою подпись, прихлопывает документ печатью и поздравляет нас. Мы смотрим друг на друга, берем свидетельство и провожаемые до дверей Базилевичем уходим.

Аббас идет рядом. Когда мы приходим домой, он вытаскивает из кармана широченных штанов какую-то банку и торжественно протягивает ее Наде.

— Что это? — спрашивает она.

— Коко в малако, — говорит он.

Я беру банку. «Какао с молоком. Фабрика Эйнем», — написано на ней.

Это был свадебный подарок Аббаса.

Вечером стало известно: 30 марта во Владикавказ приезжают Киров и Орджоникидзе. Они спешат на юг, к границам Азербайджана, куда, пополненная влившимися в нее частями 10-й армии, подходит наша славная 11-я.

Сегодня первое общее городское партийное собрание. Городской театр полон. Здесь представители как русского, так и всех горских народов области. Ингуши — Зязиков, Мальсагов, Албогачиев; Орцханов; чеченцы — Эльдарханов, Дудаев, Арсанов, Мутушев; дагестанцы — Коркмасов, Тахогоди, Далгат, Самурский; осетины — Саханджери Мамсуров, Токоев, Казбек Бутаев, Борукаев, Даниил Тогоев, Бараков, Ботоев, Тавасиев, Кара-Мурза Кесаев. Прибыли только что выпущенные меньшевиками из тифлисского Метехского замка, грозной тюрьмы, большевики Коте Цинцадзе, Ладое Думбадзе, Васо Элердов, Платон Иобидзе, Саша Гегечкори. Они лишь сегодня приехали во Владикавказ. Усталые, измученные тюрьмой, но полные революционного закала и несломленной энергии. Здесь же армянин Вартанян, казак Дьяков, Николай Гикало с товарищами, кабардинец Бетал Калмыков, представители частей 11-й армии и делегаты рабочих и краснопартизанских отрядов Терской области — все собрались тут. Орджоникидзе и Киров выступят на этом партийном собрании.

Уже с шести часов вечера площадь перед театром заполнена народом. Кирова знают здесь все. Ведь он за несколько лет до революции был редактором местной газеты «Терек». Уже с 1917 года он возглавляет в области большевистское ядро, поднимает массы на борьбу с контрреволюцией, организует горские и рус-

ские трудовые элементы, выступает на съездах и вызывает ненависть к себе всей терской контрреволюции.

В семь часов Киров и Орджоникидзе прибыли в театр. Долго стоял грохот аплодисментов, долго не смолкали возгласы и радостные выкрики людей, наконец дождавшихся прихода к ним их родной советской власти. Наконец заговорил Орджоникидзе. Говорил он недолго. Он ярко нарисовал путь победы революции над темными силами старого мира и поздравил всех с победой. Затем горячо и вдохновенно выступил Сергей Миронович. Кратко, без лишних слов, рассказал он о задачах, которые встали теперь перед победившим народом.

— Борьба за освобождение Северного Кавказа закончилась. Мы победили в ней, впереди труд и напряженная борьба за мир, восстановление страны. Надо победить и в этом.

Ночью закончилось городское партсобрание. От имени трудящихся области была послана приветственная телеграмма товарищу Ленину.

Киров и Орджоникидзе спешат к ожидающему их поезду, идущему на Петровск. Выходя на площадь, Орджоникидзе запевает: «Смело, товарищи, в ногу». Все подхватывают, и над полусонным городом разливается рабочая революционная песня большевиков. Мы поем, провожая к вокзалу наших товарищей. Песня ширится над притихшим городом. «И водрузим над землею красное знамя труда!» — под эти слова рабочего гимна поезд плавно отходит на юг.

Война кончилась. Новые, мирные задачи стояли перед нами.

★ ★ ★



# ГОСПОДИН ИЗ СТАМБУЛА

*Повесть*



Белый двухпалубный теплоход «Аджария» подходил к главной пристани Стамбула Хайдарпаша.

«Аджария» был новенький, комфортабельный теплоход, дважды в год совершавший туристический обход вокруг Европы — из Одессы до Ленинграда и обратно через Дарданеллы и Босфор.

Босфор, как всегда, был полон судов, шаланд, барок, боток, лодок. Эсминец турецкого флота стоял неподвижно у особой пристани, как бы молча наблюдая за бесконечным движением на воде. Таможенные и полицейские катера уже подошли к борту осторожно швартовавшейся «Аджарии», на высокие палубы которой высыпало все ее туристское население.

Шум, крики каючки, возгласы встречающих на берегу, голоса полицейских, гудки каботажных судов — все слилось в один общий гам.

Трое друзей-москвичей, инженер Маслов, врач Конов и писатель Савин, дождавшись своей очереди, спустились по трапу мимо проверявших документы полицейских, мимо глазевших на них турок и греков, мимо торговцев-лоточников, отчаянно и зазывно расхваливавших свои товары. Тут было все, начиная от мороженого и пончиков вплоть до белья, носков, французской пудры и порнографических открыток. Невдалеке от трапа, вперив взор в спускавшуюся толпу туристов, стоял хорошо одетый, благообразный старик. Он внимательно и молча разглядывал туристов, не двигаясь со своего места.

— Вот продолжение нашего разговора и возможность проверить твою теорию, доктор. Взгляни на этого почтенного джентльмена и, согласно твоей теории, определи, кто он, — сказал Савин.

Все трое внимательно оглядели не обращавшего на них внимания старого господина.

— Легче легкого, — сказал Конов. — Убежден, что это италья-

янский или французский коммерсант, возможно, рантье или закончивший дела, почивающий на лаврах финансист.

— А по-моему, актер или хозяин какого-нибудь бара, случайно забредший на пристань в момент прихода нашей «Аджарии».

— Ни то, ни другое, просто старый человек, вероятно грек или левантинец, совершающий моцион перед обедом, состоятельный человек...— начал было доктор.

— Ни то, ни другое и ни третье,— приподнимая соломенную шляпу, вдруг заговорил старик.— Я русский и вышел к вашему пароходу лишь для того, чтобы увидеть русских людей, услышать русскую речь, спросить о дорогой моему сердцу Москве. Как видите — все очень просто. Что же касается остального, то я действительно старый житель этого города, вот скоро минет сорок пять лет, как я проживаю в нем, хотя часто наезжаю в разные города Европы.

— Вы эмигрант? — поинтересовался Конов.

— Нет, не эмигрант и не белогвардеец, так как никогда не занимался политикой и не служил ни в каких армиях. Я просто,— помните у Лермонтова? — «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...» Ну, если мы так разговорились, то разрешите представиться: Базилевский Евгений Александрович, инженер, в свое время окончивший Политехнический в старом Санкт-Петербурге.

— Савин, писатель.

— Конов, врач.

— Маслов, инженер,— в свою очередь представились друзья.

— Какие у вас планы, молодые люди? — спросил старик.

— Походить по городу, познакомиться с его достопримечательностями, пообедать где-нибудь на турецкий манер — и обратно на пароход.

— Если вас не шокирует неожиданное знакомство с человеком, который хочет увидеть своих, поговорить на родном языке и просто побыть час-другой среди русских, позвольте стать вашим гидом на это время,— закончил старик.

Друзья переглянулись.

— А почему бы нет,— сказал врач.

Они пошли по проспекту Ататюрка. Все было ново, интересно и необычайно для трех москвичей.

— Площадь султана Селима, а вот и улица Афиюн-Карагиссар, названная в честь великой победы турок над греками в тысяча девятьсот двадцать втором году,— пояснял старик.

Они ходили по Пера, Галате, заглядывали в магазины, на

такси подъехали к Ильдыз-Кюску — мрачному дворцу Абдул-Гамида, превращенному ныне в национальный музей.

— Тысячи фантастических легенд, таинственных приключений, мрачных кровавых историй окружают этот дворец, — сказал Базилевский.

Он рассказал о султанских приемах, пятничном Селямликке и о гаремах ушедших в небытие османских султанов. Расспрашивал собеседников о Москве, о новой жизни.

Сначала москвичи настороженно ждали, что старик в разговоре, как бы между прочим, задаст какой-нибудь каверзный, ехидный или провокационный вопрос о Советском Союзе, но ничего подобного не было. Базилевский охотно говорил им о достопримечательностях Стамбула, ни разу не затронув никаких других тем. Один только раз он как бы невзначай спросил:

— А что, господа, случайно никто из вас не знаком в Москве с Анной Александровной Кантемир?

Друзья пожали плечами.

— А кто она? — поинтересовался Савин.

— Мой давний, старый друг, оставивший в моей жизни неизгладимый след, — ответил Базилевский. — Господа, уже время обеда. В этом благословенном городе сейчас все садятся за стол, не сделать ли и нам это? Тут, у пристани, в тени гранатов и старых чинар, есть великолепный ресторан со старотурецкой кухней. Я прошу вас быть моими гостями и отведать турецкие блюда, каких не найдете и в Анкаре.

Они сели за столик под густым, тенистым покровом плюща и винограда. Старик что-то заказал подошедшему официанту-турку, и в ожидании обеда все четверо стали пить ледяное пиво.

— Евгений Александрович, теперь нам хотелось бы, чтоб вы рассказали о себе, о своем прошлом... Как «дубовый листок оторвался от ветки родимой»... — полушутя начал Савин.

— Охотно. Мне самому хочется поведать вам это, и я только ждал ваших слов. Повесть моей жизни необычайна, — отпивая глоток пива, сказал Базилевский.

Официант принес заказанные Базилевским блюда, острые, пряные, с обилием трав и легким запахом чеснока.

— Рекомендую, это нечто вроде супа, то, что на Кавказе называют шурпа и пити. — Он помолчал. — Это было и давно и словно только вчера. А была осень тысяча девятьсот двадцатого года, в благословенном Крыму, занятом тогда Врангелем. Я, как вам уже сказал, окончил в одиннадцатом году Петербургский политехнический институт... и даже с отличием, но работать, или, как тогда говорили, «служить», не хотел. Этому содействовали два немаловажных обстоятельства. Во-первых, еще в десятом

году, в течение одного месяца, умерли мои родители, люди состоятельные, не чаявшие во мне души. Я остался один. А второе заключалось в том, что, будучи довольно обеспеченным человеком, я махнул рукой на карьеру, связался с некоторыми веселыми молодыми людьми, позже оказавшимися международными аферистами и шулерами. Съездил с ними в Париж и Брюссель и втянулся в их махинации. Благодаря отличной памяти, внешности и апломбу, а главное—одаренности в области механики и математики, очень скоро стал одним из видных специалистов по взлому сейфов и, — старик улыбнулся,— очищению карманов у неудачливых игроков. Конечно, уже скоро я стал приметен как в международном преступном мире, так и у полиции Европы. Раза два я был задержан во Франции, выслан из Англии и отсидел два месяца в Брюсселе. Мировая война четырнадцатого года заставила меня вернуться на родину. Но уже в семнадцатом году, во времена Керенского, я снова очутился за границей, откуда через год попал в Румынию и, спасаясь от ее полиции, прибыл с румынским паспортом в Крым. Паспорт у меня был на имя румынского барона Думитреску, причем паспорт не подложный, настоящий, выданный полицией Бухареста. Языки я знал, деньги имел и хотел отсидеться в Крыму три-четыре месяца, после чего снова совершить турне через Константинополь «по заграницам».

Надо вам сказать, что у меня был ежемесячно снят отличный лихач, Гасанка, известный на весь Крым. Уж и шельма же был, доложу вам, бестия! Сам — красавец, кони — львы, экипаж — лучший в городе, на дутых шинах, рессоры — мечта. Едешь — словно в люльке тебя несут! Бывало, гикнет мой Гасан, подберет вожжи, засвистит, зальется соловьем,— кони как рванут, только пыль столбом да люди шарахаются. Автомобилию и то не угнаться. И платил же я ему! Тысячи, вероятно, полторы франков стоила мне эта колесница в месяц!..

Да-а, так вот с Гасанки и его колесницы и начинается мой рассказ. Было это, вероятно, в сентябре двадцатого года. Проводил я в эти дни дело со взломом сейфа у одного табачного капиталиста,— может, слышали, Агроканаки... Ему половина сухумских табаков принадлежала. Пароходами крымские табак в Египет на выделку посылал. Бога-атый был! Узнал я от верного человека, наводчика, что скопилось у моего Агроканальи (это я его так называл) много денег в валюте и что собирается он их в Стамбул переводить. А такого хамства я, по тем временам, допустить не мог, ну и с помощью отмычек да гусиной лапы вскрыл как-то ночью сейф. Сорок минут трудился, никогда так аккуратно и расчетливо не работал, а в этом сейфе парши-

вом нашел всего-навсего четыреста долларов да сотни полторы итальянских лир. Курам на смех! Перевел, оказывается, мой табачник свои деньги, успел-таки. Первый раз подобная неудача приключилась со мной... Даже расстроился я от такого афронта... Забрал эту мелочишку, плюнул в растерзанный сейф и ушел домой отсыпаться.

Утром принял ванну, позавтракал, вызвал Гасана, решил проехать за город, рассеяться.

Понес, помчал меня Гасанка на своей колеснице, только слышно «бер-ре-игись!» да свистки полицейских. Вынеслись мы на Главную улицу, разворот хотели сделать, вдруг навстречу маленький открытый автомобиль с дамою.

Придержал мой Гасан коней, чтобы пропустить мимо машину. Взглянул я рассеянно и... обмер, а рука сама собой приподняла цилиндр.

Никогда ничего подобного со мною не было! И все это потому, что против меня в машине сидела молодая дама со строгими серыми глазами и удивительно красивым лицом. Ее сосед, пожилой полковник, покосился на меня и не спеша ответил на мой поклон. Экипажи разъехались. Гасан приподнялся на козлах, подобрал вожжи. Кони, ожидавшие его гика, рванули вперед.

— Кто такая? — спросил я, указывая тростью вслед автомобилю.

— Не знаю, княз! — ответил Гасан, выжидательно глядя на меня.

— Поворачивай назад!

Татарин не удивился. Целый час мы бесцельно колесили по всему Севастополю. Целый час я не терял надежду, что встречу незнакомку.

Первый раз в жизни я почувствовал пустоту. Кони шли шагом. Я молчал, погруженный в свои думы, чувствуя на себе испытующий взгляд Гасана. У самого дома он вдруг тихо сказал:

— Княз, не скучай! Я тебе завтра скажу, кто этот баба.

Но «кто этот баба» я узнал сам и не дальше как в ту же ночь. Под вечер я отправился в Дворянский клуб, — был такой на Миллионной улице.

Седой, внушительный швейцар с булавой, толстые дубовые двери, мягкий, пушистый ковер, медвежьи чучела на площадке — словом, такой клуб, каких было много в свое время на Руси. И старшина, как полагается, с лентой через брюшко и благообразной улыбкой на розовом лице.

Расписался я в книге «барон Думитреску», сунул небрежно

швейцару цилиндр, трость, перчатки и пошел в залу. Иду, а на душе сумрачно. Нет во мне уже прежней легкости. Ску-учно! И понимаю, что всему причиной сегодняшняя встреча...

Официант-турок убрал пустые тарелки и принес второе — на огромном блюде дымящийся плов, политый яичным желтком, и отдельно в причудливых сосудах мелко нарубленные кусочки дичи, баранины, плавающие в кисло-сладком, пряном соусе.

— Рекомендую, это — оттоманский<sup>15</sup> плов, знаменитое турецкое блюдо, без которого не обходится ни одно торжество.

Официант наполнил бокалы итальянским кианти и удалился.

— Прошелся я по комнатам. Народу не много. Кое-кого из знакомых встретил. Одессита одного, мануфактурщика с певичкой из шантана, турка-брильянтика из Стамбула да капитана греческой фелюги, на которой год назад в Пирей с краденым шевиотом ехал. «Ну, думаю, самые дворяне, лучше не надо». Раскланялся с ними, поговорил минуты три с певичкой... Еле зевоту удерживаю.

А нужно вам сказать, что по своей уголовной линии я изучил несколько точных профессий. Я работал взломщиком и с самыми сложными современными сейфами, я и чеки делал, я же и отличным шулером был. Что отличным, прямо скажу, не скромничая, блестящим считался, королем слыл в этих сферах. И правда, очень уж тонко и смело работал, а это самое главное. Ведь что салонному шулеру надо! Представительность, осанка, а этим, как видите, меня бывший бог не обидел. Затем голос — спокойный, бархатный, с такими оттенками и вибрациями. И, конечно, выдержка, характер, воля. Ну, а этого во мне на нескольких людей хватало.

Поверите ли, когда еще гимназистом был, обучал меня этому «искусству» один клубный арап, великий знаток своего дела, но, увы, неудачник: фигуры у него, внешности соответствующей, не было. Так вот, учитель мой, бывало, с завистью и почтением говорил: «Да-алеко пойдешь, Женя, если не свихнешься. Не ходи в честные люди. Все у тебя есть, всем тебя природа одарила. Смотри не загуби талант, учись «манерам», избегай женщины, тренируй волю, а главное — будь всегда весел, смел и элегантен!»

На всю жизнь запомнил я заповедь моего руководителя. Уже в Политехническом институте поражал я всех своей блестящей, точной и всегда безукоризненной игрой. На меня, как на диво, собирались смотреть, когда я играл в клубе. Никому невдомек было, что перед ними не столько студент-математик, сколько

---

<sup>15</sup> Старо-турецкий.

гениальный шулер играет. Да еще как играет! В те времена тысячами ворочал, но потом страсть к точной механике, сейфам и математические мои наклонности отвлекли меня от зеленого поля. Почти оставил я это дело, редко когда позволял себе сесть за стол и обыграть каких-нибудь идиотов, разве уж если карманы у них были очень оттопырены.

Поболтал я с певичкою и ее мануфактурщиком и хотел ехать домой, как вдруг вздумалось нашей даме испытать свое счастье и бросить несколько сотен на карту. А игра, надо вам сказать, в клубе шла зверская, на любые деньги, начиная от денкинских «колокольчиков» и вплоть до испанских пезет. Доллары, фунты, франки, лиры — все летело, кружилось на столах этого притона. А по углам за столиками с крюшоном сидели разные «светлые личности», которые тут же меняли любую валюту на любые деньги. Груды серебра, пачки банкнотов, кипы ассигнаций, столбики золота, военные облигации разных стран мелькали на столиках и в руках этих странных людей, превративших важный Дворянский клуб в меняльную лавку Стамбула. Нередко здесь же происходил и торг: проиграется какой-либо ферт до нитки, денег уже нет, а играть охота, снимает с руки браслет или часы, а «светлые личности» начинают на свет, на зубы пробовать качество продаваемых вещей. Портсигары, кольца, цепочки, серьги, ценные набалдашники, ордена, именнные кубки — все шло на этом удивительном рынке, все имело свою цену. И делалось это совершенно открыто. Без лишних слов и аффектации. Страшно организованно. Обдерут как липку неудачливого игрока, купят вещь за одну десятую стоимости и снова молчат, словно пауки в своих углах. Всю городскую полицию на откуп держали, контрразведку шампанским поили — и все-таки процентов восемьсот на рубль имели.

Бросила наша певичка тысячу рублей на карту — проиграла, снова поставил на нее мануфактурщик — опять уплыла его тысяча. Хотел и я от скуки вмазаться в игру, вдруг, слышим, из соседней комнаты шум и почтительные «ахи». Взглянул я туда, а там звон золота, шест валюты и такие азартные лики светятся, что я, как эскадронный конь при звуках трубы, вдруг забыл и о своих соседях и утреннюю встречу с незнакомкой.

Я снова стал собою. Король шулеров Евгений Базилевский вытеснил из меня румынского барона Думитреску. Я вошел в залу, раздвигая зачарованных звоном золота, неподвижных людей.

Главный стол был золотой, или, как его называли, «стол Антанты». Это значило, что здесь играли только на валюту победивших стран, высоко державших курс своих ценных бумаг.

Доллар, лира, фунт и франк царили в нем. Сюда не допускались австрийские кроны или обесцененные бумаги побежденной Германии. Стол окружала толпа. Здесь были купцы, офицеры, интенданты, английские матросы, итальянские стрелки, дорогие проститутки, греческие звзоны, контрразведчики. Они вились вокруг крупье, умильно, жадно, влюбленно, похотливо и страстно глядя на шуршащие кипы долларов, на золотые ручейки, переливавшиеся по столу. Здесь играли избранные, воротилы спекулятивного мира, законодатели курсов, — всего восемь — десять человек. Остальные жадными взорами смотрели на них и пересохшими губами повторяли выкрики крупье. Чужие деньги и чужой банк волновали их. Кое-кто из толпы держал мазу на карты основных игроков. На зелени сукна горели кружки золотых монет.

Несколько минут я молча глядел на играющих, оценивая игроков, изучая их манеры, характер крупье, внимание толпы и возможности игры. На столе шевелились разноцветные деньги,

— В банке полторы тысячи долларов! — крикнул крупье.

Как раз этой суммы не хватало мне для того, чтобы успокоиться после вчерашней неудачи. Но вступать в игру было еще рано. Нужны были выдержка и расчет, и только сделав ряд «психологических» номеров, разъярив игроков близостью к выигрышу, дав понюхать толпе аромат игры, заразив ее азартом, загипнотизировав, подавив ее волю, напугав удачей или спокойным проигрышем крупной суммы, решил я развернуть свой гений и обобратить как липку партнеров.

Я знал, что все эти деньги будут моими, потому что на меня нашло вдохновение игрока, благотельный, непередаваемый творческий подъем. По манере держать карты, по бледным лицам игроков, по нервно вздрагивающим губам и деланно спокойной маске я легко читал карты моих партнеров. Я был артистом, художником, мастером своего дела, и в этой огромной толпе, в горящих глазах игроков, в блеске золота, в бесстрастном голосе крупье, в шелесте валют, в судорожных движениях зрителей, в бледных лицах проигравшихся неудачников видел начало и конец моих вдохновенных замыслов. Еще не взяв в руки карт, я уже дирижировал этими людьми, направляя их мысли по своему желанному руслу.

Небрежно, почти не глядя, я кинул пачку долларов крупье, он пригреб серебряной лопаточкой к себе и, быстро просчитав, сказал:

— В банке две тысячи пятьсот долларов!

Глаза — узкие, сощуренные, горящие, влажные, испуганные, красивые, молодые, старые — смотрели на меня отовсюду. Я ви-



дел, что королю шулеров уже пора надеть на себя корону и покорить эту глупую, послушную толпу.

Руки толстяка, прикупившего карту, дрожали. Его жирные пальцы с большим перстнем на мизинце прыгали, хотя лицо было почти спокойно. У моряка подергивалась губа. Он покраснел, поминутно отирая платком пот, и, быстро оглядев кучку золота и фунты, лежавшие перед ним, хрипло, срывающимся голосом сказал: «Восемьсот долларов!» Это были его последние деньги.

Крупье вежливо опустил голову и посмотрел вокруг. Это был вызов. Кто-то вздохнул и тихо сказал: «Сто...» Крупье взял у него пачку мелких купюр.

— В банке две тысячи пятьсот долларов. Банк покрыт пока на девятьсот. Кто желает добавить?

— Даю тысячу,— коротко сказал инженер, бросая на стол пачку зеленых бумажек.

По толпе прошло движение. Словно ветер пробежал по ней. Меня уже не видел никто, все глаза были устремлены на бледное выхоленное лицо инженера.

— В банке тысяча девятьсот долларов. Остается всего шестьсот. Кто желает покрыть недостающую сумму? — снова спросил крупье.

— Вот деньги! — произнес человек, стоявший рядом со мною. Он отвернулся в сторону. Его лица я не мог видеть, но голос, слегка глуховатый, надтреснутый и, несомненно, измененный, показался мне знакомым.

Я чуть передвинулся с места, чтобы как будто мельком заглянуть в лицо этого человека, но он упорно не поворачивался ко мне. Странно.

Где я слышал этот голос?

— Банк покрыт полностью! — солидно сказал крупье и стал метать карты.

Я поднял карты и заглянул в них. У меня было восемь. Я посмотрел на партнера, поднимавшего карты медленно, словно это были не карты, а пудовые гири. Моряк побагровел. Вены на его шее вздулись, он сильно закусил губу и, опуская лодочкой карты, выкрикнул:

— Своя!

Я молча открыл восьмерку. Толпа ахнула. Инженер, теряя спокойствие, визгливо крикнул моряку, все еще державшему, словно в оцепенении, свои карты закрытыми:

— Да открывайте же!! Сколько у вас? — И почти вырвал карты, роняя их на стол.

Там было семь очков.

Крупье сгреб кипу долларов и золотых монет и любезным, бесстрастным голосом сказал:

— Получите, месье, ваши деньги!

Среди тишины, чувствуя на себе сотни глаз, окруженный завистью и почтительным шепотом толпы, я медленно положил в карман выигранные деньги и, не отходя от стола, обвел толпу взором.

Удача не веселила. В моей профессии шулера и кассиста каждая невыясненная деталь, каждое неразгаданное движение и всякий неузнанный человек были опасны.

Крупье, думая, что я хочу продолжать игру, прокричал:

— Месье и медам! Банк сорван, но банк живет. Игра продолжается. Месье и медам, делайте вашу игру!

И вдруг я увидел два устремленных на меня спокойных глаза, и сразу узнал их, и вспомнил голос человека, стоявшего недавно рядом со мной.

Это был сыщик Литовцев, один из девяти ищеек, второй год безуспешно охотившихся за мной.

Я поглядел в глаза Литовцева и рассмеялся. Парень был слишком глуп, чтоб его опасаться. А среди выигранных денег находились и его шестьсот долларов, и это еще больше разве-седило меня.

Похлопывая себя по боковому карману, я подошел к нему:

— Что, брат пинкертон, проиграл свои доллары?

Сыщик улыбнулся и, дружески обняв меня за талию, сказал:

— Ничего! Я их еще сегодня отыграю обратно!

Его голос звучал нагло и двусмысленно.

Бросив золотой швейцару, я вышел на улицу, натягивая на руки перчатки. Блестящий шелковый цилиндр, белый галстук, лимонные перчатки и лакированные туфли делали меня похожим на оперного певца, выступавшего на великосветском концерте. К подъезду подкатил экипаж, и при свете фонарей я узнал физиономию Гасана.

«Вот шельма, всегда пронюхает, где пахнет жареным». Я был доволен таким услужливым рвением хитрого Гасана.

— До-мой! — откинувшись на подушки, приказал я.

Но Гасанка медлил. Я сердито взглянул на него. В ту же минуту из-за экипажа выскочили двое людей.

«Бандиты!» — подумал я, удивленный появлением грабителей среди освещенной площади, в центре города, у самого подъезда клуба, где стоял полицейский наряд. Но городской с любопытством глядел на нас, даже не думая сдвинуться с места.

— Тише! — сказал один из нападавших. — Не шумите, а то наденем наручники.

Из дверей подъезда вышел Литовцев, за ним виднелась голова старого швейцара.

— Вот и отыгрался! — сказал веселый сыщик и, меняя тон, сухо добавил: — В сыскное! Да не двигайся, а то морду расквасим!

Предатель Гасан, словно ничего не случилось, подобрал вожжи, гикнул, свистнул. Кони рванулись, увозя меня вместе с тремя пинкертонами в сыскное отделение, находившееся при контрразведке.

У каждой двери контрразведки стояло по часовому, по коридорам прохаживались офицеры с черепами на погонах. На площадках тускло горел свет: полуосвещенный вход, мрачные лестницы с тяжелыми коврами, поглощавшими звук, были рассчитаны на внушение страха жертве, попавшей сюда.

Тишина, блеск штыков, пулеметы, смотревшие во двор, безмолвные офицеры, робкие люди, которых иногда проводили через залу, — все это могло навести кое на кого страх. Но мне, международному королю шулеров, не были страшны эти насупленные, безмолвные офицеры. Что мне могло угрожать? Политикой я не занимался, пропаганды никакой не вел. Ни большевики, ни монархисты не интересовали меня. Мне нужны были деньги, и я добывал их так, как умел. Но за последние два месяца я был чист, как поцелуй младенца, если, конечно, не считать ночного посещения греческого сейфа. Улики? Их не могло быть. В худшем случае я мог потерять деньги, вот эти самые доллары, которые находились в моем кармане, но, во-первых, они мне достались очень легко, и, во-вторых, без особых оснований отдавать их сыщикам я не хотел.

Надо было ждать событий. Я молча присел на деревянный диван около неподвижного часового и задремал.

Проснулся от крика. Кричали, вероятно, во дворе. Страх, отчаяние и невыносимая физическая боль слышались в этом сразу же смолкшем вопле. Часовой зябко подернул плечами, переложил из одной руки в другую ружье и искоса взглянул на меня.

— Видно, здорово у вас лупцуют? — сказал я, потягиваясь и зевая.

Часовой не ответил и молча отвернулся.

Сон уже прошел. «Как глупо! Привели, бросили у каких-то дурацких дверей, под надзор безгласного болвана!»

Из двери выглянул Литовцев и коротко бросил:

— Войдите!

Я вошел в довольно большую комнату с облупившейся крас-

кой на стенах. Сквозь открытые, схваченные железной решеткой окна доносились шумы Севастополя. Под нами сверкал город. Горели-перемигивались огни, и заглушенно доносились далекие паровозные гудки.

У большого, залитого чернилами стола сидел усатый полицейский офицер с капитанскими погонами на плечах. Возле него стоял поручик с аксельбантами на щегольском военном сюртуке. Офицер сонно поглядел на меня и, ковыряя спичкой в зубах, спросил:

— Он?

— Он самый! — Литовцев, разводя руками, сказал: — Король, можно сказать, жуликов, чемпион шулеров, магический хозяин чужих сейфов, и так глупо попался!

И все трое засмеялись, оглядывая меня.

— В чем, господа, дело? По всей вероятности, вы принимаете меня за кого-то другого...

— ...и тут вышло досадное недоразумение, хотите вы сказать, — перебивая меня, заговорил поручик. — Не трудитесь, все рассчитано и сделано совершенно точно и по плану.

— Но тогда почему вы задержали меня? — Я достал свой румынский паспорт.

Все трое снова расхохотались.

— Не трудитесь, господин барон Думитреску, — весело скаля зубы, сказал капитан.

— ...он же греческий подданный Михалидис, он же румын Ионель Фатулеску, — подсказал Литовцев.

— ...он же, три месяца назад, стамбульский меняла Алекпер Наги-оглы, — вытаскивая спичку изо рта, добавил поручик.

— ...он же одесский купец Розензон, арестованный в Праге за сбыт фальшивых лей, — снова вмешался капитан.

— ...и он же, наконец, бакинский рыбопромышленник Самуил Поляков, вскрывший весной прошлого года сейф Лионского коммерческого банка, — ласково проворковал Литовцев, глядя мне в глаза.

— Ну и что из всего этого, господа? Вы так можете говорить до самого утра, оставаясь абсолютно правыми в ваших определениях, тем не менее не сможете инкриминировать мне ни одного преступления, совершенного мною на территории, занимаемой войсками генерала Врангеля.

— Можем, голубчик, можем, милый, можем, липовый барон Шуккерт, все можем, — захихикал, потирая руки, капитан. — Разве сейф, который вы, сладкий мой, вскрыли вчера ночью во время посещения без визитной карточки дачи табачного владельца Агроканаки, находился не на нашей территории?

Хотя я и не ожидал, что мой ночной визит будет обнаружен полицией, но тем не менее сбить меня с толку подобным образом было невозможно.

— Вы что-то путаете, друзья,— сухо сказал я.— Несете какую-то чушь. Этого дела я и не знаю. Повторяю вам: я здесь, в Крыму, отдыхаю от интересных и больших операций, совершенных за границей. Ничего и никого не знаю и на вашей добровольческой территории никаких дел с сейфами не имел, а что я делал на иностранных землях, вас не касается.

— Ой, так ли? — горестно вздохнул капитан и, воздымая руки горе, проговорил елеинным голосом: — Вы ошибаетесь, дорогой барон, нас все касается, хотя, правда, иностранные сейфы интересуют меньше, чем здешние. Итак, вы чисты, как голубь? Не правда ли?

Черт его знает, что еще знал и готовил мне за этим вопросом этот человек!

— Абсолютно! Требую, чтобы меня освободили, как иностранного подданного и как невинно задержанного человека. У меня сердце обливается кровью, слушая ваши возмутительные обвинения.

— Сейчас у тебя и морда обольется кровью! — внезапно закричал капитан и вскочил на ноги.— Ну! Сознawайся сейчас же, сукин сын, а то всю морду разворотим!

— Фу, господин капитан, как неприлично, как нехорошо! — смеясь одними глазами, заговорил сыщик.— Ну разве же так можно: иностранец, господин купец, вдобавок барон, почти его сиятельство,— и вдруг по морде! Их сиятельство привыкло к другому, европейскому обхождению. Не так ли, господин барон?

— Пошел к черту, лежавый! А вы, господа, ответите за подобное отношение к невинному человеку.

— Вот видите, как нехорошо ругаться,— снова захихикал Литовцев,— заругались и господин-барона на то же вызвали. Их сиятельство осквернили свой ротик словом «лежавый». Напрасно, напрасно, а надо ведь по-хорошему, по-деловому,— перелистывая большое дело, лежавшее перед ним, невозмутимо продолжал он.— Вот как надо по-нашему, по-православному! — И гывалил на стол кипу денег, отобранную при аресте у меня.— Ваши денежки?

— Мои!

— Все ваши?

— Все!

— Та-ак-с! А которые выигранные и которые собственные? Ваши?

Надо было быть настороже, хитрая ищейка что-то задумала и, видимо, ловила меня на этих деньгах.

— Да вы, барон, не стесняйтесь, не думайте, что каверзу какую строю. Дело не в них, не в деньгах. Допрос дальше будет.

Дело было именно в них, в этих деньгах, особенно остро почувствовал я, слушая его успокоительные слова.

— Не помню! Деньги перемешались, которые мои и которые выигранные, я затрудняюсь ответить.

— А я не затрудняюсь, я помню,— очень дружелюбно сказал Литовцев и, вытягивая из кипы ряд банкнотов, откладывал их в особую стопку.— Вот эти двадцать фунтов — ваши, твердо помню, ваши фунты,— вы их сами бросили на стол крупье. И вот эти лиры, двести пятьдесят — тоже ваши, не спорьте, дорогой барон, ваши, ваши деньжата!

— Это выигранные! У меня не было ни фунтов, ни лир.

— Как не было? Были-с! Я сам видел, как вы их из кармана вынимали, я за вами, господин румынский купец, все время следил.

— И все-таки деньги не мои. У меня были только доллары!

— Как доллары? Вот это уж, извините, ваше сиятельство, ошибочка ма-а-люсенькая, вот такусенькая, но все-таки ложь! Долларов у вас было не больше сотни.

— Неправда! Вы, господа хорошие, что-то напутали и хотите во что бы то ни стало соединить меня с какими-то деньгами. Эти деньги мои, я их выиграл честно, на глазах у всех, но пришел я в клуб только с долларами и бросил на стол одни доллары. Можете справиться у крупье.

— Мо-о-лчать! Будешь еще учить, кого спрашивать! — снова рассвирепел капитан.

Но сыщик замахал на него руками:

— Тихо, тихо, Сергей Иванович, зачем кричать, к чему волноваться, все равно господин невинно оклеветанный нами барон через пять минут сознается и без крика. Вам угодно на крупье сослаться, будто бы крупье лучше, чем я, видел, какими деньгами вы швырялись,— пож-жалуйста! Я все предвидел,— за дверью крупье! Я знал, что вы, барон, человек демократический и без очной ставки с вами не обойдетесь. Сердюков, позвать свидетеля! — кивнул он головою надзирателю, стоявшему у двери.

Мозг мой напряженно работал. Я понимал, что улика моя связана с этими деньгами. Сначала я хотел было отказаться от долларов, выкраденных из сейфа Агроканаки, заявив, будто в перепутанной куче американской валюты никак невозможно отличить мои от выигранных денег. Но сейчас, когда и Литовцев, и капитан стремились связать дело с другой валютой, действи-

тельно выигранной мною, я понял: бояться надо именно выигранных денег. Но что угрожало мне? Деньги эти были, конечно, потеряны для меня, я не был настолько наивен, чтобы думать, будто этот растрепанный капитан и проигравшийся сыщик отдадут их обратно. Меня, конечно, в эту же ночь обдерут как липку, кинут в клоповник, где я проведу несколько голодных и скучных дней, может быть и неделю, после чего вышлют в любую из стран, подданным которой по своим паспортам я захочу быть. Я хорошо знал, что ничего большего мне не угрожает, ибо вешали и расстреливали только за политику. Но превратиться в обобранного дурака, да еще с изрядно побитыми боками, мне не хотелось.

В двери просунулся испуганный крупье. Он сгорбилсѧ и искательно смотрел на сидевших. Один раз он взглянул на меня и сейчас же отвернулся.

— Крупье? — спросил капитан.

— Так точно! Крупье! — по-солдатски ответил спрошенный и еще больше пригнулся.

— Этого знаешь? — ткнув в меня пальцем, спросил капитан.

— Так точно-с, знаю-с, они у нас бывали-с. Сегодня весь банк сорвали.

— Стой,— перебил его капитан.— Сегодня во время игры он ставку в банк клал?

— Клади-с. Две тысячи пятьсот...

— Какими?

— Долларами. Американской валютой-с... Пачечкой, сто штук по двадцать пять долларов...

— Неправда! — перебил его сыщик.— Не было долларов.

Крупье растерялся и, переминаясь с ноги на ногу, забормотал:

— Может быть-с, я ошибсѧ. Народу много, возможно, что и так.

— А я утверждаю, что крупье сказал правду, а теперь, испугавшись вас, путает. Вот эта пачка,— вытягивая свою, перевязанную ниточкой, пачку из общей кипы, решительно сказал я.— Вот они, мои деньги, остальные — выигранные!

— Что значит крупье убоился, что значит путает? А? Я вас спрашиваю: что это значит, что мы, нарочно, что ли, его страшаем? — вскипятился капитан и сердито крикнул крупье: — Ну, ты! Говори коротко и толком. Правду он говорит, что это его пачка и что остальные, выигранные, чужие, да только правду, а то закачу...

Растерявшийся крупье дрожащим, срывающимся голосом подтвердил:

— Истинный крест, правду говорю, их денежки — вот эта пачка, остальные — других гостей, а доллары — их.

Я твердо посмотрел на Литовцева. Сыщик неожиданно смутился. По его лицу прошла досада. Он неуверенно взглянул на капитана, недовольно воззрившегося на него, и смиренно пробормотал:

— Сергей Иванович, я сам видел обратное!

Но капитан жестом остановил его:

— Видел, видел, а люди говорят другое!

Он поднялся.

— Ну-с, заканчивайте, и хватит. А вам... — насмешливо протянул он, — ба-арон, советую вообще убираться из Крыма, и не позже как завтра же. В другой раз не все сойдет так благополучно. Подпишите протокол да убирайтесь отсюда!

Я молча протянул руку за своими деньгами.

— А расписку взять? — упавшим голосом спросил Литовцев.

— Расписку? Какую? О долларах?.. Конечно! Прежде распишитесь, что свои деньги сполна получили и что претензий к нам не имеете, вы, господин иностранец, — с нескрываемой злостью закончил он и отвернувшись к молчавшему поручику.

Я набросал расписку в получении своих двух с половиною тысяч долларов.

— Вот и все! Разыграли маленькую комедию чисто и благородно, обошлись без побоев по воспитанному, дворянскому личику и дело сделали, — пряча в стол расписку, вдруг рассмеялся Литовцев, глядя в глаза захохотавшему капитану.

Молчавший поручик также покотился от хохота. Стоявший у двери надзиратель услужливо хихикал, для виду отворачиваясь в сторону.

Я только сейчас понял, что эти два отъявленных негодяя провели меня. Смех душил их. Капитан приподнялся со стула и, тыча мне в глаза сложенными в шиш пальцами, захлебываясь от смеха, закричал:

— Эх ты, неуловимый ко-ро-оль жуликов! Дерьмо ты, а не король! — И, застонав от невыносимых судорог смеха, снова повалился на диван.

— Попались, голубь мой ясный, попались, птичка райская, и так просто, как даже простой, уважающий себя трамвайный воришка не позволит обмануть.

— Во-от расписочка... а вот и денежки ваши... — помахивая бумажкой, сказал сыщик, — а вот и номера серий банкнотов. Видали, как просто? Пожалуйста, пускай сунется румынский консул защищать своего подданного господина барона Ду-



митреску, а мы ему под нос вот эту самую расписочку. Мало этого покажется — протокольчик покажем с собственноручной подписью господина Думитреску, удостоверяющий, что пачка американских долларов в сумме две тысячи пятьсот принадлежит ему. А буде и это покажется консулу недостаточным, мы предъявим заявление табачного торговца Агроканаки, где черным по белому сказано, что пачка американских денег по двадцать пять долларов в каждой купюре, суммою в две с половиной тысячи долларов, номера серий такие-то, принадлежат ему и украдены неизвестным джентльменом в ночь под двадцать восьмое августа из вскрытого сейфа. Понятно?

Он захлебнулся тихим радостным смешком, потом внезапно поднялся.

— А самое главное, барон, впереди. Оно начинается только сейчас.

Я молчал, но в груди все клокотало.

«Действительно, так глупо и просто попасться на удочку этих прохвостов! Дать обойти себя двум средним полицейским ищейкам! Дурак! Ид-диот! Сопляк!» — думал я, хотя глаза сонно и безразлично смотрели на Литовцева.

— Самообладание есть, что и говорить-то, но что вы скажете сейчас, ба-р-рон?.. Деньги-то ведь, почтеннейший, фальшивые. Понимаете, фальшивые деньги, — повторил сыщик, — фаль-шивые!

— Неправда, мои деньги настоящие!

— Нет, правда, голубчик, липовые, абсолютно фальшивые, с острова Крита, только выделки довольно чистой, — ну, да для таких болванов, как вы, дорогой барон, они сойдут за настоящие. Хе-хе-хекс! Вот, видите под Вашингтоном коричневую линию, да и бумажка несколько груба-с! Липа, липа, барон! Но дело не в этом, вы, пожалуйста, не огорчайтесь, а слушайте дальше. Итак, по законам бывшей Российской империи, имеющим силу на всей территории Добровольческой армии, вы, дорогой мой, будете преданы суду по двум статьям. Первая статья Уголовного кодекса... и статья сто семнадцатая того же кодекса о вооруженном налете и краже со взломом, что по российским императорским законам наказывается заключением преступника не менее восемнадцати лет каторжных работ. Второе. Хранение и распространение заведомо фальшивых денег, да еще в исключительное, военное время, наказывается, как известно, десятью годами тех же работ и в совокупности даст вам, дорогой барон, не менее двадцати восьми лет заключения. .

— Ложь! Деньги эти настоящие, ведь вы же сами уверяете, будто бы всего два дня назад они принадлежали купцу Агрока-

наки. Не думаете ли вы, что почтенный греческий подданный купец — фальшивомонетчик?

Сыщик засмеялся, а капитан даже хрюкнул.

— Все в свое время, все по порядку, голубчик.

Повернувшись к стоявшему в стороне крупье, капитан вдруг сухо сказал:

— Ты больше не нужен, можешь идти, но... — И поднял угрожающе палец над головою: — Понимаешь?!

Крупье согнулся почти до пояса и забормотал:

— Ни звука... Что я... разве ж не понимаю! Могила!

— То-то! — нахмурился капитан и приказал надзирателю: —

Отпусти его, да, пока не позову, не входить!

— Слушаю-сь! — рявкнул полицейский и вышел, уводя из комнаты крупье.

Минута прошла в молчании. Я чувствовал на себе издевательские глаза победителей.

— Ну-с, продолжим, — когда в коридоре затихли шаги, снова заговорил сыщик. — Итак, вас, дорогой барон, интересует все та же проклятая пачка долларов и как могли фальшивые деньги очутиться в сейфе у купца Агроканаки? — Он потер руки, хлопнул себя по коленкам и снова засмеялся. — А очень просто. Не было там фальшивых, дорогой сэр! Настоящие были, американского казначейства, и у вас в кармане они такими же были, но только до сегодняшнего вечера, понимаете?

— Понимаю, мерзавцы!

— Ну зачем же такие непарламентские выражения, милорд! Без химии и отнюдь без участия магии мы с уважаемым Сергеем Ивановичем, — он ласково указал на заливавшегося смехом капитана, — одним прикосновением рук превращаем пачку настоящих, агроканаковских... виноват, ваших долларов в фальшивую пачку ровно в две тысячи пятьсот критских, весьма грубошерстных, поддельных долларов. А для чего, как вы думаете, барон, мы это делаем? Небось думаете, из каких-либо низменных, грязных побуждений? Ошибаетесь, милорд, из одной только чистой идеи. Во-первых, накрыть, арестовать и ликвидировать опаснейшего международного преступника, то есть вас, и тем оказать обществу огромную пользу. Во-вторых, вознаградить себя за труды и хлопоты, понесенные в состязании с вами. В-третьих, показать завтра же вызванному сюда через полицию греческому купцу доллары и объявить капиталисту, что деньги, украденные у него из сейфа господином Думитреску, оказались фальшивыми. В устрашение же сего буржуя показать вашу расписку, протокол и прочее. Зная трусливую натуру господина Агроканаки, мы с капитаном надеемся получить с

него не менее тысячи золотых рублишек. Не так ли, Сергей Иванович?

— Натурально! — подтвердил капитан.

— Мошенники! Ловко работаете, подлецы! Восхищаюсь вашей работой!

— Погодите, это еще не все! Еще следует два пунктика, после чего вы прямо-таки влюбитесь в нас.

И, вытягивая из кармана мой портсигар, Литовцев шелкнул им и любезно протянул мне.

— Курите, дорогой барон, хорошая папироса в подобные минуты помогает настроению, прочищает мозги.

Я закурил свою же собственную папиросу и приготовился слушать заключительные «пунктики» работы этих прохвостов.

— Итак, продолжаю. Четвертый пункт — те деньги, которые вы выиграли в клубе. Они также пойдут в нашу пользу, — вы помните, конечно, мое обещание отыграть сегодня же? Человек слова и джентльмен, я не мог поступить иначе и, как видите, сдержал обещание! Вернул шестьсот и кое-что еще выиграл!

— Детишкам на молочишко! — загоготал капитан.

— Именно! На молочишко! А теперь последний и самый радостный для вас пункт, уважаемый милорд. Надеюсь, вы же понимаете, как умный и опытный человек, что после столь откровенного разговора по душам, который мы вели, нам с Сергеем Ивановичем никак невозможно оставлять вас в заключении или, паче чаяния, на свободе при помощи там порук, бегства, — нам это неудобно. Словом, любезный друг, можете себя считать усопшим, а мы с капитаном примем для этого все зависящие от нас меры.

— Натурально! — подтвердил капитан и, не давая мне говорить, закричал: — Захаренко!

В двери заглянул надзиратель.

— Взять его в отдельную!

— В ту, что под полом?

— В ту самую, да смотри, чтобы ни один человек не знал и не видел этого сук-киного сына! Адью, барон! — делая ручкой и поворачиваясь ко мне спиною, закончил капитан.

Два дюжих полицейских и неестественно хмурый, с вытаращенными навыворот глазами Захаренко повели меня по коридору и затем через двор.

«Воображаю, что это за прелесть», — подумал я, подгоняемый сердитым Захаренко.

Выйдя из дверей сыскного, мы по черному ходу спустились

во двор. Темный, неуютный, грязный, он лежал передо мною. Конвоиры повернули к дальнему флигелю. Два крохотных оконца со слабым, мерцающим огоньком едва прорезали глухую каменную громаду здания.

«Гроб! Отсюда не вырваться!»

Справа, чуть в стороне, тянулся ярко озаренный огнями особняк контрразведки. У освещенного подъезда стояли парные часовые. В открытых окнах второго этажа мелькали люди.

У подъезда стоял шикарный автомобиль с откинутым назад фордеком. Около машины, похлопывая себя стеком по крагам, прогуливался щеголеватый молоденький шофер. Он скучающим взором поглядел на меня и ухмыльнулся.

— Куда вы этого франта, ребята? — спросил он моих конвоиров.

Захаренко холодно взглянул на любопытного и мрачно засопел.

В подъезде послышались шаги, раздались голоса и дружный смех. В дверях показались три офицера; разговаривая, они подошли к машине. Захаренко, вытянувшись в струнку, отдал честь.

Мы остановились, пропуская офицеров. Шедший впереди, полный, выхоленный, гвардейский полковник рассеянно козырнул моим конвоирам и грузно опустился на сиденье. Шофер забежал с другой стороны и стал заводить мотор. В этом полковнике я узнал начальника объединенной морской и сухопутной контрразведки всего севастопольского района, графа Татищева. Позевывая и прикрывая рот белой перчаткой, он что-то говорил сопровождавшим его офицерам, как вдруг его рассеянный взгляд остановился на мне. Изумление и любопытство отразились в нем. Да и действительно, картина была столь необычна, что любой из людей так же изумленно воззрился бы на щегольски одетого молодого человека, в белоснежной сорочке с крахмальной грудью, белом галстуке, в прекрасном английском смокинге, лакированных туфлях и шелковом шапо-кляке, окруженного тремя грязными небритыми полицейскими.

— Кто это? — спросил он, шурясь и разглядывая меня.

— Жертва произвола, ваше превосходительство, румынский подданный барон Думитреску, имевший несчастье быть богатым человеком, что и не понравилось господину начальнику сыскного отделения.

— Политический?

— О нет! Избави бог, наш румынский купец никогда не занимается политикой, наша политика — делать дела и доллары!

Пока я говорил, полковник в упор глядел на меня каким-то странным, но отнюдь не враждебным взглядом. Казалось, он не то что-то обдумывал, не то припоминал.

— Так, значит, не политический? — снова переспросил он, как видно думая совсем о другом.

— Абсолютно нет, ваше превосходительство. Этим совсем не интересуюсь! — ответил я.

— Давно румынский подданный?

— Второй год. До этого был и греческим, и итальянским, но свое основное, русское подданство ношу, ваше превосходительство, всегда с собой в сердце!

Я понимал, что создается какая-то новая комбинация и что только в ней может быть мое спасение.

— Вы жулик?

— Никак нет. Я шулер, и весьма высокого класса.

— Языки знаете?

— Четыре европейских, пятый турецкий.

— Do you speak English?

— Yes, I do and even perfectly as a real diplomat<sup>16</sup>.

Рука в белой перчатке медленно, словно в раздумье, барабанила по борту машины. Шофер, изумленно открыв рот, повернувшись от уже гудевшей, заведенной машины, глядел на нас. Один из офицеров, почтительно наклонившись к полковнику, что-то прошептал в самое ухо.

— Вот именно! Я как раз думал об этом, — произнес полковник. И вдруг властно обратился к застывшему, замершему в солдатской стойке Захаренко: — Ты старший?

— Так точно, ваше при-ст-во! — рявкнул Захаренко, вжимая голову в плечи и тараща на начальство глаза.

— Так вот, арестованный передается в контрразведку и будет числиться за ней... Или вот что... налево кругом марш — и бегом, зови сюда капитана Голоскухина. Жи-в-во!

Захаренко сорвался с места и понесся через двор.

— А вы, ребята, можете идти обратно.

Конвоиры ушли.

— Что у вас отобрали в сыскном? Только говорить правду! — сказал полковник, поднимая на меня свои тяжелые, заплывшие глаза.

— Пять тысяч долларов, не считая золотого портсигара и часов!

Оба офицера весело рассмеялись. Полковник спросил:

<sup>16</sup> — Говорите вы по-английски?

— Говорю, и даже отлично, как настоящий дипломат (англ.).

— Кто?

— Капитан Голоскухин и сыщик Литовцев.

Офицеры снова засмеялись, а шофер, видимо, бывший своим в этой среде, завистливо вставил:

— Губа не дура!

Из дверей сыскного отделения стремительно выбежал капитан, оглянулся по сторонам и, увидя автомобиль и нашу группу, большими скачками побежал к нам. Капитан был без шапки, в одном форменном сюртуке. Запыхавшись, он остановился возле молча глядевшего на него Татищева. Лицо Голоскухина было бледно, по нему ходила судорога. Он мотнул полковнику головой:

— Звали, ваше сиятельство?

Татищев несколько секунд молча и насмешливо смотрел на капитана, затем спросил:

— За что арестован этот господин?

Капитан со злобою глянул на меня и быстро зашептал, пригибаясь к голове сидевшего в машине Татищева:

— Опасный преступник, международный вор и аферист. Попался с личным, обстоятельства военного времени требуют скорейшей ликвидации.

— Не так энергично! — отодвигаясь от склонившегося к нему капитана, сказал Татищев. — Значит, вор и аферист?

— Так точно!

— А может быть, еще и большевик? — насмешливо протянул полковник.

— Все может... быть... имеются и на то данные, — озадаченно произнес Голоскухин.

— А-а! Ну, а раз имеются на то данные, то политические дела должна вести контрразведка, надеюсь, вы с этим согласны, капитан? Будьте добры сейчас же дело и показания этого большевика переслать в мой кабинет в отдельном пакете, а также и пять тысяч долларов, несомненно принадлежащие Коминтерну! — совсем издевательски закончил Татищев.

Шофер, улыбаясь, отвернул в сторону свое сияющее лицо, офицеры смеялись.

— А также и золотые часы с портсигаром, — напомнил я, глядя на помрачневшего капитана.

— Но... ваше сиятельство... осмелюсь заявить: это же уголовник, шулер, вскрыватель сейфов... Его действия подлежат ведению сыскной полиции.

— Позвольте, капитан, вы только что заявили, будто человек этот, помимо всего, подозревается и в большевизме и что у вас есть веские основания утверждать это? Надеюсь, вы так

говорили и я не ослышался, господа? — корректно обратился полковник к своим офицерам.

— Так точно, господин полковник, мы ясно слышали эти слова! — давясь от смеха, подтвердили офицеры.

— И я тоже слышал, — заявил шофер.

— Я... я... буду жаловаться... я... я... генералу Врангелю заявление сделаю.

— Что? Жаловаться будешь? Молчать, кислая шерсть, взятчик, сук-кин сын, а то я тебя самого в холодную упрячу! — очень тихо и очень выразительно пообещал полковник и внезапно закричал: — Через пять минут чтобы все было в моем кабинете! Да руки по швам, когда с вами говорит начальство!

Голоскухин что-то невнятно пробормотал, вытягиваясь перед Татищевым, словно рекрут перед грозным капралом.

— А его держать до моего распоряжения в контрразведке! — И, сделав жест шоферу, Татищев отвернулся. Машина мягко взяла с места и исчезла в темноте двора.

— Идемте, милостивый государь, в помещение, — вежливо обратился один из офицеров.

— До свидания, папа Голоскухин! Тю-тю, брат, деньги!... Что теперь останется детишкам на молочишко! — издевательски сказал я и расхохотался, глядя, как капитан, даже не слышавший моих слов, изо всей силы ударил по лицу Захаренко, так неудачно отводившего меня в каземат.

Мое положение, черт побери, если и не осложнялось, то, во всяком случае, становилось своеобразным. Зачем, по какой причине этот откормленный гвардейский полковник отобрал меня у сыскного капитана? Мои доллары? Положим, они заинтересовали его, но ведь еще до этого он зачем-то внимательно оглядывал меня? Но зачем? Политикой я не занимался, — значит, для контрразведчика ценности не представлял. Судя по его тону и довольно дружелюбному отношению ко мне, вредить не собиравшись, скорее можно было предположить, что я был нужен ему. Но для чего? Какое отношение имел я к крымской контрразведке и ее сиятельному начальнику?

Офицер отвел меня в небольшую комнату и положил передо мной несколько крымских и константинопольских газет. На мой вопрос, зачем я здесь, он пожал плечами и удалился. Отодвинув в сторону газеты, я припоминал все детали сегодняшнего дня. День был очень богат приключениями, но, как видно, они еще не кончились, что-то еще ждало меня впереди. Утренняя прогулка, встреча с незнакомкой, утро, полное впечатлений от встречи, клуб, игра, деньги, потом сыскное отделение и ловкий трюк

ищейки, на который я так глупо попался. Я вспоминал разъяренное лицо обескураженного Голоскухина, когда он, матерясь и хрипя, в бессильной злобе колотил по глупой морде Захаренко. Вспомнил и расхохотался.

— Вот это хорошо! Хороший смех говорит о спокойной совести. Не правда ли? — услышал я за собою.

За столом, опершись о него руками, стоял полковник Татищев. Когда он вошел, я не заметил.

— Не вставайте, не вставайте, — сказал он, опускаясь в кресло и закуривая папиросу. — Приступим к делу. Оно заключается в следующем. Я знаю, кто и что вы, но ваши международные уголовные подвиги нас интересуют менее всего, сейчас дело в другом. В городе вас знают как важного и солидного господина, купца и интеллигента, имеющего деньги и вес. Таким я и принимаю вас. Вы вместе с одним из моих офицеров поедете в здание Дворянского клуба. Будут господа офицеры союзных армий, будут адмиралы, будут представители иностранных держав, будут дамы, преосвященный Вениамин и будут, наконец, делегаты европейских парламентов и либеральных организаций, но не будет, черт побери, так называемой городской интеллигенции, всей этой штатской де-мо-кратической публики, которая так необходима республиканским французишкам и благонамеренным англичанам! Кое-кого мы, положим, найдем, но это будут жалкие, запуганные деятели различных копеечных ведомств в обшарпанных штанах и кургуzych пиджачишках. Вы же понимаете, что подобная шушера, голодная и задрипанная, никак не сможет представить собою де-мо-кратию свободной России! В другое время я прекрасно обошелся бы своими офицерами и дамами из общества, но ведь с этой союзной комиссией прибыли и представители ра-бо-чей английской партии, черт бы ее побрал, члены парламента, разные там независимые и либералы. Ну-с, вы понимаете, в чем дело? — спросил полковник.

— Как будто бы да!

— Ну и отлично! Если оправдаете наши надежды, то после банкета будете аб-со-лютно свободны и никакой Голоскухин уже не осмелится задержать вас.

— Благодарю вас, полковник!

— Я, батенька, человек военный и разные там фигли-мигли не знаю, да и знать не хочу! Презираю этих самых парламентариев, приезжающих сюда. В другое время я наплевал бы на все их демократии и гуманности, от них до большевиков один только шаг. Но сейчас приказано с ними нянчиться, уболаживать, обхаживать их. Всякие там рабочие газеты кричат о том, что мы изверги, палачи, — так вот вам, пожалуйста, городское



самоуправление, свобода слова, прессы и т. д. Понимаете? Вы должны будете изображать собой нечто вроде местного Керенского, что ли... такого, знаете ли, общественника, говоруна, так сказать, демократию Севастополя.

— А не рискованно ли будет, ваше сиятельство?

— Это — как удастся! Повторяю: мне вас жалеть нечего. Сами себя пожалейте. Сумеете быть одну ночь таким русским меньшевиком-демократом — ваше счастье... Если же выбор наш окажется неудачен, к утру от вас останется прекрасно сшитый фрак, тело же будет купаться в море.

Я снова вежливо поклонился полковнику. В комнату тихо постучали. Вошел один из офицеров.

— Принесли, — доложил он, передавая полковнику большой пакет.

Татищев небрежно вскрыл его костяным ножом и высыпал из него кучу самой разнообразной валюты.

— Ваши деньги, — с очаровательной улыбкой сказал он и, отделив от всей пятитысячной кучи сто долларов мелкими купюрами, протянул их мне. — Берите! Джентльмен должен всегда быть при деньгах, — проговорил он, засовывая остальные доллары себе в карман.

— ... и при часах, — добавил вошедший офицер, передавая мне мои часы, отобранные Голоскухиным. Отдав часы, он спокойно закурил папиросу из лежавшего на столе моего портсигара и, разглядывая его на свет, определил: — Восемьдесят шестой пробы. Вероятно, весит не менее фунта?

— Четыреста сорок граммов, — ответил я.

— Вес отличный! — похвалил он и опустил его в свой карман.

— Итак, ваша свобода зависит от вас самих, — сказал полковник. — Серж, садитесь, с меся... меся...

— Базилевский, — подсказал я.

— ...с меся Базилевским в автомобиль и представьте его обществу.

Машина вынесла нас на шумную улицу. Тяжелые, железные ворота контрразведки остались позади. Я поглядел по сторонам. Город жил своей шумной ночной жизнью, такой же смешной и нелепой, как нелеп был весь сегодняшний день.

— Как в кинематографе! — засмеялся я, закуривая отличную папиросу, предложенную мне моим соседом, из портсигара, дважды украденного у меня за этот день.

Забыв свои опасения, Конов, Савин и Маслов с интересом слушали удивительную повесть старого господина, такую необычайную и неожиданную.

От вод Босфора потянуло легкой прохладой, воздух стал чутьку свежее, и ветерок пробежал по зеленым листьям винограда.

Турок-слуга унес остатки прославленного оттоманского плова. Старик что-то сказал по-турецки другому, и тот внес в беседку вазу с фруктами, виноградом и нарезанными ломтями дыни.

— А теперь, друзья, шербет по-константинопольски и черный турецкий кофе.

Базилевский взглянул на часы.

— Если я вас не утомил и вы не спешите к пароходу, то у нас есть еще достаточно времени.

— Прошу вас, продолжайте вашу удивительную историю,— попросил Савич.

— Спасибо. Продолжаю...

— Мы сейчас поедem в Коммерческий клуб. Там уже собираются господа интеллигенты, цвет и краса местной демократии,— чуть улыбаясь, говорил офицер.— Вам, как возглавляющему эту команду, надо знать хотя бы в лицо своих единомышленников. Ну и чтоб они узнали вас — это наша первая задача. Вторая — поговорите кое с кем из них. Говорите все, что вздумается, о любых конституциях и свободах, на любые темы, конечно кроме большевистских разговорчиков. За это мы не поглядим по головке ни вас, ни их...

— А мне это ни к чему.

— Вы должны быть представителем русской либеральной демократии и выразителем чаяний бежавшей в Севастополь прогрессивной интеллигенции. Может быть, вы — профессор, литератор.— Мой собеседник оживился.— Хотите быть литератором, представителем левого крыла литературы? Вы вообще в ней что-нибудь понимаете?

Русскую современную и классическую литературу я знал сравнительно неплохо,— все-таки гимназия, политехникум, студенческие землячества, журналы «Знание», «Пробуждение», «Альциона», «Нива», петербургские вечера в клубах, вернисажи и т. д., то есть вся моя студенческая молодость дала мне в этом отношении известные знания и лоск.

— Хорошо. Я могу сойти за столичного юриста, любителя литературы и искусств,— ответил я.

— Пусть будет так,— ухмыльнулся мой спутник.— Я не знаю, насколько вы сильны в литературе, но в области процессуальных и уголовных кодексов, несомненно, мастак.

Мы оба рассмеялись его шутке так дружно и весело, что со

стороны можно было подумать, хохочут два старых закадычных друга.

— А как вас представить этому почтенному обществу, барон? — осведомился офицер.

— Дворянин Базилевский, Евгений Александрович, русский, спасшийся из подвалов петроградской Чека. О баронстве, румынском или каком ином подданстве — ни звука. Это мне пригодится позже, когда...

— Когда? — очень живо заинтересовался офицер.

— Когда я выполню возложенную на меня господином полковником миссию и иностранные гости разъедутся по домам.

Экипаж свернул к Александровскому проспекту, и освещенное огнями здание Коммерческого клуба предстало перед нами. Фаэтон остановился, и мы вышли на блестящий под электрическими огнями асфальт.

— Господин ротмистр, заглянем на секунду в зеркало, посмотрим себя, опрыснем слегка костюм духами, — поправляя галстук, предложил я.

— Это хорошо. Джентльмен в вас угадывается во всем, — то ли искренне, то ли издевательски согласился офицер, тоже задерживаясь у зеркала.

Дежурный у входа принес пульверизатор и, вежливо улыбаясь, протянул его мне.

— Вас тут, видимо, знают все? — поднимая бровь, спросил офицер, охорашиваясь у зеркала.

— Только служащие и двое-трое из дежурных старшин, да и те в лицо... Их интересует не фамилия, а деньги и щедрость посетителя. — И, сунув швейцару доллар, я пошел дальше.

— Вы мне начинаете нравиться, Евгений Александрович! В вас действительно есть что-то от подлинно русского барина и мота, — с невольным уважением сказал офицер.

— Скорее от Расплюева, — вставил я.

— От кого? Не знаю такого.

— Персонаж из пьесы Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».

— Не видел... Я обычно в столице на балет и забавные фарсы хаживал. Терпеть не могу русских назидательных пьес.

Мы вошли в залу. Это была большая нарядная комната с шестью высокими окнами, выходившими на улицу. Огромная люстра заливала зал ярким светом. На полу был толстый, выдавший виды, потертый ковер, по стенам расставлены старомодные резные полукресла с высокими спинками, а посреди залы — длинный овальный стол, покрытый цветной скатертью со свисающей бахромой.

У стен сидело пять-шесть человек, сразу же поднявшихся при нашем появлении. За столом было еще несколько одетых кто во фрак, а кто и в пиджаки весьма старого покроя и фасона.

Нам навстречу через всю залу поспешил благообразный господин с приколотым к груди голубым бантом, в середине которого виднелся миниатюрный трехцветный российский флаг. Это был старшина сегодняшнего собрания, чуть лысоватый, пожилой мужчина с небольшой бородкой и аккуратно подстриженными усами.

— Здравствуйте, господа! — делая общий поклон и небрежно пожимая руку склонившегося перед ним старшины, произнес офицер. — Прошу познакомиться. Меня вы, возможно, и не знаете, я ротмистр Токарский, Сергей Сергеевич, прикомандированный к вам для встречи наших славных заморских друзей. Я говорю об англичанах, французах, бельгийцах и прочей с... — он запнулся, и я понял, что он с трудом сдержался, и продолжал: — с-социалистической, парламентской и рабочей делегаций, которые соблаговолили посетить нас. Теперь представляю вам моего доброго друга, верного и непреклонного борца за правопорядок в России, блюстителя высоких нравственных начал в человеке и самое главное, — ротмистр поднял вверх палец, — человека исключительной нравственности, светлых идеалов, носителя подлинно гуманных качеств современного цивилизованного общества.

Все поклонились в мою сторону.

— И к тому ж непримиримый враг большевиков, коммунистов и прочих тому подобных...

Я опять испугался, чтоб ротмистр в своем конногвардейском рвении залихватски не обругал бы всех инакомыслящих, но, вовремя спохватившись, офицер закончил:

— ...мятежников и бунтовщиков. — Он отпил глоток вина, услужливо поднесенного ему, и продолжал: — Что же касается господина...

— Базилевского, — шепотом подсказал я.

— ...Евгения Александровича Базилевского, то он, я думаю, вам всем известен. Он будет во главе вашей группы представляющих крымскую общественность при ставке его высокопревосходительства генерала Врангеля. Всем понятно это? — металлическим голосом, откидывая назад голову, многозначительно спросил ротмистр.

— Всем... абсолютно всем! — послышались вокруг голоса.

— Ну, а если так, то я, господа, умываю руки, становлюсь нем и только присутствую при вашем свободно протекающем, демократическом собрании. — И Токарский скромно удалился в

угол залы, придвинул к себе бутылку токая, принесенную услужливым старшиной.

— Прежде всего познакомимся, господа. Затем обсудим нашу предстоящую встречу с представителями культурного мира Антанты и совместно выработаем план нашей беседы с ними.— Я стал обходить стол, пожимая каждому руку.

— Снегирев, присяжный поверенный.

— Акоюнц, купец первой гильдии и фабрикант.

— Кокошин, доктор-гинеколог.

— Кравцов, директор московской седьмой гимназии, ныне преподаватель словесности.

— Попандопуло, коммерсант.

Всего я пожал шестнадцать рук. Все они принадлежали людям, которые под моим началом через час-полтора должны будут изображать либеральное общество крымских областей и свободную политическую мысль Крыма.

Все они были растерянны, напуганы, неуверенно держались со мной, бросая косые тревожные взгляды на сидевшего в углу и молча попивавшего токай ротмистра. Было ясно: бояться и его и меня, предполагая и во мне сотрудника контрразведки.

— Итак, господа, начнем. Но один лишь вопрос. Почему с нами нет женщин? Дамы, по-моему, необходимы и как приятный фон делегации и как эмансипированные женщины добровольческого Крыма.

— Женщины будут,— коротко бросил ротмистр.

— В таком случае переходим к делу. Кто из вас, господа, знает языки и какие?

Небольшое движение, шум, и затем некоторые из интеллигентов ответили — французский.

— Поднимите, пожалуйста, руки те, кто владеет французским языком.

Поднялось пять рук, затем неуверенно поднялась и опустилась шестая.

— Почему опустили руку? — спросил я.— Вы говорите по-французски или только понимаете?

Доктор-гинеколог, к которому обратился я, смущенно сказал:

— Понимаю, но говорить боюсь...

— И отлично. Пусть беседуют только те, кто свободно говорит по-французски,— навел корректив ротмистр.

— А кто знает английский?

Таких оказалось трое.

— А греческий или армянский не надо? — осведомился коммерсант Попандопуло, черноусый толстяк с восточными масляными глазами.

— Отчего ж, это тоже неплохо. Среди гостей, возможно, будут и греки. Только вы без знака господина Базилевского в разговор не пускайтесь. Бог вас знает, о чем вы там будете вести свои беседы,— бесцеремонно предупредил ротмистр.

— Вы кто по убеждениям? — Я посмотрел на присяжного поверенного.

Он растерянно оглянулся.

— Ну-ну, надо же мне знать, кто окружает меня и как я должен буду представить вас лейбористским гостям из Англии и демократам-рантье из Парижа.

— Я... я — независимый беспартийный,— робко пробормотал адвокат, бросая тревожный взгляд на офицера.

— Значит, будете у меня эс-эр, понимаете, социалист-революционер...

— Избави бог. Ведь я же никогда...

— На этот вечер — будете,— спокойно бросил ротмистр.

— Вы, господин Попандопуло, будете у нас идейным анархистом,— определил я роль греку-коммерсанту.

Как ни натянуты были минуты нашего знакомства друг с другом, но эти слова вызвали общий неудержимый смех присутствующих, и даже ротмистр рассмеялся, глядя на оторопевшего грека.

— Ничего, ничего,— успокоил я его,— запомните две-три фамилии ваших идейных учителей. Например...— Тут я запнулся, не помня имен апостолов анархизма.

— Князь Кропоткин, Михаил Бакунин и Нестор Махно. Для одного вечера хватит. Вы, почтенный мой, запишите у себя на манжете эти фамилии и раза два назовите их, когда будете беседовать с гостями,— посоветовал контрразведчик.

В пять минут я распределил роли среди согласных на все интеллигентов. Тут были и меньшевики-бундовцы, и беспартийные прогрессисты, и монархисты.

Прошло минут тридцать, пока наконец я расшевелил этих запуганных людей, рассказал им, как следует держаться с иностранцами.

— Беседуйте с ними поодиночке и все вместе. Держитесь свободно, непринужденно, так, чтоб они видели, что у нас нет ни запрета свободы суждения и слова, нет хамства и полицейского порядка,— объяснял им, покончивший со своей бутылкой ротмистр,— все свободно, благородно и чинно. Понятно?

— Так точно... Ясно... все понятно,— вразнобой заговорили они.

— На вас, господа, надеется генерал Врангель, и вы не подведете его? — еще раз спросил ротмистр.

Мне тоже было все понятно. Ответственность за встречу нес один я, так как все эти люди являлись лишь фоном, декорацией, главным же актером предстояло быть мне. Что ж! Судьба оставила мне один шанс из ста. Мое прошлое давало мне основание выиграть свою свободу, деньги и жизнь в схватке с сыскным отделением и контрразведкой.

Я наскоро высказал моей запуганной банде свою точку зрения на политику, будущее России, на конституцию (в этом месте ротмистр повернулся ко мне и удивленно хмыкнул). Словом, спустя еще сорок минут наша делегация была готова встретить свободных представителей свободной Европы.

И вдруг что-то осенило ротмистра.

— А ведь одного-двух евреев неплохо было бы иметь в вашей команде... извиняюсь, компании. Среди этой европейской шушеры будут, наверное, и евреи, так надо б и нам найти подходящего... — он помолчал и с трудом произнес: — иудея... А как вы думаете, господин Базилевский?

— Гениальная мысль! Но есть ли подходящий? — спросил я.

— Найдем, — уверенно сказал ротмистр и вышел к телефону.

Все как-то разом посмелели и стали со вниманием оглядывать друг друга.

— А надолго мы будем нужны вам, месье Базилевский?

— Дня на два, не больше.

— Вот и хорошо... Два — это отлично, слава богу, а то мы думали — это надолго, — слышались облегченные вздохи и голоса.

В залу бодрым шагом вошел ротмистр.

— Есть и евреи, будут и два караима. Словом, господа, все идет отлично, и я, — он взглянул на часы, — прошу всех поодиночке и группами не свыше двух-трех человек пожаловать через час в Дворянский клуб — угол Екатерининской и Нахимовского проспекта. Вот по этим пригласительным билетам.

Ротмистр роздал пригласительные карточки на толстом картоне с золотым обрезом, с двуглавым орлом в правом углу, с русским и французским текстом приглашения. Они были величественны и внушали уважение. Я видел, с каким трепетом и плохо скрытой радостью принимали от контрразведчика мои интеллигенты эти импозантно выглядевшие приглашения.

— В таком случае, господа, вперед! — скомандовал ротмистр, скептическим взглядом скидывая «представителей культуры» и «цвет интеллигенции» Крыма.

Действительно, люди, как и их костюмы, были разнородны, начиная от опереточного Попандопуло и вплоть до массивного, малоподвижного гинеколога.

— Чистая оперетка! — пропуская вперед всю эту компанию, шепнул я ротмистру.

— Сойдут, — уверенно сказал он. — Те тоже из лавочников да рабочих представителей собраны, лейбористы чертовы!

— Итак, отправляйтесь, господа, приведите себя в порядок, а через час чтобы все были в малой зале Дворянского клуба. Да держитесь там не кучками, не сбивайтесь в группы, а знакомьтесь, ходите, беседуйте с иностранцами свободно, — напутствовал их ротмистр и, поглядев вслед ушедшим, махнул рукой. — Архаровцы, босая команда! Один вы, барон, действительно выглядите великосветским львом. Вот что значит хорошая петербургская школа и европейские салоны!

Кажется, он уже забыл о том, что я был шулером.

Была ночь, южная, морская, севастопольская ночь, когда мы подъехали к Дворянскому клубу. Еще издали его подъезд светился огнями. Яркие, ложившиеся на асфальт полосы света, фонари улицы, зажженные фары отходивших и подъезжавших фаэтонов и авто, полицейские, наряд юнкеров, патрулировавший взад и вперед, — все это придавало улице торжественный, праздничный вид.

Десятка два французских моряков с характерными шапочками на головах, конные городовые, несколько топтавшихся в нерешительности горожан и взвод английских солдат усугубляли важность вечера в Дворянском клубе.

Ротмистр учтиво пригласил меня выйти из экипажа, я сошел под освещенные окна дома.

— Бре-г-гис! — услышал я знакомый голос.

Это Гасанка подкатил на своих дутых шинах к подъезду. Из его фаэтона вышли две дамы и полный, приземистый офицер.

— А-а, князь, издравствуй да! — расплываясь во весь рот в улыбку, приветствовал меня Гасан.

Из-за спины ротмистра я показал ему кулак. Лицо татарина расплылось еще шире.

— Ой, чок якши, князь!.. Когда завтра подавать нада?

— В \*десять! — ответил я, и Гасан отъехал, уступая место подкатившему авто.

Раскланиваясь налево и направо, мы поднялись по широкой лестнице, ведущей из вестибюля на второй этаж. Мой ротмистр стушевался и потух, видя, как много отлично одетых людей дружески и по-свойски раскланивались со мной.

— Э, да вы здесь не только свой, но и уважаемый человек, — с удивлением проговорил он, и в его голосе промелькнуло почтение.



«Погоди, то ли еще будет», — подумал я, ступая по мягкому ковру в залу второго этажа.

Эту большую залу с антресолями и хорами для оркестра за всегдатеи называли «банкетной», хотя официально она именовалась «андреевской». По стенам были установлены пять национальных флагов — старый русский, английский, итальянский, бельгийский, французский, а у входа развешался белый с голубым крестом морской андреевский флаг царского флота.

Среди собравшихся людей находилось немало военных, дам разного возраста и вида, три-четыре священника, возможно, даже, что какие-нибудь высокопоставленные духовные лица, так как у них был весьма величественный вид, спокойная походка, важная осанка. Один из них, в высоком, похожем на тиару клобуке, с золотым крестом на груди, по-видимому, являлся главным. К нему то и дело подходили под благословение разные военные и штатские господа.

— Кто это? — спросил я ротмистра.

— Преосвященный Вениамин, глава нашей крымской православной церкви, — с почтением ответил он.

Вдруг все пришло в движение. От дверей по зале пронесся офицер-распорядитель, встречавший нас у входа. Внизу заиграла музыка, зазвенели шпоры.

— Здравжамваштво!! — донеслось снизу.

Это прибыло какое-то высокое начальство, а с ним и иностранные гости.

Я взглянул на моего контрразведчика. Куда девалось его профессиональное спокойствие, нагловато-уверенное выражение лица, его апломб. Он, как и все военные, стоял навытяжку, руки по швам, упершись тупым взглядом в распахнутые двери, к которым приближались чьи-то шаги и явственней раздавался звон шпор. Среди вытянувшихся в стойке «смирно» людей я увидел и одного из интеллигентов, — это был тот самый почтенного вида человек с дореволюционной сенаторской бородой, отрекомендовавшийся мне при знакомстве: «Коннозаводчик... бывший, теперь просто русский дворянин, чающий порядка».

Двое англичан, прохаживавшихся вдоль залы, тоже остановились и выжидательно смотрели на дверь. Застыл у входа хозяин офицерского собрания, капитан второго ранга Голубинский.

И вдруг все ожило.

В залу, неторопливо ступая по ковру, вошел генерал, за которым, теснясь, двигалась большая группа военных и двое-трое штатских с лентами через плечо.

Это не был Врангель. Я раза три видел крымского властителя, мне хорошо запомнилась его длинная фигура в черкеске. За-

чем этот петербургский щеголь и кавалергард обряжался в так не шедшую к его худой, долговязой фигуре горскую черкеску, я не знаю, но все три раза я видел барона то в серой, то в коричневой, то в темной черкесках, с непомерно высокой белой папай на голове.

Нет, это не был Врангель.

— Его превосходительство генерал Шатилов! — весь тая от казенного восхищения, шепнул мне ротмистр.

Генерал, кланяясь налево и направо, ровным солдатским шагом пошел под благословение епископа Вениамина. Преосвященный, подняв руки над головой склонившегося Шатилова, стал громко читать молитву. Но меня это не интересовало. Я забыл всех — и генерала, и епископа, и ротмистра, и откуда-то появившихся и разом заполнивших залу иностранных гостей. Возле Шатилова стояла та самая дама, которую я встретил на прогулке. Она находилась в окружении важных офицеров и разодетых дам.

Генерал поцеловал руку епископа, дьяконы или кто-то в этом роде пропели «многая лета», и церемония встречи закончилась.

В группе стоявших за Шатиловым людей я заметил и моего «шефа», полковника Татищева. Как был мил и любезен с дамами и благообразным английским гостем этот выхоленный господин.

«Они даже и не подозревают, что перед ними контрразведчик», — слегка продвигаясь в их сторону, подумал я.

Татищев сделал изумленное лицо.

— Ба... — искренне удивленным голосом сказал он, — кого я вижу! И вы здесь? Очень рад встрече. — Он тряхнул мою руку вверх, по английской манере, и, как бы спохватившись, произнес: — Господа, разрешите мне представить вам моего старого и очень приятного знакомого... еще по Петербургу, — добавил он, по-видимому отождествляя помещение контрразведки с пышной петровской столицей.

— Евгений Александрович Базилевский, — боясь, как бы Татищев не забыл моей фамилии, поспешил представиться я.

— Сэр, ю спик инглиш? — пожимая мне руку, спросил англичанин.

— О, ес... Ай спик инглиш... — свободно заговорил я, целуя ручки дамам.

Татищев благосклонно кивнул головой, но в его глазах я уловил чуть заметный насмешливый огонек.

Дамы и англичанин в свою очередь представили меня несколькими, то подходившим к ним, то прохаживавшимся по залу, лицам.

— Я где-то встречал вас, но, убей бог, не могу вспомнить,— широко улыбаясь, сказал мне высокий, плотный мужчина, с которым только что познакомили меня.

— Вероятно, в Москве, Питере, а может быть, и в Париже,— небрежно и неопределенно ответил я.

Уж этого-то господина я очень хорошо помнил. Это был Тарасов, директор Азовско-Донского банка в Ростове-на-Дону, который я еще пять лет назад преградополучно очистил, забрав из сейфа около трехсот тысяч рублей.

Подшли трое офицеров, окруженных молодыми девицами, сбежавшими в Крым из Москвы и Петрограда. Двое пажей в довольно затрепанных парадных мундирах и круглолицый, розовощекий студент сопровождали их. Не знакомясь, мы легко заговорили друг с другом.

Французы были социалистами из какого-то левого крыла своей партии. Они шумно восторгались гостеприимством генерала Врангеля и «русского народа», хотя и удивлялись, почему их до сих пор не познакомили с русскими социалистами и представителями рабочего класса.

— Это несколько удивляет и настораживает нас,— вертя пуговичку на своем добротном сером костюме, говорил социалист.— Я сотрудник «Пепль», и мне поручено встретиться и поговорить с русской либеральной и независимой интеллигенцией...

— И с рабочим классом,— густым басом добавил второй француз.

Татищев мило и любезно рассмеялся и, чуть потрепав по плечу второго, судя по большим, натруженным рукам, истинного рабочего, сказал:

— Просто повезло вам. Как говорят у нас, на ловца и зверь бежит. Вот он, русский интеллигент, близко стоящий к социализму, но считающий себя независимым и беспартийным. Не так ли? — указывая на меня, добродушно спросил он.

Французы с любопытством воззрились на меня. Англичанин, видимо понимавший по-французски, процедил:

— Это любопытно.

— Да, господа, неожиданные встречи всегда бывают самыми ценными и искренними,— произнес я.— Ведь, идя сюда, я даже и не представлял, что встречу здесь настоящих, подлинных представителей рабочей Англии и всегда революционной, всегда передовой Франции,— я сделал корректный поклон.

Иностранцы дружно закивали головами. На их лицах было написано любопытство и удовлетворение.

— Когда я ехал сюда, я думал, что здесь будет обычный раут, прием, встреча с высокопоставленными европейцами из ком-

мерческого и финансового мира, и я даже хотел отказаться от приглашения, но, господа...— я выдержал паузу и восхищенно продолжал: — оказывается, нам сделала честь свободная, демократическая и парламентская общественность Европы, послав к нам, людям труда и разума, своих самых демократичных и просвещенных людей. Да, я не ошибся, господа, и я не льщу вам, называя вас самыми передовыми и просвещенными представителями Запада. Разве это не так? В двадцатых годах нашего взбодраженного войнами и революциями века кто является самым передовым и неподкупным носителем чистой идеи всемирного единения и братства? Вы, господа социалисты и делегаты рабочего класса, которому суждено в будущем стать хозяином земли! — воскликнул я, на всякий случай краешком глаза глянув на Татищева.

Он еле заметно кивнул головой и одобрительно улыбнулся. Вокруг нас уже была большая толпа переставших кружить по зале гостей. Шатилов тоже стоял возле и одними пальцами аплодировал мне.

— Браво, браво! Вы, господин...

— Базилевский,— подсказал ему Татищев.

— ...Базилевский, очень верно и точно выразили то, что думает его высокопревосходительство генерал Врангель и мы,— после некоторой паузы, закончил Шатилов.

— Разрешите, господин генерал, перевести ваши слова этим господам? — предложил я.

— Прошу. Я не настолько знаю английский,— сказал генерал.

— Господа,— сначала по-французски, а затем и по-английски начал я,— господин генерал Шатилов, являющийся вторым лицом в Крыму после генерала Врангеля, просит передать вам: слова, произнесенные мною, являются программой и точкой зрения верховного командования русской Добровольческой армии в Крыму. Оно считает, что свободная Россия, которая вскоре придет на смену большевикам, будет страной разума, науки, прогресса и демократии. Поэтому ваш приезд сюда — это праздник всех сил правопорядка и гармонии между просвещенным капиталом и свободным трудом.

— Прекрасно сказано! — по-французски подтвердил Шатилов и пожал мне руку. То же сделали представители западной демократии и лейбористы парламента, восхищенные моим красноречием.

По правде говоря, я и сам понравился себе, и только профессиональное чутье и осторожность шулера взывали ко мне. «Не трепись, хватит!»

Потом что-то говорил — я уже точно не помню — высокий, худой, с большим кадыком англичанин. Из всей его речи я запомнил лишь ее начало, так как дама-незнакомка стояла возле нас и с интересом смотрела на меня. Я слегка поклонился ей. Она ответила легким наклоном головы.

Затем говорили французы, кто-то из окружавших Шатилова людей, но все это было как в полусне. Я видел только лицо моей незнакомки, ее большие серые глаза.

— Господа,— донесся до меня чей-то голос,— прошу в банкетную залу... Медам и месье, господа офицеры, прошу,— высокий, темноволосый человек во фраке сделал приглашающий жест.

На хорах заиграла музыка. Мы пошли в боковую дверь.

Я еще раз уловил на себе пристальный взгляд незнакомки.

В банкетной зале стояли длинные столы, накрытые, как любил выражаться один мой знакомый, «по первому разряду»,— хрусталь графинов, высокие бокалы на тонких ножках, сверкающие ножи и вилки, белоснежные скатерти и салфетки, цветы на столиках и большие букеты посреди столов... И застывшие официанты во фраках и белых нитяных перчатках.

Возле меня очутился неизвестно откуда появившийся ротмистр. За ним стояло трое моих архаровцев — Попандопуло, врач-гинеколог, массивный, с сенаторской бородой на тупом, равнодушном лице, и... я оторопел... актер симферопольского театра, рассказчик жанровых сценок и анекдотов из еврейского быта Саша Колычев-Шуйский, на самом же деле носивший под двумя звучными боярскими фамилиями обыкновенную, довольно распространенную — Рабинович.

Он отлично знал меня, так как все свои свободные вечера проводил в казино и в игорных домах, не сводя глаз с играющих и со стопок золотых монет. Его даже называли «Германом» за эти ежевечерние посещения казино. Сейчас он не узнавал меня, хотя видел за зеленым столом неоднократно. По-видимому, его прочно и основательно проинструктировал ротмистр, перед тем как привезти сюда в качестве интеллигентного еврея от крымской общественности.

Итак, это был тот самый «преуспевающий еврей», довольный жизнью, «добровольцами» и своим положением в Крыму, которого не хватало для нашей компании.

Ротмистр предусмотрительно, на всякий случай, посадил моих «интеллигентов» в дальний угол, за музыкантский стол.

Мы рассаживались согласно указаниям распорядителя. Я был посажен в середину стола.

— Господин Базилевский, прошу вас сюда,— раздался со-

лидный баритон Шатилова,— сюда, сюда... Возле наших милых дам и вместе с нашими иностранными гостями.

И я очутился рядом с моей сероглазой дамой, в непосредственной близости от Шатилова и знатных гостей.

«Ог-го-го! — подумал я, видя, как Татищев, несколько важных генералов и штатских лиц остались за мной.— Берегись, не пришлось бы худо!»

— Господа! — поднимаясь с места и протягивая руки к присутствующим, начал полный, плотно сбитый генерал, обращаясь сразу ко всем.— Мы, русские люди, находящиеся пока в самой южной части нашей империи, в благодатном Крыму, имеем честь и удовольствие принимать на священной земле России дорогих и близких нам гостей, представителей тех славных союзников, совместно с которыми наши доблестные армии громили немецкие орды Вильгельма. Я прошу поднять бокалы и выпить до дна за представителей Антанты, присутствующих здесь!

Оркестр на хорах торжественно заиграл сначала «Боже, храни короля», затем «Марсельезу», бельгийский гимн и закончил музыкой «Славься, славься» Глинки. Правда, как только раздались прекрасные звуки «Славься», из разных концов банкетной, а в особенности из залы, в которой находились не приглашенные к столу люди, сначала неуверенно, а затем все громче и громче понеслось «Боже, царя храни».

Шатилов, держа в поднятой руке бокал, повернулся в сторону иностранных гостей.

— Извините меня, мадам, что, не будучи представленным вам, я разрешил поклониться...

Моя соседка спокойно остановила меня:

— Сейчас подобные церемонии не обязательны. Разруха, революция и гражданская война нарушили их. Кроме того, я вас немного знаю.

— Каким образом? — несколько встревожившись, спросил я.

— Ну как же! Ведь совсем недавно мы встретились. Я возвращалась с прогулки, а вы в великолепном фаэтоне ехали по Александровской улице. Вы слегка, совсем по-джентльменски, поклонились мне и моему спутнику.

— О да, я это помню, но как вы запомнили?..

Она засмеялась.

— В Севастополе не так уж много элегантных штатских людей с хорошими манерами.

— Благодарю вас, благодарю за ваши добрые слова. Ваше здоровье! — Я чуть коснулся губами бокала.

Она кивнула головой.

А вокруг произносились речи. Говорили обо всем, но глав-

ным образом о демократическом Крыме, о добром, гуманном бароне Врангеле, о том, что отсюда, именно с этого клочка русской земли, начнется собирание России и ее будущее процветание под временной эгидой франко-англо-бельгийской демократии.

— Как некогда Иван Калита собирал Русь по кускам, так ныне просвещенный воитель и наш вождь боярин Петр, — оратор всхлипнул и, тыча пальцем в огромный портрет Врангеля, с дрожью в голосе закончил: — соберет нашу матушку Россию... и сделает ее конституционной, парламентской и императорской...

Кто-то ткнул оратора под столом ногой, и он поспешно закончил:

— ...республикой....

— Гип-гип, ура! — кричали подвыпившие гости, которым наспех переводили слова усевшегося оратора.

Я с удивлением узнал в нем одного из моих «архаровцев». Это был присяжный поверенный, еще три часа назад испуганно просивший «установки» речи у ротмистра.

За ним поднялся какой-то студент, заговоривший от имени русской молодежи. Его возгласы тонули в общем шуме, звоне посуды и беспорядочном разговоре.

— Леди и джентльмены! — постучав вилкой по блюду, сказал, поднимаясь с места, высокий рыжебородый англичанин. — Прошу внимания!

— Господа, тише! Будет говорить мистер Том Джонс, руководитель рабочей делегации Великобритании! — крикнул кто-то из распорядителей.

Все смолкли.

— Я очень польщен тем, что мы, английские представители от рабочих организаций, делегаты профсоюзов, а также представители либералов, — он показал на двух мужчин и полную, в больших очках женщину, — встречаем здесь, на земле великолепного Крыма, таких замечательных и гостеприимных людей. У нас в Англии было много различных толков и неверных описаний вашей жизни. Злонамеренные люди писали в коммунистических и крайне левых газетах, что у вас здесь идут расстрелы, царит произвол и голод... что военные во главе с бароном Врангелем являются диктаторами типа южноамериканских президентов. Называли имена кровожадных вешателей — генералов Кутепова и Слащева. Мы и верили и не верили этому... но мы, лейбористы и либералы, независимые от капитала и власти люди, мы, как дети рабочего класса, должны были сами проверить все, что говорилось о вас...

— Я не знаю английского. Переведите потом мне вкратце, что говорит этот британец, — шепнула моя соседка.

— Охотно,— ответил я.

— ...И вот мы уже три дня находимся здесь. Где повешенные? Где расстрелы? Где погромы евреев? Мы не видим их...

— И не увидите, милорд. Все это агитация и пропаганда большевиков,— громко вставил я.

— Благодарю вас, сэр. Это именно так. И я, чтобы не утруждать внимания господ присутствующих, прошу всех поднять бокалы и выпить за ваше процветание, за гармоничное соединение прогресса и труда, за будущее демократической России.— Он поднял над головой бокал.

Все шумно приветствовали его речь, хотя вряд ли одна четверть из присутствующих понимала по-английски.

«Ну, Женечка (так я называл себя в особо ответственные моменты жизни), сейчас, или... будет поздно».

— Господа! — поднимаясь с места, сказал я.— Слова, которые только что произнес почтенный деятель Англии, мистер Том Джонс,— это слова умного, просвещенного, благожелательного друга. И мы рады, что общественность Англии, ее рабочая совесть и свободная пресса послали к нам именно господина Джонса. Он пылив, наблюдателен и честен. Его чистая душа сразу же, за три дня пребывания на нашей земле, заметила бы все то, в чем клеветники обвиняют генерала Врангеля и русскую Добровольческую армию. «Но если ничего нет, ничего и не делаешь»,— говорили древние греки. И господин Джонс подтверждает старинное изречение. Крым — благословенный край для всех, кто любит труд, свою страну, свой народ. Для всех честных, незапятнанных русских. И я, который, как мне кажется, имею честь считать себя таковым, говорю вам, посланцам рабочей Англии: «Добро пожаловать! Да здравствует наша дружба с вами!» — Я медленно, под аплодисменты, выпил свой бокал.

Но и сейчас краем глаза я наблюдал за Татищевым. Полковник был невозмутим, но его глаза и углы губ были полны еле сдерживаемого смеха.

— Несколько двусмысленная речь...— сказала соседка, чуть поднимая брови.

Англичане, которым перевели мою речь, поднялись с места и протянули ко мне руки с бокалами.

— Я рад,— по-английски обратился я к ним,— что моя искренняя, идущая от сердца речь понравилась вам.

— Мы были б рады, сэр, если б вы смогли эти несколько дней, что пробудем здесь, уделить нам. Просвещенный, знающий языки джентльмен и, главное, разделяющий наши взгляды, нам нужен.

— С радостью, господа, только прошу сказать об этом его



превосходительству генералу Шатилову,— и я снова глянул на вытянувшееся лицо Татищева. Иронического блеска в глазах уже не было.

Услышав свою фамилию, Шатилов спросил:

— Чем могу служить, господа? — Узнав о просьбе англичан, он подтвердил: — Это и моя просьба, господин...

— Базилевский,— подсказал я.

— Я вас очень об этом прошу. Кстати, скажите, предводитель дворянства Смоленской губернии, действительный статский советник Базилевский не в родстве ли с вами?

— Мой двоюродный дядя,— поклонился я, в первый раз слыша о таком родственнике.

— Очень этому рад. Это прекрасный человек. Что с ним, жив ли?

— Точно не знаю, ваше превосходительство... Война, большевики, революция,— я печально развел руками.— По слухам, умер от голода в Петербурге...

— Жаль, жаль. Очень был достойный человек ваш дядя. С этой минуты,— уже обычным тоном сказал он,— вы прикомандированы мною к господам иностранцам. Заходите завтра к двенадцати часам ко мне в штаб.

— Счастлив, ваше превосходительство. Ровно в двенадцать буду,— ответил я, переводя англичанам наш разговор.

— Великолепно. Теперь вы наш язык и уши, глаза же остаются своими,— пошутил Джонс.

Лакеи меняли блюда, иногда подливая вино, но делали это не со всеми и не на всех столах. Повидимому, здесь существовала строгая иерархия. Меня не обносили, наоборот, внимание, оказываемое лакеями мешало мне вести вполголоса разговор с дамой справа и господином в вицмундире слева.

Моя незнакомая знакомая переговаривалась и с Шатиловым и с желчным итальянским майором, довольно дурно говорившим по-французски, и с сидевшей напротив нее красивой, с чуть ленивым взглядом дамой.

Моя незнакомка была как раз той женщиной, о каких французы говорят «умеет ловить мяч на лету» — то есть понять и продолжить любой разговор, любую шутку, полунамек.

— И все же я теперь имею некоторое право,— сказал я, чуть наклоняясь к ней,— спросить, кто вы, как ваше имя и отчество...

— Анна Александровна Кантемир. Вряд ли что-нибудь говорит вам это,— ответила она.— Я добрая знакомая семьи генерала Шатилова.— И, улыбнувшись, договорила: — Вот это уж, наверное, говорит больше.

— Евгений Александрович Базилевский, почти все в прош-

лом,— так же шутливо представился я.— Кроме дворянской чести, старейшей помещицкой фамилии и некоторых средств, уцелевших от большевиков.

— Что ж, в наше смутное и неопределенное время немало,— уже серьезнее сказала она.— Скажите, кто этот офицер, все время не спускающий с нас глаз?.. По-моему, он особенно интересуется вами... Только взгляните вскользь, он за столиком возле самой двери.

Да, это был ротмистр Токарский, окруженный четырьмя или пятью усердно евшими и пившими соседями; он внимательно наблюдал за мной. Ему, по-видимому, как и Татищеву, не нравилось мое не входившее в их планы, столь неожиданное возвышение. Но Татищев, человек дальновидный, светский, держался умно, не показывая своей настороженности, ротмистр же был глуп, невоспитан и привык вести себя в манере тюремного надзирателя — его надо было возможно скорее убрать с моего пути.

— Господа! — снова заговорил полковник, выполнявший, по-видимому, роль распорядителя встречи.— Господа...— Он повернулся ко мне с самой любезной улыбкой: — Месье Базилевский, так как вы уже являетесь нашим связующим звеном между ставкой, общественностью и нашими дорогими гостями, я прошу вас перевести на английский и французский языки то, что сейчас скажет им делегат от еврейских общин Крыма, трудовой интеллигенции, раввин Рабинович.

Признаюсь, хотя я сам был здесь в роли, абсолютно не отвечающей моей профессии, и вся моя «группа передовых рабочих и интеллигентов» также была тем, что уголовные называют «липой», раввин Рабинович, час назад еще бывший эстрадно-шантанным актером Колычевым-Шуйским, удивил меня. Но назвался груздем — полезай в кузов, гласит мудрая пословица, тем более что впереди был Татищев, а позади, у самого выхода, ротмистр...

— С удовольствием,— сказал я и стал внимательно слушать выступление «раввина».

— Шма, Исроэл адонаи элегейну хот! — воздевая руки кверху, полупропел, полупростонал Шуйский.

Затем, отняв от лица ладони, он заговорил:

— Деятели союзных России стран, вы, посетившие нас в дни нашей борьбы с черными силами безбожия, неверия и отрицания бога, мы приветствуем вас. Евреи любят Европу, евреи любят и Россию, но какую? — Растопылив пальцы и тряся головой он повторил: — Какую? — И тут же ответил: — Не ту, что отрицает веру наших отцов, презирает всякую религию,

отнимает имущество, нажитое трудами. Кто? Кто эти изверги? — завопил он так, что Анна Александровна, с комическим любопытством слушавшая его, вздрогнула и подалась в мою сторону. А Рабинович-Шуйский токовал, подобно глухарю, самозабвенно импровизируя и незаметно для себя переходя с непривычной ему роли духовного лица на профессиональный эстрадный манер.

Он размахивал руками, подмигивал, менял интонации и приплясывал на месте.

Не понимавшие его слов иностранцы, поначалу почтительно слушавшие духовное лицо, теперь переводили глаза с одного присутствующего на другого. А те, давясь от смеха, старались сохранить благопристойный вид.

— Уймите дурака! — шипящим шепотом сказал Татищев, делая мне рукой знак.

— Ваше благочестие, почтенный раввин, — глядя поверх головы Шуйского и боясь, что не выдержу этого балагана, прервал я его, — заканчивайте, я буду переводить вас.

Шуйский-Рабинович пришел в себя, смолк. И тут уж почти все весело рассмеялись, глядя, как он тщетно пытался сдержать свою жестикуляцию.

— Почему все смеются? — поднимая брови, спросил итальянец, в то время как англичане с каменным изумлением взирали на раввина.

— Господа! Почтенное духовное лицо крымских евреев приветствует вас. Он воссылает молитвы к небу за правительство Крыма, Англии, Италии и Франции, то есть стран и территорий, на которых нет и не может быть антисемитизма.

— Но почему все смеялись? — с подозрительным недоверием повторил итальянский офицер.

— Он просто оговорился. А теперь, господа, вас хочет приветствовать от имени свободного общества анархистов известный деятель всероссийского объединения «Анархия» — мать порядка» господин Попандопуло, — важно сказал я представляя моего грека.

— О-ля-ля! — в восторге произнес француз. — Я рад видеть среди нас такое разностороннее политическое сообщество.

— Какой толстый! Больше похож на армянского духанщика или на рантье из Марселя, — покачивая головой, сказала Анна Александровна.

— Иес! Иес! — одобрительно закивали англичане, когда я пояснил им, что их приезд приветствует свободная ассоциация анархистов, приславших для приветствия своего делегата.

— Они у вас легальны? — спросил Джонс.

— Конечно. Здесь представлены все партии, кроме большевиков,—указывая широким жестом на зал, ответил я.

— Господа, дамы... и девицы,—довольно робко, срывающимся, переходящим с баритона на альт голосом, начал «анархист»,—как учили нас наши знаменитые вожди,—Попандопуло поклонился в сторону ротмистра и скороговоркой продолжал:—«Анархия есть мать порядка».—Он помедлил, глянул на свою манжету и торопливо продолжал:—А кто говорит нет, если Бакунский,—сразу же наврал он,—князь Кропоткин,—он поднес манжету к глазам и торжественно выкрикнул:—Бланк и сам Махна пишат и говорят об этом!!

Те, кто сидел возле Попандопуло могли еще понять кое-что из его то плаксивой, то громоподобной речи, остальные же не разбирались в путаном высказывании грека, вообще не ладившего с русским языком, и терпеливо ждали конца.

Вино, сытный обед, музыка, то и дело раздававшаяся с хоров, и, самое главное, обилие выступавших «друзей Запада» и защитников крымских свобод утомили всех.

Попандопуло вздохнул, неожиданно икнул под общий смех оживших гостей, и уныло протрямлил:

— Анархисты приветствуют...—он задумался и совсем уже вяло закончил:—представителей свободных профсоюзов Европы, а также парламенты и генерала Врангеля.

Шумок прошел по залу. Даже Татищев слушающий всех с непроницаемым видом, прикрыл улыбку ладонью.

«Анархист» Попандопуло, облегченно вздохнув, сел на свое место.

Распорядитель, время от времени появлявшийся в зале и неизвестно куда исчезающий, пригнувшись к уху Шатилова, что-то шепнул ему. Генерал утвердительно кивнул головой и обратился к моей соседке:

— Анна, пригласи наших гостей в овальную комнату.

— Уважаемые гости, кофе будет подан в овальной комнате,—сказала Анна Александровна и, опершись на мою руку, встала с места.

Я перевел англичанам приглашение и тут же повторил его по-французски. Все шумно поднялись из-за стола, отодвигая стулья; кто-то торопливо допивал вино, слышались отдельные возгласы.

Иностранцы, следуя за Шатиловым, цепочкой двинулись к овальному кабинету, разговаривая на ходу, бросая реплики и обмениваясь впечатлениями.

У входа в овальную стояли распорядитель, двое дежурных членов собрания и подтянутый морской офицер.

Они поклонились шедшим впереди нас и распахнули перед ними тяжелую, дубовую, шоколадного цвета дверь. Неизвестно откуда появившийся ротмистр, полузагородив собой проход, сказал мне с самой любезной улыбкой:

— На одну минуту, господин Базилевский, тем более что вы вряд ли приглашены на кофе.

Наглость этого болвана, пытавшегося оторвать меня от Шатилова, была возмутительна. Я понимал, что ротмистр, считая мою миссию по одурачиванию иностранцев законченной, теперь постарается избавиться от меня.

— Не совсем, милейший, — без всякого к нему почтения ответил я. — Я как раз намереваюсь выпить кофе в овальном кабинете.

— Анна! Дай мне папиросу! — выглядывая из овальной, попросил Шатилов.

Не успел он еще закончить фразы, как ротмистр стремительно вынул из кармана мой портсигар и, почтительно изогнувшись, предложил:

— Прошу вас, ваше превосходительство, лучшие крымские... — И протянул его генералу.

Я спокойно, но очень уверенно взял из его руки портсигар и протянул Шатилову.

— Прошу вас, эти папиросы действительно лучшие в Крыму. Это фирмы Энфидусианца. Я всегда курю их.

Шатилов закурил. Я положил свой портсигар в карман и, видя недоумевающий взгляд генерала, как бы вскользь добавил:

— И портсигар этот мой, по странной случайности он вчера был похищен у меня и по еще более странной случайности возвратился сейчас ко мне. Благодарю вас, ротмистр, за находку моей вещи.

Анна Александровна рассмеялась, а Шатилов, едва не поперхнувшись дымом от папиросы, коротко спросил:

— Какой части, ротмистр?

— По особым делам прикомандированный к моему отделу, — появляясь за спиной Шатилова, тихо доложил Татищев.

— А-а, — неодобрительно протянул генерал и, не сводя взора с ротмистра, приказал: — Отправляйтесь немедленно домой. Будете до завтра под арестом... Прошу, месье Базилевский, — он взял меня под руку.

— Да познакомьте же меня, господа, с моим спутником, — входя в овальную, произнесла Анна Александровна.

— Как, разве вы не знакомы? — развел руками Шатилов. — А я был уверен, что вы старые и добрые друзья.

Чувствуя, что этот вариант мне выгоднее всего, я добродушно сказал:

— Анна Александровна шутит, мы действительно старые добрые знакомые, еще по Москве, друзьями же, я надеюсь, мы станем в Севастополе, не так ли? — обратился я к даме.

— О да, надеюсь, — неопределенно ответила она.

В овальном кабинете было не много народу, не больше шестнадцати — семнадцати человек. Конечно, ни «раввин» Шуйский, ни страшный «анархист» Попандопуло, ни даже многие из именитых гостей не были допущены сюда, но Татищев был и со свойственной ему спокойной вежливостью аристократа-гвардейца почти все время любезно молчал.

Французы, забыв о том, что они являются представителями демократии самой старой «революционной страны», налегали больше на коньяк, чем на кофе, пели фривольные песни.

Англичане молча пили, багровея от коньяка, но сохраняли типично британскую респектабельную флегму.

Итальянцы затеяли шумный спор, совсем не к месту упрекая союзников за то, что Италию обделили при заключении мира.

Моя дама, как видно, очень нравилась итальянцу. Болтая о разном, я видел, что Татищев, прикрываясь деланно равнодушным видом внимательно наблюдает за мной. Но что он думает, какие мысли роятся в его голове?

Итальянец, оставив своих все еще споривших компатриотов, подсел к нам. Я встретил иронический взгляд Татищева и чуть приподнял в его сторону рюмку с коньяком, он улыбнулся и сделал приглашающий жест.

— Извините, господа, я на одну только минуту, — сказал я.

Мы с Татищевым сидели на софе у окна, в стороне от остальных.

— Великолепно... Даже по самой строгой оценке я ставлю вам «пять», — спокойным голосом сказал он.

— Благодарю вас, но я думаю, что балл будет не высок, не больше тройки.

— Почему вы так думаете?

— Из-за ротмистра и истории с моим портсигаром.

— Наоборот, — равнодушно протянул он, отпивая из высокой рюмки ликер, — за это я как раз ставлю вам еще и плюс.

— «Пять» с плюсом? — удивился я.

— Именно. Ротмистр дурак, он туп и, как все глупые люди, самонадеян. Вы просто помогли мне, господин Базилевский. Ваше здоровье, — он приподнял рюмку.

— И ваше,— сказал я, не очень радуясь его словам. Благорасположение контрразведки всегда пахнет кровью.

— Я не задерживаю вас. Ваша дама и обязанности джентльмена и переводчика ждут вас,— с самой любезной улыбкой отпустил меня он.

— Маркиз Октавиани, майор гвардейской пехоты его величества,— отрекомендовался итальянец, когда я возвратился на свое место.

— Базилевский, русский дворянин и литератор,— в свою очередь представился я.

Итальянец покивал головой и сейчас же занялся разговором на плохом французском языке с моей соседкой.

Раза два мне приходилось подниматься и переводить англичанам слова генерала.

— Передайте, пожалуйста, Евгений Александрович, господам парламентариям, что военное положение наше безупречно, что мы не повторим ошибок генерала Деникина: мы, в противовес ему, армия народа и видим будущее России не в порках и расстрелах, а в свободном волеизъявлении всех народностей, входящих в нашу страну.

Я добросовестно переводил, а англичане согласно кивали головами, что-то заноса в свои блокноты.

— Спросите, пожалуйста, сэр, генерала: будут национализированы фабрики, банки и железные дороги, когда барон Врангель войдет в Москву? — спросила журналистка из «Таймса».

— Это еще что за новости? — повел плечами Шатилов, но тут же, спохватившись, добавил: — Разумеется, после победы над большевиками все будет.

Тут я вспомнил чеховского грека Дымбу, который на все вопросы отвечал: «В Греции все есть... В Греции все будет».

Наконец кофе был допит, коньяк и ликеры испробованы, все застольные речи произнесены, и гости стали расходиться.

— Итак, завтра мы ждем, сэр,— глядя на меня осовелыми глазами, сказал Джонс.

Я попрощался со всеми и, лишь когда делегаты просвещенного Запада спустились по лестнице вниз, подошел к Анне Александровне.

— Ух! Я устала от этого сладчайшего маркиза. Вы проводите нас или отправитесь к себе?

— Если можно, почту счастьем...

Она перебила меня:

— Какой штиль, какой высокий, поистине дореволюционный штиль! Так говаривали наши бабушки в девятнадцатом веке.

Кстати, почему вы сказали, будто мы старые знакомые, чуть ли еще не с Москвы? — вдруг спросила она.

— Так мне было надо, это удобнее, тем более что и вы не возразили.

— Удобнее? Для кого?

— Для нас.

— Евгений Александрович, вы не служили актером в Петрограде? — задала неожиданный вопрос Анна Александровна.

— Не-ет... А почему вы спросили меня об этом?

— Видите ли, уж очень мастерски и тонко провели вы сегодня роль светского человека и вивера<sup>17</sup> на этом забавном банкете. Вы на две головы были выше всех этих придуманных контрразведкой греческих Попандопуло, опереточных еврейских раввинов и жалких сенаторов из Петербурга.

— А это потому, что за неуспех инсценировки один только я отвечаю своей головой, уважаемая Анна Александровна. Головой, за которой охотятся и контрразведка и сыскное управление полиции, и еще ряд других подобных же организаций.

— Вот как! Чем же вы прогневили этих могущественных людей?

— Тем, что не похож на них, тем, что свободен от моральных, духовных и социальных уз, которыми опутан человек эти люди.

— О-о! Почти анархизм! — уже с любопытством протянула Анна Александровна. — К нам идут... Тема эта интересна, и мы еще вернемся к ней позже.

Шатилов и двое морских офицеров были уже возле.

— Анна, автомобиль ждет, — сказал генерал

— Я готова.

Раскланявшись со мной, они, сопровождаемые военными, пошли к выходу.

Переждав несколько минут, я тоже сошел в вестибюль, гости шумно расходились.

Я медленно пошел к себе, ожидая каждую секунду любой каверзы из-за угла. После столь необычного возвышения глупо было бы стать объектом мести посрамленного ротмистра или дальновидного Татищева.

Я перешел в тень деревьев и долго-долго кружил по Севастополю, пока не убедился, что никто не идет за мной. В начале четвертого часа ночи я пришел домой.

Утром, когда я, приняв ванну, одевался, разглядывая себя

---

<sup>17</sup> Прожигатель жизни (франц.).



в зеркало, моя квартирная хозяйка, вдова капитана первого ранга, вошла ко мне.

— Доброго утра, Евгений Александрович.

Вдова капитана когда-то училась в Екатерининском институте для благородных девиц в Москве, поэтому навсегда сохранила жеманность, французский прононс и светские манеры.

— К вам уже трижды приходил какой-то человек... По-моему, не комильфо, но и не из простонародья.

Я предпочел бы, чтоб ко мне трижды наведался монтер или водопроводчик.

— Он и сейчас на площадке за дверью.

— Пусть войдет.

Чего мне было опасаться? До полудня я был персоной, которую ожидал прием у Шатилова, дальше я был назначен официальным спутником иностранцев. Что же «потом» — это уже будет результатом личных моих качеств и таланта.

— С добрым утречком, уважаемый Евгений Александрович, — услышал я из полуоткрывшихся дверей голос Литовцева.

Хозяйка величественно глянула и, отвечая наклоном головы на почтительное приветствие сыщика, произнесла:

— Кофе будет в гостиной, — и так же величественно вышла из комнаты.

— ...Я помню чудное мгновенье — передо мной явился ты, как мимолетное виденье, как гений сыска и...

— Куда там гений! — махнув рукой, сокрушенно сказал Литовцев. — Мне, дураку, в слесари или в архив идти надо.

— Зачем припожаловал, Шерлок Холмс, хотя из тебя и Путилова не вышло?

— К вам, душечка, Евгений Александрович, к вам, золотой мой, благодетель, — просительно улыбаясь, заговорил Литовцев.

«Опять какая-то каверза», — подумал я, вспоминая, как только вчера этот самый человек, злорадствуя и паясничая, издевался надо мной в сыском отделении.

— Евгений Александрович, будьте отцом родным, не губите старого человека, — собирая на лице морщины, плаксиво начал он. — Поистине ослом и тупицей я был, когда захотел единоборствовать с вами.

«Новый трюк. Готовит какой-то подвох», — решил я, наблюдая в зеркало за кающимся Литовцевым.

— Говори короче, нет времени... Я приглашен в ставку, — продолжая возиться с запонками, перебил я.

— Знаю, знаю, дорогой, наслышан, драгоценнейший...

— Ты еще скажи «бриллиантовый» — и совсем станешь как цыганка на бульваре.

— И скажу... все скажу, только снизойдите к моей просьбе. Ведь я что, я маленький человек, мелкая сошка, тьфу — и нету Литовцева... Меня погубить — все одно что комара или муху. Евгений Александрович, ну прошу вас, ну на коленях умолять буду...

— Говори, кислая шерсть, о чем просишь, да покороче, — поворачиваясь к нему, приказал я.

— Верните, голубчик, эти проклятые деньги... эти шестьсот долларов... Ведь кровные ж... других нету...

— Детишкам на молочишко? — насмешливо напомнил я.

— Так это ж Голоскухин говорил, это ж проклятый человек, дай ему бог постыдной смерти. Это он меня на вас посылал... Разве ж я сам...

Вид сыщика с перекошенной от жадности и лицемерного почтения физиономией был омерзителен.

— Как же ты, братец, о начальстве так? А где же присяга, солидарность товарищеская?

— Смеетесь надо мной, и верно. Сволочь я и дрянь, что с таким подлецом, как капитан, против вас пошел. Не учел силы, не понял разницы. Он что, тьфу, — Литовцев плюнул, — кошка, а вы ж орел, вон за ручку с высокими генералами здороваетесь, на приемы к ним ездите. Евгений Александрович, не губите, богом прошу, ни слова обо мне в высоких сферах, а доллары, шестьсот штук, верните. На что вам очи? Вы их тысячами загребаετε...

— Хорошо... дам, — глядя на подлую рожу сыщика, сказал я.

— Голубчик, благодетель, ручку вам поцелую, век бога молить буду... — расплываясь от радости, забормотал Литовцев.

— Сорок копеек!

— Чего сорок? — видимо не расслышав, озадаченно переспросил Литовцев.

— Дам сорок копеек — и то не царскими, а украинскими грошами, сукин ты сын, — разглядывая растерянное, с вытаращенными глазами лицо сыщика, издевательски рассмеялся я.

Секунду-другую он беззвучно шевелил губами, тараща на меня округлившиеся глаза, затем тихо, но уже серьезно произнес:

— Вот это уж напрасно, господин Базилевский. Литовцев, конечно, сволочь, Литовцев, конечно, мразь, и с ним можно так разговаривать. Однако Егор Литовцев еще кое на что годится, и в особенности тем, кого взяли на мушку ротмистр Токарский и капитан Голоскухин.

Я понял, что он прав. Я допустил непозволительную в моем

положении оплошность. Этот продажный сыщик мог быть и полезен и опасен для меня.

— Ну, пошутил, отвел на тебе душу, Егор... как тебя по батюшке?

— Яковлевич.

— ...Егор Яковлевич, за все то, что ты со своим капитаном позволил вчера по отношению ко мне,— напомнил я.

— Это естественно. Я б, может, сам то же бы сказал в сердцах,— с надеждой в голосе забормотал Литовцев.

— Но ты же понимаешь, Егор, что я не из тех людей, что верят слезам да причитаниям, особенно ж штатным пинкертонам, вроде тебя...

— Понимаю, ясное дело, Евгений Александрович. Я вам душой и телом служить буду.

— Ты не дурак, Егор Яковлевич, понимаешь с полуслова, служи мне душой, телом не надо,— пошутил я,— и твои шестьсот долларов вернутся к тебе...

— Мне б их поскорей, Евгений Александрович,— вставил Литовцев.

— Скоро только блох ловят, а деньги, да еще такие, надо зарабатывать.

— Это точно, но я их отслужу честью,— пообещал он.

— Тогда получишь, почтенный Егор Яковлевич, не только шестьсот, а и еще кое-что...

— ...детishкам на молочишко,— пошутил осмелевший сыщик.

— А теперь получи вот авансом, в счет будущего, сорок... нет,— поправился я,— пятьдесят долларов, а ночью, после двенадцати, зайди сюда с докладом... А сейчас мне надо к его превосходительству генералу Шатилову,— важно объявил я.

— Слышал, слышал, Евгений Александрович. Важная это особа, используйте ее против ротмистра,— снизив до шепота голос, сказал Литовцев.— Этот самый Токарский зуб на вас точит, ну, да, имея Шатилова и его родню за плечами, бояться вам нечего.

Он спрятал пятидесятидолларовую ассигнацию в боковой карман, вежливо улыбнулся и, сказав: «В двенадцать буду как из пушки»,— ушел.

Этот прохвост, по-видимому, уже все знал об иностранцах и о благосклонном ко мне отношении Шатилова.

— Непорядочная личность, сразу видно, что хам!— приоткрывая дверь, определила моего гостя хозяйка.— И уж напрасно,— это, конечно, не мое дело, Евгений Александрович,— но давать такому типу доллары...— она покачала головой.

— Дорогая Клеопатра Георгиевна, человек, которого вы называете «типом» и «хамом», принадлежит к царской фамилии.

Вдова капитана первого ранга раскрыла от изумления рот, ее маленький лоб покрылся пятнами.

— Как? К дому Романовых? — наконец произнесла она.

— Именно. Это незаконный сын почившего в бозе императора Александра Третьего.

— А мать? — подавшись вперед, с любопытством спросила офицерская вдова.

— Цыганка из хора. Знаменитая красавица Стеша... женщина редкой красоты... Царь был от нее без ума, и вот... в результате — ребенок...

— Ка-кая романтическая история... А я-то не поняла... Слышно ведь урывками... Вы, голубчик мой, Евгений Александрович, познакомьте меня с ним?

— Как-нибудь, как-нибудь, только, — я поднес к губам палец, — тайна. Вы ж понимаете, он единственный претендент на всероссийский престол, остальных убили большевики, ему надо всего и всех опасаться. — Я снова поднял палец. — Пока опасаться, ну, а когда все кончится и он взойдет на престол... — я сделал торжественный жест рукой. — Но... ни-ко-му, понимаете, ни-ко-му...

Вдова усиленно заморгала глазами и перекрестилась.

— Клянусь!

— Дело в том, что и большевики и монархисты, сторонники Кирилла и Николая Николаевича, охотятся за ним... Нам надо сохранить наследника престола, — патетически закончил я.

— Господи, помоги ему! — еще раз перекрестилась вдова капитана первого ранга. — Ах, как это интересно, просто Рокамболь или Дюма! Пойдемте пить кофе...

— Салам, князь, издравствуй, пожалуйста, — приветствовал меня с козел Гасанка. Лицо его сияло свежестью, лоснилось от сытой жизни, глаза светились веселым лукавством. — Как здоров, князь? — откидывая полость, восхищенно спросил он.

— Ничего, жулик, хорошо живу, разбойник, — усаживаясь на мягкое сиденье, ответил я.

— Ах-пах-пах... Зачем говорил такой кислый слова... Нехорошо... Гасан тебе любит, князь... Куда будим поедит?

— Гасан мошенник, он деньги любит. Гасану не кислый слово, а палкой по башке надо дать. Ты зачем продал меня, разбойник?

— Начальник сказал: «Поезжай, молчи, башке секим будем,

если князь скажешь...» И что сделаешь? Гасан — извозчик, его только лошадь бонется.

— Ладно, поезжай прямо, а там разберемся.

— Якши, князь, это хорошо слово... Это Гасан любит.

Татарин присвистнул, причмокнул, и лошади понеслись.

— А я это русски баб сё знаю... — полуоборачиваясь ко мне с козел, подмигнул Гасан.

— Какой «баб»?

— Твой баб, который автомобиль ехал. Ха-роший баб... Тыщу рублей стоит.

— И что ж ты узнал?

— Его муж нету, его деньги мало есть. Твое дело, князь, легкий!

— Чем легкий? — улыбнулся я.

— Легкий. Деньги, фаэтон поезжай, хороший ужин «Гранд-отель» корми. Тыща рублей дай, тебе спать пойдет.

— Ну и дурак ты, Гасан! — обозлился я.

— Гасан умный, Гасан верный слова говорит, — самодовольно изрек татарин и, подобрав вожжи, гикнул на лошадей.

Мы проехали площадь, спустились по Екатерининской к Нахимовскому проспекту.

— Он эта дом живет, — указывая кнутом на двухэтажное здание, сказал Гасан, — твой дамочка. — Он глупо рассмеялся.

Я взглянул на часы. Было пять минут двенадцатого. Скоро и к генералу.

— Откуда это знаешь?

— Гасан знает. Я его, твой баб, — пояснил он, — чира за город возил. Итальянски офицер вместе... Бельбек катал, обратно привез.

Эге-ге!.. Мой татарин не врал. Теперь я понимаю, почему так таял возле нее этот маркиз Октавиани.

— Вези к штабу, — приказал я, и Гасан повез меня в сторону Графской пристани, где находился штаб ставки барона.

Часовые у входа не шелохнулись, когда я вошел в вестибюль. Дальше было по-инному. Двое очень вежливых, с одинаковыми проборами офицеров-марковцев вопросительно посмотрели на меня.

— К кому следуете? — учтиво, наклоня стриженную ежиком голову, спросил юнкер с золотым шевроном на локте.

— Аудиенция ровно в двенадцать часов у его превосходительства генерала Шатилова.

— С кем имеем честь? — одновременно вытягиваясь в струнку и звеня шпорами, осведомились двое драгун.

«Откуда они берутся так внезапно?» — удивился я. Действи-

тельно, в вестибюле, в передней и в полуоткрытых дверях было множество офицеров. Одни с шевронами на рукавах, другие с повязками и галунами, третьи с черепами и скрещенными костями, а еще человек пять в черкесках молча поглядывали из-за дверей. «Кто же на фронте, если здесь их столько?» — подумал я и с достоинством ответил:

— Базилевский, Евгений Александрович, по личному приглашению генерала.

Несколько голов опустилось над бумагой, где значились фамилии вызванных, несколько пар глаз воззрилось на меня.

Так в молчании мы провели две-три секунды.

— Прошу вас, второй этаж, там дежурный обер-офицер проводит к приемной, — передавая мне пропуск, сказал один из офицеров.

Я поднялся по лестнице на второй этаж. Вся эта церемония была немного опереточной и забавной. Из этих разряженных бездельников и генеральских холуев легко можно было создать роту.

Шедший позади казак проводил меня до круглолицего, с лихими усами вахмистра. Тот, щелкнув каблуками, провел меня по коридору дальше. И тут, и на лестнице и на площадке, стояли, прохаживались или полусидели на подоконниках офицеры, юнкера, казаки. Поистине рота могла уже стать батальоном, если б все эти brave усахи были бы отправлены на фронт.

Удивило и большое количество женщин, преимущественно хорошеньких и молодых. Сестры милосердия, причудливо разодетые, в коротких юбках и нарядных кофточках, легко могли составить женский батальон. Позванивали шпоры, звучал приглушенный смех, пахло духами.

— Пра-ашу вас, — хорошо поставленным баритоном пригласил меня в приемную генерала полный, добродушного вида полковник, смахивавший на опереточного простака. — Не узнаете меня? — пожимая мою руку, спросил он. — Не помните? Это понятно. А я вас, почтенный Евгений Александрович, еще долго не забуду.

— Это почему ж так?

— А как же, ведь вы уже и не помните, а я потом целую ночь не спал, все переживал да ругался. Ведь это ж вы у меня на золотом столе сорвали куш в целых семьсот долларов.

— Ничего, полковник, отыграетесь... Карта ведь дура...

— Дай бог, дай бог! — вздохнул полковник.

Некстати встретился со мной у Шатилова этот болтливый человек. Я сел рядом с ним и принялся разглядывать свои ногти.

В приемной сидели важные офицеры, также ожидавшие аудиенции. Три-четыре чопорных дамы неопределенного возраста, хорошенькая блондинка со взбитым коком и мрачного вида штатский с георгиевской лентой в петлице.

А этот болтливый полковник все распинаясь о моих подвигах в казино.

— Вы, полковник, служите при штабе ставки? — спросил я, чтобы прекратить его болтовню.

— Нет, знаете ли, тут особое дело, — снижая голос, сказал он, отводя меня к окну. — Я ведь служу по интендантской части. В свое время Военно-интендантскую академию окончил, на Юго-Западном корпусным хозяйством ведал, и здесь... — Он еще дальше оттащил меня в угол и еле слышно прошептал: — Склады у меня кем-то разворованы... Английское обмундирование, запасы белья, ботинок, сапог, французское солдатское сукно пропало... и пудов так четыреста, а то и все шестьсот мясных консервов — корнбефа, сгущенного молока тонны полторы разворовали, мерзавцы!

— Кто ж это постарался? — с комическим участием спросил я.

— Кабы знать, кто... В том-то и дело, что найти никого не можем, а генерал, — он кивнул головой на дверь в кабинет Шатилова, — бушует, рычит, как тигра лютая. «Если, говорит, в пять дней похищенного или виновников не найдете, под суд всех...» Под расстрел грозит... Помилуйте, а при чем я? Ведь меня тут в это время и не было, я в Бахчисарае находился...

— Господин Базилевский, — входя в приемную, произнес адъютант, — его превосходительство ожидает вас.

Застыв на полуслове, мой «невинный» интендант мотнул мне головой, и я вошел в кабинет Шатилова.

— Рад вас видеть, господин Базилевский, — поднимаясь и идя мне навстречу, сказал генерал. Это был очень воспитанный и вежливый человек, своей простотой и непринужденной манерой общения сразу же располагавший к себе. Он пожал мне руку и, обращаясь к высокому, тоже поднимающемуся с места молодому генерал-майору, представил нас: — Генерал Артифесов — Евгений Александрович Базилевский.

Мы церемонно раскланялись друг с другом.

— Теперь прошу садиться, и сразу же приступим к делу. Я охотно уделю вам и час и другой, но дела. — Он показал рукой на бумаги, лежавшие на столе. — И главное — люди. Вы видели, сколько их там, за дверью.

— Ваше превосходительство, говорите со мной столько,

сколько в вашем распоряжении минут, я и понимаю и вижу, как беспредельно загружены вы.

— Да, да,— кивнул он.— А теперь к делу. Генерал Артифексов и вы будете как бы пестовать иностранных гостей. Генерал — по военной, вы же — по гражданской, общественной и духовной линии.

Я молча поклонился генералу, Артифексов вежливо улыбнулся.

— Ваше знание многих европейских языков, светские манеры, независимое положение в обществе — это то, что особенно ценится нами. Генерал же один из наших лучших военных дипломатов, разносторонне образованный человек. Я рад, что познакомил вас. Алексис, теперь расскажите мне и господину Базилевскому план ближайших встреч с парламентариями наших союзников.

— Он очень прост. Сегодня и завтра господа социалисты и либеральствующие митрофанушки из европейских буржуа, хотя бы повидаться с народом, то есть с рабочими и населением Севастополя.

— Ну, ну, Алексис, воздержитесь,— с укоризненной улыбкой погрозил ему пальцем Шатилов,— ведь это ж наши друзья, общественное мнение, опора за границей...

— Прошу прощения, ваше превосходительство, но для меня эти ограниченные люди, играющие в социализм и потакающие большевикам, честное слово, глупцы и невежды,— изрек генерал-дипломат из ставки,— ведь они ж рубят сук, на котором удобно и спокойно сидят... Не будь нас, завтра же большевистские орды бросятся на Запад, и красная зараза сметет как этих сытых социалистов, так и либеральных рантье.

— Это-то так, но сейчас они нужны, и надо с ними держаться по-иному,— посоветовал Шатилов.

— Что мы и делаем, иначе разве они бы показались в Крыму. Не беспокойтесь, ваше превосходительство, мы с господином Базилевским отлично справимся со своей задачей.

— Абсолютно согласен с вами, генерал,— сказал я.— Если говорить честно, то эти ограниченные и тупые представители рабочих и социалистических организаций Европы просто сытые мещане, нечто вроде откормленных гусakov, которых завтра отвезут на бойню.

— А вы заметили, что среди них есть и евреи...— начал Артифексов.

— И тем не менее их надо гостеприимно принять, повозить по городу, окрестностям Севастополя и выполнить указание ставки,— возвращаясь к своей неоконченной фразе, продолжал



Шатилов,— а оно заключается в следующем: вчера мы хорошо провели встречу с делегациями Запада.

«Именно — провели»,— подумал я, внимательно глядя на Шатилова.

— Иностранцы полны благожелательного впечатления от встречи с либеральной интеллигенцией Крыма, но сделать это было не трудно. Все эти купцы, адвокаты, раввины и подобная им публика — самая податливая и, я бы сказал...— подыскивал слово генерал.

— ...подлая,— подсказал Артифексов. Почему этого казачье-го бурбона здесь считали дипломатом и разносторонне образованным человеком, я не понимал.

— Вообще-то да, но, выражаясь мягче, беспринципная. Иностранцы довольны — интеллигенция Крыма с Врангелем. Теперь их интересует настроение рабочих, мужиков и мещан занятых нами областей. На фронт мы их не пустим. Генерал Кутепов и я настраивали их Буденным, красной конницей и латышскими стрелками. Любопытствующие европейцы благоразумно решили ограничиться окрестностями Севастополя не дальше Качи и Бельбека. Вы, Евгений Александрович, завтра повезите их на Сапун-гору, Малахов курган, даже в Качу... Не препятствуйте их желаниям. И маршрут поездки и на-селе-ние,— протянул иронически Шатилов,— уже подготовлены нами. Все детали завтрашнего ознакомления гостей с пролетариатом Севастополя вам подробно расскажет генерал,— и он указал на молчавшего Артифексова.

— Благодарю за доверие, готов к беседе с вами,— поднялся я.

— Иностранцам понравились вы, особенно же английскому мопсу... как бишь его фамилия?

— Том Джонс?

— Да, да, ему, да и остальные очарованы вами. Кстати,— удерживая меня за локоть, спросил Шатилов,— что за инцидент произошел у вас с этим ротмистром из контрразведки?

Артифексов вышел, и мы были вдвоем.

— Просто маленький грабеж... Этот офицер, желая воспользоваться моим портсигаром и деньгами, пытался арестовать и запугать меня. Как видите, я не из пугливых, и шантаж не удался.

— Я так и думал,— поднимая бровь, сказал Шатилов.— Как его фамилия?

— Токарский.

— Обождите минутку,— подходя к телефону, остановил он

меня.— Соедините меня с полковником Татищевым... Да, да, начальником контрразведки.

Дальше произошел разговор, навсегда оставшийся в моей памяти.

— Полковник Татищев?.. Здравствуйте, граф. Говорит Шатилов. Дайте мне краткую и самую точную аттестацию на вашего офицера ротмистра Токарского... Нет, нет, время не ждет, устную, только устную.

В трубке что-то пророкотало.

— Я этого ожидал. Вчера я был свидетелем неприятной сцены, господин Базилевский... Да, да, вы знаете его, он сейчас находится у меня,— должен был отобрать, представьте — публично, у этого офицера свой портсигар!.. А-а, вы это наблюдаете? И что же скажете?

В трубке опять зарокотало, на этот раз довольно долго.

— Я рад, что наши взгляды совпадают. В маршевый батальон, с немедленной отправкой на фронт. Письменный приказ пришел позже. Нам нужны честные люди, а не вымогатели и казнокрады.— И, вешая трубку на рычажок, генерал проговорил:— Благодарю вас за откровенность. Полковник граф Татищев просит поблагодарить вас за оказанную ему помощь. Его честной солдатской натуре давно претил этот взяточник и вор... а ваше вмешательство помогло ему. Итак, после беседы с генералом Артифексовым набросайте короткий план вашего завтрашнего вояжа — и с богом,— напутствовал меня Шатилов.

Кабинет Артифексова был в конце коридора. И здесь, как и по лестнице и в вестибюле, порхали миловидные дамы, кучками и в одиночку стояли или прохаживались молодые офицеры, стремительно проносились адъютанты и, стараясь сохранить бодрый, воинственный вид, шагали безработные пожилые и престарелые полковники и генералы, тщетно надеявшиеся получить какое-нибудь хлебное место и обеспеченное жалованье.

Находясь со мной наедине, Артифексов произвел совсем иное впечатление. Это был довольно образованный, сравнительно молодой, воспитанный, кое-что понимавший в политике генерал. Я понял, что маска этакого рубаки и резкого в суждениях человека была создана им для начальства. Такая «прямота» и солдатская прямолинейность нравились и Врангелю и Шатилону, и Артифексов с успехом изображал при «дворе» барона белогвардейского Платова, врага салонных шаркунов и велеречивых генералов. К моему удивлению, он сразу же и откровенно признался:

— Вряд ли долго удержимся на этом крымском пятачке. Красные усиливают войска, за Перекопом их набралось очень

много, лучший их командир Фрунзе и вся конная армия Буденного готовят удар... А у нас... — он развел руками, — вместо погибших на Дону и Кубани первопоходников сплошная юнкерская, кадетская и гимназическая молодежь, бездарные генералы и разложившиеся у Деникина казачьи полки, вроде шкуровцев и гусельщиковских молодцов. А надежды на Европу нет. Вы же видели вчера этих либеральствующих бездельников и болтунов. Сюда надо было прислать десять дивизий английских и французских войск, сотню танков «рено», авиацию и флот. Но Европа этого не может и не хочет... Значит, ликвидация Крыма — вопрос нескольких недель.

— Что вы, генерал... Русская армия... Ведь еще вчера газета «Таврический голос» писала...

Он насмешливо поглядел мне в глаза.

— Бросьте, Евгений Александрович, вы это знаете так же хорошо, как и я. — Он закурил. — Если власть опирается в своих делах на самозванных генералов, выживших из ума сенаторов царской империи, спекулирует и ведет сомнительные торговые операции с жульническими франко-турко-итало-греческими фирмами и аферистами, — он сильно затянулся, — если она обращается за помощью к шулерам, царским жандармам, титулованным дуракам и преступникам, то дни ее сочтены.

— Это интересно.

— А что интересного?.. Но перейдем к делу. Вы, конечно, догадываетесь, что мы знаем, кто вы, ваше социальное положение и прошлое. Не скрою, что в другое время я лично воздержался бы от знакомства с вами, но сейчас... Нас окружают сотни таких субъектов, в сравнении с которыми вы агнец и невинный ребенок... Значит, нечего думать об условностях, надо извлекать пользу из обстановки. Сейчас вы нам нужны, и мы оберегаем вас. Делайте, что поручено...

— А потом? — осторожно спросил я.

— А потом — не знаю. Потом полагайтесь на себя и свои способности. Думаю, — Артифексов рассмеялся, — скоро мы все, каждый из нас будет надеяться только на себя, на свои быстрые ноги и на личные качества.

Мы оба помолчали.

— А генерал знает обо мне? — осведомился я.

— Очень мало. Он не интересуется вами больше, чем надо ему для спектакля с иностранцами. Вами в гораздо большей степени интересуется госпожа Кантемир, подруга дочери генерала.

— Анна Александровна?..

— Именно. Когда я сказал ей, кто вы, не утаив сведений,

полученных от Татищева, она всплеснула руками. До этого ей и в голову не приходило, что вы король по взломам сейфов и признанный гений игорных домов.

Я подавленно молчал.

— Не сокрушайтесь. Вы для нее просто экзотическая фигура. Интересный, необычный экспонат среди десятков серых, стереотипных, как две капли воды похожих друг на друга крымских беглецов. Однако мы заговорились, оставим это и перейдем к делу,— закончил Артифексов.

Мы быстро договорились о маршруте, по которому повезем гостей.

— В Бельбеке недолгий завтрак у «совершенно случайно» приехавшего туда татарского князька Туганбека. С ним будет и мулла. Ну, там удивления, расспросы, охи и ахи. Затем короткий отдых-завтрак в районе Сапун-горы. И там встреча с народом, но уже русским. Церемония приблизительно та же, два-три протестующих голоса. Вариант, как видите, один и тот же.

— Кто будет протестовать и по какому поводу? — осведомился я.

— Двое из местного гарнизона, изображающие пейзаж.

— Однако вы откровенны.

— А как же! На карту ставится все, нам необходимы признание и помощь Европы. Что же касается приемов, то — а ля гер ком а ля гер. Мы для этой цели мобилизовали решительно все, от царских сановников до титулованных проституток и европейски известных проходимцев.

Спустя десять минут я попрощался с Артифексовым. Он проводил меня до дверей и пожелал успеха. Этот человек мне был по душе, в нем было что-то, что роднило его со мной.

Я вышел на улицу и посмотрел на часы. Было около двух — время обеда и размышлений о завтрашнем дне. Я вошел в «Савой» и прошел в залу. Это был самый дорогой ресторан, здесь за обед из трех блюд и обязательной бутылки шампанского и ликера к кофе брали пять с половиной долларов или же кипу обесцененных крымских ассигнаций.

Пообедав, я вышел на улицу. Я был сыт, свеж и готов к посещению моих подопечных иностранцев. Едва я отошел шагов на двадцать от ресторана, как из подъезда одного из домов вышел ротмистр, окликнул меня и, делая рукою знак остановиться, подошел ко мне. С другой стороны улицы к нам приблизился человек в штатском и остановился рядом со мной.

— Алло, почтенный сэр,— сказал ротмистр.— Вы пообедали, выпили бокал-другой вина и теперь расположены поговорить со

мной. Кстати, и я жажду такой встречи... Куликов,— повернулся он к молча стоявшему штатскому,— фаэтон.

— Сию минуту,— ответил тот, махнул платком, и из-за угла показался Гасайка важно сидящий на козлах. Татарин был великолепен, сиял улыбкой и блистал белыми зубами.

— Салам алейкум ищо раз, княз! — веселым голосом крикнул он.

Мы сели в фаэтон, рядом с Гасанкой на козлах уместился Куликов, татарин взмахнул кнутом, и фаэтон рванулся с места.

— Как ваше драгоценное здоровье, мошенник? — ротмистр ласково улыбнулся.

— Неплохо, грабитель,— еще учтивее ответил я.

— Вы что, давно не получали по роже?.. Так получите. Даю слово благородного офицера,— свирепея, заговорил ротмистр.

Я промолчал, отвернувшись от него. Улицы были полны народом, шума, движения.

— На этот раз ваши номера не пройдут, господин липовый барон. Мы изобьем вас, как сидорову козу, в контрразведке, вышибем все зубы, а затем передадим обратно в сыскное, капитану Голоскухину, который имеет с вами счеты... Вам понятно, барон, что ожидает вас у...

— Оба вы мошенники, и по обоим плачет веревка, и оба грабители, и оба просчитались.

— Интересно... Неужели вы думаете, что вчерашний фарс с переодеванием спасет вас? Помните, жулик, ваши статисты уже высланы из города, все эти Попандопулы и эстрадные равнины... Вы одиноки, вы в наших руках.

— Приехали! — доложил с козел Куликов.

И я опять очутился в том самом доме, где находились сыскное отделение, контрразведка, тюремные казематы и закрытая забором площадка со стоящими у ворот и дверей часовыми.

— Видите, барон, как дорого может обойтись паршивый золотой партсигар, когда жадность затмевает рассудок? Надеюсь, он с вами, я получу обратно мою вещь? — с изысканной вежливостью поинтересовался ротмистр.— А сейчас я...— начал он, но замолк.

Дверь одной из комнат распахнулась. В ней стоял полковник Татищев.

— А-а, милейший! — сказал он.— Я вас, ротмистр, по всему городу ищу, а вы, оказывается, здесь. Вы зачем тут, господин Базилевский?

Лицо ротмистра изменилось. Я понял, что в его планы не входила встреча с начальством.

— Да.. видите ли, тут дело одно надо...

Я перебил его:

— Ротмистр арестовал меня, и, насколько я понял из его грубой ругани, именно за то, что я взял вчера у него мой портсигар.

— Неужели? — удивился Татищев. — Это правда? Войдите оба ко мне.

Он закрыл за нами дверь и вопросительно взглянул на ротмистра.

— Это не так, господин полковник, портсигар не играет здесь никакой роли. Дело в том, что...

— Что? — повторил Татищев.

— ...в том, что это опасный преступник, как я выяснил, связанный с подпольем крымских большевиков. Все эти многочисленные мандаты и паспорта — румынский, греческий, итальянский и другие — прикрывают его личину. На самом же деле это агитатор и комиссар, поэтому я и арестовал его.

— Факты? Дайте факты, доказательства — и мы возблагодарим господа и вас за избавление Крыма от столь опасной личности. — Полковник иронизировал.

— Завтра к вечеру у вас будут все точные доказательства.

— Не извольте трудиться, ротмистр. Завтра к вечеру вы уже будете с маршевым батальоном на фронте. Арестовывать, вести следствие и добывать факты вам не придется. Вы уже не офицер контрразведки. Вот приказ, — беря со стола бумагу, произнес Татищев.

— Как так? — побледнев, спросил ошарашенный ротмистр.

— Очень просто. Слушайте, я прочту его вам. Кстати, вам надлежит расписаться на нем. — И он внятно прочел: — «Ротмистра Токарского С. С., прикомандированного к отделу контрразведки второго управления штаба Крымской Добровольческой русской армии, ввиду ряда неблагоприятных поступков, порочащих честь и мундир офицера, исключить из списков военнослужащих штаба и второго отдела. Откомандировать с первой же отходящей на фронт маршевой ротой в качестве рядового, не лишая его офицерского чина. Доблестные подвиги и героизм на фронте помогут ротмистру Токарскому смыть позорящие его проступки, совершенные на службе во втором отделе. Генерал-лейтенант Шатилов», — медленно и с ударением прочел подпись Татищев. — Из этого ясно, милейший, что вы уже не офицер контрразведки, что арестовывать, вести дознания, предавать суду или, — он поглядел на все еще не пришедшего в себя ротмистра, — добывать факты и доказательства не имеете права. Распишитесь на обороте этого приказа и готовьтесь к отбытию

сего-дня же на фронт,— подавая онемевшему ротмистру бумагу, закончил полковник.

— То есть как это так? Как на фронт?

— Как все! Просто. Сел на поезд, в теплушку, или, еще проще, на грузовой автомобиль — и тю-тю!! Фронт недалеко, к вечеру уже будете в части,— с нескрываемой издевкой пояснил Татищев.

— Это интриги, это подвох с вашей стороны! — вскипел ротмистр.— Я буду жаловаться главнокомандующему.

— Хоть самому господу богу. Но жаловаться вам, ротмистр, придется с фронта. А сейчас распишитесь и уходите отсюда. Тут посторонним быть не разрешается.

— Ах, так? Отлично, запомним! Вы еще очень пожалеете об этом, липовый граф Коротков-Татищев,—осмелев от ярости; закричал ротмистр,— такой же титулованный, как вот этот мошенник барон!

— Ну, ты, болван... потише, а то ведь я тебя до фронта в подвале сгною за отказ подчиниться приказу штаба и за поношение власти. Вы слышали, господин Базилевский, как он не позвоительно ругался по адресу генералов Врангеля и Шатилова?

— Еще бы... Я до сих пор в ужасе. И как только у такого типа язык повернулся на таких важных особ! — сокрушенно сказал я.

— Вот именно! — подтвердил Татищев.

— Сволочи... проститутки, жулики! — чуть не плача от бесильной злости, завопил ротмистр. Он яростно рванул к себе бумагу и расписался.

— Вот это хорошо, вот это верно. А теперь,— пряча приказ в стол, спокойно продолжал Татищев,— пшел отсюда вон... И если до вечера ты не исчезнешь из города, я покажу тебе, кто такой граф Татищев.

— Я и так знаю, капитан Коротков, что вы полковник и граф собственного производства.

— Ничего, таких у нас здесь сотни, а теперь вон! — закури-вая папиросу, указал на дверь полковник.

Ротмистр вышел. Минуту мы молча смотрели друг на друга, затем одновременно рассмеялись.

— Дураку, обуреваемому жадностью, нельзя работать в контрразведке. Здесь должны быть люди с чистыми руками, джентльмены кристальной души.

— Несомненно! — согласился я.

— И вот я рад, что могу подтвердить это. И не только словами, но и делом. Вы видели, что порок наказан. Почему изгнан

этот болван? Потому, что он глуп, не ценит ни места, которое занимает, ни людей, с которыми служит.

— Кретин,— резюмировал я.

— Что же касается его болтовни о моем якобы самозванстве, то...

— Ваше сиятельство, господин полковник,— я сделал умоляющий жест,— в вас каждый дюйм — аристократ, как сказал какой-то из французских Людовиков.

Татищев улыбнулся.

— Не слышал, но сказано хорошо. Так вот что, Евгений Александрович, мы с вами джентльмены, люди чести и слова.

— Абсолютно!! — подтвердил я.

— Пять тысяч долларов, которые были временно задержаны мною до выяснения сути дела...

Я сделал скучающую гримасу, хотя слова Татищева показались мне музыкой.

— Эти пять тысяч принадлежат нам, то есть мне и вам, ровно по две с половиной тысячи на каждого. Сто долларов вы получили вчера, остальные две тысячи четыреста — вот они, в этой пачке... Прошу пересчитать.

Я опять сделал нечто вроде протестующего жеста.

— Нет, нет, среди джентльменов все должно быть точно и ясно. Проверьте свои деньги. Надеюсь, вас не ущемило отсутствие второй половины?

— Я поражен вашим великодушием, граф! Откровенно говоря, я считал эти деньги потерянными.

— Что вы, ведь я же Татищев, человек старорусского дворянского рода, а не этот мелкий хапуга и обирала.

— Разрешите позвать, граф, вашу благородную руку,— театрально произнес я.

— С превеликой радостью!

Мы обменялись рукопожатиями и одновременно спрятали по карманам свои доллары.

— Да, любезный мой Евгений Александрович, если через генерала Шатилова вы, возможно, попадете на прием в ставку к самому барону...

— Все возможно! — скромно сказал я.

— Сомневаюсь в этом, но иногда случаются вещи и более фантастические, то помните, мой друг,— Татищев потрепал меня по плечу,— союз делового человека с карающей десницей контрразведки может принести выгоду обеим сторонам. Не так ли?

— Это самая счастливая минута моей жизни, граф,— почти искренне признался я.



— Будут еще более счастливые.— Он снова потрепал меня по плечу и конфиденциальным тоном сказал: — Рябчиков сейчас в Крыму немало, баранов тоже. Благословляю вас на охоту за ними.— И мы снова рассмеялись.

— С каждой охоты, граф, вам по перу жар-птицы.

— Вы великодушны, и я рад знакомству с вами.— Татищев проводил меня до двери.

«Тысяча и одна ночь» продолжалась. За двое суток прошло столько событий, своеобразных сюрпризов, неожиданностей и превращений, что я понимал лишь одно — фортуна повернулась ко мне лицом. Надолго ли и сколько еще времени я буду ее любимчиком?

— Князь... фэзтун подан, какой место гуляем? — приветствовал меня с козел Гасан, лихо подкатывая к тротуару.

Я посмотрел в хитрые и вместе с тем наивно-простодушные глаза татарина.

— А где ротмистр?

— Фью-уу!! — пренебрежительно присвистнул Гасан.— Его начальник вигонял... Ротмистр теперь босяк будет... ротмистр теперь ракло будет... на фронт...

— Откуда ты это знаешь?

— Солдат сказал... На фронт гонял, там балшавик ему секим башка сделает.— И Гасан по-татарски выругал опального ротмистра.

Вечером я заехал на несколько минут к мистеру Джонсу. Это было нечто среднее между визитом и деловой встречей накануне поездки в Бельбек.

Иностранцы были радужно настроены. Народ повсюду дружелюбно встречал их.

— Мы не видели насилия и произвола — словом, тех беззаконий и зверств, о которых кричат наши ультралевые газеты,— сказала журналистка из газеты «Фигаро».

— Нет и вопиющей нищеты... Люди выглядят сытыми, одеты прилично, веселы,— согласился с нею мистер Джонс.

Еще бы! Я знал, что по пути следования гостей еще вчера были созданы группы «сытых, довольных жизнью горожан». «Подождите до завтра, голубчики... главный спектакль ожидает вас в Бельбеке»,— не без иронии подумал я и, утвердительно кивая головой, подтвердил:

— В этом маленьком, пока, к счастью, сохранившемся уголке подлинной России царит мир, порядок и гармония классов... А в четырехстах километрах отсюда фронт...— И, горестно вздохнув, добавил, вспоминая изгнанного из Севастополя ротмистра: — Лучшие сыны России каждый день добровольно идут

туда. Только сегодня мой любимейший друг и патриот родины отправился сражаться за демократию.

Парламентарии довольно равнодушно выслушали мою тираду, и только журналистка оживилась:

— Я сегодня же сообщу об этом brave воине в газету.

Выпив вместе с «европейскими демократами» по рюмке коньяка, я отправился в клуб, из которого так грубо изъясился меня щик Литовцев. Играть я не хотел, но появиться там, где, конечно, уже знали о моем аресте, надо было «для пользы дела».

В клубе, среди звона золотых монет, шелеста ассигнаций, шелкающего, как бич, голоса крупье: «Карта бита», «Ставка сорвана», «Делайте вашу игру, дамы и господа», — я был в своей тарелке.

Но никто из встретившихся завсегдатаев клуба даже и не спросил меня о причине исчезновения. Им не было дела до меня, их интересовало золото, франки и доллары. Поболтав с одним-другим, кивнув головой любезно раскланивавшемуся крупье, я прошел в комнату старшин и, присев на диван, закурил папиросу.

— Месье Базилевский, не хотите ли посмотреть, как проигрывает свой лиры итальянец? — проходя мимо, предложил дежурный старшина клуба. — Прямо оперетка...

Мне было лень подняться с места, и я неохотно ответил:

— А что в этом интересного? Ведь в игорном доме всегда одни выигрывают, другие проигрывают...

— Да это не игра, а спектакль... Итальянский офицер, какой-то маркиз, а с ним чудесная женщина...

Я обрел дар речи:

— С женщиной? Маркиз?

— Именно! Он пытается быть холодным, как лед, и невозмутимым, как скала... Хотя, я-то это вижу, одна маска... Он вот-вот сорвется, сдадут нервы...

— А она?

— Вот она-то кипит, волнуется, не в силах скрыть свое смущение... Но красotka, скажу вам, первый сорт.

Я уже был на ногах.

— Как старый боевой конь, услышавший звуки полковой трубы, — засмеялся старшина, но я уже был в дверях «золотой комнаты».

Никто не заметил меня, взоры всех игроков и зрителей были устремлены на стол крупье, на котором сверкало золото и лежали кипы кредитных билетов.

Да, это был он, маркиз Октавиани, высокий, смуглый, изящ-

ный и в то же время — я чутьем понимал это — растерянный и жалкий. Внешне вряд ли кто-нибудь, кроме меня, крупье и двух-трех завсегдатаев игорного дома, понимал это, но нас, людей, выдавших всякие виды на зеленом поле, встречавших разные характеры и манеры людей, эта деланная невозмутимость не обманывала. Маркиз, по-видимому, поставил на карту последние деньги, все, что еще оставалось у него. Анна Александровна, стоя за ним, внимательно наблюдала за игрой.

— В банке тысяча семьсот долларов. Месье и медам, делайте вашу игру.

Игроки и наблюдавшие молчали. Только что была бита карта итальянца и «мазавших» на него людей.

— Какая по кругу карта бита банком? — тихо спросил я знакомого шулера, лихорадочно следившего за игрой.

Он мельком взглянул на меня, узнал, улыбнулся и прошептал:

— Шестая... И вся за банком!

— Месье и медам, в банке тысяча семьсот долларов, делайте игру, иначе снимается банк, — еще любезней произнес крупье.

Итальянец вздохнул, и тут выдержка изменила ему. Несмотря на смуглый цвет лица, было видно, как он побледнел, провел рукой по волосам, посмотрел на свою даму и смущенно сказал:

— К сожалению, таких денег со мной нет.

— В таком случае, господа, банк... — начал было банкомет.

— Прошу, банк!

Все повернулись ко мне. Итальянец, по-видимому, не узнав меня, спросил по-французски:

— Вась?

— Да, маркиз, с вашего позволения, я иду на весь банк. — И тут, делая вид, что только лишь сейчас увидел Анну Александровну, поклонился ей.

— Банк продолжается, — металлически ровным голосом проговорил крупье. — Мечу. — И, с треском вскрыв новую колоду карт, он вопросительно взглянул на перса, державшего банк.

Тот кивнул головой. Крупье проверил мои деньги, смешал их в кучу с остальными и профессионально ловко сдал карты персу и мне.

Перс медленно, еле-еле вытягивая карты, заглянул в них и коротко воскликнул:

— Восьморка!

Зал замер. Крупье тихо, в ожидании дальнейшего, вопросительно смотрел на меня.

Перс опять, но на этот раз уже звонко и торжествующе, повторил:

— Восем... восморка!!

Я открыл свои карты.

— Девятка — кладя их на стол, спокойно сказал я.

Перс даже привскочил с места.

Итальянец отступил на шаг, растерянно улыбаясь. Завсегдатаи шумно поздравляли меня. Крупные сгреб лопаточкой кучу золотых. Здесь были и царские десятки, и американские «игли»<sup>18</sup>, и английские гинеи, и турецкие лиры. Я рассовал по карманам деньги, небрежно комкая в кучу бумажные фунты, зеленые доллары и коричневые пезеты.

Банк был сорван. Игроки обсуждали только что закончившуюся битву. Совершенно потерявший самообладание перс, горячася, что-то говорил старшинам, тыча пальцем в мою сторону, но его никто не слушал.

Доллары контрразведки оказались счастливыми, и я с улыбкой глядел на все еще шумно негодовавшего перса. Но сегодня он не являлся «рябчиком» или «бараном», как окрестил их Татищев. Нет, сегодня был только случай, всего-навсего случайность, я просто решил, что должен же после пяти или шести удачных карт выпасть наконец банкомету «жир», то есть проигрышная карта. Это и случилось.

Я поспешил в фойе, чтобы встретить Анну Александровну и маркиза. Швейцар сказал:

— Они минут десять, как вышли из подъезда.

Было около одиннадцати часов. Зная нравы ночного Севастополя, я вернулся назад, поднялся по лестнице наверх и через черный ход вышел на противоположную сторону. Пройдя по плохо освещенной улице квартал, я сел в фаятон и приехал домой.

У меня был свой ключ, но в передней меня встретила нарядно одетая хозяйка.

— А наследник престола? — вытягивая вперед голову, спросила она.

— Его высочество пожалует в полночь, — серьезно ответил я.

— Как интересно... Я еще институткой любила читать про таинственные приключения. Надеюсь, вы одобрите меня, я купила вина «абрау», паштет, скумбрию, сыр и сладкий пирог. Конечно, за ваш счет... Vous comprenez... надо ж нам принять как следует такую особу.

— Все очень кстати, тем более что я не ужинал, а наследник престола, в силу известных обстоятельств, всегда голоден... Да, хорошо бы еще чаю... А вот это вам, уважаемая Клеопатра

<sup>18</sup> И г л и — золотые двадцатидолларовые монеты с изображением орла.

Георгиевна, за труды и инициативу, — я протянул ей десятидолларовую бамажку.

— Ах, вы щедры, мой друг, как на б о б! — пряча за корсаж деньги, умилилась вдова капитана. — А чай будет с вареньем и сладким пирогом.

Сыщик пришел ровно в двенадцать. Он был сдержан, предупредителен и только недоумевающе косился на хозяйку, расточавшую в его сторону восторженные верноподданические взгляды.

— Она что, нездорова? — поинтересовался он, когда вдова капитана, налив нам чаю, попрощалась.

Я постучал пальцем по лбу.

— Я так и думал.

Новостей у претендента на всероссийский престол было не много.

— Ротмистр наш, — прихлебывая чай, доложил он, — отправлен на фронт, но донос на вас и Татищева написал.

— Кому послал?

— Генералу Врангелю, в военный совет. Вот он, у меня, — и Литовцев вынул из кармана пакет.

— Почему у вас? — беря конверт, спросил я.

— Господин ротмистр, считая меня вашим кровным врагом, доверил его мне, чтобы я самолично сдал его завтра в приемной барона.

— Что еще?

— Капитан Голоскухин дрожит за свою шкуру. История с ротмистром напугала его... Приказал мне день и ночь следить за вами.

— И что же?

— А я неотступно следовал за вами, Евгений Александрович, и когда вы у иностранцев были, и когда шикарный банк у персюка сорвали, и когда выбежали, искали кого-то...

— Ловко! — восхитился я. — А потом?

— А вот потом потерял вас... Виноват, но каким-то чудом вы раньше меня очутились дома. А я здорово поволновался.

— Почему?

— А как же? Человек вы известный, с большими деньгами, с выигрышем в кармане, один, ночью... А ведь городок-то у нас — слава богу, жулья да бандюг хватает... Еще боялся и потому, что капитан мне поручил следить за вами, а кому другому — прикончить вас. А мне и жалко и невыгодно. Как-никак еще пятьсот пятьдесят долларов за вами.

— Теперь будет только четыреста, — засмеялся я, отсчиты-

вая незаконному сыну Александра Третьего три пятидесятидолларовые бумажки.

За дверью завозились, послышался еле слышный шорох.

— Клеопатра Георгиевна! — крикнул я. В коридоре стихло. — Клеопатра Георгиевна! — властно и громко повторил я. — Войдите! Мы ждем вас!

Через секунду в дверь просунулась голова хозяйки.

— Звали? — медовым голосом проворковала она.

— Так точно! Я хочу, чтобы вы, осколок империи, присутствовали при возрождении царствующего дома и, как дворянка, воспитанница Московского института благородных девиц, видели, что я, камергер Базилевский, внес вклад этими долларами в фонд помощи для восшествия претендента на престол.

— Дай господи, помоги бог вашему высочеству, — кланяясь, прошептала вдова капитана первого ранга.

Сыщик стоял, вытянувшись во весь рост, с выпученными от недоумения глазами, держа в руке доллары.

— А теперь воздадим богу хвалу. Отправляйтесь спать, но с этой минуты вы, — я поднес палец к губам, — член тайного общества ревнителей императорского престола... А теперь — ни звука... никому... и спать.

Вдова, пятясь, вышла.

Мы перешли к деловой беседе. Теперь — я был в этом уверен — вдова капитана уже не подслушивала под дверью, а, лежа в своей постели, грезил о придворных балах и коронации ее таинственного гостя.

— Евгений Александрович, что я вам скажу, — вдруг начал Литовцев, — может, вы мне все деньги вернете... а? Я вам все равно верой-правдой служить буду.

— Не обольщайтесь чепухой, Литовцев, за «веру» я каждый раз вам буду платить по двадцать, за «правду» — по тридцать долларов. Чем больше вы будете это делать, тем вам же лучше — скорее получите свои деньги.

— Так-то оно так, Евгений Александрович, да только дело не ждет... Он зашептал мне на ухо: — Дело в том, что красных туча тучей за Перекопом набралось... И пушек, и кавалерии, и сам Буденный... Словом, денежки надо иметь при себе... Мало ль что случится...

— Сведения откуда?

— Верные... Мне ли, сыщику, да еще имеющему везде уши и глаза, их не знать... Неважные дела на фронте, Евгений Александрович, вот потому я и беспокоюсь.

— Эта «вера-правда» стоит еще сто. Получите их, Литов-

цев,— и все... понимаете, все своевременно сообщайте мне. Мне тоже неохота знакомиться с большевиками.

— Вам первому!

Он ушел, а я еще с полчаса думал о его словах. Это было похоже на правду.

Румынский паспорт, виза и иностранное подданство у меня были, деньги имелись. Об Анне я просто забыл.

К десяти часам утра я был у англичан. Позавтракав с ними, мы дождались французов. Итальянцев и маркиза Октавиани не было. Они присоединились к нам позже, когда мы рассаживались по экипажам. По желанию гостей ехали не в автомобилях, а в фаэтонах — «забавных доисторических русских фиакрах», как назвал их один из гостей. Он не подозревал того, что эти экипажи были лучшими из всех фаэтонов Севастополя. Разместили по три-четыре человека в каждом. Конечно, Гасанка, сияющий белозубой улыбкой, черными усами и нагловатым взглядом, понравился всем.

Джонс, Анна Александровна, Октавиани и я разместились в его нарядном экипаже, остальные фаэтоны потянулись следом, четверо конных полицейских сопровождали нас.

Мы выехали из Севастополя в одиннадцатом часу. Рассказывать о том, как гости ахали и охали, разглядывая достопримечательности города, панорамы Малахова кургана и Сапун-горы, не буду. Фотоаппараты щелкали на каждой остановке, а оставались мы всюду, где только хотелось любому из иностранцев. Зная повадки полиции и контрразведки, я был убежден, что не только сопровождающие нас всадники, но даже некоторые из извозчиков были соглядатаями и ушами Татищева. Но разговор шел на английском и французском языках, вряд ли эти мужланьки понимали что-нибудь. Значит, им было поручено «смотреть», «наблюдать», а «слушать» должен был кто-то из молча конвоировавших нас всадников.

— Что это за странные люди? — не глядя на конных, спросила Анна Александровна.

— Остерегайтесь их! Глаза и уши контрразведки, приставленные к нам.

Она пожала плечами.

— Слишком самоуверенно и глупо держатся они,— прогуливаясь вдоль шоссе, сказала моя спутница.— А почему мне надо остерегаться их? Как вчера говорили вы, это вам надо опасаться такой публики.

— А я ни на минуту не забываю этого. Пока я с вами и ну-

жен господам иностранцам, они мне не страшны, но... как долго продлится это?..

Анна Александровна ничего не ответила, отойдя за каким-то полевым цветком еще дальше от дороги. Я нагнал ее.

— Безвыходных положений не бывает. В этом вы уже убедились вчера...

Я настороженно смотрел на нее.

— Да, да. Я знаю о метаморфозах, происшедших с вами всего за один только вечер, от фешенебля<sup>19</sup> до узника контрразведки и неожиданного перевоплощения из арестанта в распорядителя светского бала... Находите выход и теперь...

Она знала о моих злключениях в сыском отделении и фарсе, поставленном Татищевым в стенах Дворянского собрания. И все же я не ощущал с ее стороны враждебности к себе.

Пока наша поездка проходила совершенно в духе *partie de plaisir*. Но я знал, что, согласно плану, в Бельбеке, а возможно и у завода крымских вин нас «неожиданно» встретят жаждущие поговорить с социалистами, подготовленные штабом люди.

Разговоры «европейских демократов» были одинаковы: «Ах как это похоже на дорогу в итальянских Альпах...», «...или на шоссе в Вогезах...», «У меня просто не хватает слов описать все эти красоты...»; «Нет, нет, встаньте ближе, выйдет превосходная фотография...» О крымском пролетариате и севастопольских рабочих забыли. Анна Александровна несколько раз обращалась ко мне с тем или иным вопросом. О посещении ею казино не было произнесено ни звука. Правда, итальянский маркиз еще в городе сказал мне:

— Превосходный был банк, не правда ли? Вы, месье Базилевский, король удачи...

— Желаю и вам стать таковым, — сухо ответил я, давая ему понять, что этот тон не нравится мне.

Прошло уже около двух часов, как мы выехали из Севастополя, а подготовленный властями фарс с «пролетариями» не начинался. И тут один из спешившихся всадников, воспользовавшись тем, что я был один, проходя мимо, шепнул:

— Пора в Бельбек... Предложите им ехать.

Я наклонил голову, выкурил папиросу и подошел к щелкавшим фотоаппаратами гостям.

— Господа! Вы видели только часть наших красот, но самое прекрасное покажу вам через полчаса.

И я стал рассказывать о татарском ауле Бельбеке, расположенном недалеко. Я говорил о виноградниках, в которых тонет

<sup>19</sup> Фешенебль — изысканный щеголь, франт (франц.).



этот аул, о чудесном винограде, который мы можем попробовать там прямо с лозы, о холодном айране — сыворотке на льду, особенно заинтересовавшем европейцев, о крестьянах, татарах и русских, в тесной дружбе работающих там.

— Вам, господа, представителям рабочей демократии Запада, свободных фермеров Англии, людям, знающим жизнь виноделов Италии, небезынтересно будет познакомиться с трудом и бытом этих неутомимых людей.

Говорил я по-французски, но видел, как тот самый полицейский, который как бы невзначай только что подходил ко мне, внимательно прислушивался к моим словам.

Мое предложение понравилось гостям. Еще бы — вино, айран, отдых в ауле, беседы с пейзажами «рюс»... И мы отправились в Бельбек.

— Евгений Александрович, где вы учились? — по-русски спросила меня Анна Александровна в тот момент, когда я помогал ей сесть в фаэтон. Это было неожиданно и сказано неспроста и, вероятно, имело отношение к вчерашнему посещению казино.

— Я инженер. Окончил Петербургский политехникум.

Бедь одно время я немного работал на Путиловском заводе.

— Это хорошо. — Она взглянула на меня и до самого Бельбека разговаривала лишь с итальянцем и Джонсом.

Зачем она спросила меня о профессии? И не все ли ей равно, кем я был в своей жизни?

Бельбек — село, расположенное не遠далеке от шоссе. Конные свернули влево, фаэтоны покатались за ними и через десять минут въехали в аул. Нас окружили жители села. Но узнать среди них, кто являлся настоящим бельбековцем, а кто опереточным пейзажем из фарса, поставленного контрразведкой, было нельзя.

Сначала большинство жались у стен, потом, осмелев, подошли ближе, показались дети и женщины... Заговорили разом все и по-татарски и по-русски. Появился какой-то «чин», но тут же исчез после энергичного жеста одного из наших охранителей.

Спектакль «пошел», как говорят актеры. Откуда-то появились «мужички», одетые в костюмы, которые носили крестьяне еще до освобождения от крепостного права, с бородами и в посконных рубахах, ходившие довольно неумело в лаптях. Они низко и степенно кланялись глазевшим на них иностранцам, то и дело крестясь и что-то молитвенно подвывая. Картина действительно была любопытная, глупая и не виданная никем, а тем более просвещенными «европейскими демократами».

— Что они поют? — поинтересовалась журналистка из «Пепль».

«А черт их знает, что!» — следовало бы ответить ей. Это было бы и правильно и честно.

Тут я заметил иронически-насмешливый взгляд Анны Александровны. И готовый ответ журналистке застрял у меня на языке.

Мне вдруг стало стыдно. Об этом чувстве неловкости и стыда я забыл давным-давно, и вдруг... в самое неподходящее время, когда события и люди поставили мою жизнь на опасную грань непредвиденных случайностей, я устыдился и покраснел. Да, да, по-крас-нел... Анна Александровна как-то странно смотрела на меня, а затем заговорила с кем-то из иностранцев.

А спектакль рос и разворачивался. Джонс, подняв левую руку вверх, говорил толпе о том, что английские рабочие — братья по классу крымским крестьянам, что демократия — это высшая форма гармонии между городом и деревней.

Я переводил кое-как. Насмешливый взгляд Анны Александровны вывел меня из равновесия.

Проходя мимо меня, она негромко сказала:

— Для этого водевиля не хватает только двух основных героев... Кутепова и Слащева.

Я продолжал переводить галиматью, которую, размахивая руками и бия себя в грудь, театрально изрекали люди, представлявшие собой население Бельбека. Иногда они не в меру восхваляли крымскую власть, иногда же, наоборот, ругательски ругали ее, и мне трудно было разобрать, кто здесь поставлен штабом и кто действительно местный житель.

Особенно напугало нас неожиданное выступление пожилой женщины, вырвавшейся вперед.

— Что я вам скажу, господа иностранцы, — замучили они нас, задавили, а каких людей погубили, злодеи! — с ненавистью в глазах, тыча пальцем в наших охранителей, закричала она. — Убили мужа моего, Слащев, кровопийца этот, расстрелял. Этот самый Слащев гад, даром что в генеральской форме. У нас на Северной стороне человек семьдесят расстрелял. — И, видя, что ее не понимают, схватила за руку Джонса. — Все они кровопийцы... Пу! Пу! Пу! — тыча пальцем себе в грудь, пояснила она.

— Что она говорит? Мы слышали об этом Слащеве... О нем и о Кутепове пишут в наших газетах как о палачах и садистах, — разом заговорили гости.

Кто-то из «пейзан» пытался было оттянуть женщину в толпу. Журналистка и один из французов остановили его.

— Это произвол! Вы не даете ей возможности говорить. Не трогайте ее!

— Ну что ж, господин Базилевский, переведите этим госпо-

дам все, что говорила эта женщина,— сказала Анна Александровна.

Но как я мог перевести, за какими словами можно было скрыть правду, когда гости по плачу и жестам этой женщины поняли все, о чем говорила она? А рядом стояла Анна Александровна, выжидательно глядя на меня. И опять я впервые за много-много лет понял, что лгать я не могу и не буду.

— Эта женщина обвиняет генерала Кутепова и Слащева в убийстве мужа. Они расстреляли еще семьдесят человек рабочих и моряков лишь в одном районе Севастополя...

Сразу все смолкло. Все уставились на меня, одни с удивлением, другие со страхом, третьи со злобой.

— Что вы мелете? Не смейте переводить точно! — услышал я позади себя злой и быстрый шепот.

Я оглянулся. Возле с самым безмятежным видом стоял начальник нашей конной охраны, глядя куда-то поверх меня. Несмотря на то, оказывается, понимал и по-английски. Меня охватила злость.

— Ступайте к черту с вашими советами, почтенная шкура! — тоже тихо, но очень отчетливо сказал я по-русски, продолжая медленно переводить Джонсу и столпившимся вокруг него англичанам горькие слова женщины.

Рядом с Джонсом была Анна Александровна, не сводившая с меня спокойного взгляда. Конечно, она слышала все — и торпливо-наглый шепот контрразведчика и мой ответ ему.

В эту минуту я даже и не подумал о том, чем грозит и во что может обойтись мне мое неподчинение наблюдателю, приставленному к нам Татищевым.

Я посмотрел на Анну Александровну. Лицо ее просветлело, суровое выражение глаз смягчилось.

— И она просит, господи, защитить ее, так как она не уверена в своей безопасности. — Этого женщина не говорила, но это надо было сказать, — иначе ее арестовали бы сейчас же после нашего ухода.

Журналистка обняла плачущую женщину. Джонс, вынув блокнот, записал ее фамилию и адрес. Затем, оторвав второй листок, сказал:

— Вот мой адрес. Я прошу вас, миссис, зайти завтра к нам в гостиницу.

Он повернулся к сопровождавшим нас полицейским и строго предупредил их:

— Я сегодня же расскажу о ней генералу Врангелю и надеюсь, что тот, кто не хочет иметь себе большие неприятности, воздержится от преследования этой дамы.

Я точно и отчетливо перевел его слова толпе, а блюстителю порядка молча отвели в сторону глаза. Но тут еще одно непредвиденное событие нарушило сердечный контакт населения с делегатами Европы. Из-за деревьев вывалилась знакомая нам всем массивная фигура Попандопуло. Он был одет в длинный белый пиджак, клетчатые штаны и красные турецкие туфли с загнутыми вверх носками. На голове красовалась маленькая соломенная шляпа.

Неожиданно грек оступился и упал на одно колено возле Джонса. Англичанин в страхе отступил, но, пристально взглядевшись в тяжело поднимавшегося грека, недоуменно воскликнул:

— Вчерашний анархист?!

«Пейзане», отворачиваясь, посмеивались за спинами бельбекских обывателей. Полицейские неодобрительно молчали, исподлобья глядя на комическую фигуру Попандопуло, на его массивный живот и тройной подбородок. Члены делегации откровенно хохотали, и только недалекий, но честный Джонс, побавровев, сказал срывающимся голосом:

— Что это за фарс? Откуда здесь, в этом селе, появился господин, только вчера именовавший себя анархистом?

Но Попандопуло оказался не только коммерсантом и бывшим анархистом, но и ловким политиком — пыхтя и сопя, он шагнул вперед и снова, на этот раз уже намеренно, шлепнулся на колени перед Джонсом. Теперь англичанин перепугался не на шутку. Он отскочил в сторону и, стараясь спрятаться за мою спину, спросил, запинаясь:

— Это кто... сумасшедший... или... — Он со страхом взирая на «анархиста», по-видимому, ожидая, что тот сейчас бросит в нас бомбу или станет стрелять в толпу.

— О нет, — залепетал с заискивающей улыбкой Попандопуло, — я нормальный... Я... прошу у вас всех защиты. — И он, как заводная кукла, стал кланяться присутствующим.

— Ничего не понимаю, — успокаиваясь, пробормотал Джонс. — От кого защиты, кто вам угрожает?

— Он! — завопил грек, поднимая вверх палец. — Слащев... генерал, о котором говорила эта женщина, — и он показал пальцем на вдову расстрелянного рабочего.

Опять все смолкло. Смех и шуточки, вызванные комическим появлением «анархиста», стихли.

— Он хочет расстрелять меня за мои анархические убеждения. Он приказал арестовать и повесить меня... — вопил Попандопуло. — Я идейный анархист. Меня сам... — он забыл, кто, и быстро заглянул в манжетку, — сам Кропоткин знает. Я, если

желаете знать, с самим...— он откровенно глянул в манжетку,— Блантом переписываюсь.

Делегаты не понимали по-русски, и ссылки грека на давно-давно умерших столпов анархизма не дошли до их мозгов.

— Этот генерал за то рассерчал на меня, что я вчера свободно говорил с вами,— продолжал Попандопуло.

Боясь откровений разболтавшегося Попандопуло, я остановил его.

— Мы защитим вас. Ничего не бойтесь. Вот и вам моя записка,— Джонс оторвал и ему листок из своего блокнота.

В душе я восторгался находчивостью Попандопуло, так здорово использовавшего имя опального, снятого со всех постов Слащева. Врангель ненавидел Слащева, боясь его как возможного преемника на своем посту. Я знал о грызне обоих генералов, знал и о том, что Слащев снят с командования второй армией и по сути находится под домашним арестом. Я ничем не рисковал, называя Слащева, несомненного садиста и вешателя, но как рисковал сделать это Попандопуло?

Уже позже, в городе, я спросил его об этом. Хитрый Попандопуло лукаво засмеялся, сделал непонимающее лицо, но потом быстро проговорил:

— Ой, господин Базилевский! Вы ж умный человек, и Попандопуло не дурак. Я ж слышал, Слащев уже не «цар» (он так и сказал «цар») и не министр. Я и сказал так потому, что знал это. А лучше было, чтоб этот англичанин мене за жулика посчитал... да?

Это полушутовское, но психологически оправданное появление Попандопуло настроило всех на радужный, благожелательный лад. А когда все сели за подготовленные столы с холодными закусками, винами, фруктами и крымскими чебуреками, европейцы и «пейзане» забыли и Слащева, и фронт, и гражданскую войну...

Разнеженные, довольные приятной поездкой, сытые, подвыпившие возвращались мы в Севастополь.

Корреспондентка из «Пепль» напевала какую-то двусмысленную песенку, итальянский маркиз не сводил глаз с Анны Александровны и был так увлечен, что не заметил, как его сфотографировал корреспондент из «Таймс».

День для всех прошел отлично. Несколько десятков фотографий должны были подтвердить будущий доклад европейских социалистов и либералов о том, что народ Крыма восторженно встречает западную демократию, любит Врангеля и готов грудью защитить барона от большевиков.

Вдову расстрелянного рабочего давно забыли. О ней и о

Слащеве не вспоминали. Вечер подходил такой ясный, умиротворяющий и тихий, что было бы просто неприличным вспоминать о мелочах крымской жизни.

Сопровождающие нас всадники, пьяненькие и тоже полакомившиеся яствами Бельбека, кое-как сидели в седлах. Словом, отчетная поездка к «пейзажам» удалась на славу. Но почему-то я все время избегал Анны Александровны, стараясь не встречаться с нею взглядами.

Я проводил иностранцев до гостиницы.

Только когда мы расставались, Анна Александровна в ответ на мой поклон сказала:

— Вы не безнадежны, Евгений Александрович, и это очень хорошо. Я слышала ваш разговор с начальником охраняющей нас команды. Он, конечно, сегодня же доложит начальству...

— Я уверен в этом, Анна Александровна.

— И вас могут ожидать неприятности... Вы верите мне?

— Очень.

— Тогда не выходите никуда из дома, ждите весточки от меня... обязательно ждите... — многозначительно подчеркнула Анна Александровна.

Я почтительно поцеловал ее руку и вышел на улицу.

В этот вечер никто не тревожил меня — ни генерал Артифесов, ни Татищев, ни Литовцев, жаждавший очередной порции своих проигранных долларов. Газеты сегодня были полны победных реляций и радужных, многообещающих прогнозов на близкий разгром красных. Мне надоело читать это, и я стал приводить в порядок свое «хозяйство». Что я имел? Долларов тысяч около семи, несколько ценных вещей, четыре иностранных паспорта с визами и правом выезда за границу, два из них — румынский, на имя барона Думитреску, и испанский, на имя коммерсанта из Толедо дона Фернандо Хуана Мендоса, были «семейные», то есть и на жену. Я мог вписать в приложенный к ним бланк любую женщину, и она, становясь моей женой, имела право выезда из Крыма в страны, выдавшие мне эти паспорта. «Не удрать ли подобру-поздорову?» — подумал я. Пока дела обстояли благополучно, но «пока». Я хорошо знал всю эту публику, которая окружала меня. Сегодня я еще был нужен им, а завтра?..

Мои деньги, мое ремесло, прошлое, наконец, политические комбинации, в которые втянули меня, не сулили мне спокойной и долгой жизни. Если газеты не врут, Врангель выйдет из Крыма и двинется к Москве. Я буду не только не нужен, но и вреден всем этим генералам. Да и Слащев неожиданно может опять

стать фигурой в этом белом кавардаке. «Нет, Женечка, тебе надо сматывать удочки и махнуть в Стамбул...— решил я.— А как же Анна Александровна?» — вспомнил я госпожу Кантемир. И опять мне стало не по себе. Никогда ничья судьба не беспокоила меня. Живут и живут, какое мне до них дело,— было правилом моей жизни, и вдруг... Я «не безнадёжен». Я обозлился на себя, швырнул карандаш на пол, изорвал и сжег на свече подсчеты моих богатств.

В прихожей зазвонил звонок. Я слышал, как Клеопатра Георгиевна открыла кому-то дверь. Невнятно доносились обрывки слов.

— К вам пришли,— проговорила хозяйка.

Передо мной стоял Попандопуло. Грузный, массивный, задыхающийся. Он вежливо поклонился, просительно глядя на меня. Я открыл шире дверь, и грек протиснулся в комнату.

Зачем пришел ко мне этот по сути малознакомый человек? Я усадил его в кресло. Отлично зная, что за дверью пританцалась вдова капитана, решил изолировать ее от нас.

— Дорогая Клеопатра Георгиевна! — позвал я.— Разрешите представить вам адмирала Попандопуло, командующего греческим военным флотом.

Вдова замерла, восхищенно хлопая глазами, сам же «греческий адмирал», всего сутки назад бывший анархистом, другом Махно и Кропоткина, невозмутимо смотрел на нас. По-видимому, его уже ничто не удивляло. Он, не поднимаясь, кивнул головой почтительно взиравшей на него вдове.

— Его высокопревосходительство тоже осведомлены о претенденте на престол? — робко выговорила она.

— Абсолютно! — подтвердил я.— Силы Греции на стороне правого дела. С нами бог! — торжественно закончил я.

— Кирие элейсон!<sup>20</sup> — перекрестившись, сказал ничего не понимавший Попандопуло.

— Теперь же, дорогая наша хозяйка, как вы сами понимаете, высокого гостя из Греции надо угостить хорошим вином. Вот деньги, и прошу вас купить нам самой лучшей закуски и самого доброго вина.

— Ах, какой восторг! — пряча деньги в сумочку и закатывая глаза, простонала вдова.— Значит, вы тоже в заговоре?

Я запер за ней входную дверь. Попандопуло сидел, раскрыв рот.

— Какой заговор? — свистящим шепотом спросил он.— Ни-

---

<sup>20</sup> Господи помилуй! (греческ.).

какой заговор Попандопуло не знает... Я цесный грек. Я не хочу пуля на свой башка...

— Успокойтесь! Она,— я постучал по лбу,— помешалась на высокопоставленных лидах. У нее такая мания. Погиб муж и трое детей, она и того... спятила. Скажите, зачем вы пришли ко мне? Ведь вы всего час-полтора назад были в Бельбеке.

Грек грузно задвигался на затрещавшем кресле, вздохнул и, показав глазами на стены, спросил:

— Еще кто тут?

— Никого! Я и эта сумасшедшая хозяйка. Можете спокойно говорить. В чем дело?

Попандопуло вздохнул, тяжело поднялся с места, открыл дверь, заглянул в уборную и на кухню. Осмотр квартиры успокоил его. Потом он полез в карман и вынул маленький салатного цвета конвертик.

«Бильеду»,— вспомнил я петербургские гостиные, когда молодые студенты, танцующая с институтками, умудрялись передавать записочки друг другу.

— От кого? — разглядывая конверт, спросил я грека.

— От интересной дамы... Па-па-па! — вытягивая губы, восхищенно зачмокал он.

— Не стройте из меня дурочку, Попандопуло,— прервал я.— Ну?

— Слушайте мне, вы ж не Гектор, а я не Парис, чтоб из-за женщины воевать.— Он широко осклабился и доверительно шепнул: — От той дамочки, которая в фэзтоне с вами ехала.

— Интересно! А как же вы ее нашли?

— Вы читайте это письмо, а я вам потом объясню.— Грек налил из графина воды и выпил.

«Я ваш друг, несмотря ни на что. Не ночуйте сегодня дома. Прошу, умоляю, сделайте это. Не ночуйте дома!»

Я озадаченно посмотрел на грека. По-видимому, «анархист» Попандопуло не знал содержания письма.

— Как оно попало к вам?

Мой тон удивил его.

— А что? Есть какая беда? — и улыбка самодовольства сползла с его лица.— Я же уцелел, мене пять раз за ничто сажали: то валюта, то будто спекулянт... то продажа солдатских шинелей. А я их видал? Я их и не знаю, какие такие шинели...

— Где вы встретили эту даму? — перебил я.

— Так я ж говорю, я сего боюсь и в Бельбек со страху поехал... и англичанину про Слащева все со страху болтал... а как вы поехали обратно, я напужался. Бабу эту, что про убитого мужа говорила, городовые, ну, как теперь, стража, по морде... Я



и в кусты, а потом на дорогах в город. Куда Попандопуло идти? Некуда. Я еще больше спужался — и к этой даме... Больше некуда... всех боюсь. И вас, и контрразведку, и солдат, и всех! Я к ней, а живет она...

— Знаю, знаю! Говорите дальше.

— ...На Морской, четыре, квартира девятнадцать. Я это еще вчера узнал, я к ней... Позвонил, а она...

Слушая его, я еще раз стал перечитывать письмо и с краю увидал крохотную приписку: «Не задерживайтесь и часа... Сожгите письмо».

— ...а она в дверях, увидала меня, даже рукой за сердце схватилась. «Бог вас прислал... Вы знаете, где живет господин Базилевский?» — «Знаю, только я к вам, барыня-сударыня, с просьбой». Она перебивает: «Сядьте!» И только написала вот это. «Отдайте, говорит, сейчас же, найдите его, где хотите, но найдите...» — «Да он, говорю, дома». — «Сейчас же к нему... и отдайте это...» — «А когда я к вам с просьбой...» — «Завтра, завтра... с утра, а сейчас к нему — и в собственные, понимаете, в собственные руки». Я, конечно, понимаю, человек вы молодой, красивый, богатый, клад по нынешним временам.

— Вот что, Попандопуло, — перебил его я, — немедленно же исчезайте отсюда... и всю ночь не показывайтесь на улицу. И не ночуйте дома. У вас есть где переночевать?

Грек приподнялся с кресла, потом грузно осел в нем и тонким, жалобным голосом закричал:

— Ой-ёй-ёй! Опять прятаться, опять аресты! Вы шутите, господин Базилевский?

— Не шучу. Я сам сейчас исчезаю отсюда. Через полчаса здесь будет контрразведка... И понимаете, и меня и вас за речи о Кутепове и Слащеве... — я провел пальцем по горлу.

С легкостью, непостижимой для такого толстяка, Попандопуло вскочил и ринулся к двери. Я поймал его за руку.

— Немедленно же исчезайте из города. И помните: я вам ничего не говорил, а эта женщина ничего мне не писала. — И я на его глазах сжег полученную записку.

Помертвевший от страха Попандопуло покорно кивнул головой и хрипло прошептал:

— Хорошо... Только заговор никакой я не знаю... — И исчез за дверью.

Я не спеша уложил костюмы и белье в два чемодана и вынес их из комнаты в чулан, прикрыв тряпками, грязным бельем и еще чем-то, что валялось в кладовой.

Вдова вряд ли будет сегодня копаться в ней, а те, от кого предостерегает меня Анна Александровна, не найдя меня и мо-

их вещей, бросаясь искать по городу. И, конечно, в первую очередь на вокзал и в порт...

Я быстро собрал все деньги, ценности, документы, паспорта, письма и вышел на улицу.

Перейдя ее, вошел в тень небольшого сквера с густо разросшимися акациями и каштаном. Было темно, эта сторона сквера не освещалась, и я, сидя в чаще кустов, из темноты отлично видел мой дом, его подъезды, освещенные окна этажей, пролетки и людей, то и дело мелькавших на улице. Это место было давно найдено и облюбовано мною. Богатая неожиданностями и приключениями жизнь научила меня ценить такие удобные наблюдательные пункты и заранее подготавливать их.

Прошло минут пятнадцать, но пока все было по-прежнему, только меньше и меньше становилось людей и движения. Улица пустела, погасли окна в доме.

Нагруженная покупками, просеменила и вошла в подъезд хозяйка. Она торопилась, ей, наверное, так хотелось выпить бокал вина с греческим адмиралом и, жеманясь, рассказать гостю, что она вдова морского офицера... Прошло еще несколько минут. Не было никого, но эта тишина не обманывала меня. Я знал, что Анна Александровна писала правду. Почему? — не знаю сам, но я верил, ни на йоту не сомневался в искренности ее предупреждения.

По тихой, замершей улице проскакали двое конных и спешились у моего дома. Подкатил автомобиль, за ним другой, закрытый, черный, с забранным решеткой окном. Из них высыпали люди. При довольно тусклом освещении редких уличных фонарей я все же без труда узнал кое-кого. Сыщик Литовцев, капитан Голоскухин, трое солдат с повязками на рукавах и... полковник Татищев, которого, почтительно поддерживая под руку, высадил из машины ротмистр Токарский.

Это была картина, достойная богов. Ротмистр, выгнанный из отдела контрразведки, оплеванный Татищевым, дружески что-то шептал ему, указывая на окно второго этажа — мое окно. И оба заговорщика, улыбаясь, вошли в подъезд. На улице остались солдаты, пролетка и автомобили.

Пробираясь сквозь чащу, я переулками направился в противоположную сторону, на Морскую, к дому номер четыре, где жила Анна Александровна. Я позвонил, дверь открылась.

— Я знала, что вы придете сюда, — сказала Анна Александровна, впуская меня в комнату.

— Почему?

— А куда же вы делись бы в такую ночь? — ответила она. — Вы пришли один?

— Один... Анна Александровна, простите, но я хочу спросить, откуда вы узнали...

— Ах, это потом, после...— Она погасила верхний свет, оставив только настольный ночничок, и подошла к окну.— Не заметили, за вами никто не следовал?

— Нет...— И я рассказал ей все, начиная от прихода Попандупо и до момента, когда из кустов задворками направился к ней.

— А этот грек не знает, что вы у меня?

— О нет. Он страшно перепугался, узнав о том, что его и меня ищет контрразведка.

Она слабо улыбнулась.

— А его зачем?

— Я сказал это для того, чтоб он немедленно же скрылся из города. Но что случилось и откуда вы узнали о налете на...

Она жестом остановила меня.

— Не спрашивайте пока ничего. Это лишнее... Потом я сама расскажу все...— Она отошла от окна, из-за занавески которого наблюдала за безмолвной ночной улицей.— Дело вот в чем: Красная Армия ворвалась в Крым, Перекоп пал... Конная армия Буденного захватила Юшуньские позиции, Татарский вал, Армянский базар — в руках красных.

Я приподнялся с места.

— В городе еще не знают об этом... Завтра начинается эвакуация высших чинов, штаба, администрации, их семейств, ценностей и учреждений.

Она говорила это так спокойно, вернее, таким безразличным голосом, что я, несмотря на неожиданную новость, удивленно глядел на нее.

— Дни Врангеля сочтены... Через пять-шесть дней весь Крым будет красным...

— А как вы? — наконец выговорил я.

Она словно не слышала этого вопроса.

— Контрразведка и вся нечисть, облепившая ее, конечно, знает обо всем... И, — она подняла на меня глаза, — сейчас станет грабить, уничтожать неугодных ей людей, чтобы не оставить и следа своих преступлений. К тому же этим негодяям надо запастись долларами, валютой для безмятежного существования за границей. Настал последний день их власти, и они хорошо используют его.

Только теперь я понял, почему эта свора кинулась на мою квартиру.

— Уходя, вы все бросили дома?

— Нет. Вот деньги, около семи-восьми тысяч долларов, вот

иностранные паспорта с визами, вот ценности. Что же касается моих чемоданов, я надежно спрятал их в чулане. Возьмите деньги.

Анна Александровна испытующе смотрела на меня.

— Почему я должна взять их?

— Потому, что вы спасли и мою жизнь и деньги.

Она побарабанила пальцами по столу.

— Деньги пригодятся вам, если и вы отступите за границу.

А что это за паспорта?

— Румынский, итальянский, испанский, эти два — турецкий и персидский...

— Вы запасливый, предусмотрительный человек. А почему эти два выданы на супругу? У вас есть таковая?

— Нет... Просто так иногда удобнее.

— Вы очень предусмотрительны.

Потом подошла ко мне и спросила:

— Как вы думаете, Евгений Александрович, почему я спасла... предупредила вас?

Признаюсь, я не ожидал такого вопроса. Она стояла возле меня, глядя мне в глаза прямым, немигающим взглядом.

И опять я был восхищен ее строгой, четкой, целомудренной красотой.

— Не знаю... Мне трудно ответить на ваш вопрос, Анна Александровна... — начал было я.

— Только не делайте глупых и ложных выводов. И спасла вас и ждала не потому, что вы молоды и элегантны... Я сделала это потому, что вы нужны мне.

— Ну-же? — ничего не понимая, повторил я.

— Да! Именно нужны в одном деле... то есть, может быть, будете нужны... Это выяснится завтра. А пока выпейте стакан чаю, — она налила мне из термоса дымящийся чай, — и ложитесь спать вот на этом диване. Завтра все определится...

— А вы? — довольно глупо спросил я.

— А я лягу на том, что у двери. Спокойной ночи!

Она погасила ночничок и уже из темноты сказала:

— Без моего разрешения никуда не выходите.

Больше часа я лежал без сна в чужой комнате, на чужом диване, размышляя о том, как злодейка судьба продолжает надо мною свои эксперименты. Затем я заснул.

Когда я проснулся, было около восьми часов. Я был один. На столе лежала записка: «Никому не открывайте дверей, на звонки не отзывайтесь. На кухне вас ожидает завтрак. Буду в 10 ч. А.»

Я привел себя в порядок, осмотрел свои «богатства». Все —

и золото и деньги — было цело. Я согрел кофе, съел яичницу, сжег записку Анны Александровны и стал дожидаться хозяйки.

А за окном был крымский осенний день. Яркое солнце ворвалось в комнату, как только я чуточку приоткрыл окно. И вместе с солнцем влетели шум, голоса, движение и ощущение какого-то беспокойства, охватившего город.

«Прорвались в Крым... Буденновцы атакуют и гонят белых», — вспомнил я вчерашние слова Анны Александровны. Тогда я как-то не обратил внимания на тон, которым сказаны были эти слова, но сейчас он показался мне странным. Кого-кого, но ее, близкую подругу дочери Шатилова, даму, принятую в самом высоком обществе Севастополя, должны были напугать, ошеломить эти события... Хотя чего было бояться ей? Первое же отходящее на Константинополь судно взяло бы ее на борт.

Успокоенный этим выводом, я продолжал прислушиваться к все нараставшим шумам города.

Да, вся эта паническая сутолока, проносящиеся мимо автомобили, бестолково снующие люди, конные и пешие солдаты, казаки — все это ясно говорило, что слова Анны Александровны о конце барона были правдой. Я пожал плечами. Крымская белая эпопея была мне, в сущности, враждебна. Ведь мне еле удалось избежать тюрьмы, ограбления и даже смерти в этом милом белом Крыму. Нет, я, румынский барон Думитреску, не беспокоился о себе. «Вы можете быть мне нужны», — вспомнились слова Анны Александровны. Нужны — где и чем? Доллары мои ей не были нужны, в ее манере держаться со мной просто и в то же время строго не было и намека на кокетство. И именно эта манера деловой, независимой женщины импонировала мне.

В десять пришла Анна Александровна. Щелкнул ключ, и она, спокойная, чуть возбужденная, с приветливой улыбкой подошла ко мне.

— Завтракали? Теперь слушайте меня внимательно. Фронт прорван, и массы кавалерии и пехоты большевиков ворвались в Крым. Везде идут бои. В Севастополе вечером начнется посадка на суда. Сейчас вы в безопасности. Татищев... и вся остальная... — она помолчала и вдруг резко сказала: — сволочь... да, да, именно сволочь... в панике. Им не до вас и вообще ни до кого. Они, как крысы, ищут спасения в порту, мечутся по городу, вымаливая пропуска на суда. Вы можете отправиться к себе и... — тут она вплотную подошла ко мне, — и вечером на пароходе... вместе со мной эвакуироваться в Стамбул... — Потом добавила: — Вы именно там понадобитесь мне... Понятно?

— Нет, ничего не понимаю, — чистосердечно признался я.

— Наивный вы человек. А ведь международный взломщик, король шулеров и специалист по сейфам...

Я отступил на шаг.

— Вы знаете это? Откуда?

— Знаю... А откуда — не важно. Потом расскажу. Так как, едем?

— Едем.

— А теперь, Евгений Александрович, идите. Ровно в шесть вечера приходите сюда, в восемь посадка, в десять отходит наш пароход. Пропуска туда, — она подчеркнула это слово, — достану я.

— «Туда», «Вы мне там будете дужны»... Ничего не понимаю, — разводя руками, сказал я.

— Поймете после; а сейчас идите — и в шесть часов ко мне.

Город напоминал развороченный муравейник. Крики, испуганные лица, распахнутые окна, настезь раскрытые подъезды.

Где то самодовольное чванство, холодное равнодушие, которые еще вчера были на лицах всех старых и молодых офицеров, чиновных бар и потерявших величие полицейских?! Никто не обращал внимания на них. На тротуаре валялись сорванные в панике значки, петлички, погоны... К пристаням тащили тюки, катили тачки и детские коляски, нагруженные наспех собранным, еле увязанным скарбом. Казаки, нахлестывая коней, пронеслись по Морской, где-то в порту завывала сирена, и страх еще острее охватил мечущихся по улицам людей.

— Конница... Буденный... Махновцы... Пал Симферополь... — слышалось со всех сторон.

Но этот сумасшедший город с его воплями и бегством был мне безразличен. Какое мне было дело до краха белых, до Врангеля и его катастрофы! Я думал о ней, об Анне Александровне. О том, почему она связывает свои дела со мной, почему эта женщина спасла меня, зачем я ей нужен. Я так был захвачен этими мыслями, что даже не заметил, как подошел к своему дому. Я открыл ключом дверь. Из кухни высунулась голова хозяйки. Минуту она испуганно таращила на меня глаза, затем быстро-быстро заморгала и сдавленным голосом проговорила:

— Это... вы?

— Я... А что произошло?

— Живы? Одни? — еще не выходя из кухни, спросила вдова капитана.

— Абсолютно.

— Господи... Где же вы были вчера?.. Ведь только я пришла с покупками, как в квартиру, — зашептала она, — ворвалась целая банда.

— Сюда? Зачем?

— Искали вас, перерыли все, но когда увидели, что ни вас, ни чемоданов нет, стали ругаться, в чем-то корить друг друга. Чуть у них до мордобоя не дошло. Заглянули в кухню, потом опять стали между собой ссориться...

— Что спрашивали вас?

— Где вы. Когда я сказала, что у вас сидел в гостях греческий адмирал с тайным поручением короля Георга, они посмотрели на меня и разом захохотали, а вот тот, что больше всех искал вас да заглядывал под диваны, такой нахал... негодяй, невежа... сказал: «Дура... Набитая дура». И знаете, Евгений Александрович, кто еще с ними был? — Она сделала таинственное лицо.

— Понятия не имею! — развел я руками, втайне потешаясь над нею.

— Тот самый... наследник, который приходил к вам, — нагибаясь ко мне, прошептала в ухо Клеопатра Георгиевна, — и, представьте себе, из всех этих негодяев он держался самым отъявленным хамом... Вот тебе и царская кровь, — покачала она головой. — А когда узнал, что у вас кто-то был, махнул рукой и сказал: «Идемте отсюда. Упустили птичку... Он теперь где-нибудь в порту прячется». А где вы прятались, Евгений Александрович?

— Именно в порту, на флагманском корабле командующего греческим флотом.

Клеопатра Георгиевна даже присела от восторга.

— Евгений Александрович! Все, что я купила, цело... Не хотите ли позавтракать?

— Очень хочу, — сказал я и, войдя в чулан в сопровождении хозяйки, извлек из-подхлама и тряпок свои чемоданы.

— Ба-тюш-ки! — взвизгнула вдова. — Значит, вещи ваши были здесь?

— Ну конечно... Зачем бы я брал их с собой? Кстати, вы, конечно, знаете, уважаемая Клеопатра Георгиевна, что белые разбиты вдребезги, фронта нет, Врангель собирается бежать в Турцию...

— Знаю, знаю, голубчик. Какой ужас... В городе говорят — вечером Махио с Буденным здесь будут.

— Все может быть. Только не к вечеру, а, вероятно, дня через три...

— А как же вы? — глядя на меня округленными глазами, спросила хозяйка.

— Еду в Афины, погостить у моего друга адмирала... А как вы, почтенная Клеопатра Георгиевна?

— А я что? Я не белая, я не воевала, я не монархистка...

— Ой ли? Вспомните претендента на престол, вспомните, как вы ухаживали за ним, как желали ему взойти на престол...

— Ничего подобного... Я всегда была в душе революционерка, — отпарировала Клеопатра Георгиевна. — Что же касается этого типа, так, во-первых, он приходил к вам, а я его и знать не знаю, а во-вторых, он жулик, хам, сукин сын и ворюга...

Я даже раскрыл рот от изумления, слушая, какими отборными ругательствами честит эта благовоспитанная институтка сыщика Литовцева.

— А что, скажете нет? Не жулик он? Раньше всех вашу постель вывернул, ящики стола просмотрел, половицы и плинтусы хотел поднимать, а на кухне даже в сорную корзину заглянул.

— А вот в чулане чемоданов-то и не заметил.

— Потому — дурак. Они думали, что вы здесь, а как увидели, что ни вас, ни чемоданов нету, растерялись и стали друг друга укорять в чем-то.

Я перенес чемоданы в свою комнату и стал завтракать, запивая великолепным крымским рислингом, который вчера купила Клеопатра для знатного «греческого адмирала». Я пригласил позавтракать со мной хозяйку, и она, поминутно меняя тему разговора, стала рассказывать о том, как взбудоражен весь Севастополь падением фронта.

— Страшно на улицу выйти: плач, ругань, все как бешеные, никто ни о ком, кроме себя, не думает, а простонародье, эта вонючая чернь, злорадствует. По розам видно, что ждут не дождутся своих, — горячо рассказывала «тайная революционерка». — Уж-жас! Прямо безумие какое-то. И когда все это кончится?

— Вот теперь и кончится, придут большевики — и уж теперь навсегда...

— Вы думаете? — со страхом спросила Клеопатра Георгиевна.

— Конечно. Кто ж остался из белых? Никого. Колчак расстрелян, Юденич разбит, Деникин рассыпался, как пыльный столб, а теперь пришел конец Врангелю.

— Ну и слава богу, — перекрестилась вдова, — хоть бы уж красные, да кончилась эта проклятая война... А то всего боишься, стук в дверь, а ты дрожишь...

Сильный стук в двери остановил ее жалобные причитания.

Я взглянул на нее. Лицо хозяйки побелело, она круглыми, немигающими глазами смотрела на меня.

— Не открывайте, через цепочку взгляните, кто это. Никого



не впускайте. У вас,— я многозначительно поднял палец,— никого нет...

— Я бо-юсь,— пролепетала хозяйка.

Стук повторился еще сильнее и настойчивей. Кто-то дергал ручку запертой двери. Клеопатра Георгиевна готова была лишиться сознания.

— Смелей,— шепнул я, вынимая из кармана браунинг.— Только не открывайте, тогда все будет хорошо.— И подтолкнул вперед ослабевшую женщину.

— Ну, откроешь там, или двери сорву! — угрожающе раздалось с площадки. Это был голос сыщика Литовцева. Я встал сбоку от входа, у которого замерла Клеопатра Георгиевна.

— Кто это? Что вам угодно? — еле пролепетала она дрожащим голосом.

— Это я... Не приходил господин Базилевский? Да открой-те, чертова кукла, двери...

— Не открою... Я одна, никакого Базилевского тут нет.

Литовцев перестал стучать:

— Нету? Куда ж он запропастился?.. Я его, подлѐца, по всему городу ищу...

— Может быть, в порту,— предположила вдова.

— Кой черт в порту? — сердито оборвал ее сыщик.— Я там все перерыл, нет его в порту.

— Да сейчас разве ж можно найти кого... Весь город словно с ума посходил,— уже смелее сказала вдова.

— Вот что, тетка. Я пойду искать его, а тебе советую: если появится этот голубчик здесь,— ни сло-ва о том, что я вчера ночью с этими бандюгами вместе... понятно? Если скажешь, ду-ша с тебя вон... Адью!

Вдова капитана облегченно вздохнула и со злобой сказала:

— «Тетка»! Мерзавец! Не нашел другого слова!

— Прекрасно справились с задачей, уважаемая Клеопатра Георгиевна. А что касается этого неуча и хама, я сам начинаю думать, что он просто самозванец.— И я сел за прерванный завтрак.

Уже позавтракав, я вдруг вспомнил, что все свои ценности, документы и валюту оставил на столе у Анны Александровны. Уходя, я просто забыл о них. Такое случилось со мною впервые в жизни. Деньги всегда были главным смыслом моего бытия. Из-за них я шел на любые мошенничества. Но это я оправдывал тем, что «без денег незачем жить» и «все так делают». И действительно, мир, в котором я жил, являлся таким: Человек без денег был ничем. Разве Татищевы, Литовцевы, Шатиловы и Ар-тифексовы лучше меня?

Я пожал плечами, в душе крайне обеспокоенный своей дурацкой оплошностью... Ведь там, у почти незнакомой женщины, остались все мои капиталы. А если... с чем я эвакуируюсь за границу? Ни паспортов, ни денег.

— Евгений Александрович, — раздался вкрадчивый, ласковый голос хозяйки, — не соблаговолите оставить мне денег? Я бедная вдова, средств к жизни никаких... беззащитная...

И это в тот самый момент, когда я горестно размышлял о себе...

— Хотя бы на первое время, пока красная власть...

Я перебил ее, вынимая из кармана все, какие только были у меня, керенки и деникинские «колокольчики». Не считая, я положил скомканную кучку этих теперь уже не нужных мне денег на стол.

— Вот... тут, наверное, тысяч полтора ста...

Вдова пригребла ладонью деньги, а затем с глупой надеждой попросила:

— А валюту?

— Валюта нужна мне. За границей без нее, милейшая Клё-Клё, как без воздуха... — И я прищелкнул пальцами перед носом вдовы капитана.

Но она не заметила ничего — ни моего грубого ответа, ни издевательского жеста.

— Хоть бы фунтик или два... — умоляла она.

Лицо ее светилось обезоруживающей глупостью. Наивная жадность и желание сорвать «хоть фунтик» у исчезающего навск квартиранта понравились мне. В конце концов, чем она была хуже всего этого мира, в котором прожила жизнь? Она была самым маленьким звеном в цепи, состоявшей из таких людей, как все эти правители Юга России, главнокомандующие, премьер-министры, сенаторы, начальники контрразведок и обыкновенные прощелыги-сыщики. Я с сожалением развел руками:

— Увы, вся валюта у адмирала... Так сейчас надежнее, уважаемая Клеопатра Георгиевна, но если мы не сможем сегодня из этого благословенного города, то завтра я дам несколько долларов на память.

Я был искренен и в эту минуту жалел, что со мною нет этих денег, но вдова капитана, видимо, не верившая в добрые порывы людей, недоверчиво протянула уже совершенно другим тоном:

— Слышала такие разговоры — «завтра». А может, — загораясь новой надеждой, заговорила она, — может, на память какую-нибудь золотую вещичку оставите? А?

Такой жадной и бестактной дуры я не встречал.

— Оставлю, как же! — серьезно сказал я и очень ласково продолжал: — Вот что, тетка, если еще заикнешься о деньгах, я надаю тебе по крашеной морде, слышишь?

Оцепенев, она молча слушала меня.

— И отберу и керенки и «колокольчики»... Понятно?

Она кивнула головой, отступила назад и, закрыв ладошью кармашек с деньгами, вышла из комнаты.

Так закончился последний в моей жизни разговор с вдовой капитана.

Я просидел в комнате больше часа, вдова не подавала признаков жизни. Вероятно, она заперлась в своей комнате, негодуя и изливая на меня беззвучный поток ругани и проклятий. Но и я не был спокоен. С каждой минутой страх за утерянные «богатства» овладевал мною. А что, если Анна Александровна забрала свои вещи, мои деньги и документы и сейчас в компании белогвардейских офицеров или того же макаронного маркиза издевается надо мной? Меня все сильнее охватывало беспокойство. «Дурак, — клял себя я, — как ты мог оставить все это в комнате чужой женщины?» И чем больше я думал, тем явственней вставала картина моего разорения.

Зачем мне ждать до шести вечера, — тогда она уже будет на пароходе. Надо сейчас, именно сейчас идти к ней. Может быть, я еще застаю ее дома. Я вскочил с места, схватил свои чемоданы и пошел к выходу.

Когда я спускался по лестнице, дверь вдовы капитана чуточку приоткрылась.

— Жулик, шаромыжник, сукин сын! — напутствовала меня Клеопатра Георгиевна.

На улице творилось нечто неописуемое. Конечно, ни о каком экипаже не приходилось и думать. И хотя улицы были запружены бегущими, горлающими, беспорядочно мечущимися людьми, все же иногда резкие звуки автомашины или матерная брань конных казаков заставляли толпу потесниться и пропустить едущих вперед. Все искали спасения на судах. Я выбрался из толпы и прошел моим вчерашним путем через заросли сквера на Морскую. По пути встречались солдаты разных частей, потерявшие воинский вид. Так, среди хаоса и беспорядка, я добрался до дома Анны Александровны. Шел четвертый час дня, когда я постучал в ее дверь. Никто не отзывался. Я постучал снова и, найдя звонок, нажал кнопку. Все было тихо. Потом дверь разом открылась. На пороге стояла Анна Александровна.

— Вы пришли рано. Я ждала вас к шести, — спокойно сказала она.

— Я не мог оставаться дома, а идти мне некуда. Облавы,

патрули, а к тому ж...— И я рассказал ей о неожиданном приходе Литовцева. На всякий случай я прибавил, что с сыщиком были еще два человека.

— Вы видели их?

— Нет. Квартирная хозяйка не впустила никого, сообщив, что меня со вчерашней ночи нет дома.

— Ну что ж, пойдемте в комнату. Только у меня гости,— сказала Анна Александровна.

В комнате было двое мужчин. Один в форме артиллерийского капитана, другой в штатском. Оба молча поклонились мне.

— Вы один? Чемоданы поставьте в угол.

— Один. Может быть, я помешал, тогда извините, я уйду...

— Нет, нет, уходить вам не нужно, наоборот, мы рады познакомиться с вами,— сказал человек в штатском, а капитан наклонил голову.

Анна Александровна молчала. Вся эта странная картина не нравилась мне. Кто эти люди и почему они хотят познакомиться со мной?

— Дело в следующем. Наша добрая и старая знакомая Анна Александровна Кантемир много и очень хорошо рассказывала о вас,— начал штатский.— И то, что вы талантливый, энергичный, очень знающий инженер, в свое время с отличием окончивший Петербургский политехнический институт...

Я удивленно слушал его. Странно,— откуда эти люди так подробно осведомлены обо мне? Ведь я ничего такого не рассказывал Анне Александровне.

— Знаем мы и о других ваших специальностях.

Я быстро глянул на Анну Александровну, но она молча слушала штатского.

— Вы, вероятно, думаете, что наша общая знакомая госпожа Кантемир, говоря мягко, вовлекла вас в историю, подобную той, которая произошла с вами у Татищева? Но вы ошибаетесь, Анна Александровна как раз хочет помочь.

— Кто вы, господа? Говорите какими-то загадками... Но я верю вам, и если чем-нибудь могу быть полезен, я сделаю это. Все трое молчали.

— Тем более что я обязан жизнью вам, Анна Александровна, и пока ничем не заплатил за это.

— Ну, это впереди, а вот сейчас, Евгений Александрович, вы можете частично расплатиться с долгом.— Анна Александровна улыбнулась.— Могли бы вы пойти на некоторую жертву?

— На любую,— горячо сказал я.

Она встала, открыла шкаф и, достав оттуда перевязанную

стопку моих документов, паспортов и валюты, молча положила их возле меня.

Признаюсь, у меня екнуло сердце.

— Нам нужны ваши иностранные паспорта, причем один из семейных, то есть на мужа и жену, вы оставьте себе... он вам еще пригодится... а остальные дайте нам.

И все трое молча взглянули на меня.

— Понимаете, нам сейчас в связи с эвакуацией очень нужны два-три иностранных паспорта. У вас их четыре, вам же нужен всего один. Оставьте себе любой семейный паспорт, остальные передайте нам,— тихо произнес молчавший все это время капитан.

Я обвел всех глазами. Стало ясно: затевалась какая-то непонятная мне игра, и паспорта действительно были им необходимы. Да и в самом деле, на кой черт нужны мне четыре паспорта...

— С радостью,— ответил я.— Вот уж и отпала часть моего долга вам, Анна Александровна. Только я возьму себе одиночный, зачем мне семейный паспорт, когда я один...

— Нет, вы не один... По вашему паспорту поеду я, как ваша жена. Вам это безразлично, а мне в Стамбуле, в чужом городе, среди всей этой разнузданной, охваченной паникой и безумием толпы, спокойнее станет, если...

— Вы будете фиктивным мужем... всего на две-три недели,— закончил начатую Анной Александровной фразу артиллерист.

— Господа, я понимаю, что создается какая-то ситуация...— начал я.

— Скажите, только честно, Евгений Александрович: они фальшивые? Насколько опасно пользоваться ими? — не слушая меня, спросил штатский.

— Все паспорта настоящие. Выданы они законно, из генеральных консульств. Необходимо только знать языки и обычаи этих стран.

Штатский удовлетворенно кивнул головой.

— Все-таки я закончу мою мысль, господа. Берите эти паспорта, оставьте мне румынский, и мы с Анной Александровной превратимся в румынскую — чету барона и баронессу Думитреску.

Все трое встали, окружили меня и крепко пожали мне руку.

— Как думаешь, Андрей, я не ошиблась? — спросила артиллериста Анна Александровна.

— Нет, не ошиблась,— одновременно ответили оба ее гостя.

— Теперь мы уйдем,— забирая документы, сказал офицер.

— Подождите минутку. Надо быть уверенными, что за госпо-

дином Базилевским не увязался какой-нибудь шпик. Необходимо проверить это.— Анна Александровна вышла из комнаты.

Минуту мы молчали, потом офицер-артиллерист тихо и очень дружелюбно обратился ко мне:

— Евгений Александрович, скажите нам по чести, что вас заставляет идти с нами, помогать нам, подвергая свою жизнь риску? Ведь не идея и не деньги же?

— Ни то и ни другое. Деньги у меня есть, идеи — никакой, да и откуда она могла взяться у Евгения Базилевского? Просто вы первые в жизни люди, заинтересовавшие меня. Я никогда не встречал таких...

— Так в чем же все-таки дело?

Я молчал, не находя слов. Чувство неловкости и тоски охватило меня.

— Может быть, вы... влюбились?

— Не знаю...— ответил я и отвернулся к окну.

В комнате стало тихо, и только с улицы доносились неясные шумы.

В коридоре послышались торопливые шаги Анны.

— Все спокойно. Вы можете идти. Ни пуха ни пера!

Потом Анна Александровна подошла к окну и долго прислушивалась к шумам улицы. Затем села рядом и ровным спокойным голосом заговорила:

— Евгений Александрович, вы человек умный и, несомненно, кое-что поняли в том, что сейчас было.

— Очень мало, честное слово, мало. Только мне ясно: вы и ваши друзья — не те, с которыми мы позавчера обманывали иностранцев.

Она молча улыбнулась.

— Слушайте, Евгений Александрович, повторяю, вы человек умный. То, что вы в юности запутались, может быть объяснено молодостью, средой и... соблазнами социального круга, в котором вы выросли. А это, как многое другое, и излечимо и проходит. Надо только понять это самому. И найти свое место в жизни.

— А зачем это? Свое место в жизни я знал до встречи с вами...

Анна чуточку покраснела и отодвинулась от меня.

— ...и теперь знаю его. Куда поедете вы, Анна, туда и я. Первый раз в жизни меня пугает одиночество.

Она внимательно слушала меня.

— Вокруг много, сотни, может быть тысячи людей, а ты одинок... Один среди людей...

Она понимающе кивнула головой.

— Я еще не знаю, на что я вам нужен, но располагайте мною. До самой смерти я с вами и с теми, кто только что ушел отсюда. Самое для меня дорогое — что вы поверили мне.

Я низко поклонился и поцеловал ее руку.

— Но все же не могу понять, Анна Александровна, какую ценность представляю я для вас и ваших друзей в Стамбуле. Она ответила не сразу, занятая укладкой платьев в чемодан.

— Не берите ничего лишнего, Евгений Александрович, только необходимое, — посоветовала она. — Что же касается вас, возможно, узнаете в Стамбуле.

— Значит, возможно и нет? — удивился я.

— Не спрашивайте ни о чем. А что это такое? — спросила она, видя, как я в раздумье открыл ларец, в котором были «рак», ручная дрель и флакон с нитроглицерином.

— Набор для вскрытия сейфов, — и я внимательно посмотрел на нее.

— И вы хотите его оставить здесь?

— Конечно, — откладывая воровской инструмент в сторону, горячо сказал я.

— Нет, ни в коем случае! Берите его с собой. Он сделает вас верным другом хороших людей.

— Чудеса в решетке... — засмеялся я, — Хотя мне, скажу правду, тяжело было расставаться с этим чудо-произведением Леблана, купленным мною в Брюсселе.

— Кто этот Леблан?

— Знаменитый мастер. Леблан из специальной стали по только ему известному рецепту и чертежам сделал восемнадцать вот таких чудес, — и я протянул ей «рак» тонкой работы, с накладной легированной сталью на острие.

— Воровской Амати, — улыбнулась она.

— Именно. А сделал он их только восемнадцать потому, что его убили...

— Кто? — возвращая мне инструмент, спросила Анна Александровна.

— Конкурировавшая с ним другая фирма — «Фрежессон». Сейчас такой инструмент редок и стоит по крайней мере тридцать пять — сорок фунтов, — с гордостью сказал я.

— Когда вы совершите первый в вашей жизни честный, — она подчеркнула, — честный взлом, мы бросим это «чудо» в Босфор. Идет? — и она протянула мне руку.

— Даю слово! — воскликнул я.

— У нас мало времени, — взглядывая на часы, сказала Анна Александровна. — Вы готовы? Второй чемодан ни к чему. Оставьте его здесь, рядом с моим, они не пропадут.

Я быстро переложил самое необходимое в чемодан, другой же придвинул к стене, рядом с большим, крутобоким кофром хозяйки.

Все было готово. Анна Александровна подошла ко мне и, глядя прямо в глаза, тихо и отчетливо произнесла:

— Евгений Александрович, есть еще время, и если вы в чем-то не уверены, откажитесь сейчас... Ни я и вообще никто в мире не будет на вас в обиде.

Я молчал. Анна Александровна выждала минуту.

— Так как же?

— Так же, как и вы. Пойдем и не будем больше говорить об этом.

Что делалось на улицах города — описывать не буду, все это уже давным-давно сказано в сотнях мемуаров. Кто только не писал об этом гомерическом крахе и бегстве белых?! Добавлю только, что паника, которую я видел днем, когда пробирался к Анне Александровне, удесятирилась. Ко всему этому прибавились нескончаемые гудки пароходов, вой сирен, рев моторов и гул кружившихся над портом гидросамолетов.

— «И кончился пир их бедой...» — пробормотал я.

Анна Александровна сурово глянула на меня.

— Барон, нам надо спешить, иначе мы опоздаем к посадке. Иностранной колонии строго отведен точный час.

Пробираясь между горами вещей, связанных узлов и тюков, мимо плачущих детей, дико и отчужденно молчащих стариков, обезумевших юнкеров и гимназистов, мы наконец подошли к пристани. Здесь стояли четыре цепи вооруженных, еще сохранявших воинский вид людей. Первая, с которой нам пришлось встретиться, состояла из марковцев.

— Куда идете? Кто такие? Пропуск? — напирая грудью на нас, закричал худой, с небритыми щеками офицер.

— Je vous prie, monsieur colonel, de nous laisser passèz au bateau. Voici nos permis. Je suis le baron Dumitrescou, voici ma épouse, la baronesse. Voila nos documents<sup>21</sup>.

Офицер переступил с ноги на ногу. По-видимому, он не понял ничего, кроме слов «лессе пассе» и «барон». Он еще раз оглядел нас, осмотрел со всех сторон пропуск, подписи, печати, штамп и, махнув рукой, сказал:

— Идите... Дальше разберут. — И еще громче заорал на кого-то: — Куда прешь? Осади назад, босявка...

---

<sup>21</sup> — Прошу пропустить нас на пароход, господин полковник. Вот наши пропуска. Я барон Думитреску, это моя супруга, баронесса. Вот наши документы (франц.).



Мы прошли первую цепь марковцев.

— Иностранцы в первую очередь, подлецы, драпают... Ишь рожи какие наели! И чемоданы и своих шлюх забирают...— слышались возгласы.

— Господа, вы офицеры и ведите себя прилично,— оборвал их командир роты.— Приказ главнокомандующего: «В первую очередь дипломатические агенты, иностранцы и делегации дружественных нам стран Европы. А эти господа как раз из этой делегации.— И, обращаясь к нам, вежливо сказал по-французски: — Je vous prie<sup>22</sup>.

Вторая шеренга была из моряков. Эти молча пропустили нас, как только их лейтенант, рассмотрев пропуск и паспорта, четко козырнул нам.

Дальше стояли французские моряки, полупьяные, разбитые, все одинаково озорные и наглые молодцы. Они встретили нас смехом и остротами. Их офицеры мало чем отличались от матросов, разве только тем, что вместо острот они перемигивались между собой и долго, очень долго не пропускали нас, делая вид, что изучают пропуск и паспорта. Красивая баронесса Думитреску явно понравилась им, и они охотно пропустили бы ее одну на корабль, оставив меня «за бортом». Наконец, излив свое восхищение «прекрасной мадам», они проводили ее до последней, четвертой цепи англичан, не обращая на меня никакого внимания. Я покорно тащил оба чемодана, в душе посмеиваясь над пошловатыми излияниями любезных галльских моряков.

Англичане спокойно и внимательно осмотрели нас. Проверили документы и без слов пропустили на трап.

Пароход «Вещий Олег» был уже наполовину заполнен иностранцами, богатыми дельцами с их семьями, растерянными, поникшими подагрическими стариками в генеральских отворотах, девицами в голубых и коричневых пелеринках.

— Каюта четвертая. Извините, барон, хотя она трехместная, но в ней будет размещено семь-восемь человек,— сказал сухопарый морской лейтенант.— Прошу вас с супругой за мной.

И мы, наталкиваясь на тюки, чемоданы, свернутые ковры, наступая на чьи-то ноги, прошли к каютам. Пароход и здесь был переполнен, но проходы все же были сравнительно свободны.

— Вот ваша каюта! — отмечая карандашом у себя в книжке, показал лейтенант.

В каюте уже было четверо людей: греческий священник, две

---

<sup>22</sup> — Прошу вас.

на смерть перепуганные пожилые турчанки, усатый француз с саквояжем в руке.

Мы поздоровались, и я кое-как усадил возле потеснившихся турчанок Анну Александровну. Чемоданы, положенные один на другой, заменили мне и кресло и лежанку.

А за окном каюты грохотали лебедки, неслись вопли и крики людей, резко завывали сирены.

— Не знаете ли, месье, когда выйдем в море? — спросил француз.

— Не знаю. Хорошо бы поскорей, — ответил я, и тогда все заговорили хором. И грек и турчанки свободно владели французским.

— Азиатчина... средние века... сплошные убийства и грабежи... И это страна, называющая себя христианской и просвещенной! — негодовал француз.

— Русские никогда не были христианами... Вся их история — сплошные войны и насилия, — вторил ему грек.

Турчанки боялись всего. Их не интересовали ни большевики, ни белые, ни история России, они просто хотели поскорее попасть в Стамбул.

— Ах, какой это город... Вы не бывали, баронесса, в Стамбуле? — спрашивала одна из них. — Не бывали? Ах, вам можно позавидовать! Вам, как иностранке, предоставят все, чтобы вы узнали лучше нашу великую столицу...

— Галата! — закатывая глаза, стонала другая. — Пера! А Ильдыз-Киоск! Вы побываете и в Айя-Софии... Какая красота... Увидите Селямлик султана...

— А магазины? Всего вдоволь, ломаются от товаров. А дешевища? И все вежливые, все предупредительные. Я устала, я просто больна, баронесса, от этих гадких и грубых русских.

«Зачем же вы приехали сюда, милые господа, ненавидящие Россию?» — думал я, но мне, «румынскому барону», следовало только поддакивать и кивать головой.

— А займы? Мы им давали займы миллионы франков золотом, вносили культуру, европеизировали их, а они, эти проклятые большевики, отказались платить царские долги. Я потерял на этих облигациях около шестидесяти тысяч франков чистогоном, моих кровных франков, — француз негодуяще замахал руками. — Видите ли, они говорят, будто эти деньги давались не России, а царю, чтобы он подавлял революцию... Какая чушь! Не все ли равно, кто их брал и для чего! Брали деньги русские? Русские! Царя нет, Россия и долги остались, — значит, плати их!!

Мне стало скучно слушать этого разбушевавшегося рантье.

— Моя дорогая! Не разрешишь ли мне выйти на палубу?

Может быть, узнаю, когда, наконец, мы уйдем из этого ада,— обратился я к Анне Александровне.

Это было первое «ты», которое я сказал ей, и хотя оно было фиктивное, но порадовало меня.

— Пожалуйста. Только, прошу тебя, не задерживайся, я буду беспокоиться,— ответила «баронесса».

Я пошел наверх. На палубе все было заполнено людьми.

«Куда? Где еще можно разместить их?» — с ужасом думал я, глядя, как сотни людей осаждали воинские цепи, преграждавшие им путь.

Вой, крики, стенания, проклятья, плач слились в сплошной гул.

— Не знаете ли, господин офицер, когда отойдет наше судно? — вежливо спросил я какого-то матроса.

Он красными, воспаленными глазами на ходу глянул на меня:

— Возможно, скоро, — и, не останавливаясь, прошел дальше.

Я снова взглянул вниз. На наш пароход уже не сажали, трап был убран, английские солдаты поднялись на борт. По-видимому, «Олег» действительно должен был отойти.

Заработали машины, судно оторвалось от пристани и медленно, почти незаметно стало отходить. Блеснула полоска воды между ним и берегом, затем она увеличилась, стала шире, и под вопли, проклятья, ругань метавшихся на пристани людей «Вещий Олег», пробираясь между другими судами, медленно вышел на рейд. Я спустился в каюту.

В каюте сидели еще двое новых пассажиров — полковник с дочкой, девочкой лет двенадцати. Оба были в тревоге. На берегу осталась мать, в суматохе оторвавшаяся от них.

Девочка плакала, а отец неуверенно утешал ее:

— У мамы пропуск, она сядет на другой пароход, ее не бросят, — но по тоскливому взгляду, по срывающемуся голосу отца чувствовалось, что он и сам не верит в это.

Анна Александровна усадила девочку возле себя, я присел на свой чемодан, а тем временем «Вещий Олег», отойдя ближе к «чистой воде», стал на якорь. За стеклами иллюминаторов стало темнеть. Мы кое-как расположились на ночь.

Около десяти часов ночи, под сплошной рев гудков и сирен, наш пароход вышел в море. Стало покачивать. Берег то поднимался, блестя огнями пристаней, то уходил в глубокую тьму.

Как-то само собой случилось, что развязались баулы, свертки и все одновременно принялись за еду. Только полковник и его дочь сидели, отвернувшись от ужинавших пассажиров. По-видимому, вся их еда была у жены полковника, оставшейся на берегу.

Если бы не Анна Александровна, как видно, своевременно позаботившаяся о провизии, я тоже голодал бы в пути. Анна Александровна достала салфеточку, расстелила, положила на нее сыр, нарезанные куски мяса, холодную курицу, белый и черный хлеб, несколько яблок, янтарные грозди винограда.

«Когда она успела запастись всем?» — с удивлением подумал я.

— Друзья по несчастью, прошу вас разделить с нами скромный ужин, — предложила она полковнику.

Тот смутился и неуверенно отказался:

— Благодарю... Мы недавно обедали... Разве вот она... Со-нечка, — показывая на дочь, сказал он.

— Спасибо, я сыта, — поспешно ответила девочка.

— Нет, нет, так не годится. Я случайно захватила всего так много, что нам с избытком хватит до Константинополя, — сказала Анна Александровна и, обняв девочку, притянула ее к себе.

Через минуту мы вчетвером ели вкусные яства моей «жены», а расчувствовавшийся француз рискнул даже предложить мне и полковнику по доброму глотку вина.

Все, решительно все начинало нравиться мне в Анне Александровне. И простота ее обращения с людьми, и сердечная, почти материнская забота о девочке, и разумная предусмотрительность во всем. После ужина, кое-как разместившись в каюте, мы заснули.

Проснувшись среди ночи, я с радостным волнением увидел, что Анна Александровна спит возле меня, положив голову на мое плечо.

Море спокойно... И чем дальше уходит караван судов на юг, тем теплее воздух, тише морская гладь, ярче солнце, а ведь уже конец осени. С палубы я смотрел на растянувшуюся по морю армаду спасавшихся в Турцию пароходов. Сколько их, и какие они все разные! Крейсера, грузовые, торговые суда, серые миноносцы, тяжело ушедшие в воду, выше отметок ватерлинии корабли... пассажирские яхты, парусники, еле передвигающиеся старинные самоходы — броненосцы девятисотых годов, транспорты, пузатые «купцы»... По всему горизонту растянулись дымы труб. И повсюду люди, десятки тысяч людей, бегущих из своей страны в чужие края, в неизвестность, в нищету...

Анна Александровна тихо сказала:

— Запомните навсегда эту картину, Женя... Это конец контрреволюции.

...Спустя двое суток мы подошли к Стамбулу.

Наш «Вещий Олег», как пароход отведенный под иностранцев, беспрепятственно вошел в стамбульский порт. Он подошел к причальной линии Северного берега Золотого Рога и остановился между Галатским мостом и пристанью Топ-Хане. Это была французская зона оккупации. К «Вещему Олегу» ринулись военно-полицейские катера с французскими флагами на корме и носу.

Разбитные французские сержанты, матросы с трубками в зубах, вертялые «кажаны» быстро пробегали мимо нас, забрасывая десятками вопросов, и, не дожидаясь ответа, мчались дальше по пароходу. Что искали они? Зачем так стремительно и бестолково, на рысях, обшаривали каюты? Только спустя полчаса мы поняли суть этого стремительного обхода. Всех иностранцев очень вежливо и быстро спускали на берег, паспорта и визы консульств играли решающую роль. Русских задерживали на борту. На них кричали: «Allez, allez!»<sup>23</sup>, бесцеремонно и грубо осматривали их вещи, сгоняли на палубе в группы, — словом, держались с ними так, будто это были не беженцы, спасавшиеся у них, а военнопленные или задержанные в облавах преступники.

Мы прощаемся с полковником и его дочкой. Подавленные, одинокие, растерянные, они тоскливыми взглядами провожают нас.

Усатый француз, турчанки, греческий священник и мы сходим по трапу на берег. Француз-полицейский мельком просматривает наши паспорта, о чем-то шутит с нашим усатым рантье и, вежливо кланяясь, говорит:

— Со счастливым прибытием.

Турок-носильщик хватается чемоданы, и мы едем в город, в квартал Эминеню, в отель «Мон Репо», который нам рекомендовали на пароходе.

Отель был средней руки, на улице Селимие. Наш номер, большой и уютный, понравился Анне Александровне. Она что-то переставила в нем, попросила внести еще один столик и ковер, вынести ненужную тумбочку, перевесила на стене картину, переменила цветы, и комната неожиданно стала уютной, гостеприимной и обжитой.

И это тоже порадовало меня.

Приняв ванну, мы переоделись и вышли в город.

Портье на хорошем французском языке приветствовал «баронессу» и «барона».

---

<sup>23</sup> Пошли, пошли!

Я и раньше бывал в Стамбуле, и тем не менее его мечети, минареты, старинные храмы, роскошные дворцы, шумный полуазиатский, полуюропейский ансамбль города захватили и меня. Анна же, впервые попавшая в этот экзотический, полный контрастов и красок город, была в восторге. Ее удивляло и радовало все: и прекрасные византийские памятники архитектуры, и кривые, узенькие улочки, и художественные творения резчиков по дереву и камню, и удивительный орнамент, украшавший стены мечетей и султанских дворцов.

Она долго неподвижно стояла, разглядывая голубые витражи и тончайшие узоры Голубой мечети.

— Не все сразу. Впереди еще древняя Айя-София с ее золотой мозаикой, а за ней огромная мечеть Сулеймание,— сказал я, беря ее под руку.

— Чудесные памятники... А теперь, Женя, обедать. Пока оставим памятники в покое. Нам нужно заняться делом...— закончила она.

Хотя Анна Александровна и сказала мне, что пора заняться делом, но проходили дни, а она ни словом не обмолвилась о том, что должен был делать я.

Мы гуляли по городу, побывали в порту Хайдарпаша, провели часа четыре в районе небольших пристаней между Бешикташем и Бебеком, где стояла часть прибывших пароходов с беженцами.

По настоянию Анны мы поехали к северу от города, в районы Тарабаня и Бейюкдере. Там были расположены итальянские, английские и греческие оккупационные власти, а также в великолепных особняках и виллах жили иностранные дипломаты и богатые буржуа.

Зачем ей надо было побывать в этих местах, я не знал, она молчала, а я не спрашивал ее.

И, хотя для всех мы были любящими мужем и женой, здесь, в Стамбуле, я еще острее чувствовал грань, разделявшую нас.

Анну Александровну теперь я видел редко, хотя мы и жили в одном номере, завтракали, а иногда даже и ужинали вместе. Порою моя «баронесса» исчезала на десять—двенадцать часов. Что она делала в это время, где бывала, с кем встречалась, я не ведал, хорошо зная, что нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Чужую... Больно было сознавать, что это слово точно определяло наши отношения. Не раз я встречал на себе ее испытующий внимательно-настороженный взгляд. Было ясно—она изучает меня, что-то обдумывает и взвешивает, во что-то хочет посвятить и не решается сделать это.

Раза два-три я бывал в здании бывшего русского царского посольства, отведенного турецкими властями и союзным командованием Антанты под учреждения и общежитие белых беженцев.

Наконец я зашел к генералу, теперь уже с полным основанием можно было добавить — «бывшему генералу», Артифексову, который удачно лавировал между яхтой «Лукулл», являвшейся ставкой Врангеля, пароходом «Великий князь Александр Михайлович», на котором расположился Шатилов и штаб армии, и зданием царского посольства, в котором вместе с другими беженцами временно проживал сам Артифексов.

Сделал я это по настойчивой просьбе Анны Александровны, чтобы, так сказать, выразить ему свою симпатию и участие. Признаюсь, меня очень удивила эта настойчивая, похожая на требование просьба Анны Александровны, а особенно ее как бы вскользь брошенная фраза:

— Женья, в первой комнате перед спальней генерала, слева от двери, стоит нескораемый шкаф, черный, с медными полосами по краям. Возле дверей — часовой. Обратите внимание, — она повторила, — внимание специалиста на этот сейф...

Я молча кивнул головой. Но что находилось в сейфе, что интересовало ее? Конечно, не деньги. Теперь только я понял ее слова, сказанные в Крыму: «Возьмите с собой ваши инструменты... а потом, когда они уже не будут нужны, мы утопим их в Босфоре...»

— Хорошо, я сегодня же буду у генерала!

— Вы умница, Женья! А сейчас, дорогой муж, я ухожу по делам, буду поздно, очень, очень поздно... А вы внимательно ознакомьтесь с расположением квартиры Артифексова.

Она ушла, я молча курил одну сигарету за другой, стараясь понять истинную суть дела.

Перед бывшим российским посольством развернулась та же картина, какую я видел несколько дней назад на берегу Севастополя. Ступеньки широкой, слегка выщербленной лестницы парадного были запружены беженцами. Во дворе, на улице — всюду сидели, стояли, двигались, метались люди. Кого только не было здесь... Но главным образом — военные, все те, кто еще десять — двенадцать дней назад важно, величественно, с чувством своего превосходства и силы, заполняли улицы и бульвары Крыма от Севастополя и Качи до Симферополя и Джанкоя.

«Довоевались!! Спасители России!» — мелькнула у меня злобная мысль. И тут же я подумал: что это? Ведь всего неделю назад такая мысль никогда не пришла бы мне в голову. Почему ж сейчас я с таким злорадством и презрением думал об-

этих унылых, разбитых и еле унесших ноги, чуждых мне людях?..

И опять передо мной возникла Анна Александровна, ее непонятные еще друзья, наше странное «супружество», совместное «бегство» в Стамбул.

Кое-что я уже понимал, но многое казалось не только неясным, но и просто необъяснимым.

Анфилада комнат с широкими, старомодными потолками, с выцветшими от времени коврами и цветными дорожками. Было странно и забавно видеть огромные портреты Романовых, начиная от Павла I и кончая Николаем II, с геометрической точностью развешанные на стенах огромной залы. Цари в пышных гвардейских мундирах свысока взирали на угрюмых, обездоленных, потерявших родину людей. Беженцы, за исключением трех-четырех стариков, тоже не обращали внимания на августейших особ.

— И подумать только, что мы два с лишним года проливали свою и чужую кровь, чтоб восстановить эту угасшую династию,— не без горечи сказал один из старичков, разглядывавших галерею царей, но ему никто не ответил.

Я кое-как протиснулся сквозь одичалые толпы мужчин и женщин и пошел по коридору, где стояли караульные юнкера. Юнкер, юноша с тупым взглядом и толстыми румяными щеками, важно спросил:

— Пропуск?

У меня его не было, вся моя надежда проникнуть к Артифексову строилась на моем румынском паспорте, титуле барона и отлично сшитом костюме. Я только что хотел по-французски заговорить с толстомордым юнцом, как дверь открылась и я увидел Артифексова. Он был в генерал-лейтенантских погонах, спокойный, упитанный, равнодушный. Увидя меня, он чуть задержался.

— Вы ко мне? Если по делам устройства или вспомоществования, я ничем не могу...

Я жестом остановил его.

— Милейший генерал, по-видимому, вы не узнаете меня. Мне абсолютно не нужны ни помощь, ни содействие и вообще никакие благодеяния ни с чьей стороны. Вспомните Севастополь и наши встречи на приемах иностранной делегаций.

Артифексов внимательно всмотрелся, только теперь узнавая меня.

— Простите, я не узнал вас. Это и не мудрено в столь тяжелые и мучительные дни эвакуации. Чем могу служить, Евгений Александрович?



— Я иностранец, румынский барон Думитреску, человек обеспеченный, и мой приход к вам вызван только большим уважением и сочувствием к постигшему всех нас горю. Свидетельствуя вам свое почтение, я хочу внести через вас двести — триста долларов в фонд помощи гражданским беженцам Крыма. А также, пока я буду в Константинополе, хочу вносить время от времени таковую же сумму в помощь несчастным русским обездоленным людям.

При этих словах юнкер-часовой подтянулся и с глупым восторгом посмотрел на меня.

— Простите... простите, Евгений Александрович,— вдруг по-добрел и оживился Артифексов.— Отовсюду мы только и слышим проклятья, вопли, крики о помощи, ругань, жалобы, недовольство... И вдруг такой жест, такой благородный поступок... Войдите, пожалуйста,— делая знак юнкеру пропустить меня, продолжал он.

Я вошел в первую комнату, за нею виднелась вторая с полураскрытой дверью.

— Я, знаете...— замялся Артифексов.

— Барон Эжен Думитреску,— подсказал я.

Он широко и ласково улыбнулся.

— Я, добрейший барон, частично живу на яхте его высокопревосходительства «Лукулле», но большую часть времени провожу здесь. Итак, чем могу служить?

Пока он вел изысканный разговор, я быстро оглядел комнату. Стол, кожаный диван, на окне цветы в горшках, на полу светлый ковер. У дверей, влево от входа, неогороженный ящик, небольшой, черный, на низеньких чугунных лапах, с широкой медной обшивкой по углам.

Мы, «медвежатники», эту медную кайму называем «галунами».

Артифексов заметил, что я разглядываю комнату, но объяснил это по-своему.

— Здесь восемь комнат... Все это правое крыло занимал чиновник царского правительства Евдокимов. Сейчас он с семьей перебрался в пристройку, а я и генерал Кутепов временно живем здесь. Так вы, барон, когда и кому намереваетесь вручить ваш щедрый дар? — осторожно вернулся к первоначальной теме Артифексов.

— Двести сейчас, остальные сто долларов, если разрешите, завтра или послезавтра,— сказал я, подготавливая свои дальнейшие действия.

— Очень хорошо...— живо ответил генерал. Этой живости ему так не хватало в Крыму.

Я передал ему двести долларов.

— Сейчас я дам вам расписку...— начал было Артифексов, присаживаясь к столу.

— Вы обижаете меня, генерал.

— Все-таки это же деньги, и немалые!

— Порвите расписку, дорогой генерал. Завтра или послезавтра я приду с остальными деньгами. Чтобы меня пропустили ваши церберы, дайте мне временный пропуск.

— Ради бога! — протянул, почти просияв, Артифексов. — Зачем временный? Я напишу вам месячный... Вот он. — И Артифексов быстро набросал на своей визитной карточке:

«Барона Думитреску Е. А. пропускать в главную канцелярию штаба и ко мне лично беспрепятственно.

*Дежурный генерал Артифексов».*

Он вышел в другую комнату и, вернувшись через минуту, передал мне пропуск, на котором рядом с его подписью виднелся большой двуглавый орел, но без скипетра и барм.

— Только прошу вас, барон, не теряйте и ни-ко-му не передавайте пропуска. Дело в том, что, — он нагнулся к моему уху, — существует самая подлая террористическая группа, шайка, — поправился он, — которая, по данным нашей контрразведки, готовит покушение на барона Врангеля, а также на Шатилова и меня.

— Большевики? — изумился я. — Да ведь они не признают индивидуального террора?

— Если бы большевики! Это было бы понятно. Нет, наши, наши же, белые офицеры, создали такую организацию...

— Зачем? — еще больше удивляясь, спросил я.

— Очень просто... В неудачах армии и в бегстве из Крыма они винят барона и, главным образом, генерала.

— Вот тебе и на! — развел я руками.

— Именно! Идиоты, дураки, трусы, но совершить подлое убийство они могут. Потому я и прошу вас, дорогой барон, — нико-му этот пропуск.

— Никому, слово джентльмена! — твердо сказал я и, быстро оглядев сейф еще раз, вышел из комнаты.

Я пообедал в ресторане «Беюк Адам» на Пера. Ресторан был типично турецкий, с низкими столиками, с глубокими полумягкими диванчиками, с цветными стеклами на окнах. Полумрак, прохлада, тишина, прерывавшаяся иногда возгласами игравших в нарды греков и түрок.

Я предавался кейфу, до деталей представляя комнату, дверь, сейф у стены и вторую дверь, которая вела в глубь квартиры.

Жил ли там кто-нибудь? Если да, то как изолировать этих людей на время моей двух- или трехминутной операции с сейфом? Дурак часовой не пугал меня. Пропуск, личное знакомство с Артифексовым, мой европейский вид, титул барона и деньги — все это было надежнее любого пропуска. Но я отлично знал, что в нашей опасной профессии самым страшным врагом является случай. То, что в обычной жизни никто не заметит, должно быть предугадано нами. Пустяк, секунда замедления, царапина на дверцах сейфа, лай собаки, неожиданное появление прислуги — все может провалить дело. И я снова и снова воспроизводил в памяти коридор, часового, дверь, комнату и т. д. Это был даже не сейф, а пустяковый, старой конструкции несгораемый ящик. Удивительно, что белые генералы прятали секретные документы в этой древней рухляди.

Потом я пошел по Стамбулу. Пестрый, смесь Востока с Западом, своеобразный, неповторимый город. Раньше, когда я на день-другой задерживался в нем, он казался мне скучным, шумным и неинтересным. Сейчас было иное. Стройные, огромные стальные красавцы дредноуты стояли на рейде, легкие суда союзников бороздили воды пролива, сотни моряков Антанты в самых разнообразных форменках и шапочках толклись на берегу. Греки, французы, итальянцы, англичане, американцы... Да кого только тут не было! И всюду растерянные, опустившиеся русские. На площадях и улицах Галаты и Пера звучала разноязычная речь, но русская слышалась всюду, везде.

— Барон, ваше сиятельство, Евгений Александрович, живы? Слава тебе, господи, вырвались из этого крымского ада... а я так печалился о вас... Не дай, думаю, боже, застрял, не попал на корабль,— услышал я воркующий голос Литовцева.

Бывший сыщик стоял возле меня. На левой его руке было переброшено несколько пар дамских чулок, два-три бюстгалтера, открытая коробочка, в которой блестели царские и деникинские ордена. Лицо сыщика выражало благодостную радость.

— Уцелели... Спас Христос...

— Уцелел,— перебил я.

— А вот ротмистр-то, ваш враг, погиб. Его ночью кто-то прибил до смерти... с пулевой раной нашли...

— Не ты ли? — спросил я.

— Что вы, господь спаси и помилуй! Я такими делами не занимался. Это контрразведка,— он оглянулся,— душегубы проклятые, а я человек мирный.

— Чем же промышляешь, мирный человек? Торгуешь барахлом или по карманам лазишь?

— Шутник вы, Евгений Александрович! Разве ж порядочный человек будет таким гадким ремеслом заниматься? Торговлю по мелочишкам, кормиться-то надо.

— А зачем надо?

Сыщик усмехнулся.

— Мышь, муха, собака, извинните, и те промышляют себе пропитание, а как же человек...

— То человек, а то мерзавец, легавый. Предатель и шпион, как ты, Литовцев.

— Не понимаю,— делая изумленное лицо, развел руками сыщик,— будучи благородным человеком, скажу прямо — не понимаю... Я же ваш верный друг и союзник. Вы ж помните наш союз...

— Сволочь ты, Литовцев. Я же все знаю — и как ты с Татищевым, ротмистром и остальными бандитами ворвался ко мне ночью...

— Не врывался... Видать, вам неправильно сказали... И ничего не знаю об этом,— еще более изумляясь, просипел Литовцев.

— Не ври, легавый. Я ведь в садике напротив дома сидел, все из кустов видел...

— Должно, обознались! — твердо сказал Литовцев.

— И на другой день, когда ты к хозяйке моей ломился, я дома был...

— Ну-у! Ловкий же вы человек, Евгений Александрович! Недаром Татищев приказал найти вас живым или мертвым,— восхищенно сказал сыщик.

— Да уж, не олух, вроде твоих контрразведчиков. А где теперь Татищев?

— Черт его знает,— без всякого почтения к бывшему своему начальству ответил сыщик.— Он теперь тоже беженец, как и все. Разве только доллары имеет. Вы на меня, барон, не сердчайте! Я человек маленький, подневольный. Там, в Крыму, они все были мне начальством. Ну, я и подчинялся... А здесь на них — тьфу! — Он сплюнул на землю, растер ногой и ласково сказал: — За вами должок имеется... Помните, Евгений Александрович?

— А как же! И заплачу сполна, чистой монетой,— выразительно пообещал я.

— Пока хоть половину дайте, остальные потом.

— Зачем потом? Сейчас и сполна! — сказал я и отвесил ему такую оплеуху, что он покачнулся. Чтобы поддержать его рав-

новесие, я закатил ему другую, и он, как куль, брякнулся навзничь.

Я молча вытирал платком ладонь, когда к нам подошел важный турецкий полицейский.

— Что такое? Драка? В полицию,— по-турецки заговорил он.

Литовцев поднялся на ноги и, подбирая с земли раскиданные чулки, завопил:

— Убийство!.. Это жулик! Он украл мои деньги. Берите его в участок.

Турок-полицейский озадаченно смотрел то на него, то на меня.

— Вот что, солдат. Этот человек — русский. Он негодяй, вор и обманщик. Он пытался надуть меня, подсовывая фальшивые русские кресты и медали. Отведи его в полицию или дай ему хорошую взбучку. Я иностранец и прошу сделать это немедленно. А это за труды,— и я сунул полицейскому десятилировую бумажку.

— Будет исполнено, эффенди. Только зачем в полицию, я сам разделаюсь с ним,— пряча деньги в карман, спокойно пообещал полицейский и изо всей силы хлопнул ожидавшего правосудия Литовцева по шее.

— Карау-ул! Убивают!—заорал бывший сыщик и, не дожидаясь второго удара, пустился бежать.

— Ваше поручение исполнено, эффенди,— вежливо доложил полицейский, прикладывая ладонь ко лбу.

— Спасибо, ага! Вот вам еще пять лир за труды,— сказал я, и мы разошлись, довольные друг другом.

Я пошел к пышным дворцам турецких султанов, величественно возвышавшимся над водами Золотого Рога. Эти цветные, залитые солнцем полусказочные дворцы невольно переносят вас в мир Шехерезады и старых турецко-византийских сказаний. Белые широкие ступени мрамора сходят прямо к воде. Горят, переливаются в солнечных бликах окна и купола.

И здесь, у пышных дворцов бывшей Османской империи, стояли бродят итальянские берсальеры — солдаты с петушиными перьями на шляпах, сенегальцы с черными, как голенище, лицами, морская пехота англичан, шотландские солдаты в клетчатых юбочках и веселые, шумные французские пуалю — словом, все те, кто оккупировал Константинополь.

Шестой час, идти домой еще рано. Анна Александровна предупредила, что придет поздно. Бродя по городу, я продолжал думать о предстоящей операции. Затягивать ее было нельзя. Ведь в Стамбуле сейчас находились представители всех контрразведок Европы.

Я зашел в синема «Сплэндид», посмотрел американскую картину «Нетерпимость» и в одиннадцатом часу ночи направился в отель, зайдя по пути в цветочный магазин.

Анна Александровна была дома.

— Я не знал, что вы дома, иначе пришел бы раньше...

— Спасибо за цветы. Прелестные орхидеи! — Она поставила их в вазу.

— Вы хотите есть? — спросил я. Налив из термоса кофе, Анна пила его и заедала кусочком сыра.

— Я не обедала, — ответила она, — но это неважно. Ну? — Она выжидательно посмотрела на меня.

— Был, видел сейф, получил пропуск, правда, временный, в апартаменты Артифексова. — И я рассказал ей обо всем.

Анна молча выслушала меня.

— А ведь вы могли бы стать другим, Женя... — она вздохнула.

— Анна! — Я поднялся с места. За все эти дни я впервые назвал ее так.

Она быстро и нерешительно взглянула на меня и отошла в глубь комнаты.

— Я все понимаю. И кто вы, и зачем мы здесь вместе, и даже то, для чего... для кого я должен открыть сейф...

Она стояла у окна, внимательно глядя на меня.

— Я жил плохо, но, если надо умереть хорошо, я сделаю для вас и это.

— Зачем умирать? — тихо произнесла она. — Надо жить, но другим и по-другому.

— Мне опостылело прошлое, и я с радостью пойду с вами на все, что угодно.

— Верю. А теперь сядьте возле меня и слушайте, внимательно слушайте то, что я вам скажу. Вы знаете, Женя, кто я?

— Догадываюсь. Вы большевичка, красная, и вам, вернее, вашим товарищам, нужны какие-то бумаги из сейфа Артифексова.

Мы говорили тихо, еле слышным шепотом.

— Да, я коммунистка. И мне поручено достать секретные документы.

Она ясным и доверчивым взглядом смотрела мне в глаза.

— Я не скрою ничего от вас, Женя, выслушайте меня. Я училась в Тифлисе, в заведении святой Нины, вместе со мной училась и дочь генерала Шатилова, в то время бывшего помощником Воронцова-Дашкова — наместника на Кавказе. Генерал был крут с подчиненными, но мягок со своей единственной дочерью Вероникой, с которой я очень дружила. Мы с детских

лет находились вместе, я довольно часто бывала по воскресеньям и праздникам у Шатиловых. Мой отец, полковник Кантемир, в юнкерские годы дружил с Шатиловым, и эта дружба между ними продолжалась до самой смерти отца. Мне было десять лет, когда умер отец, и меня определили в институт на казенную стипендию в Тифлисе. Это сделал Шатилов в память моего отца. Мама жила в России, и я стала своим человеком в семье Вероники.

Окончив заведение святой Нины, Вероника осталась с родителями в Тифлисе, а я уехала к маме и сестре. Жили мы бедно, на маленькую отцовскую пенсию. Потом я поступила на Бестужевские курсы. Три года среди революционной молодежи, встречи с рабочими, народный дом, студенты, нелегальная литература — все это не могло не захватить меня. Началась мировая война, начались митинги против войны. Я симпатизировала большевикам. А война все затягивалась и расширялась. Острее шла революционная борьба. В шестнадцатом году я стала членом большевистской партии, но, как дворянка, связанная по отцу с военными кругами, легально, открыто не работала нигде. Меня берегли для будущего... И вот в семнадцатом году мне было приказано в качестве беженки уехать в Ростов. Здесь я встретила Веронику и ее отца. Ни она, ни Шатилов не подозревали, что я большевичка. Вероника ввела меня в круг донских и добровольческих высокопоставленных военных. Это и было моей задачей. Я пробыла там весь деникинский период. В девятнадцатом году Вероника вышла замуж за итальянского дельца, богатого и родовитого человека, и уехала с ним в Италию, а я отступила в Крым вместе с белой знатью. Здесь Шатилов был вторым лицом после Врангеля, и это еще больше укрепило мое положение.

Вероника в письмах к отцу, а иногда и ко мне справлялась о моей жизни и делах. Все, что я должна была выполнять, делалось по возможности быстро и точно. Последнее задание — пакет, который я прошу вас добыть из нескороаемого шкафа Артифексова. Теперь, Женя, вы знаете обо мне все.

Наступила тишина. Мы оба молчали. Хотя Анна Александровна внешне была спокойна, я чувствовал, что она взволнована.

— Но почему вы поверили мне? Ведь я всего-навсего жулик, — еле слышно прошептал я.

— Я уже говорила вам об этом. Вы хотите быть с нами?

— С вами? Всю жизнь!

Анна Александровна поняла, конечно, мою горячность, но не подала виду.

— Тогда надо действовать. Медлить нельзя, тем более что документы через день-два будут переданы на яхту «Лукулл».

— Врангелю?

Она кивнула головой и, что-то обдумывая, долго молчала.

— Завтра,— наконец сказала она,— надо завтра. Вы не боитесь?

Я покачал головой.

— Этот несгораемый ящик — пустяк. Открыть его ничего не стоит. Но что я должен взять?

— Там пакет в зеленой обложке, небольшой, похож на дневник. Он невелик, легко спрятать в кармане, перевязан двумя шнурками крест-накрест. Хотите знать, что в пакете?

— Зачем мне это? — равнодушно ответил я.

Она, видимо, осталась довольна моим ответом.

— Что-нибудь еще нужно взять из сейфа?

Анна Александровна резко повернула голову и быстро спросила:

— Деньги? Вы говорите о них?

У меня пересохло в горле от обиды.

— Анна! — горько воскликнул я.

— Простите. Я сказала не подумав...

Мы опять стали такими же «мужем» и «женой», как и раньше. Вели общий, ничего не значащий разговор, были в кафе «Ночная роза», потом долго гуляли и поздно, часов около двух ночи, вернулись в отель.

Утром, после завтрака, мы вышли в город. Стамбул уже проснулся. Его улицы заполнили турчанки с полуприкрытыми лицами, попрошайки, дервиши, гадалыщицы на картах, греки и турки, шумно игравшие в нарды.

— Анна, на операцию я пойду через час. Где мы встретимся после нее?

— На углу Гран рю де Пера, возле кафе «Токатлиана», есть небольшой кинотеатр. Через час я буду ждать вас в его фойе.

— Если через три часа мы не встретимся на условленном месте, немедленно уезжайте отсюда: если меня схватят, непременно задержат и вас, ведь мы — муж и жена.

— Вы не уверены в успехе?

— Уверен абсолютно, но для неуспеха всегда найдется один-два шанса из ста...

Она кивнула головой.

— Берегите себя... Мне будет тяжело, если...

— Спасибо!



Мы молча пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.

Я вошел в здание бывшего русского посольства. Как и вчера, все уголки двора, скамьи у сада, ступени лестницы и подъезд были забиты беженцами. Но сегодня их было еще больше.

Я пробрался через толпу, поднялся в бельэтаж и молча показал свой пропуск офицеру с трехцветной повязкой на рукаве. Усталыми, мутными глазами он пробежал по нему и хрипло сказал:

— Прошу вас.

Видимо, он провел бессонную ночь в борьбе с толпами беженцев, осаждавших вход в главную канцелярию.

В коридоре я увидел мрачного на вид генерала с бородкой и черными усами. Это был Кутепов, один из наиболее влиятельных врангелевских военачальников. Он даже не взглянул в мою сторону. Мимо меня прошел высокий, худощавый офицер, неестественно крививший рот.

— Вы не знаете, генерал Артифексов дома? — обратился он к одному из бесцельно бродивших по коридору людей.

— Кажется, нет, — вяло ответил тот.

— Он только что вместе с генералом Кутеповым спустился по лестнице, — уточнил другой.

Офицер быстро пошел в указанном направлении. Я повернул за ним, понимая, что юнкер-часовой несмотря на мой пропуск, вряд ли пропустит меня в квартиру. Ведь ни Кутепова, ни Артифексова не было дома. Следовало что-то придумать. Я открыл дверь в большую, похожую на залу комнату. Вдруг один за другим раздались три револьверных выстрела. Я увидел, как офицер, разговаривавший с Кутеповым, покачнулся и рухнул на пол.

В противоположную дверь пробежал высокий офицер, только что спрашивавший генерала. У самого выхода он еще раз выстрелил, но уже в воздух и исчез за дверью.

«Сейчас или никогда! Потом будет поздно», — пронзила меня мысль.

Я бегом бросился к квартире Артифексова. Тот же самый румяномордый глуповатый юнкер стоял на часах, выпученными глазами глядя на меня.

— Скорей на помощь генералу! — крикнул я, толкнув растерявшегося часового в спину. Внизу раздался еще один гулкий выстрел. — Не медлите... Вы же с винтовкой! Я заменю вас!

Юнкер, подхватив винтовку, опрометью бросился по коридору. Мгновенно я вбежал в комнату. Здесь не было никого...

Я захлопнул дверь. В минуту я открыл наборной отмычкой негостраемый ящик. Это не представляло труда даже для самого зашудалого взломщика. Слева лежал пакет в зеленой обертке, прошнурованный и опечатанный по краям. Справа — какие-то бумаги, золотые часы, кольца, тугие пачки николаевских денег. Я запер сейф, положил зеленый пакет в карман и спокойно вышел в коридор. Юнкера-часового все не было. Со всех сторон неслись крики. Кто-то громко плакал. Шум нарастал. Надо было уходить.

— Убили... Высокий такой! Капитан, кажется... Он вниз побежал... Во дворе, во дворе ищите! — вразнобой слышались голоса.

Я подошел к кучке военных, поднимавших с полу какого-то полковника.

— Этот негодяй намеревался убить Кутепова... и Артифковского, — возбужденно сказал один из военных. — Но в суматохе попал в этого ни в чем не повинного старого офицера.

Мне уже нечего было здесь делать, и я поспешил на Графскую до Пера.

Я нащупал пакет, лежавший в моем кармане, и, подозревая арабаджи<sup>24</sup>, поехал на условленное место.

В фойе кинотеатра я сразу же увидел Анну Александровну.

— Все хорошо? — спросила она.

— Да. Пакет у меня в кармане. Мне помог неожиданный случай. — И я рассказал ей о драматической истории, происшедшей в посольстве.

— Женя, пойдемте сейчас в Галату, где нужно кое-что купить, — неожиданно предложила она.

— Пожалуйста, — сказал я, отлично понимая, что ей сейчас не до покупок.

В Галате к нам подошел отлично одетый человек в желтых очках.

— Познакомьтесь! Это мой муж, барон Думитреску, а это господин Джанелли, — по-французски сказала Анна Александровна.

Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать в господине Джанелли того самого артиллерийского офицера, с которым я познакомился на квартире Анны Александровны в Крыму.

Мы погуляли по набережной, зашли в синема «Оттоман», посмотрели веселую и глупую комедию с Монти Бенксом. Во время сеанса я передал «господину Джанелли» зеленый сверток. Он крепко пожал мне в темноте руку. Когда сеанс окончился,

<sup>24</sup> Арабаджи — извозчик (турецк.).

его уже не было с нами, Анна Александровна взяла меня под руку, и мы вышли из синема.

— Поедем домой,— сказала Анна Александровна.— Я не брала своего чемодана. Зачем это делать... Я уничтожила два-три письма, записку — и только. Ведь если бы вы, не дай бог, попались, я просто не вернулась бы домой.

Я кивнул головой, и мы тихо пошли по берегу. Десятки лодочников — каюкчи — бросились нам навстречу. Их лодки, желтые, малиновые, красные, разноцветные, с флажками на носу, мерно покачивались на воде. Лодочники обступили нас, шумно зазывая каждый в свою лодку, по-гречески, турецки, на ломаном французском языке расхваливая свой «корабль».

— Покатаемся, Женья,— предложила Анна Александровна.

Черноглазый турок в выцветшей феске сильными взмахами весел вывел свою лодку далеко от берега. Стамбул пылал в переливах радужных огней, в сверкании мечетей и дворцов. Шумы города стихали с каждым ударом весел. Зеленая вода плескалась за бортом. От воды пахло водорослями. Катера, баркасы, каюки, моторки, шаланды, пароходы, яхты — все это двигалось, качалось, плыло по Босфору.

Анна Александровна молча сидела возле меня.

Я достал из кармана «рак», три отмычки с движущимися бородками, маленькую ручную дрель с нитроглицериновой прокладкой. Турок-лодочник сидел спиной к нам, усердно греб, что-то напевая себе под нос.

Анна Александровна смотрела на меня: Я опустил за борт все мои инструменты. Последним пошел на дно знаменитый «рак», сделанный в Брюсселе покойным Лебланом... Потом я посмотрел на нее и улыбнулся.

Мы молча дошли до отеля. По этому молчанию, по задумчивому лицу Анны, по взглядам, которые она искоса бросала на меня, я понимал, что она все время думает обо мне. У самого подъезда она взяла меня под руку:

— Пройдем чуточку дальше... Посидим в сквере.

Мы сели на одинокую скамейку в боковой пустынной аллее.

— Женья, что вы хотите делать дальше? — спросила она.

— Все, что надо вам, Анна.

— Что надо нам, вы сделали, и за это огромное спасибо. Вы даже и не подозреваете, какое это большое дело... — она остановилась, — для родины, для народа и...

— И для вас, Анна. Не будь вас, я...

— Зачем вы так, Женья!..

Она крепко, по-дружески пожала мне руку.

— Я завтра уезжаю, — вдруг сказала она.

Я отодвинулся от нее.

— А.. я?

— Решайте сами, Женья... Вы знаете, куда я еду?

— Знаю. В Россию. В Советскую Россию.

— Как я счастлива, что наконец еду на родину! Ведь я почти два года не видела ни мужа, ни дочери!

— Какой дочери?

— Моей, — ответила Анна.

По-видимому, лицо мое было настолько растерянным и глупым, что она тихо, с сожалением сказала:

— Это моя вина, Женья, что я не говорила вам об этом раньше... Не было необходимости. А теперь...

Мы молча сидели рядом.

— Да, я замужем почти пять лет. У меня дочка. Муж мой моряк-балтиец. Я должна была рассказать вам об этом раньше...

Опять натупило молчание.

— А вы знаете, что было в этом пакете? — спросила Анна.

— Нет. Я не интересовался содержимым. Вы просили доставить пакет. Я это сделал.

— Вы сделали очень большое для нас дело, Женья, и об этом уже сообщено в Москву. Знайте, что ваша помощь нами никогда не будет забыта. Когда бы вы ни захотели вернуться в Россию, теперь или позже...

Я равнодушно пожал плечами.

— Забудем об этом, Анна... Все это делалось для вас...

— Я знаю, — перебила она меня. — Но, право, Женья, я не виновата перед вами. Не сердитесь...

— Я не сержусь на вас, Анна... — уныло ответил я. — Не будем больше говорить об этом. Я провожу вас на пароход, а сам уеду на несколько дней в Адрианополь. Так будет лучше. Когда я вернусь в Стамбул, никто обо мне и не вспомнит.

— Значит... остаетесь?

— Да. Румынский барон Думитреску еще поживет в Стамбуле некоторое время.

— Я дам вам мой московский адрес, — тихо сказала Анна. — Если вздумаете приехать — телеграфируйте.

Мы расплатились с хозяином гостиницы, но номер оставили за собой. Чемодан с разными ненужными вещами мы оставили в номере, предупредив портье о том, что вернемся через два-три дня.

— Далеко едете, господа? — учтиво осведомился хозяин отеля, провожавший нас до такси.

— В Адрианополь. Кое-какие дела! — ответил я.

Мы поехали к Южной пристани, но на повороте к площади султана Селима и авеню Фоша я приказал шоферу подвезти нас к четвертой пристани, в район базара Османие.

Греческий часовой равнодушно кивнул головой, даже не читая наши бумаги, турецкий полицейский комиссар угодливо показал на пароход, а толстенький французский сержант, наблюдавший за посадкой, небрежно взглянул на документы и, не сводя восхищенного взора с Анны Александровны, отметил что-то на пропуске.

— Про-шу, господа! — пригласил сержант. От него сильно пахло спиртным. Он был благодушен и миролюбив.

Матрос-носильщик взял чемоданы.

Сняв шляпу, я молча поцеловал руку Анны.

— Пишите мне, Женья, — тихо сказала Анна. — Я буду ждать ваших писем.

Я наклонил голову и, быстро повернувшись, пошел прочь.

Мне было тяжело, и я в тот же день уехал в Адрианополь.

Наступило молчание.

— Так и покоится на дне Босфора ваш знаменитый брюссельский набор фирмы Леблана? — поинтересовался Савин.

Базилевский молча кивнул головой.

— А не жаль вам было после отъезда Анны Александровны этого уникального набора? — спросил Конов.

Старик еле заметно улыбнулся.

— Жаль, конечно. Тем более что год спустя мне пришлось заказать в том же Брюсселе новый, сделанный по моим чертежам, но уже на шестнадцать фунтов стерлингов дороже первого. Новая техника, другая конструкция... — Он добродушно улыбнулся. — Теперь вы понимаете, почему я ни разу не съездил в Москву в качестве иностранного туриста и ничего не писал Анне Александровне? Я был не в силах рассказать ей об этом, а соврать, написать неправду — не мог...

Базилевский отпил глоток кианти и продолжал:

— Годы шли, я старел. Свое ремесло я оставил уже в сороковых годах, да и в душе моей, несомненно, произошел какой-то перелом... после встречи с Анной. Сейчас я рантье, у меня текущий счет... А в душе навсегда сохранились лишь севастопольские дни двадцатого года и — ничего больше. Через месяц я на итальянском пароходе «Кавур» еду в качестве туриста по Черному морю. Буду и в Севастополе. Только из-за этого я и взял каюту на «Кавуре». Мы простои́м там почти день, я сойду на берег, похожу по его улицам, подышу его воздухом, вспомню все то, что было со мной в двадцатом году. Встанут полузабы-

тые тени смешных моих «интеллигентов», возникнут из небытия толстый Попандопуло, забавный Рабинович-Шуйский, глупая хозяйка-капитанша... звериные, хищные фигуры Татищева, Голоскухина, Токарского...

Поеду в Бельбек, побываю у Мекензиевых высот, остановлюсь возле дома, где жила Анна...

Все это воскресит во мне и ушедшую молодость, и неразделенную любовь, и все то доброе и хорошее, что дала мне встреча с Анной... А теперь, друзья, и вам, и мне пора! — Старик встал, подозвал метрдотеля. — Вы мои гости, и я прошу разрешения быть хозяином нашей встречи.

Все четверо молча дошли до пристани, где по-прежнему суетился народ, гремели лебедки, сновали матросы, раздавались громкие крики турецких и греческих продавцов.

— Счастливого вам пути, мои молодые друзья! — сказал Базилевский, приподняв шляпу, помахал ею и тотчас затерялся в шумной, разноязычной толпе.

# ГРАДО- НАЧАЛЬНИК

*Повесть*

Часовые, стоявшие перед входом в атаманский дворец в Новочеркасске, сделали на караул, отдавая честь подкатившему к парадному подъезду автомобилю, на радиаторе которого трепыхался маленький трехцветный российский флаг. Сидевший рядом с шофером казак соскочил с сиденья и, обежав машину, откинул дверцу. Покряхтывая, из машины выбрался пожилой казачий полковник. Откинув голову назад, он сумрачно провел ладонью по длинным пушистым усам и, выпячивая ватную, наставленную портным грудь, деланно бодрым шагом подошел к застывшим часовым. Из-под лихо сбитой набок фуражки выбил чуб...

Полковник резко остановился и неестественно громко, как бы самому себе, сказал:

— Не отпущена... не отпущена, братец, шашка... Два наряда не в очередь за фантазии...д-да... — И, поворачиваясь к другому, смуглому, с цыганским лицом, часовому, продолжал бормотать под нос: — Все ладно... по форме... и шашка остра... — И, внезапно умиляясь, слезливо закончил, кладя перед часовым трехрублевую бумажку: — Возьми... молодчина... платовец, когда сменишься... Чудо-богатырь... родной...

Вытирая неслезящиеся глаза, полковник быстро вошел в парадную дверь. Часовые словно застыли на месте, не сводя друг с друга напряженных, по-солдатски бессмысленных лиц. Зеленая трехрублевая бумажка лежала у ноги чернявого казака.

Петр Николаевич Краснов, донской войсковой атаман, был зол. Стоя у окна, он в сотый раз перебирал в уме события последних дней, так неожиданно перевернувшие все его дела и испортившие ему настроение. И, как всегда это бывает, важные



и большие дела мешались с мелкими и незначительными. Атаман чувствовал, что эти мелкие дела, такие чепуховые и простые, сейчас занимают его не меньше, чем отступление казаков из-под Царицына или бесконечная дипломатия союзников-немцев, так и не убирающих своих войск со станций железных дорог. «А затем этот нелепый приезд Эрдели?.. Зачем он нужен? Ни я, ни войска, наконец, ни казачество, вместе с войсковым кругом, не пойдут в подчинение Деникину. Пусть он воюет себе на Кубани и очищает ее от большевиков, но Дон был и будет самостоятелен». Атаман сжал кулак и грозно огляделся... Портрет Платова — сухого и поджарого — хитро смотрел узкими, татарскими глазами на него. «Да... этому не бывать!» — еще раз решил генерал и окончательно рассердился, внезапно вспоминая о том, что войсковой старшина Широков, которого устроила супруга генерала в градоначальники Ростова и Нахичевани, проворовался и вчера на заседании малого войскового круга ненавистные генералу либералишки из докторов, семинаристов и студентов, словом, дрянь... не казаки, а штафирки, с фактами в руках уличили его ставленника в некрасивых делах. Генерал пожимал плечами. «Я уважаю круг и казачьи свободы. Я сам демократ. Но зачем же эти гнусные интриги? В конце концов, ведь Широков боевой офицер, старый донец...»

«Брал взятки», — вспомнил атаман фразу одного из обличителей. «Дур-рак! Ну и что же? Брал, но ведь он жил и не мешал другим. Однако надо снять... все-таки уличенный вор...» Генерал из бокового кармана вынул сложенный вчетверо лист — рапорт градоначальника войскового старшины Широкова, в котором тот по «расстроенному здоровью» просил освободить его от должности и перевести в резерв по войску.

Генерал вновь перечитал рапорт и спросил себя: «Но кого же? Кого? Здесь, на этом месте, в такое трудное и полное соблазнов время должен быть исключительно честный, неподкупный и боевой офицер...» Он пожал плечами, не находя такого. В это время у парадного остановилась машина и из нее медленно вышел длинноусый полковник... Глаза генерала оживились; прильнув к запотевшему стеклу, он с живостью глядел на полковника, что-то с укоризной говорившего одному из часовых. Скука и злость разом слетели с лица атамана. Он довольно улыбнулся, подошел к столу и синим карандашом поставил на рапорте резолюцию: «Принимая во внимание причины, — освободить. Градоначальником Ростова и Нахичевани назначить полковника Грекова. Атаман Всевеликого Войска Донского П. Краснов», — после чего облегченно вздохнул и обернулся, чтобы встретить полковника.

— Экстренный выпуск газеты «Приазовский край»!.. «Назначение нового градоначальника»!.. «Первый приказ градоначальника»!.. «Обязательное постановление»!..— рассыпавшись по улице и размахивая пахнущими краской листами, кричали газетчики.

Угрюмые, неразговорчивые будари расклеивали полусложенные листы, с которых весело глядел на улицу лихой казачий полковник со свисавшими на грудь усами. Толпы любопытных росли. Газеты быстро разбирались, и даже безразличные ко всему извозчики уныло, по складам читали первый приказ brave градоначальника Ростова и Нахичевани на Дону.

«Сего 14-го сентября 1918 года, я, полковник Митрофан Петрович Греков, приказом войскового атамана Всевеликого Войска Донского назначен градоначальником Ростова и Нахичевани... Очень приятно. Я рад познакомиться с господами горожанами, мастеровыми и крестьянами вверенных мне городов... Повторяю, да, приятно. Я человек русский, донской казак, а значит, христианин и православный, с которым каждый из вас, независимо от чина, сословия и положения, может иметь дело. Пожалуйста. Приди ко мне, в градоначальство,— мир, лад да совет, а если попал в беду, и помощь окажут тебе. Одного прошу — правды. Без нее ко мне предлагая не ходить. Бесплезно. Я старый донской казак, меня не проведешь, сквозь землю вижу. И пройдохам и спекулянтам так и советую: не ходить. Бесплезно. А то еще и беду наживете. А честным людям, любящим матушку Россию, порядок и покой,— милости просим. Дом градоначальника всегда открыт.

Градоначальник г. Ростова и Нахичевани на Дону

полковник Греков».

— Здорово, юнкер!

— Здравия желаю, господин полковник! — вытянувшись во фронт перед градоначальником, выпалил остановленный им юнкер.

— Не так!.. Плохо!.. Не умеешь, братец, отвечать начальству...— Греков неодобрительно покачал головой и с удовольствием оглядел собирающуюся вокруг толпу.— Плохо... Разве так отвечают?.. Что значит «господин полковник»? Господин — это купец, адвокат, приказчик... А полковнику русской армии и своему градоначальнику юнкер должен отвечать по-военному, так, как установлено еще Военной кригс-виктор-коллегией, по статутам и правилам, указанным блаженной памяти в бозе усопшим государем и императором Петром Первым Алексеевичем...

Толпа все росла, с комическим почтением слушая красноречивого полковника.

— А в уставе том...— градоначальник тут поднял над головой палец, и все следом за ним подняли головы,— сказано: нижние чины, в том числе юнкера и вольноопределяющиеся, своему начальству говорят не «господин», а...— пухлый полковничий палец заходил перед носом испуганного юнкера,— а «ваше высокоблагородие». Повторите! — вдруг рявкнул градоначальник.

Восхищенно глядевшие на него мальчишки перепугались и брызнули в толпу, передние ряды слегка отодвинулись и поределли. Остановивший пролетку и наблюдавший за разносом извозчик внезапно сорвал с головы шапку и машинально повторил:

— Ваше высокоблагородие.

Юнкер, весь напрягаясь, крикнул:

— Ваше высокоблагородие!

Греков тускло поглядел на него и, отвернувшись, сказал:

— Фендриков не потерплю... Извольте возвратиться в училище и доложить ротному командиру...— И, проходя, сквозь раздвинувшуюся, затаившую дыхание толпу, он горестно сказал:— Не юнкер, а какой-то Керенский.

— Вот это да... финьяшпань, настоящий...— подхватил извозчик и уставился взглядом в широкую спину уходившего полковника.

Представитель немецких войск при донском атамане майор Пилар фон Пильхау официальным письмом сообщил господину градоначальнику городов Ростова и Нахичевани, что генерал фон Даман, направляясь в город Новочеркасск для переговоров с донским атаманом, два дня задержится в Ростове. Ввиду этого атаман предписал своему градоначальнику приготовить помещение для высокого гостя и в короткий срок привести в «европейский» вид улицы Ростова.

Двадцать седьмого сентября официальный орган градоначальства «Приазовский край» вышел с экстренным приказом следующего содержания:

«Несмотря на все мои и ранее бывшего градоначальника распоряжения, города Ростов и Нахичевань грязны. Стыд и позор. Пыли в городе больше, чем в степи. Поэтому я вынужден лично взяться за очистку города от грязи, пыли и навоза. Для начала беру 2-й участок и сделаю из него не участок, а конфетку. Остальным участкам посмотреть и немедленно сделать то же. В помощь полиции мобилизую пожарных и всех арестованных по участкам пьяниц, воров, бродяг и праздношатающихся.

Уклонившихся или лодырей лично вымою так, что небо с овчинку покажется.

Градоначальник полковник Греков».

На следующий день колонна людей, вооруженных метлами и лопатами, атаковала второй участок. С толстою клюкою в руке среди работающих медленно прохаживался градоначальник, недоерчиво оглядывая старавшихся людей.

— Но-но! Как метешь, ка-ак метешь, лентяй, иродова твоя душа, Мамай бесхвостый! — остановился полковник возле старательно подметавшего навоз дворника, и, вырвав метлу, градоначальник энергично завозил ею по земле, разбрасывая в стороны слежавшийся конский помет.

Работающие остановились, учась делу у бравого начальства.

— Видал, как? — сказал полковник одеревенело уставившемуся на него дворнику. — Учить вас надо, олухов. — И, бросив на землю измазанную метлу, кинул шедшим сзади ординарцам: — Посадить его в холодную на сутки, а хозяина дома оштрафовать...

Подметальщики, лукаво перемигивавшиеся между собой, мгновенно схватились за метлы, и пыль завесой поднялась над домами.

Митрофан Петрович считался старым лошадником и в бытность свою субалтерном в одиннадцатом Донском полку имел двух строевых и одну скаковую лошадь, на которой обычно и брал дивизионные призы. Это было давно... Годы утомили полковника, но страсть к коням не утихла и поныне. Каждое утро новый градоначальник Ростова и Нахичевани просыпался в пять часов, обливался из ведра холодной водой и, хватив чепурку цимлянского вина, заедал ее куском круто посоленного черного хлеба, после чего, взобравшись на коня, делал утреннюю поездку, сопровождаемый шестью казаками и дежурным офицером. В это утро с ним стремя в стремя ехал войсковой старшина, осетин Казбулат Икаев, с недавних пор ближайший друг и поверенный градоначальника. Поодаль маячили вооруженные казаки, чуть рысившие за шедшими крупным проездом конями офицеров. Ростов остался позади. Солнце поднималось, обливая лучами сонные поля...

Подбоченясь в седле и слегка повернувшись к соседу, Греков увлекательно рассказывал напряженно слушавшему его Икаеву.

— Да-а... умеючи, дорогой, и на дерьме наживешься... Только надо ум иметь густой и сочный... Я, знаете ли, батенька мой, много видел случаев в жизни, когда умный, не растерявшийся

в соответствующей обстановке человек очень легко становился обладателем больших денег,— поглаживая усы, сказал Греков.

— Был бы случай, а умные люди найдутся,— многозначительно ответил Икаев.

— А вы слушайте, вникайте в суть... пригодится. Вот хотя бы и такой,— делая вид, будто не слышит спутника, продолжал Греков.— В Тарнополе в семнадцатом году, когда отступление великое началось, гарнизонный интендант и начальник местного казначейства составили акт о том, что немецкие аэропланы банк вместе со всеми деньгами сожгли, а в банк даже ни одна бомба не попала.

— Дальновидные люди,— похвалил Икаев.

Греков усмехнулся и продолжал:

— Подписями акт скрепили, печать приставили, свидетелей нашли... Все по форме, а денежки, конечно, поделили.— Греков перегнулся с седла к самому плечу жадно слушавшего его Икаева.— Миллионов, я думаю, пять уперли... Конечно, и начальство не забыли. Корпусному командиру отвалили, говорят, пол-миллиона...

— Правильно, умно сделали,— вставил Икаев.

— Вы считаете, что правильно? — останавливая коня и глядя в глаза войсковому старшине, спросил Греков.

— Натурально! Первый и самый лакомый кусок — начальству... Митрофан Петрович,— улыбаясь одними глазами, почти-тельно ответил Икаев.

— Умные речи приятно и слушать,— пожимая руку, с чувством сказал Греков.

Из-под самых копыт грековской кобылы выпрыгнул мирно спавший в лунке огромный заяц, большими скачками запрыгавший по скошенному жнитву. Лошадь прянула в сторону, и полковник, едва усидевший в седле, молча поглядел вслед убежавшему зайцу, меланхолично вынул из кармашка часы. Ехавшие сзади казаки нагнали офицеров и почтительно придержали лошадей.

— Без четверти шесть...— печально сказал градоначальник, покачивая головой, и, внезапно багровея, возмущенно продолжал: — Безобразие! Полковник русской армии и градоначальник города Ростова Митрофан Петрович Греков встает в пять часов утра, а паршивый, бездомный заяц прохлаждается до шести. А ну, братцы, наказать!

Все шестеро казаков, гикнув, сорвались с мест и через минуту бешено кружились по полю, настигая зайца. Офицеры, закупив папиросы, продолжали прерванный появлением зверюшки разговор.

На следующий день после этой беседы войсковой старшина Икаев приказом по Донской армии был назначен исполняющим должность штаб-офицера по особым делам при господине градоначальнике городов Ростова и Нахичевани с одновременным назначением на должность начальника карательного отряда. Приказ заканчивался следующими словами: «Для искоренения уголовных и политических бандитов, свивших себе гнезда в пределах Ростова, и для ликвидации большевистской пропаганды среди населения приказываю сформировать Особый карательный отряд, действующий в черте градоначальства по законам военного времени. Начальником этого отряда назначаю войскового старшину Икаева, коему и поручаю формирование отряда».

По городу замелькали конные и пешие фигуры горцев в длинных черкесках, обвешанных разнообразным оружием. Каждый день с юга, из Осетии и Чечни приезжали родичи и знакомые Икаева. Абреки и кровники, бежавшие в леса, прослышав о наборе в икаевский отряд, толпами устремились на Дон. Отказа в приеме не было. Через десять дней войсковой старшина Икаев явился к градоначальнику и доложил:

— Первый карательный отряд для борьбы с бандитизмом и большевиками готов. Дивизион горцев насчитывает двести семьдесят пять шашек и шесть пулеметов... Прикажете начать службу?

Градоначальник обнял исполнительного офицера и, целуя его трижды в лоб, растроганно сказал:

— Не забывайте, дорогой, тарнопольскую историю, которую я вам рассказывал.

Икаев так четко и уверенно откозырял градоначальнику на эти слова, что двое репортеров, «Приазовского края» и «Вечерних новостей», находившиеся в кабинете, хотя и не поняли градоначальника, но решительно внесли эти слова в свой отчет о церемонии. И только меланхолический немецкий обер-лейтенант, также сидевший у градоначальника, автоматически вписал в свой дневник следующие слова: «Вид этих ужасных дикарей в своих странных одеяниях должен был внушить несчастным горожанам города Ростова больше страха за свою жизнь, чем воображаемые бандиты, от которых должны были эти люди оберегать их...» Но слова союзного Краснову лейтенанта не получили тогда гласности. Через месяц обер-лейтенант был убит кавалеристами Сиверса под Ясиноватой, а его дневник спустя много лет попал в Истпарт.

Большой Ростовский театр был ярко освещен. Сверкающие лампочки причудливо сплетались в гигантское огненное слово

«Кармен», потом гасли и снова загорались, освещая сновавшую у подъезда толпу и линию подъезжавших фаэтонов и автомобилей. Сажённые афиши, у которых толпились люди, чернели огромной надписью: «Раевская в роли Кармен». Портреты Раевской были выставлены у театра. Аншлаг давно уже красовался над окошечком кассира, но люди тщетно стучали в окно, надеясь достать хотя бы один завалившийся билет. Театр был переполнен, все приставные стулья и ложа дирекции были заполнены зрителями.

В половине первого акта дверь губернаторской ложи приоткрылась и в нее вошли градоначальник, донской есаул, войсковой старшина Икаев и двое горцев с маузерами — телохранители из личного конвоя Икаева. Занятая игрою актеров, музыкой и пением Раевской, публика не заметила прихода градоначальника, и только юркий антрепренер труппы Кузнецов моментально прислал в ложу цветы и пытался было проникнуть к начальству, но суровые горцы не допустили его, многозначительно показав на маузеры.

Когда через полчаса под оглушительные аплодисменты и крики публики опустился занавес и счастливая Раевская разнеженно кланялась у рампы, антрепренер Кузнецов с удивлением увидел, что ложа градоначальника была пуста. Движимый страхом, антрепренер мелкой рысцой, насколько ему позволяло брюшко, пробежал из-за кулис к ложам. Осторожно просовывая сквозь портьеру стриженую голову, он оглядел ложу... В ней никого не было.

Утром, около девяти часов, в дверь номера, занимаемого антрепренером, постучали. Кузнецов в голубой пижаме и черных полосатых брюках сидел за чаем, обсуждая со своим администратором Смирновым странное неудовольствие градоначальника. Услыша стук, администратор открыл дверь. В дверях стоял урядник с двумя казаками.

Сердце Кузнецова екнуло. Сдерживая страх, он любезно спросил:

— Вы к кому это, братцы?

Урядник, напирая грудью на администратора, осведомился:

— Ты, что ли, будешь Кузнецов?

Администратор попятился и молча указал на антрепренера.

— Собирайся,— сумрачно сказал урядник.

Казаки встали с обеих сторон Кузнецова.

— К-куда?

— К градоначальнику.

— П-позвольте одеться... Я совсем по-домашнему, — пытаюсь улыбнуться, проговорил антрепренер, кидаясь к шкафу.

— Приказано в чем есть. Веди его, ребята, — скомандовал урядник и вышел за арестованным в коридор.

На пороге он оглянулся на застывшего в углу Смирнова и, погрозив ему кулаком, коротко сказал:

— Прокураты, мать вашу так!

До одиннадцати часов перепуганного Кузнецова держали в коридоре возле приемной Грекова. Десятки офицеров проходили по приемной мимо Кузнецова, лихорадочно перебиравшего в голове все свои вины и прегрешения. Но ничего преступного так и не нашел за собой.

«Донос! Несомненно, донос! Но о чем?» — ломал голову недоумевающий антрепренер.

Наконец из дверей выглянул щеголеватый хорунжий.

— Это вы, господин Кузнецов?

— Так точно-с! — вскакивая с места, по-солдатски гаркнул антрепренер.

Конвойные казаки ухмыльнулись.

— К градоначальнику! — коротко сказал адъютант.

Рядом с Грековым сидел смуглый, черноусый полковник, в черкеске, с кинжалом и с золочеными газырями на груди. Кузнецов еще издали поклонился обоим, но сидевшие и не подумали отвечать ему.

Греков пожевал сухими губами, ладонью провел по усам и неожиданно спросил:

— Крещеный?

— Так точно, ваше превосходительство, — закивал головой Кузнецов.

— Не ври, не превосходительство, а полковник. Покажи крест.

Антрепренер судорожно расстегнул пижаму, отдернул рубашку. Увы, креста не было. Он перевел на Грекова умоляющие, испуганные глаза.

— Видит бог, был... был-с крестик. Это я его вчера, наверное, раздеваясь, на столике оставил.

— Опять брехня. Русский, православный человек не может оставаться без креста ни минутки. Не так ли, Казбулат Мисостович?

— Совэр-шэнно вэрно! — с сильным акцентом подтвердил войсковой старшина и похлопал пальцем по кобуре нагана.

— Стихи наизусть знаешь? — неожиданно спросил Греков.

— Какие... стихи? — опешил антрепренер.



— «Какие»? — поджимая губы, передразнил Греков. — Все-  
кие!

— Так точно, знаю.

— А ну, проч и, — приказал Греков.

Кузнецов растерянно задрал голову и стал нараспев читать  
первые пришедшие в голову стихи:

Скажи мне, ветка Палестины...

При слове «Палестины» градоначальник поднял голову и по-  
дозрительно взгляделся в антрепренера.

Где ты росла, где ты цвела,  
Каких холмов, какой долины...

— Хватит! — остановил его Греков. — Чьи стихи?

— Михаила Юрьевича Лермонтова, — почтительно доложил  
Кузнецов.

— Плохой поэт... Против царей писал и всего-то дослужился  
до поручика, — сказал Греков и продекламировал, размахивая  
пальцем перед носом обомлевшего антрепренера:

О воин, службою живущий,  
Читай устав на сон грядущий  
И паки, ото сна восстав,  
Читай усиленно устав...

— Вот это стихи! Наш казначей, сотник Перисада, в пьяном  
виде сочинил... «Верую» знаете? — переходя на «вы», спросил  
градоначальник.

— Так точно, знаю... и «Богородицу», и «Отче наш», и молит-  
ву перед учением знаю... — припоминая забытые еще с детства мо-  
литвы, сказал Кузнецов.

— Из жидов? — осведомился Греков.

— Никак нет. Сын купца второй пильдии города Тамбова,  
Сергей Андронович Кузнецов.

— А почему в таком случае, малоуважаемый и полупочтен-  
ный Сергей Андронович, вы осмеливаетесь в столице Всевелико-  
го Донского православного казачьего войска ставить отвратитель-  
ную большевистскую оперу? — поднимаясь с места и перегибаясь  
через стол, спросил Греков.

— Как-кую оперу? — растерялся антрепренер. Он мог до-  
пустить все, что угодно, но такое обвинение... — Головою отвечаю  
за свой репертуар, господин полковник, оперы все старые, импе-  
раторских театров... В присутствии высочайших особ ставились!  
Поклеп это, просто наврали вам на меня, — осмелев, заговорил

Кузнецов. — Посудите сами, — «Евгений Онегин», «Лакме», «Риголетто», «Пиковая дама»...

— А вчера что изволили ставить, Сергей Андронович? — елеяно прошептал Греков.

— Оперу «Кармен» господина Бизе. Одна из наиболее популярных во всем мире опер.

— А содержание ее можете пересказать нам?.. — перебил антрепренера Греков и, вдруг багровея, закричал: — Сук-кин сын, это в наше-то время, когда на Дону осадное положение, дисциплина в полках валится, когда казаки офицеров не слушают, когда красные свою агитацию всюду развели, у меня под носом, на моих собственных глазах театр пропагандой занимается!

И он так стукнул по столу, что стакан с водою опрокинулся и зазвенел на полу.

— К-как-кою пропагандою? — снова бледнея, тихо спросил антрепренер.

— А как же! Что вы там показываете народу? Как паршивый солдат из-за девки дезертировал, мало того — офицера своего по морде ударил... в раз-бой-ники пошел! Что это такое, как не тайная агитация большевиков?

— Факт! — коротко подтвердил офицер в черкеске и снова выразительно постучал по своему нагану.

— Мо-о-лчать! — заревел Греков, не давая вставить слова перепуганному Кузнецову. — Что вы там ссылаетесь на «им-пе-ра-торские» сцены!.. Ошибка была со стороны в бозе почившего императора, — Греков встал и дважды перекрестился, — что он допускал подобные вещи.

— Вот и поплатился, — без особенного уважения добавил чернотусый офицер.

Греков подошел вплотную к бледному, озиравшемуся по сторонам антрепренеру и, кусая губы, прошипел:

— Вы знаете, что я с вами могу сделать? А? Вы понимаете? Как градоначальник, ответственный за судьбы донской столицы, я в двадцать четыре часа властью, данную мне свыше, расстреляю вас...

Ноги Кузнецова подкосились.

— ...и отвечать не буду, а весь ваш театр со всею трупною сгною в кутузке.

— Ва... ва... ваше пре... пр... — совершенно теряясь и уже не помня себя от страха, забормотал Кузнецов. — Явите божескую милость!

Греков жестом остановил его.

— Вот, — указал он пальцем на хладнокровно сидевшего офицера, — говорите с ним. Рекомендую. Это войсковой старшина

Казбулат Мисостович Икаев. Надеюсь, слышали? — многозначительно сказал он.

Сердце антрепренера упало. Фамилию знаменитого Икаева и связанные с нею мрачные истории он слышал не раз.

— Итак, господин полковник, это дело поручено вам, — сказал Греков, уходя из кабинета в боковую дверь.

— Ну-с! Вы слышали, что говорил господин градоначальник? — сверля Кузнецова глазами, проговорил Икаев. — Повторять не буду. Ваша жизнь, ваша труппа и все ваше дело в моих руках.

Он вытянул вперед свои смуглые жилистые руки и сжал кулаки.

— Могу сделать с вами все, что захочу, но я человек добрый...

Кузнецов с надеждою посмотрел на него.

— А вы человек, вероятно, сговорчивый.

Уже понимая, что опасности никакой нет, антрепренер широко развел руками.

— Все, что изволите, — подтвердил он.

— А дело в следующем. Вам известно, сейчас идет война с большевиками. Наступают холода, лютые, жестокие морозы, а у наших офицеров, казаков и солдат, сидящих в окопах, нет теплого белья, полушубков...

— С моим превеликим удовольствием! — перебивая его, сказал повеселевший Кузнецов. — Да я же всегда был патриотом и всегда жил в дружбе с начальством. Сколько прикажете пожертвовать? — пригнувшись к столу, тихо спросил он.

— Тридцать тысяч единовременно и затем набавить на все билеты театра пятнадцать процентов. Сумму надбавки ежедневно вносить лично мне...

— А как проводить по книгам?

— Как угодно. Нас это не интересует.

— Слушаюсь, — поклонился антрепренер.

— Затем еще, но это уже лично моя просьба... Вы, надеюсь, джентльмен? — поманив к себе Кузнецова, осведомился Икаев.

— Так точно. Самый настоящий.

— Так вот, мне оч-чень понравилась ваша левица, как ее... ну, та, что вчера пела Кармен. Мила, игрива, и экстерьер вполне соответственный. Так вот, я не хочу, вы понимаете, не хочу, не желаю, чтобы она знала о том, что она оч-чень понравилась мне.

— Понимаю-с! Понимаю-с! Будьте уверены, она нич-чего не узнает о нашем разговоре. Извините, господин полковник, ну, а в «Кармен» ей теперь можно выступать?

— Пусть выступает.

Через пять минут Икаев и Кузнецов сидели за столом, болтая и пересмеиваясь. Антрепренер балагурил, рассказывал театральные анекдоты и закулисные тайны. Войсковой старшина весело ржал, слушая его рассказы. Уходя, Кузнецов уже дружески сказал Икаеву:

— Ну и постановочка у вас, господин полковник, до сих пор ноги трясутся... И зачем это надо?.. Сказали бы просто.

Икаев снисходительно улыбнулся.

— Всякое дело, уважаемый Сергей Андронович, требует тонкой подготовки.

Черная биржа валютчиков Ростова была расположена на Садовой улице, в кафе «Континенталь». Здесь шла бешеная спекуляция всеми видами валют, начиная с греческой драхмы и кончая американскими золотыми двадцатидолларовыми «орлами». Румынские леи, болгарские левы, царские «петры», английские фунты, сербские динары, индийские рупии, итальянские лиры и даже самодельные пятачки, выпускавшиеся в ингушском селе Экажеве, — все имело хождение здесь. Вагоны железа, платформы с кирпичом, возы с сеном, мешки крупчатки, ящики кишмиша, килограммы сахара, банки с кокаином, шаланды с рыбой, тюки хлопка, ружейные патроны, винтовки и пулеметы русских, австрийских и немецких систем — все покупалось и продавалось здесь.

«Даю, беру вагон сои!», «Держу сою!», «Есть пять вагонов картофеля!», «Беру картофель — даю полвагона морозовского миткалю. Ситец, ситец есть!», «Чай, пятьдесят пудов китайского чая, высший сорт, кузнецовский!», «Кто интересуется морфием?», «Беру морфий, даю семь пудов подметки»...

Выкрики, шепот, таинственные жесты, кивки головой, толкотня, звон посуды мешались с табачным дымом «кэпстена» и ароматных самсунских папирос. Толстые люди, в перстнях, с заплаканными жиром глазами, в шикарных пальто реглан, пили шоколад, ели сбитые сливки, торты, тыча окурки папирос в застывший крем. Юркие юноши, вертлявые старички, подмалеванные дамы окружали их, то исчезая, то снова появляясь. Здесь были люди разных национальностей, всех возрастов и положений. Тут собрались сбежавшие из многих российских городов торговцы, менялы, ростовщики, дельцы, кутилы, жулики, проститутки, прокутившиеся купеческие сынки, налетчики, безработные чиновники, потерявшие усадьбы помещики, представители обнищавшей российской аристократии, бывшие монахи, гимназисты, забросившие книги, — словом, все, кому хотелось легко и быстро зашибить денег.

Через толпу, разнося по столикам подносы с заказами, проно-

сились официанты, иногда звенела по полу посуда и на чей-либо пиджак проливался горячий кофе, но такие пустяки не отвлекали внимания толпы. Здесь делали деньги, они были единственным кумиром, которому все поклонялись.

Главным тузом в эти дни на бирже был трапезундский грек Касфикис, приведший из Турции пароход самсунского табаку «режи»<sup>25</sup> и распродавший его. Собираясь обратно в Турцию, Касфикис решил на все вырученные деньги закупить в Ростове товаров и отвезти их в Стамбул. Он часами просиживал в кафе «Континенталь», присматриваясь и прислушиваясь к мечущимся спекулянтам. Иногда Касфикис делал незаметный знак своим людям, и те, нагоняя уже в другом конце кафе предлагающего товары человека, останавливали его. Часто заманчивые предложения оказывались фикцией, но иногда сделка совершалась, и тогда молчаливый грек что-то заносил в свою маленькую записную книжку.

Касфикис предпочитал золото и брильянты, отлично разбирался в бронзе и фарфоре, он платил наличными и всегда на два процента больше, чем давали другие, поэтому все беженцы скоро стали предпочитать его другим.

Осторожный Касфикис не рискнул остановиться в гостинице, а проживал у пастыря греческой церкви отца Иоаникия, занимая у него две небольшие комнатки рядом с домом, в котором жил греческий консул.

По кафе шныряли люди... Одни приценивались к товарам, другие прислушивались, третьи присматривались друг к другу. Высокий черноусый человек с орлиным носом и пронзительными глазами, в рыжей барашковой папахе дважды прошел мимо Касфикиса и как-то странно посмотрел на него. Трапезундскому купцу это не понравилось. Еще у себя в Анатолии он слышал о том, что все кавказские горцы грабители и промышляют только тем, что грабят и режут мирных заезжих купцов. Он отвернулся, но все же не терял из виду показавшегося ему подозрительным человека. Кавказец бесцельно походил по кафе, толкая официантов и мешая непрерывно суетившимся биржевикам. Потом он сел на стул возле стены и, вынув из кармана большой золотой портсигар, молча поднес его к груди. Несколько ярких брильянтов брызнули огнем и засветились на матовом фоне портсигара. Касфикис проглотил слюну и, толкнув ногой подручного, указал глазом на сидевшего в смиренной позе кавказца.

«Бандит... наверно, кого-нибудь ограбил,— мелькнуло у него

---

<sup>25</sup> Французская табачная монополия в Турции.

в голове. — А не все ли равно... Портсигар ценный, наверно, фамильный, брильянты чистой воды. Не упустить бы».

И он деланно равнодушно отвернулся в сторону, медленно прихлебывая черный ароматный кофе. Вокруг кавказца уже суетились несколько быстрых, торопливых фигур.

— Продаешь? На товар или на деньги? А ну, дай поглядеть, — тормоша горца, разом заговорили все.

Горец опустил портсигар на колени и медленно вытащил из ножен широкий, аршинный кинжал.

Покупатели отодвинулись от него.

— Пардаю своя золотой портабашник, — ломаным языком очень спокойно сказал он. — Близко ходить можна, рукам лапать неможна... И он любовно посмотрел на свой обнаженный кинжал.

В эту минуту подручный Касфикиса был около него.

— Сколько? — показывая глазами на портсигар, спросил он.

— Ей-бог, меньше пятнасыт тыща не отдавайт, — сказал горец.

Портсигар стоял по меньшей мере тысяч пятьдесят, но подручный, нахмутив лоб, подумал и как бы неуверенно сказал:

— Пойдем вон к тому человеку. Его деньги, как он скажет, так и будет.

— Балла и лаазым<sup>26</sup>, пойдем, — согласился горец, вкладывая в ножны кинжал.

Касфикис немного поторговался и за четырнадцать тысяч купил у горца массивный портсигар с брильянтовым вензелем и крупным алмазом посредине. Прежде чем положить в карман николаевские бумажки, горец долго и внимательно разглядывал их на свет. Найдя на одной «катеринке» сальное пятно, он отказался взять ее.

— Наш аул, ей-бог, ни один человек такой денги не берет... — И успокоился только тогда, когда улыбающийся Касфикис дал ему взамен новенькую царскую сторублевку.

Уложив кредитки в карман бешмета, кавказец спросил:

— Тебе денги нищо много ест или мала ест?

— А тебе зачем? — спросил осторожно Касфикис.

— Мне нищо шесть штука такой портабашник ест, четыре золотой мендал ест, сиребрены самовар, ей-бог, тоже ест... все хочю гамузом пардават, своя места, Кавказ ехат...

— Купим, — наклоняясь к нему, тихо сказал Касфикис. — Денег хватит. Больше всех дадим... Мы все сразу купим. Давай вещи и говори свою цену.

Горец внимательно поглядел на него и, чуть улыбнувшись, покачал головой.

<sup>26</sup> По смыслу: бог — свидетель (арабск.).

— Такой дурак человек нету — се вещи сразу давал. Вот моя на коран божица, твоя на твоя бог божица. Тогда дело кончал, вещи домой принесем, деньги карман кладит. Кавказ едим.

Через несколько минут Касфикис и его подручный ударили с горцем по рукам, и каждый по-своему побожился честно окончить сделку.

Кавказец обещал в шесть часов вечера принести золото на Азиатскую улицу, в дом греческого консула, где во флигеле жил Касфикис.

Высокое греческое государство в Ростове представлял некий Даниил Анастасиди, имевший в городе две хлебопекарни и мучной склад на Таганрогской площади. Иногда консул надевал на себя пышный, шитый золотом вицмундир и косую треуголку, обтянутую широким серебряным галуном, и, вооружившись крохотной шпагой, совершал наезды в Новочеркасск, к атаману. В остальное время он носил серую пиджачную пару, мирно подсчитывал барыши от своего выгодного предприятия и, переводя выручку на драхмы, отсылал их в Афины на свой текущий счет.

В 7 часов 30 минут у генерала Краснова, приехавшего из Новочеркасска в Ростов, был назначен официальный прием по случаю прибытия на Дон немецкой военной миссии. Канцелярия донского войскового атамана уведомила об этом греческого, персидского, швейцарского и неизвестно зачем находившегося в Ростове перуанского консулов.

Анастасиди любил подобные вечера. Он писал о них в греческое министерство иностранных дел длинные водянистые доклады, прилагая к ним газеты, в которых всегда одинаково сообщалось:

«На приеме присутствовали гг. консулы дружественных Донскому Войску держав — Греции, Швейцарии, Персии и Перу».

Без пяти минут семь, оглядев себя в зеркало, консул вышел к воротам и в фаятоне отправился на прием. На плохо освещенной Азиатской улице он встретил группу всадников в папах и бурках, на мелкой рыси проехавшую мимо него.

«Патрули, — удовлетворенно решил Анастасиди.

Горец не явился в шесть, не было его и к семи. Недовольный Касфикис что-то буркнул себе под нос и уже собирался сесть за письма, которые аккуратно дважды в неделю посылал в Трапезунд, своей жене и компаньонам, как во дворе раздался шум.

— Пришел? — с надеждою спросил он своего подручного.

— Нет! Это господин консул по делам поехал. Вряд ли придет наш разбойник. Разве можно верить таким людям? Эти кавказцы такой народ! — Помощник пренебрежительно махнул рукой и остановился.

За дверью слышались шаги.

— Эй, господин поп... искажи, пожалуйста, где такой человек ест... как зват, ей-бог, не знаем... бумажка имя ест, написана...— раздался в коридоре чей-то голос.

— Пришел,— засмеялся Касфикис,—видать, ты, Апостолаки. вовсе не знаешь этих людей.

В дверь постучали, и в комнату в сопровождении греческого священника, настоятеля подворья, вошел кавказец, держа за спиной туго набитый мешок.

— Вот здесь, входи смелее,— сказал священник нерешительно остановившемуся на пороге горцу и, бросив Касфикису по-гречески несколько слов, пошел к себе.

— Принес? — поднимаясь с места спросил трапезундский купец.

— Ей-бог, очень темна места живешь... Совсем свет нету,— не отвечая на вопрос, сказал горец и, сняв папаху, вытер ладонью лоб.

— Ну, ну, показывай твои табакерки,— торопил его Касфикис.

Но горец молча поглядел на него и, похлопав рукою по мешку, не спеша сказал:

— Вот моя товар... Игде твоя денга? Ты тоже покажи.

— Да что ты, боишься нас, что ли? — Недовольно он похлопал по боковому карману.— Много. Ты золото свое давай, а денег мы тебе отвалим.

— Когда наши народ кинджал рука ест, он сам черт не боится, ей-бог,— берясь за рукоятку кинжала, сказал кавказец.

Он еще что-то хотел сказать, но внезапно прислушался и насторожился. Во дворе зацокали копыта, что-то лязгнуло, напоминая звон шашки о стремяна. Потом раздался и смолк голос настоятеля церкви.

— Что это? — встревоженно сказал Касфикис.

Дверь с маху раскрылась, и в комнату ввалилось восемь человек в бурках и папахах, лица были полузамотаны башлыками.

Подручный ахнул и спрятался за кровать.

— Кто такие? Чем это вы тут, уважаемый, занимаетесь? — шагнув к онемевшему Касфикису, грозно рывкнул один из ворвавшихся людей.— А это кто? — наклоняясь над сидевшим на своем мешке горцем, тем же тоном продолжал он.— А-а-а! Так это ты голубчик... Приятная встреча. Попался наконец, разбойник... А ну, обезоружить и взять его! — приказал он другим.

Перепуганный Касфикис в страхе зажмурил глаза. Он слышал о том, что кавказские горцы никогда не даются живьем в руки и в этих случаях отчаянно, насмерть рубятся кинжалами.



Чтоб не слышать страшных звуков рубки, лязга кинжалов и ужасных, душераздирающих стонов, он, заткнув пальцами уши, бросился в кровать, за которой дрожал и трясся его подручный...

Он поднял голову и открыл глаза от грубого толчка в ухо.

— Так вот оно что такое... Сук-кин сын, ворованным торгуешь, у бандитов и убийц награбленное скупаешь! А еще иностранец, собачья кровь! Взять и его! — прогремел ужасный голос командира ворвавшихся к нему людей.

— Гос-по-дин начальник, это неверно... это ошибка... — пытаюсь вырваться из обхвативших его рук, залепетал Касфикис.

— Как ошибка? А это что? Откуда у тебя, свиная морда, мое фамильное золото? — размахивая мешком перед самым носом мотавшего головою грека, заревел незнакомец.

Касфикис едва не упал с кровати, когда увидел, как из его чемоданов посыпалось на пол золото.

— По-озвольте, это же грабеж! — простонал он.

Один из закутанных людей достал у него из кармана бумажник с деньгами.

— Дай ему хорошенько, чтобы не рыпался! — посоветовал сбоку кто-то голосом, очень похожим на уже знакомый ему голос продавца-кавказца.

Сильный удар по голове оглушил грека, и он потерял сознание.

Когда, часов в двенадцать, вернулся с пышного приема консул, его веселое настроение сразу испортилось. Взволнованный старичок священник, путаясь и сбиваясь, рассказал ему о том, как неизвестные люди, избив Касфикиса, увезли его куда-то с собой. Вылезший из-под кровати подручный, занкаясь и плача, рассказал подробности этого налета. Заканчивая повествование, он крестился дрожащей рукой, считая себя спасенным чудом от смерти. Шкаф, чемоданы и даже половицы в комнате Касфикиса были переворочены и вскрыты. В одном углу нашли закатившуюся под плинтус десятирублевую золотую монету. Это было все, что осталось от золотых и валютных фондов купца Касфикиса.

Касфикис отыскался на следующий день. Его нашли на берегу Дона с пробитой пулею головой и связанными за спиной руками.

Консул Анастасиди, облачившись в свой парадный мундир со шпагой и надев треуголку, немедленно поехал к градоначальнику. Страшная, неожиданная смерть Касфикиса взволновала греческую колонию. Сопровождаемый настоятелем церкви и подручным убитого купца, консул вошел в приемную Грекова, в ко-

торой уже толпились люди. Посреди приемной с поднятой кверху рукой стоял Греков, не то распекая кого-то, не то читая отеческое назидание. Разномастная толпа молча слушала его. В углу, прижав платок к глазам, всхлипывала бедно одетая женщина. Девочка лет четырех сидела у нее на коленях.

— Вот вы жалуетесь на спекулянтов... на купцов, на торговцев, говоря, что они ежедневно повышают цены на продукты. Знаю я все это... правильны ваши жалобы, но, господа, господа! — Греков вздохнул и выше поднял руку. — В наши трудные дни надо жить по писанию, так, как заповедано нам богом... Блаженны алчущие и жаждущие... блаженны кроткие, ибо... — палец градоначальника заходил над головой, — они насытятся. Вот как сказано господом богом. А этим стервецам купчишкам я хвосты еще подкручу, — не меняя тона, пообещал Греков, — я им, сукиным детям, покажу, как грабить честных горожан! Всё! — закончил он, поворачиваясь спиной к слушавшим его людям. По-видимому, это была делегация от обывателей Ростова. — Чего плачешь, кто обидел, рассказывай все, как родному отцу. Ну! — поворачиваясь к плакавшей женщине, сказал Греков.

Женщина вскочила с места и, опускаясь на колени перед градоначальником, всхлипывая, заговорила:

— Ваше превосходительство, будьте отцом милостивым, мужа у меня забрали... помогите... вся надежда на вас осталась.

Девочка, глядя на мать, тоже заплакала, прижимаясь всем тельцем к ней.

— Кто забрал? Кого забрали? Зачем?

— Му-у-у-жа моего... слесаря из депо... Гаврюшина Степана... вот ее отца. Явите божескую милость, ваше превосходительство, не губите девочку, не делайте сирото-о-ой! — Голос плачущей оборвался и перешел в вопль.

Греков поморщился и недовольным тоном сказал:

— А ты не вой, не вой! Здесь не базар. За что забрали-то?

— Го-во-рят, большеви-ик... — глотая слезы, сказала женщина. — Го-осподи, какой он большевик... тихий такой, смиренный, всего три месяца, как из плена германского пришел, а тут его опять...

— Тихие-то всегда самой сволочью бывают... Ну ладно, зайди через неделю, разберусь. Только, матушка, заранее говорю: если большевик или какой-нибудь там политический, не помилю, да и сама не ходи — выпорю.

— Го-осподи, — простонала женщина, — никакой он не большевик. Просто война ему вовсе надоела... С пятнадцатого года воюет, два раза на фронте, ранетый, в плену год сидел. До семьи только добрался, а тут опять его забирают...

— А-а-а! Дезертир, воевать, значит, не хочет... Ну, голубушка, тут ему сам господь бог не поможет. Во всех цивилизованных армиях насчет дезертиров один закон — пуля.

— Да он же ведь ранетый, больной...

— Ничего поделывать не могу. На то есть медицинская комиссия. За-кон! — снова поднимая над головою палец, важно произнес Греков и, останавливая взгляд на девочке, словно лишь только сейчас заметив ее, сказал: — Как человек и отец семейства, я могу сделать лишь одно: устроить тебе и дочке свидание с мужем. А ты посоветуй ему не валять дурака... пусть служит и этим оправдает себя в глазах начальства. Адъютант, — крикнул градоначальник, — устройте им свидание! Ну, а теперь иди, да воздействуй на своего дурака, а то... — и Греков выразительно провел пальцем по горлу.

Тут только он увидел стоявших в дверях консула Анастасиди, священника и сопровождавшего их грека.

— А-а-а! Здравствуйте, господа, какие ветры, какие дела занесли вас в мою обитель? — делая шаг к ним, спросил градоначальник.

— Печальные события прошлой ночи, господин полковник, — кланяясь, учтиво ответил консул.

— Этой ночи? А что случилось? Не слышал, ничего не слышал, — пропуская в кабинет гостей, сказал Греков.

— Прием закончен, можете идти, господа, — сказал адъютант, — а ты, тетя, пройди в седьмую комнату вот с этой запиской. Там сделают, что нужно, — обращаясь к женщине с ребенком, добавил он.

— Господин офицер, господин офицер, а мы час ждем!.. Господин адъютант, а как же наше дело? — окружая адъютанта, заволановались остальные просители.

— Ничего не знаю, господа. Прием окончен. Вы сами видели, что к градоначальнику прибыл представитель иностранной державы, — важно сказал адъютант и приказал казакам очистить комнату от просителей...

— Убили и ограбили! И намного? — любопытствовал градоначальник, выслушав консула.

— Точно не известно, но, во всяком случае, общая сумма похищенного велика.

— И вся в валюте?

— Преимущественно, хотя должны были быть и николаевские и керенские деньги. Я думаю, что, имея такие веские улики, как похищенные золотые вещи, наличие живого свидетеля, господин Апостолаки, видевшего и грабителей и подосланного ими кавказца, — указал консул на тревожно глянувшего на него под-

ручного, — а также и нашего почтенного настоятеля, который также мог бы узнать этого человека, я думаю, что преступление, если за него возьмутся опытные люди, сразу будет раскрыто. Как консул страны, которой нанесен урон, я настаиваю на этом. Преступники никуда не могли скрыться за одну ночь, они, по всей вероятности, еще в Ростове. Это облегчает работу следственных властей. Нужно еще учесть то обстоятельство, что все грабители — кавказцы, что тоже поможет делу розыска. Я настоятельно прошу вас, господин полковник, передать это дело опытному человеку, найти и арестовать злодеев, а все похищенное у бедного Касфикиса отобрать у них и передать в греческое королевское консульство.

— Натурально! — согласился Греков. С минуту он напряженно о чем-то думал и затем решительно сказал: — Есть, есть, господин консул, такой человек. Решительный, опытный. В таких делах, что называется, собаку съел. Это войсковой старшина Икаев. Сам горец, кристальной чистоты и честности человек. Он распутает это дело.

— Я слышал фамилию этого офицера. О ней много говорят в городе... конечно, хорошего, хорошего, н-но... — консул замаялся, — но, видите ли... Я, конечно, вполне доверяю вашему выбору, однако полковник Икаев сам горец, кавказец, у них, на Кавказе, как говорят, свои обычаи и законы, и я боюсь, что если следствие обнаружит своих... — консул поправился, — то есть горцев своего племени, то полковник Икаев, связанный обычаями и традициями и прочими условностями гор, не сможет...

— Господин консул! — вставая с места, оскорбленно воскликнул Греков. — Войсковой старшина Икаев — офицер русской армии и мой помощник. Я не знаю порядков и традиций в греческой армии, но в своей Донской я их отлично помню. Честность, прямота, самопожертвование, храбрость и вера в бога — вот что такое русский офицер. — И, продолжая стоять, он сказал: — Поручаю это дело войсковому старшине Икаеву.

Консул и остальные поднялись. Прием был окончен. Консул, прощаясь, сказал:

— Я очень уважаю доблестную Донскую армию и всех ее офицеров. Прошу передать привет полковнику Икаеву.

Вместе с молчащими спутниками он направился к выходу.

Войсковой старшина Икаев начал следствие на следующий же день. К одиннадцати часам утра он вызвал на допрос свидетелей — Апостолаки и настоятеля греческой церкви. Священник пришел один. Несмотря на розыски подручного, его в этот день нигде не нашли, не нашли его и позже. К вечеру выяснилось,

что дальновидный Апостолаки через два часа после беседы с градоначальником бежал на Кубань, где у него были родные. Опрошенный Икаевым священник был крайне молчалив. Он сразу же отказался от своих предварительных показаний, заявив, что никого не видел и никакого кавказца к Касфикису не вводил. Говоря это, он со страхом посмотрел на высокого, смуглого, черноусого офицера в черкеске, очень напоминающего ему... Настоятель даже вздрогнул, когда Икаев поглядел пристально на него.

Вернувшись домой, настоятель долго мыл руки каким-то особенным душистым мылом, потом покрестился на иконы и прошел к консулу. Сев рядом, они долго о чем-то шептались, покачивая головами.

— А что сделаешь? Ничего! — разводя руками, сказал консул и горестно поник головой.

Ночью он написал обстоятельный доклад в Грецию о загадочной смерти и ограблении купца Касфикиса.

Через день следствие было закончено. Выяснилось, что убийцей был некий грек Апостолаки, компаньон убитого, сбежавший неизвестно куда.

Вызванный вторично в комендатуру градоначальника, настоятель греческой церкви подтвердил это заключение, заявив следователю, что он и сам подозревал в убийстве Касфикиса скрывшегося от следствия Апостолаки.

— Что это, батенька мой, такое? Греки какие-то исчезают, ценности у них грабят на большие тысячи валютой, а я ничего не знаю, — подчеркивая последние слова, подозрительно спросил Греков, глядя на курившего Икаева.

— Да... что-то такое было, — спокойно сказал Икаев. — Только здесь много неточностей, уважаемый Митрофан Петрович. Во-первых, ценности — грошовые, во-вторых, валюты не «на большие тысячи», а скорее на считанные сотни. И, наконец, третье — я приготовил по этому поводу вам доклад, вот он, пожалуйста, — вынимая из кармана бешмета большой пакет с сургучной печатью, сказал Икаев.

— На сколько страниц? — кладя его в стол, спросил Греков.

— На сотню с лишним, и все на чистой английской бумаге, — пуская колечко дыма, сказал Икаев.

Греков удовлетворенно мотнул головой, вздохнул и тихо сказал:

— А все же, дорогой Казбулат Мисостович, если поступать так, как в полках есаулы, насчет безгрешных доходов, вроде

там лошадок, овса и всего прочего,— не вернее ли будет, а, как вы думаете?

Икаев с усмешкой посмотрел на него и пренебрежительно сказал:

— Кустарное дело, а не работа, это же холодные сапожники, а не умные люди. На овсе да на подметках далеко не уедешь.

— Зато спокойнее,—многозначительно сказал градоначальник.— Во-первых, здесь не казачья сотня, а целый город, и какой город — Ростов, а во-вторых, все-таки — войсковой круг, всякие там либералы Агеевы и прочая сволочь. Кругом народ... Пойдут слухи, сплетни, брехня. Дойдет и до атамана.

Он развел руками, прошелся по комнате и наставительно сказал:

— Бросьте это, дорогой мой. Оглянитесь кругом, ведь золото буквально под ногами валяется. И можно... без пролития крови.

Икаев поднял голову, следя за ним.

— Первое — игорные дома. Их и сейчас немало, разведем их больше... Ведь это же неисчерпаемый клад. Дальше. На днях неделя помощи бойцам на фронте. Пони-маете? Затем день раненого и большого донского воина... Опять деньги... А обыски, а облавы... Ведь у этих чертовых спекулянтов больше денег, чем во всей донской войсковой казне. А вы... за кинжал — да в пузо! Изобретательность, фантазию надо иметь, дорогой Казбулат Мисостович. Кстати, что это у вас, новинка? — спросил Греков, видя, как Икаев достал из кармана золотой, с матовым отливом портсигар.

— Да. Купил недавно,—небрежно ответил Икаев.

Греков осмотрел брильянтовый вензель на крышке, пощупал крупный сверкающий алмаз и, возвращая портсигар, тихо сказал:

— А еще не найдется?

Икаев вместо ответа извлек из кармана второй такой же портсигар и протянул его засмеявшемуся от удовольствия градоначальнику.

Игорные дома в Ростове были разбросаны повсюду — и на окраинах, и в Нахичевани, и около вокзала, но наиболее фешенебельные казино находились в самом центре города — на Садовой улице, Таганрогской площади и в Казанском переулке. Здесь шла самая крупная игра. Помимо общего зала и рулетки, тут были еще так называемые «золотые столы» — особые комнаты, где играли только на золото и устойчивую иностранную валюту. На эти столы не допускались николаевские, керенские, донские и прочие обесцененные бумажные деньги. Тут звенело

золото, шелестели доллары и фунты. Молодые и старые мужчины и женщины, военные и штатские с вечера и до утра заполняли игорные дома Ростова. Вокруг столов шныряли жулики, аферисты, шпики, карманники, проститутки. У стен сидели или прохаживались молчаливые люди. Это были скупщики, которым проигравшиеся игроки тут же за треть цены, скорее за бесценок, спускали золотые и серебряные вещи, кольца, брелоки, часы и портсигары. Зажав в дрожащей руке скомканные кредитки, игроки спешили к столам, в неверной, обманчивой надежде отыграться. Молчаливые господа не брезгали ничем, они брали и дамские серебряные ридикюли, и меховые палантины, и боа. Был еще один вид купли-продажи, который происходил тайком, наспех, в дальних комнатах клуба, именуемых «отдельными кабинетами». Но о них знали лишь лакеи, туда и оттуда сопровождавшие спешивших смущенных дам, да сами молчаливые господа, совершавшие за гроши свои «покупки».

Семнадцатого октября в газетах Ростова появился приказ, подписанный градоначальником:

«Азартная игра приобрела размеры недопустимые. Вновь поступают жалобы со всех сторон. Играют все. Тяжело до боли — играют офицеры!

Господа офицеры! В такое время играть в карты! Ай-яй-яй — вот все, что могу сказать по адресу таких офицеров. А теперь — клубы. Клубы давали мне обещание вести игру правильно, а ведут сплошь и рядом грабительски. Знаю хорошо психологию игрока, так как сам играл немало. Единственная мера, которая может немного помочь, — это на время прекратить игру. Мера тяжелая для клубов, но грабительским клубам поделом, а солидные не осудят. Когда выигранные деньги привыкнут к карману а проигрыш потеряет свою остроту, игра мельчает.

Итак, господа понты и банкеты, подсчитайте ваши выигрыши и проигрыши и немного успокойтесь. С 13 часов сего 17 октября какая бы то ни было азартная игра в карты, лото, кости, бильярды, рулетки и т. п. воспрещается в ростовском и нахичеванском на Дону градоначальстве. Всякие ходатайства о разрешении азартной игры мною не будут приниматься, пока не будет собрано для раненых и больных 50 тысяч пар белья (кальсон и рубаш), 3 тысячи простынь, 10 тысяч полотенец, 25 тысяч пар носков, 100 тысяч аршин марли и 200 пудов гигроскопической ваты. Когда все это будет сделано, приступим к переговорам о разрешении азарта. Если же до моего разрешения где-либо будет обнаружена азартная игра, то будет туда послан вооруженный отряд, все деньги игроков будут конфискованы. Игроки, хо-

зяева, швейцары, прислуга будут арестованы и судимы военно-полевым судом при градоначальстве. Предупреждаю, суд будет окорый и строгий. Пожаловаться не успеете!.. Председателем военно-полевого суда назначаю войскового старшину Икаева.

Правда, он не юрист, но дело понимает!»

После джентльменской беседы Икаева с антрепренером в уборную артистки Раевской ежевечерне «неизвестным лицом» посылалась большая корзина цветов и фрукты с бутылкой шампанского. Когда была занята в спектакле Раевская, в ложе градоначальника, хотя бы всего на несколько минут, обязательно появлялся войсковой старшина Икаев. Щегольски одетый, бритый, надушенный, в белоснежном бешмете и черной черкеске, сверкая серебром оружия, он пользовался успехом у женщин.

Раевской он тоже нравился. Хотя Икаев по-прежнему не был знаком с ней, но артистка отлично знала, кто посылал ей цветы и корзины с фруктами и вином. Слишком затянувшаяся игра цапсучила ей.

— Да когда же он осмелеет? — несколько раз недовольно справлялась она у Кузнецова. — Говорят, безумно храбрый, отчаянный человек, а я что-то этого не вижу. Вы так и передайте ему это, Сергей Андронович.

— Что вы, что вы, матушка, — замахал на нее антрепренер, — да ведь это же, — он оглянулся, — сущий бандит. Рожа одна чего стоит! Вечером в переулке встретишь — сам кошелек отдашь. Аб-рек, разбойник!

— Не-ет, — перебила его Раевская, — лицо у него ничего, и глаза, и усы, и осанка.

— На тебе, — возмутился Кузнецов, — «осанка»! Ведь он же грабитель с большой дороги, пол-Ростова ограбил. Все купцы от него стонут. А что он с обывателями делает, а со мной, наконец... — Голос его сорвался. — Ведь это же денной грабеж. Я мучаюсь, я страдаю, я капитал в дело вкладываю, а ему ни за что ни про что каждый вечер вынь да положи пятнадцать процентов. Что это такое, дорогая Марина Владимировна, а? По-вашему — «осанка», а по-моему — разбой.

— Все мы грабители, Сергей Андронович, и вы сами не меньший разбойник... да только у вас руки короткие. А дай вам его силу и его возможности, так вы не только что пол-Ростова, а всю Донскую область оберете.

— Что? Это что еще за речи?.. Вы с ума сошли! Да вы знаете, что я... — вскипел Кузнецов.

— Молчи, шут гороховый, а то как бы я с тобой сама чего не сделала! — с нескрываемым презрением сказала Раевская и



взяла со стола телефонную трубку.— Алло! Центральная? Барышня, соедините меня, пожалуйста, с квартирой полковника Икаева... Благодарю вас.

Кузнецов застыл около нее с открытым ртом и выпученными глазами.

— Алло! Квартира полковника Икаева? Попросите, пожалуйста, полковника к телефону... Это вы? Говорит артистка Раевская.

Она глубоко вздохнула и, чуть задерживая дыхание, сказала:

— Я жду вас. Приезжайте...— и положила трубку.

Ноги Кузнецова задрожали, пиджак как-то обвис. Антрепренер улыбнулся жалкой, кривой улыбкой.

— Ах, Марина, дорогая Мариночка... Гениальная, великая вы женщина. Вам бы армией командовать... вам бы...

— Мне бы деньги, следуемые за спектакль, получить с вас сполна. Мне бы жалованье увеличить вдвое... Мне бы бенефис второй дать... — вставая, перебила его Раевская.

— Голубушка, откуда все это? Ну, деньги я заплачу, а остальное...— развел руками Кузнецов.

— Как хотите. Потом предложите второе, да будет поздно.

Кузнецов посмотрел на злые красивые глаза женщины, на маленький властный рот, сдвинутые брови и испугался.

«Выдаст, скажет, проклятая, все этому душегубу».

— Сделано. Для вас, дорогая моя, хоть в лепешку... И бенефис, и остальное. А вы забудьте мои дурацкие слова насчет грабежа. Идет?

Он поймал руку Раевской и стал целовать ее пальцы.

Актриса отвела руку и холодно сказала:

— Поглядим. Все будет зависеть от вас, Сергей Андронович.

...Икаев приехал через двадцать минут. Сдержанный, спокойный, вежливый, он приветливо поздоровался с открывшим ему двери Кузнецовым. Пройдя в комнату, он подошел к безмолвно, пристально глядевшей на него актрисе и наклонился к ее руке.

Антрепренер отвернулся и комически закрыл руками глаза.

— Пошел вон! — с нескрываемым презрением сказала Раевская и закрыла дверь за ошеломленным антрепренером.

Вечером в театре опять шла опера «Кармен», и Раевской надо было готовиться к спектаклю.

— Итак, мы с вами договорились. Мы правимся друг другу, я ваша любовница и вместе с тем ваш компаньон во всех делах. Все, что будет связано со мной и вами, — я говорю о коммерческих делах, — все даст мне известный доход. Так?

Икаев молча кивнул головой.

— Вас, вероятно, удивляет такой меркантильный подход в деле любви? — продолжала Раевская.

— Нет! Я люблю умных людей. С ними легче бывает сговориться.

— Вот и хорошо. Вы мне правитесь, и от вас лично, как моего любовника, я ничего не хочу и не приму, конечно исключая цветов, конфет и прочих безделушек. Но от вас, человека, имеющего огромную в этом городе власть, делающего большие деньги... — она медленно подчеркнула, — нуждающегося в верном друге и помощнике...

— Вот именно, — перебил ее и засмеялся Икаев.

— ...я возьму все, что следует за помощь. Куртаж. За союз. Я хочу быть богатой. Мне надоело зависеть от антрепренеров, случайных встреч, любовников, газет. Эти смутные времена протянутся еще три, пять месяцев, ну, пусть год... Потом придет настоящая власть и твердый порядок. Может быть, это будет царь, возможно, что большевики, — словом, тогда уж таких денег ни вы, ни я никогда не добудем. Значит, их надо делать сейчас. Цинично? Да? — подойдя вплотную к Икаеву, спросила Раевская.

— Нисколько. Правильно и умно. Вы тот друг и та женщина, которой только недоставало мне здесь, — отбрасывая папиросу, сказал Икаев и крепко прижал к себе гладившую его виски женщину.

Вечером в антракте в ложу к Икаеву вошел Кузнецов. Он не знал, как ему следует теперь держаться с Икаевым. На всякий случай он двусмысленно шепнул:

— Уверю вас, как джентльмен, был нем яко рыба.

Икаев помолчал, покрутил ус и затем сказал:

— Верю. Спасибо. Из тех пятнадцати процентов, что вы списывали ежевечерне, прошу давать только десять процентов... Остальные пять процентов...

Сердце у Кузнецова радостно екнуло, он улыбнулся.

— ...прошу вас отдавать актрисе Марине Владимировне Раевской. Понятно? — Икаев прищурился.

Кузнецов подавил вздох и по-солдатски ответил:

— Так точно!

Митрофан Петрович Греков обходил свои владения. Свой обход он начал с утра, посетив для начала военный собор, где шла утренняя. Градоначальник, сопровождаемый двумя приставами, адъютантом и пешими казаками, протиснулся в толпу, купил за полтинник свечу и стал разглядывать у стены иконы, отыскивая изображение своего святого — Митрофания Воронежского. Про-

двигаясь вдоль стены в поисках святого тезки, градоначальник удалялся все дальше, а за ним, придерживая в одной руке шашки, а в другой зажав шапки, молча двигались провожающие его пристава и казаки. Толпа молящихся поспешно раздвигалась, пропуская вперед градоначальника со свечкой в руке и с устремленным на иконы взглядом.

Священник, заметивший важного посетителя, стал еще громче подавать возгласы, а хор певчих запел елико возможно красивей. Но градоначальник ничего этого не замечал. На его хмурым, вытянувшимся лице росла досада. Он сердито остановился и почти в упор стал разглядывать в приделе иконостас. Потом резко повернулся и быстрыми шагами, разрезая пополам толпу, пошел к выходу. У самых дверей Греков внезапно остановился и, сунув через плечо свечу спешившим за ним конвойным казакам, сердито сказал:

— На, Антонов, поставь там кому хочешь,— и уже на паперти проговорил: — Сукин сын поп понаставил там всяких цыганских святых, а святого Митрофания не желает! А? Вызвать его, негодяя, в градоначальство! — И он быстро сбежал по ступенькам храма.

...Хорошее настроение духа вернулось к нему только на базаре.

— Чем торгуешь, тетя, а тетя? — поинтересовался он, подходя к толстой, румяной казачке средних лет, сидевшей на возу.

— Усем, ваше высокоблагородие. Чем хотите, все найдется. Сало, масло, сухого вишеня, хлеба белого, опять же свинины своей, кабанчика надесь закололи... игриво заговорила казачка, стреляя глазами.

— Ишь ты какая острая! Ты что, вдова или жалмерка? — подходя ближе и щекоча ей бок своей палкой, спросил Греков.

— Никак нет, замужняя, вон и муж за возом хоронится,— засмеялась казачка, указывая пальцем на стоявшего в стороне, смущенно улыбавшегося пожилого казака. — Одначе я и с ним все равно что вдовая,— подмигивая Грекову нагловатыми красивыми глазами, сказала баба.

Все кругом засмеялись, а казак только махнул рукой и отвернулся.

— А ты, я вижу, бой-баба... настоящая донская... Какой станицы? — обращаясь к пожилому казаку, спросил Греков.

— Гундоровской, ваше высокоблагородие. Вы, должно, меня не признали, а ить я с вами в двенадцатом Донском служил, когда вы еще в третьей сотне подьесаулом были. Яицков мое фамилие, пятой сотни есаул Попов командиром были...

— А-а-а! Вот как, сослуживцы, значит? Ну, тогда здравствуй, здравствуй... Давай, по нашему донскому обычаю, почеломкаемся.

И Греков на виду у всех, посреди возов, толпы и застывших по бокам приставов, обнял и трижды поцеловал снявшего поспешно с головы фуражку казака.

— А теперь бы и с тобой следовало, красавица, раз ты являешься женой моего старого однополчанина,— кивая казачке, сказал Греков.

Баба пристально оглядела его и, махнув презрительно рукой, равнодушно сказала:

— Ни! Не стоит, ваше благородие, с вами я тоже, что и с им,— указала она на своего мужа,— опять вдовой буду.

Окружавшие, не ожидавшие такого финала, расхохотались. Даже адъютант Грекова, заскочив за воз и присев там, давился смехом. Закусив губы, казак, сослуживец полковника, молча показал жене кулак и спрятался за других.

— Ню-но-но... ты смотри, не очень! — погрозил казачке градоначальник и, двигаясь дальше, сказал: — Вот что значит наша... донская.

Обойдя базар, они вышли к интендантству и, переходя через улочку, были остановлены двумя большими, груженными вещами фурами. Сытые, здоровые кони едва не налетели на градоначальника, еле успевшего отскочить в сторону.

— Ах ты сукин сын, задавить меня вздумал!.. — закричал Греков на человека в коричневом пальто, правившего лошадьми.

Рядом с ним на фуре сидел круглолицый, белобровый парень в полувоенном костюме, в серой шинели и немецкой бескозырке. Лицо парня было сонно, равнодушно, зато человек в штатском пальто обиделся и, побагровев, закричал:

— Ты сам есть сюкин сын... свиней!

— Как... как... как? — даже отступая назад от удивления, переспросил Греков. — Это я-то «свиней»?

— Ти, да... — подтвердил человек в штатском.

— Взять его! — сказал Греков. — Отвести в градоначальство, там мы живо выясним, кто из нас сукин сын. А ну, Антонов, Карпенко, берите его за жабры...

Но человек презрительно взглянул на него с козел и спокойно сказал:

— Нет... ви не может мене взять.

— Не могу? — проницески протянул Греков. — Это почему же? Что ты такая за цаца?

— Я не есть цаца. Я не есть русски поддани, я Ганс Кемпе, лакэй герр полковник Кресс фон Крессенштейн, — поджимая гу-

бы и в свою очередь вызывающе глядя на Грекова, сказал человек в штатском.

— Кого? Когда? — переспросил градоначальник.

— Германски полковник Крес фон Крессенштейн. Зо!

— Это начальник штаба той дивизии, что сегодня в пять часов прибывает в Ростов, — почтительно сказал адъютант.

— А-а-а! А это что, его вещи? — неизвестно для чего спросил Греков.

— Да! Его вещ.

— Проезжай, будь ты проклят! — махнул рукой градоначальник, переходя улочку и слыша позади смех солдата.

Со стороны Таганрога шел пассажирский поезд с прицепленными к нему товарными вагонами. Из полуоткрытых дверей смотрели немецкие солдаты в мышиного цвета шинелях и касках с ярко начищенными медными императорскими орлами. Это ехал штаб семнадцатой пехотной дивизии. Полубатальон баварской пехоты с десятью пулеметами и тремя пушками, поставленными на платформы, охранял его.

Начальник штаба дивизии полковник Кресс фон Крессенштейн сидел у окна мягкого вагона и, покуривая папирсой, молча слушал своего комдива генерала фон Отта. Генерал был весь напичкан воспоминаниями о колониальной германской Африке, где он провел почти половину своей военной службы. Призванный из запаса, он только недавно получил наконец вторую очередную пехотную дивизию и очень был недоволен тем, что его направили на восточный, русский фронт.

— Со стороны главного штаба это просто свинство — посылать сюда, против жалких, несчастных мужиков, вооруженных черт знает чем! И для чего? Зачем следует держать в России так много войск?

— Надо бы побольше, ваше превосходительство! — сказал полковник.

На остановке полковник распорядился уведомить Ростов о том, что немецкое командование дивизии через два часа будет в городе.

Генерал уже дремал на своей койке, прикрыв лицо цветным шелковым платком. В соседнем купе молодые офицеры что-то вполголоса рассказывали друг другу, изредка приглушенно смеясь. Из теплушек доносилась песня солдат. Полковник прислушался. Это была старая военная песня «Анна-Мари», которую он сам не раз распевал юнкером мюнхенского пехотного училища.

На девятнадцатой версте от станции поезд сильно трянуло.

Мостик, на который вкатились колеса паровоза, рухнул, из-под взлетевших камней и обломков медленно поднялся к небу крутящийся, дымный, весь в пламени, вихрь. На упавший паровоз со звоном и лязгом налетали и валились вагоны. Состав оборвался. Две теплушки с солдатами скатились с насыпи вниз. Три передних пассажирских вагона были смяты и расщеплены силой налетевших сзади теплушек. Пушки, выброшенные толчком с платформы, валялись под насыпью. Из-под груды обломков неслись вопли, стоны, хрипы людей. Разлившийся мазут горел. Вдоль путей без оружия, что-то крича, бежали охваченные паникой солдаты. Несколько человек, сохранившие спокойствие, вытаскивали из-под обломков окровавленных, стонавших людей. Лейтенант с рассеченной щекой и сочившейся по лицу кровью бегал возле опрокинувшегося, полураздавленного штабного вагона и кричал: — Сюда... сюда... давай носилки!

Уже к четырем часам дня вокзальная площадь города Ростова была оцеплена полицией. Вдоль улицы, ведущей к городу, стояли юнкерские роты и группы горожан. В половине пятого на вокзал прибыли начальник штаба Донской армии генерал Богачевский, представлявший собою особу Краснова, генералы Семилетов и Постовский, градоначальник Греков, полицмейстер и другие. На перроне выстроились караулы от пятьдесят восьмого Берлинского полка и казачьего атаманского полка. Над немцами и казаками свисали кайзеровский флаг и русский трехцветный. Оркестры — казачий, немецкий и юнкерского училища — стояли недалеко от того места, где должен был остановиться поезд. Дамы в мехах, с букетами в руках, мужчины в котелках и цилиндрах, пожилые коммерсанты и два попа с нагрудными крестами отдельной кучкой стояли у входа в буфет... Это была делегация от «русского общества».

Из окон телеграфной на пути смотрел пулемет. Два других были поставлены возле ремонтных мастерских. Рота юнкеров дежурила около депо, другая, оставив ружья, отдыхала на площади. Полицейские и казачьи патрули беспрестанно проезжали по привокзальным улицам.

Посреди перрона в новой серо-стальной шинели, бритый, подтянутый, с моноклем в глазу, в белоснежных перчатках, окруженный донскими генералами, стоял германский майор Фрейтенберг, представлявший перед донским атаманом особу Вильгельма II. Он в пол-уха слушал почтительные речи донских чинов, изредка роняя ответные короткие слова.

Другой офицер, майор Бенкенгаузен, быстрыми шагами прошелся по перрону, оглядывая караулы и делегацию от «общест-

ва». Последняя, как видно, мало нравилась ему. Он скептически оглядел застывших в умильных позах «представителей общест-венности» и буркнул заглядывавшему ему в глаза градоначаль-нику:

— Что это есть? Общественный народ? Какой скушный... На-до веселить глаза, веселить виды. Да!

Греков подозвал полицмейстера.

— Скажи этим представителям,— сказал он,— чтобы весе-лее, веселее были, что они там за панихиду на мордах развели! Понял?

— Так точно, Митрофан Петрович. Сделаем, будьте спо-койны.

— С вами будешь спокоен, как же! Да предупреди этих са-мых народных делегатов, что ежели в ком не замечу радости и энтузиазма, пошлю к Икаеву повеселиться. Понял?

— Так точно, Митрофан Петрович.

— То-то! — И градоначальник отошел от полицмейстера, бро-сившегося стремглав выполнять поручение начальства.

До прихода поезда оставалось еще около двадцати минут, когда из телеграфной поспешно вышел бледный казачий офицер. Он неуверенно остановился около градоначальника и срываю-щимся шепотом сказал:

— Несчастье, господин полковник... Крушение со взрывом! Много убитых. Со станции Казанка срочно требуют поезд под раненых.

Лицо Грекова стало бледным.

— Ка-ак! Как? — гаркнул он и, сняв фуражку, обтер вспотев-ший лоб, потом сорвался с места и мелкой рысцой побежал в те-леграфную. — За мной! Тс-с... никому ни слова! — тихо приказал он, увлекая за собой офицера.

На его исчезновение никто не обратил внимания, все хорошо знали причуды и странности градоначальника. Спустя минуты две Греков снова вышел на перрон, подошел к Фрейтенбергу, смотревшему на часы, и, прерывая беседу немецких офицеров, вполголоса сказал:

— Несчастье... поезд с немцами,— он поправился: — с вой-сками Германской империи, проходя виадук тридцать седьмой, свалился.

Фрейтенберг поднял на него круглые, холодные глаза.

— А штаб? А генерал? А полковник Кресс фон Крессен-штейн? — дрогнувшим голосом спросил он.

— Не знаю. Пожалуйте в аппаратную,— предложил Греков.

Они поспешно прошли в телеграфную. На перроне остались растерянные делегаты и дамы, не знавшие, куда теперь девать

самих себя и букеты цветов. Понимая, что случилось какое-то происшествие, они в тревоге озирались по сторонам, испуганно переговаривались.

Через несколько минут показалась группа донских офицеров. Они шли медленно, останавливаясь на ходу, оживленно о чем-то говоря и жестикулируя. По перрону, поддерживая шашку рукой, промчался жандарм. Со стороны депо прогудел паровоз. Начальник станции, семеня ногами, выбежал из дежурки и, сопровождая двумя офицерами, исчез за углом. Стуча сапогами, вошла пешая полусотня донцов. Караулы из немцев и атаманцев, видя тревожную суету, потеряли свой подчеркнuto парадный вид. Переступая с ноги на ногу, сломав линию, составив винтовки, оборачиваясь по сторонам и уже не обращая внимания на пронесившихся мимо них офицеров, они с жадностью прислушивались и присматривались ко всему. Шепотки, слухи, тревога, недоумевающие вопросы охватили и толпу, ожидавшую на площади.

Из телеграфной вышел Греков. К нему метнулись дамы и один из купцов.

— Господин полковник, позвольте узнать, — что же нам делать, оставаться или идти?

— Идти... Поезд запаздывает на... — градоначальник подумал и, махнув рукой, сказал: — на много часов. Отправляйтесь, господа, домой.

Разыскав взглядом в толпе офицеров своего адъютанта, он пальцем поманил его к себе и, отведя в сторону, шепнул.

— Мы сейчас едем на место происшествия. Генерал фон Отт и пять офицеров убиты... а также и полковник Крессенштейн.

Он горестно вздохнул, сняв фуражку, перекрестился и, отведя еще дальше в сторону адъютанта, распорядился:

— Ты, голубчик, останься здесь. К моему приезду выясни, где расположился лакей... тот самый... покойника Крессенштейна... Узнай адрес.

— Так точно. Будет сделано, Митрофан Петрович.

— Вот теперь мы и узнаем, кто из нас «свиней», — сказал градоначальник, потирая руки.

К перрону подходил экстренный поезд с бронированной артоплощадкой и несколькими классными вагонами. На паровозе стоял пулемет, виднелись чубатые головы казаков. Через пять минут поезд был за Ростовом.

Без песен и музыки, топая сапогами, возвращались в казармы юнкерские роты и немецкий отряд.

По городу побежала, вырастая, как снежный ком, весть о крушении немецкого эшелона.



Раевская по-прежнему выступала в театре, пела на концертах и благотворительных вечерах, но весь город знал о том, что певица была любовницей Икаева. На Спасской улице, где проживала Раевская, все чаще стали показываться люди из торгового и финансового мира Ростова. Рыбопромышленники, спекулянты, мукомолы, хозяева пристаней и ссыпок, степные помещики и коннозаводчики, неопределенные личности с золотыми цепочками, в перстнях, отставные генералы, безработные вельможи, сбегавшие сюда из Петрограда и Москвы, и еще многие другие принялись посещать квартиру актрисы — «салон», как кто-то полуиронически назвал ее. Но это не был салон. Это была деловая контора акционерного общества «Раевская, Икаев и К<sup>о</sup>», в которой продавалось все, что можно было продать и купить в пределах градоначальства. Пропуска, разрешения на ввоз и вывоз, визы на выезд и въезд, перемещения по службе, повышения, решения военно-полевого суда, получение вагонов и военной охраны, освобождение от мобилизации, открытие новых магазинов и ресторанов, разрешения на балы — словом, все!

— Казбулат Мисостович, у меня к вам есть просьбишка,— беря за газырь Икаева, сказал Греков.

— К вашим услугам, Митрофан Петрович. Все, что прикажете.

— Дело... э-э-э...— отводя глаза в сторону, замялся Греков,— в следующем. Проучить надо одного хама, осмелившегося не далее как позавчера оскорбить меня гнусными... самыми поносными словами. Будь это офицер или, скажем, дворянин, дело проще простого: вызвать на дуэль — и бац ему пулю в харю. А тут другое...

— Большевик? — спросил Икаев.

— Что вы? Разве ж я в таких случаях затруднялся бы! Не-ет, тут случай посложнее...— и градоначальник рассказал о стычке с немецким лакеем полковника Кресс фон Крессенштейна.— Так вот, голубчик, прямо теряюсь я, как быть. Оставить так — не могу, а что другое, понимаете...нельзя. Шум выйдет, все-таки германский подданный.

Икаев перебил его:

— Сегодня же ликвидирую его.

— К-каким образом? — тревожно спросил Греков.— Прошу помнить, что атаману может не понравиться это дело.

— Пс! — пренебрежительно свистнул Икаев.— Вы как-то упрекнули меня в чрезмерной любви к кинжалу, а ведь напрасно. Есть дела, которые сами лезут на кинжал. Словом, будьте покойны. Где ваш немец? Его адрес?

Греков вытащил из кармана бумажку и поспешно передал ее Икаеву.

— Их там двое. Денщик и лакей.

Икаев в ответ весело взглянул на Грекова и улыбнулся такой откровенной улыбкой, что полковнику стало страшно.

Через день газеты сообщили перепуганным обывателям Ростова о «зверском убийстве двух германских подданных», совершенном подпольным комитетом большевиков на квартире трагически погибшего полковника фон Крессенштейна. «Две неповинные жертвы террористического акта озверелых большевиков,— писала одна из газет,— найдены плавающими в крови, с изрубленными головами и обезображенными лицами. На дверях кабинета покойного полковника убийцами была оставлена записка следующего содержания: «Смерть тиранам, смерть германским империалистам! Так будет поступлено с каждым, кто осмелится помогать донскому казачеству в его борьбе с Совдепами и рабочим классом. Трепещите, буржуи! Да здравствует мировая советская власть!» Трагизм убийства этих несчастных, ни в чем не повинных людей усугубляется еще и тем, что оба должны были через день возвращаться в Германию (один из них — личный лакей полковника Ганс Кемпе, вольнонаемный человек, не военный, другой — денщик) — должны были сопровождать гроб с телом покойного. Все имущество покойного разграблено, квартира перерыта, ценные вещи исчезли».

В другой газете, передававшей ту же сенсацию, статья горько и патетически заканчивалась вопросом: «Видя совершенное возле нас злодеяние, позволительно будет спросить нашу городскую власть — доколе будут продолжаться наглые издевательства и террор большевистских убийц над честными людьми? Мы просим, мы взываем, мы, наконец, требуем от имени всей общественности самыми жестокими мерами отсечь голову подпольной гидре большевизма, угрожающей порядку...»

Издатель газеты, обеспокоенный резкой концовкой, позвонил Грекову, прося принять его, чтобы объяснить причины, заставившие редакцию напечатать статью. Он был приятно удивлен, услышав от градоначальника поразившие его слова:

— Правильно сделали! Золотые слова написали. Даже мало, еще резче следовало бы. Спасибо вам, родной, а газетчику, написавшему правдивую статью, скажите, что пусть в любое время явится ко мне, я его обниму и пожму его честную руку. Кстати, можете сообщить в газете, что розыски убийц уже увенчались успехом.

Вечером этого же дня войсковым старшиною Икаевым в заводском поселке было арестовано пять мужчин и одна женщина по обвинению в большевизме и убийстве немецких солдат. Через день было задержано еще трое рабочих, на квартирах у которых убои была найдена часть вещей полковника фон Кресштейна.

— Вы гений! Вы Наполеон! Позвольте вас обнять и поцеловать,— сказал Греков, когда Икаев доложил ему, что все обвиняемые «сознались» в предъявленном им обвинении.— Негодяев расстрелять, а копию следственного дела с приговором и актом исполнения отослать германской военной миссии, лично майору фон Бенкенгаузену...— сказал Греков и, отходя шага на два назад, восхищенно оглядел спокойно курившего Икаева и снова сказал: — Наполеон!

— Господин полковник, звонят из атаманской канцелярии действительный статский советник барон Гревс,— доложил адъютант.

— Что ему надо? — буркнул Греков.

В душе он недолюбливал барона, занимавшего место начальника походной канцелярии атамана. Как всех штафинок и штрюцких, Греков и барона, видного петербургского чиновника, сбежавшего от большевиков на Дон, считал неполноценным человеком. Однако, зная о связи Гревса с немцами, его вес при Краснове и намечавшееся назначение на пост уполномоченного по иностранным делам, Греков делал умильное лицо при встречах с Гревсом.

— Градоначальник Греков слушает,— беря трубку, важно сказал он, но сейчас же заулыбался и заговорил ласково-престечским голосом: — Это вы сами, барон? Господи, а мне сказали — из канцелярии... Чему обязан приятным разговором?.. Как, как? Избили вашего помощника? Ай-яй-яй... И крепко? — поинтересовался Греков, но, спохватившись, спросил: — Кто же эти мерзавцы?.. Мои? — Голос его понизился.— А-а, нет, нет, дорогой барон, это, наверно, головорезы Икаева, я и сам просто не знаю, что мне с ними делать... Минуточку, прошу одну только минутку,— оглянувшись по сторонам и прикрывая трубку ладонью, тихо пробормотал он.— Я сейчас самолично приеду к вам... Нет, нет... что вы, какое там беспокойство, разве можно... оставить такое дело! Через двадцать минут буду у вас. У меня дело к его

превосходительству, так что все равно надо быть во дворце... До приятного свидания!

Повесив трубку, он помолчал, пожевал ус, потом так рывкнул через плотно закрытые двери, что дремавший у входа часовой чуть не выронил из рук обнаженную шашку, а адъютант, переглядывавшийся с одной из посетительниц, вскочил с места и бросился в кабинет.

— Донесения из полиции разбирали? — свирепо спросил Греков.

— Так точно... Все в порядке. Четыре кражи, два ограбления, одно убийство, пожар, но вовремя затушили...— начал было докладывать адъютант.

— К черту пожар, какое там убийство, когда из атаманской канцелярии жалобы на нас сыплются... Помощнику барона Игнатию Петровичу Татищеву где-то морду набили, а вы говорите — «в порядке»,— передразнил обозленно Греков.

— Не могу знать... Сейчас прикажу выяснить,— засуетился сотник.

— Через час вернусь. Чтобы на столе было подробное донесение! — подтягивая штаны и вглядываясь в зеркало, приказал градоначальник.

Закинув назад голову, чуть кося глазами на вскочивших с места при его появлении посетителей, он молодцевато прошел через приемную и грузно уселся в затрепавшую под ним пролетку.

— В главное управление! — приказал он.

Барон Гревс, высокий, поджарый, типичный петербургский чиновник, успешно делавший при царе дипломатическую карьеру и неожиданно выброшенный революцией на Дон, был желчным и придирчивым человеком. Он сочинял необычайно хитроумную и сложную бумагу, которую по приказу Краснова, должен был послать генералам Эрдели и Денижину на Кубань. Оба эти генерала были не прочь объединиться с донцами против большевиков, но идти в подчинение Краснову не желали. Атаман, не терпевший конкурентов, не хотел ни ссориться, ни мириться с «добровольцами». Барон составлял как раз эту самую бумагу, когда ему доложили о приезде Грекова.

Пряча свое недовольство в кислой улыбке, Гревс почтительно встал, делая движение навстречу градоначальнику. Когда они уселись друг против друга, Греков осторожно спросил:

— И сильно изувечили уважаемого Игнатия Петровича?

— Дали две пощечины и вытолкали под зад из кабинета,— меланхолично ответил барон.

— «Под зад»...— повторил Греков.— «Киселя» дали... И кто? Архаровцы Икаева? — снова любопытствовал он.

— Нет. Офицеры вашего гарнизона. Какие-то безусые прапорщики и поручики. Да еще облили соусом весь костюм,— с педантичной точностью рассказывал Гревс.

— Распустились, сукины сыны!.. О-фи-це-е-ры!! Шантрапа сущая... Воевать не хотят, с фронта бегут, а по кабакам скандальничают... Весь вред от них произошел, любезный барон.

— От кого? — не понял Гревс.

— От прапорщиков... Ведь это они, проклятые, революцию устроили, погубили Россию... всякие там Керенские да Дзевалтовские...

— Керенский не прапорщик... адвокат,— поправил его Гревс.

— Один черт... Знаете старую поговорку: курица не птица, баба не человек, а прапорщик не офицер. Вот так оно и случилось. Адвокатишки из прапорщиков и продали Россию...

— Однако бог с ними, уважаемый Митрофан Петрович. А вот как же быть с печальным инцидентом? — осторожно возвратился к теме Гревс.

— Выясню, сегодня же все выясню, накажу негодяев, по этапу на фронт отправлю, а Игнатию Петровичу сам лично принесу извинения за подобное хамство... И где же это произошло? Неужели в присутственном месте?

Гревс глянул на Грекова и неопределенно кашлянул. Градоначальник сразу же заметил неуверенное движение собеседника и с безмятежно-невинным лицом елейным голоском продолжал:

— Где-нибудь в ресторане?

Барон взглянул в ясные, детски-спокойные глаза Грекова. «Старый фигляр, все уже, конечно, знает!» — подумал он и не спеша ответил:

— В публичном доме, где-то возле Садовой.

— В публичном? — взвизгнул Греков и по его лицу и тону Гревс понял, что полковник действительно ничего не знал.— Повеселился, значит...— не сдерживая улыбки, ухмыльнулся Греков.— А может, по делу зашел...

— Одним словом, скандал,— недовольно перебил Гревс.— По делу или так зашел — дело ведь не в этом. Вы же знаете, что человек он солидный, мой помощник... У него молодая жена... знакомые... Словом, вы сами отлично понимаете, Митрофан Петрович, что подобная история не украшает, а под-ры-вает доброе имя и положение. Может разойтись по городу... сплетни и прочее...

— Понимаю, все понимаю, дорогой барон. Меры будут при-

няты. Молчание, тайна и так далее... Будьте спокойны, и атаман даже не узнает.

— Я именно сам хотел просить вас об этом,— сказал Гревс.— Его превосходительство и без того занят сложными государственными делами...

— Понимаю, понимаю! — прощаясь с Гревсом, уверил его градоначальник.

В то время как эта беседа велась в канцелярии атаманского дворца в Ростове, в другой половине здания, там, где были расположены апартаменты атамана, происходила другая сцена.

К генеральше Красновой, старой «смолянке», когда-то с шифром окончившей Смольный институт, приехала с дружеским и вместе с тем деловым визитом ее старая подруга, вдова князя Оболенского Мария Илларионовна, всего десять дней назад прибывшая из Екатеринодара и благодаря старой дружбе с мадам Красновой назначенная директрисой донского казачьего женского института, носившего пышное наименование «Заведение святой Нины для благородных девиц».

Дамы пили кофе, заедая его чудесными сухариками и какой-то особенной «стамбульской» халвой. Поговорив о прошлой петербургской жизни, вспомнив Смольный, старых петербургских подруг, великосветские балы и выезды, посетовав на то, как ужасно переменялось все в жизни, дамы снова заговорили о различных пустяках, и наконец, уже прощаясь с атаманшей, княгиня, натягивая перчатки, сказала:

— Ma chère<sup>27</sup>, ведь я к тебе не только по влечению сердца, но и по делу.

— Рада, Мари, услужить. Говори, что нужно.

— Не мне, Софи, а институту... Дело в том, что мои девочки... Да, кстати, entre nous ma chère<sup>28</sup>, какие все-таки в большинстве они дикарики... ни понятия, ни такта, ни шарма... Я уж и не говорю о французском языке и манерах... А помнишь, в наше время...

И дамы, уже стоя, еще минут пятнадцать продолжали вспоминать, как у них было в Смольном, какие прекрасные манеры, какое исключительное умение держать себя на балах и в обществе прививали там. Поохав и посетовав, они снова присели на диван, и княгиня продолжала:

— Я хочу в четверг отправить в театр пепиньерок и старшие

<sup>27</sup> Моя дорогая (франц.).

<sup>28</sup> Между нами, дорогая (франц.).

классы. Конечно, я могла бы послать их в экипажах, но девочки так мало бывают в городе, а им необходим воздух, движение...

— Конечно, конечно, моя дорогая,— охотно согласилась атаманша, сиюсь понять, о чем ее станет просить Оболенская.

— Но эта хорошая затея может оказаться неосуществимой, и только потому, что в городе, говорят, развелось много хулиганов, апашей... в типично хамском современном стиле...

— О да, о да! — закивала головой Краснова.— Я знаю, но власть борется с этим.

— Говорят, были случаи, когда они приставали к воспитанницам, обливали их словесной грязью, бранились. Ты понимаешь, Софи, о чем я говорю?.. Как было прежде, меня не касается, но сейчас я хочу оградить моих девочек от подобной мерзости!..

— Ну конечно! — согласилась атаманша.

— И я хотела попросить тебя распорядиться дать мне наряд полиции, который проводил бы, ну, конечно, не за спиной, а в некотором отдалении от барышень, довел бы их до театра, дождался окончания спектакля, а затем проводил бы обратно в институт...

— Чудесная мысль! Совершенно правильная, именно так это и следует сделать,— одобрила Краснова.— Умница ты, Мариша, сразу видно в тебе старую смолянку, не то что эта сухопарая Кантакузен.

Дамы расцеловались.

— Значит, я могу быть спокойна? Ты не забудешь моей просьбы? — спросила Оболенская.

— Ну что ты! Я даже сделаю лучше. Об этом я поговорю не с Пьером, а с Грековым. Ты слышала, наверно, об этом чудеке? — осведомилась Краснова.

— Ах, да, чуточку, но самое хорошее и забавное. Расскажи мне об этом боевом рубаке,— попросила княгиня.

И дамы снова сели у столика с кофе, и разговор их продолжился.

— Забавный, но чистый, типично русский, староказачьей складки человек. Прямой, решительный, верный... притом любит нас с Петром бесконечно! Голову отдаст за своего атамана!.. А как его боится ростовский обыватель... Если бы не Греков, они давно бы подняли здесь бунты и восстания, но он держит их в кулаке,— атаманша сжала в кулак свою ручку.— И какой неподкупный! Ты представляешь, почти голодный всегда. К нам когда придет, так только и поест как следует. Я всегда стараюсь накормить его побольше... И старик хоть стесняется, но ест всегда охотно. Сразу видно, что голодный...

— Mon Dieu<sup>29</sup>. Есть же еще порядочные люди,—с восторженным удивлением проговорила Оболенская.

— Сохранились! Дома, говорят, на железной койке спит, шинелью покрывается. А ведь большевики ему тридцать миллионов золотом предлагали, чтобы он Ростов им сдал и не помешал восстание устроить.

— Святой человек,—перекрестилась княгиня.— Вот они, такие люди, и спасут Россию. Знаешь что, Софи, я сама поеду познакомиться с ним.

— Зачем это делать, Мари? Я позвоню старику и попрошу дать полицейских.

— Нет, нет, дорогая. Я просто с благоговением приеду к нему... Я хочу познакомиться с обломком прошлого, ведь это же кусок старой России... Нет, дорогая, не лишай меня этого удовольствия. Я завтра же отправлюсь к нему, а ты лишь предупреди его, этого святого старика, о моем визите.

— Хорошо, Мариша. Ты просто будешь очажувана им и его приемом.

И дамы, в последний раз расцеловавшись, расстались на этот раз уже на самом деле.

«Хорош гусь, граф, столичная штучка, а в веселом доме заработал себе по морде,—возвращаясь назад, подумал Греков.— Во всяком случае, эти безобразия надо прекратить».

— Ну как, получили донесение? — входя в кабинет, спросил он адъютанта.

— Так точно. Войсковой старшина Икаев лично доложит о происшедшем... Он у вас в кабинете,—предупредительно открывая дверь, сказал сотник.

Икаев, держа в руках потухшую папиросу, с увлечением читал какую-то книгу. Увидя входящего градоначальника, он поднялся.

— Привет, дорогой Казбулат Мисостович! Как провели ночку, какие новости? — усаживаясь в кресло, спросил Греков.

— Все спокойно, уважаемый Митрофан Петрович.

— А я вот считаю, что не все спокойно. У нас в градоначальстве почтенных лиц по мордасам быют... Где уж тут до покоя!

— Слышал, слышал, Митрофан Петрович. Вы это про графа Татищева говорите?

— Про него самого,—мотнул головой Греков.

— Ну какой же он «почтенный»? Почтенные лица по веселым домам не шляются... Жаль только, что мало наложили.

---

<sup>29</sup> Боже мой! (франц.).



— Что вы такое, помилуй бог, говорите! Граф, аристократ, принят в высшем обществе...

— Все это было, а теперь он беженец, никчемное существо, альфонс и лодырь... И если бы не атаман, который знал его еще по Петербургу, и не его графский титул, он бы по пивнушкам собирался да за рюмку водки французские шансонетки пел.

— А ведь это верно,— вдруг согласился Греков.— А кто ему морду набил?.. Все же такое дело нельзя оставить без внимания... Говорят, прапорщики какие-то. Для острастки другим надо выслать их на фронт.

— Можно, конечно, только вряд ли вы это сделаете,— зажигая потухшую папироску, сказал Икаев.

— Почему не сделаю? Обязательно сделаю,— разозлился Греков.— Вам известно, кто эти прохвосты?

— Известно... Один — ваш племянник, хорунжий Греков, а...

— Сергей! — открыв от изумления рот, сказал Греков.

— Так точно! А другой — племянник Софьи Африкановны,— ласково продолжал Икаев.

— Атаманши? — еле слышным голосом, спросил Греков.

— Да... прапорщик Секретов, сын сестры атаманши.

Наступило молчание. Затем Греков сердито сказал:

— Понаедет к нам на Дон всякая шушера и хулиганит здесь, сволочь! Так ему и надо, дерьмо собачье... И здорово надавали? — осведомился он.

— Не очень... Раза два по шее да раз по лицу смазали.

— Маловато... неполная порция,— с сожалением сказал градоначальник.— А за что побили?

— За что бьют в подобных заведениях? За девочек! — пояснил Икаев.

Греков подмигнул ему и залился мелким смешком.

— Все же я думаю принять некоторые меры. Во-первых, оштрафовать владелицу этого дома — надо приструнить этих сводниц — тысяч этак на десять...

Икаев молча кивнул головой.

— ...за безобразия в се вертепе. Их, подлюг, давно следует прибрать к рукам. А затем вызову господ офицеров и помирю их с этим битым графом. А если он усрется, напугаю, что доложу атаману и сообщу его молоденькой жене. Как вы считаете, дорогой Казбулат Мисостович?

— Недурно,— одобрил, вставая, Икаев.— Если я вам больше не нужен, то извините, надо кое-куда съездить.

И он вышел из кабинета. Греков несколько минут посидел в раздумье, потом позвал адъютанта.

— Вызови, голубчик, на завтра, часов так на двенадцать,

хозяйку этого милого заведения. Я пок-кажу этой чертовой кукле!

— Слушаюсь! — сказал адъютант.

Греков вытер платком лысину, вздохнул и вдруг расхохотался.

— Наш Сережка — и вдруг графьев по щекам лупцует... Ну и времена пришли, прости господи...

Адъютант осторожно прикрыл дверь, за которой все еще смеялся градоначальник.

Ее превосходительство генеральша Краснова, занятая мыслями о предстоящем грандиозном благотворительном бале-концерте в пользу «недостаточных гимназистов» города Ростова, забыла в тот же день позвонить градоначальнику.

На следующее утро, часов около одиннадцати, в приемной появился Греков, злой, насупленный и мрачный. Рано утром он получил сведение о том, что посланный им в Новороссийск нахичеванский мещанин купец Парсегов, вместо того чтобы реализовать там мерлушку, взятую Грековым из неучтенных складов бывшей русской армии, бежал вместе с деньгами и товаром в Константинополь.

Убыток, понесенный градоначальником, был тысяч до двадцати, и хотя мерлушка была казенной и лично ему не стоила ни копейки, Греков, считавший ее своею собственностью, был потрясен. Градоначальник раздраженно оглядел людей. В нем нарастала ярость от сознания бессилия и обиды за потерянные барыши. Чувство это все росло, искало выхода, и его надо было поскорее излить. Градоначальник остановился возле замершего при его появлении часового. Он внимательно и долго разглядывал ноги казака и затем хмуро спросил:

— Это что такое? — и ткнул в начищенные голенища часового.

— Так что сапоги, господин полковник, — не своим голосом крикнул часовой.

— Сапоги, — мрачно повторил Греков. — Воины, служаки, туды вашу в карусель! По семи пар сапог у каждого, потому вас и бьют босяки красные... — Он покачал головой. Раздражение не покидало его. Он огляделся и горестно проговорил: — А мы служили, семеро в одном сапоге ходили... и ничего, никаких большевиков не знали...

— Именно так... совершенно справедливые ваши слова, — складывая на животе руки крестом, кланяясь градоначальнику, протиснулся через толпу замерших просителей какой-то человек в длинной добротной поддевке, — золотые ваши слова...

— А ты кто? — наступая на него грудью, вдруг рывкнул Греков.

— Виноват-с, мы купцы... Акимов, железоскобяные товары, — отступая назад, прошептал человек.

— Ку-пе-ец! — дико закричал Греков, и в его мозгу пронесся купец Парсегов, одурачивший его с мерлушками.

Объект для успокоения разлившейся желчи был найден.

— Торгаш! Подхалим, обирало!! — замахав руками, крикнул он. — Тебя кто спрашивает, аршинник, что ты в военные разговоры суешься?

— Извините, батюшка, — пролепетал купец.

— «Ба-тю-шка!» — не веря своим ушам и приседая от негодования, завопил Греков. — Это ты меня, суконное рыло, батюшкой зовешь? Ах ты чертово семя, да что я тебе, поп или архиерей долгогривый?.. Я моему государю, — гордо выпячивая грудь и поднимая палец, произнес Греков, — полковник, а тебе, сукину сыну, ваше высокоблагородие. А ну, марш отсюда, барбос собачий! — свирепея от собственного крика, заорал он.

Купец рванулся к выходу.

— Киселя ему, киселя под зад! — вспомнив беседу с Гревсом, крикнул Греков, но купец, подхватив полы поддевки, уже несясь по лестнице вниз. — Он бы меня еще «вашим степенством» обозвал, — успокаиваясь, сказал градоначальник, оглядывая замерших в испуге людей. — Распустился народ, ни чина, ни звания не соблюдает. — И уже совсем пообдев, милостиво добавил: — Дайте отдышаться... сейчас начну!..

Посетители были все какие-то надоедливые люди, лезли с разными пустяками, и градоначальник снова стал раздражаться. Неотвязная мысль о потерянных деньгах сидела в голове.

— Ну, живей, живей, что рассусоливаешь! — сердито сказал он старику подхорунжему, пришедшему с просьбой о продаже дома. — Разрешаю. Скажи там, в канцелярии, чтобы написали бумагу.

В кабинет заглянул адъютант.

— Господин полковник, начальница заведения пришла...

Греков, занятый разговором с подхорунжим, услышал только половину фразы. Он сразу повеселел. Вот тот источник, откуда можно хоть несколько пополнить свой убыток.

— Зови ее! — сказал он.

Подхорунжий и адъютант вышли. В кабинет вплыла томная дама лет под пятьдесят, в строгом черном платье, с кружевной наколкой на голове.

«Из жидовок», — определил градоначальник, глядя на породистое лицо женщины.

— Здравствуйте, полковник — сказала дама, садясь в кресло, и протянула руку онемевшему от такого нахальства Грекову. — Я пришла по поводу моих девочек...

Видя, что Греков исподлобья мрачно глядит на нее, дама пожала плечами и отвела назад руку.

«Действительно монстр, чудак какой-то!» — подумала она.

— Я — Оболенская! — сказала дама.

— А я думаю — Ицкович! — ухмыльнулся Греков.

Снова наступило длительное молчание. Оба выжидательно и молча смотрели друг на друга. Оболенская удивленно повела глазами. «Вероятно, он плохо слышит», — предположила она, и, чувствуя себя несколько неловко, княгиня уже громче повторила:

— Я к вам, полковник, по поводу моих девочек.

— «Девочек»... — потирая сухие пальцы, как эхо повторил Греков.

— Да... Как вы, конечно, знаете, им решительно невозможно выходить одним из заведения... Всякое хулиганье, апаши пристаю к ним.

— «Апаши пристаю»? — набирая для разбегу силы и еле сдерживаясь, тоненьким голосом повторил Греков.

— Ужас! Поэтому я прошу вас нарядить отряд полиции, чтобы он провожал барышень, когда они пойдут в город...

Греков, выпучив глаза, смотрел на посетительницу. Подобное нахальство ошеломило его, но Оболенская, ничего не замечая, продолжала:

— ...и, конечно, обратно в заведение...

— Провожать с полицией твоих...!! — вскочив со стула, выкрикнул непристойное слово Греков. — А этого не хочешь? — и он завертел перед носом оторопевшей княгини два больших шиша. — Ах ты стерва, потаскуха, сук-кина дочь! Я тебе покажу проводы с полицией...

— Что? Что?.. Да как вы смеете, сударь!

— Ск-ка-ж-жите, какая невинность! — перегибаясь через стол, зашипел Греков. — Охрану ей дай для ее девок! Да от твоих шлюх мне самому горожан оберегать надо!

— Негодяй! Нахал! Я к атаману поеду жаловаться!..

— Ох, напугала! Сейчас умру от страха! «К атаману поеду!» — передразнил Греков. — Я тебе сейчас прикажу плетюганов всыпать, старая сводня. Чего глазами хлопаешь! — заревел он на терявшую сознание Оболенскую. — У тебя в вертепе по-

рядочных людей по мордасам хлещут... Часовой! А ну, дай этой ведьме под зад коленкой!

В кабинет вбежал адъютант. Он бросился к махавшему руками Грекову и что-то быстро зашептал.

— Чего, чего? Ты что это городишь? Какая там княгиня? Это же мамаша из публичного дома, за своих девок просит... Мы же ее сами вызвали.

— Никак нет, та сидит в приемной, а эта княгиня Оболенская... от Софьи Африкановны приехала...

— Ничего не понимаю!! Да ты же сказал «хозяйка заведения»!

— Я сказал — начальница учебного заведения...

Пораженный Греков обер лицо платком и вдруг стал махать им на побелевшее лицо княгини.

— Не угодно водички? Прошу прощения, малость ошибся, — забормотал он, выливая полграфина на Оболенскую.

Та вздрогнула, приподнялась и, тяжело дыша, поддерживаемая адъютантом бросилась к выходу.

Греков ошалело смотрел ей вслед, продолжая помахивать платком.

Раздался звонок телефона. Градоначальник апатично поднес к уху трубку.

— Это вы, Митрофан Петрович? — услышал он знакомый голос Красновой.

— Я... я, матушка атаманша! — заикаясь, пробормотал Греков.

— Я направила к вам мою старую петербургскую подругу, княгиню Мари Оболенскую. Это очаровательная светская дама, всего несколько дней назад назначенная директрисой заведения для благородных девиц. Очень прошу вас принять ее как можно лучше...

Градоначальник растерянно повел глазами и икнул.

— Вы слышите меня, Митрофан Петрович? Да что же вы молчите? — раздался снова удивленный голос Красновой, слышавшей только сопение да вздохи градоначальника.

— Матушка... Софья Африкановна, промахнулся!.. Подвели старика, без ножа зарезали, окаянные! — закричал Греков. — Я сейчас... к вам...

И, напавшая на бегу фуражку, градоначальник во всю мочь, словно молодой хорунжий, пронесся через приемную.

— К атаманскому дворцу... карьером! — тыча кулаком в спину перепуганному кучеру, завопил Греков.

Градоначальник трижды ездил на поклон к княгине. Она не

хотела принимать его, и только Софья Африкановна, к которой раньше Оболенской успел примчаться Греков, уговорила ее.

— Пойми же, та счѣге, роковое стечение обстоятельств. Мы с Пьером чуть не умерли от смеха, когда старик, рыдая, рассказывал о том, как его подвел адъютант. Ты понимаешь, он ждал ту самую... ну, хозяйку этого дома, а хулиган и озорник адъютант, желая подшутить над ним, нарочно доложил ему о тебе. Тут виновата и я... Я забыла позвонить ему, а он человек простой, грубый...

Княгиню передернуло.

— ...привык к фронту, казакам, ну и выпалил разные слова, думая что перед ним эта особа...

— Да, но есть же, кажется, разница! — возмущенно перебила княгиня.

— Дорогая моя, откуда ему, простаку и моветону, разобраться в таких нюансах!

— Хороши нюансы! — сказала Оболенская.

— Он буквально рыдает. Не может простить себе этой ошибки... Прости его, Мари, а он сам обещает провожать твоих девочек в театр...

Оболенская сморщилась и даже отодвинулась.

— Ну уж нет! Я наслышалась от этого «святого» человека таких выражений о моих воспитанницах, что хватит! Его я, так и быть, прощу, и то лишь из любви к тебе, Софи, но видеть его у себя не желаю. А полицию свою пусть присылает.

— Пришлю, голубушка ваше сиятельство! Сам с нарядом впереди пойду, только не сердитесь на меня, серого казака! — вылезая из-за портьеры, забормотал Греков. — Подвел, без ножа зарезал меня этот сук-кин... — он поперхнулся на последнем слове, видя, как отчаянно замахала на него Краснова.

Примирение произошло, и через день удивленные ростовчане наблюдали, как градоначальник важно шел впереди длинной процессии воспитанниц института. По сторонам шагали городовые, свирепо оглядывавшие прохожих и из-под полы показывавшие кулаки втихомолку хихикавшим мастерам.

Адъютант, так и не понявший, в чём же он провинился, уже через день очутился под Царицыном, на фронте.

Первого ноября в Новочеркасске закончилось заседание Большого войскового круга, на котором генерал Краснов рассказал делегатам о том, что его штабом разработан план, в силу которого будет нанесен мощный удар по наступающим к станции Великокняжеской царицынским красным полкам.

— Ведет их некий шахтер из Донецкого бассейна, кажется,

младший унтер-офицер Ворошилов. Части эти плохо обучены, еще хуже вооружены. Дисциплина отсутствует. Продовольствия и амуниции нет. Согласно нашим агентурным данным, в самой Царицыне все готово к вооруженному перевороту. Больше половины мобилизованных красными крестьян и даже рабочих с местных предприятий ждут нашего прихода. Я уже не говорю об офицерстве. Оно почти целиком, за небольшим исключением, предано нам. Называть имена я не буду, но в самом штабе красной царицынской группы верхи военных специалистов — наши люди, и им мы можем диктовать любые условия. Но... надо спешить. Чека усилила свою работу и уже сорвала кое-что задуманное нами. Словом, надо действовать. Я прошу Большой войсковой круг утвердить наш план о немедленном переходе в наступление и обязательном выходе Донской армии за границу области Всевеликого донского казачества. Надо захватить важнейшие стратегические пункты красных, а именно: Царицын, Камышин, Новохоперск, Калач и Богучар. Прошу господ высоких представителей это утвердить.

Атаман вытер шелковым платком вспотевшее лицо и оглядел зал. Бородатые, чубатые люди в погонах и с крестами на синих донских казакинах, яркие лампасы; немногочисленные штатские костюмы, три-четыре лысины — это представители буржуазии Парамонов, Король, Леонов... За ними блещут золотые погоны офицеров... Потом опять чубы и широкие седые бороды стариков. Молодежи мало. Молодые или в полках, или... у красных. В ложе сидят немцы. За их наваченными мундирами с широкими плечами виднеется голова Грекова. Атаману вспомнились жалобы, которые сыпались дождем из Ростова, на нового градоначальника и в особенности на его помощника Икаева.

«Надо с ним серьезно поговорить об этом горце, компрометирующем нас перед союзниками», — подумал Краснов и покосился на левую боковую ложу, в которой сидели немецкая миссия и генералитет. Атаман сжал свои тонкие сухие губы.

Майор Бенкенгаузен сквозь монокль внимательно оглядывал донских представителей.

— Итак, дорогие братья казаки и вы, иногородние сыны великой России, донской атаман ждет вашего слова.

В зале прошло движение, голоса зашумели. Высовываясь из ложи немцев, Греков на виду у всех широко перекрестился и истошно закричал:

— Утверждаем! Чего уж там! Всем сердцем! Всей кровью! Веди нас! Веди, атаман родимый! — И, задев грудью голову отодвинувшегося в сторону Бенкенгаузена, неожиданно громко зашел:

Скрытый на хорах оркестр бурно грянул донской гимн. Депутаты вскочили с мест и, продолжая петь, стали аплодировать Краснову. Немцы, выжидательно помедлив, также поднялись со своих мест.

— Митрофан Петрович, голубчик мой, а ведь я серьезно недоволен вами,— ласково улыбаясь Грекову и держа его за борт мундира, сказал Краснов.

— Мною? Господи Иисусе! — удивился Греков. — А за что, за какие грехи, уважаемый Петр Николаевич?

— Жалобы... Отовсюду жалобы... Да не на вас, конечно, а на этого вашего кавказца, Икаева. Вы, батюшка, будьте с ним осторожней. Хоть он и штаб-офицер русской армии, но типичный головорез.

Греков выжидательно смотрел на атамана.

— Мало того — ходят слухи о каких-то взятках, деньгах, убийствах, и актриса одна ко всему примешана...

Градоначальник неожиданно повернулся и, оставив на полу-слове говорившего с ним атамана, вышел в переднюю. Краснов смолк и удивленно посмотрел на закрывшуюся за Грековым дверь. Он не знал, как поступить ему: обидеться или же немедленно вернуть градоначальника.

— Что с ним? С ума, что ли, сошел, или желудок у него не вовремя заработал? — оглядываясь на безмолвно стоявшего в стороне адъютанта, пожимая плечами, сказал Краснов.

Офицер улыбнулся. Дверь широко распахнулась, и в нее размеренным солдатским шагом, вытягивая носки, как на параде, вошел Греков, но уже одетый в шинель, при шашке и в фуражке, из-под которой свисал рыжевато-седой чуб. Четко ступая по паркету атаманского дворца, он грузно подошел к Краснову и, быстро скидывая руку под козырек, хриплым, чужим голосом произнес:

— Ваше высокопревосходительство! Настоящим имею честь просить о немедленной моей отставке с поста градоначальника городов Ростова и Нахичевани, а также о предании меня военному суду на предмет лишения чинов и орденов, присвоенных мне в бозе почившим российским императором.

Широко открыв рот, атаман в изумлении глядел на застывшего перед ним Грекова.

— Ни-чего не понимаю... Вы что, дорогой Митрофан Петрович, нездоровы, что ли? — участливо и не без тревоги спросил атаман.



— Ваше высокопревосходительство! Здесь нет Митрофана Петровича Грекова. Перед вами полковник Донской армии, градоначальник Ростова, подозреваемый своим атаманом в недостойных офицера делах, а поэтому требующий предания его военному суду,— снова повторил Греков. Его голос дрогнул, и в мутных старческих глазах блеснула слеза.

Краснов растерялся и обмяк.

— Побойтесь бога, Митрофан Петрович, что вы говорите! Что вы только такое изволили выдумать? — смущенно забормotal он.— Да что, я не знаю вас десятки лет, что ли? Откуда вы все это взяли? Я же говорил об Икаеве. Какое это имеет отношение к вам?

— Ваше высокопревосходительство! Если провинился в чем-либо мой непосредственный помощник, то я должен целиком отвечать за него. Это истина, которой я всегда руководствовался. Если войсковой старшина Икаев виноват, то прежде всего прошу судить меня за то, что я был слеп, глуп и недогадлив.— Греков вытер глаза и высоким, звенящим голосом договорил: — Но... войсковой старшина Икаев честнейший, неподкупнейший человек. Это наиболее порядочный джентльмен, какого я когда-либо встречал в своей жизни. Я целиком отвечаю за него. Вся вина его лишь в том, что он искренне любит Россию и ненавидит жидов, большевиков и инородцев.

— Но ведь он же сам осетин... инородец,— удивленно перебил его Краснов.

— Это ничего не значит. По духу он настоящий русский человек, убежденный монархист и бессребреник... но у него враги, и это они заливают его незапятнанное имя грязью.

Краснов нерешительно посмотрел на градоначальника.

— Но я сам помню что-то такое об Икаеве, случившееся в Дикой дивизии в шестнадцатом году.

— Среди горцев это очень распространенная фамилия. Даже в моем охранном отряде Икаевых насчитывается девять человек. Мудрено ли спутать!

— Разве что так...— почесывая подбородок, согласился атаман,— но вообще, раз вы так горячо рекомендуете его, этого достаточно. Забудьте все и считайте наш разговор как бы состоявшимся.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Сию минуту! — проговорил Греков и, четко повернувшись налево кругом, вышел из комнаты.

«Забавный старик, чудака, но кристальной души человек. Честен, правдив, надежен»,— подумал Краснов, вспоминая, как вовремя вскочил и запел на круге Греков.

В комнату снова вошел Греков. Атаман, протягивая ему руку, сказал:

— А теперь кушать. Я очень проголодался на этом круге.

— С удовольствием, Петр Николаевич, а особенно если дадите по чепурке цимлянского,— обнимая за талию хозяина, ответил Греков, проходя за ним в столовую.

Шашка, шинель и фуражка градоначальника остались в приемной атамана.

— Казбулат Мисостович! Вчера я выдержал из-за вас баталью. Атамана кто-то наспиговал против нас, особенно же против вашей особы...— и Греков подробно рассказал Икаеву о беседе с ним Краснова.

Войсковой старшина хладнокровно выслушал градоначальника, и только при слове «актриса» глаза его сузились и загорелись недобрым огнем.

— Я знаю, откуда эти жалобы,— аккуратно стряхивая в пепельницу пепел, сказал он.— Это штучки майора Бенкенгаузе-на.

— Как? — подскочил на месте Греков.— Майора? Почему именно майора?

— Потому, что результаты немецкого дознания по поводу смерти денщика и лакея Крессенштейна, ведшегося непосредственно за моим, не совпадают с выводами нашего следствия.

Греков побледнел.

— И... что же?

— Немцы потребовали передать в руки своей военно-полицейской разведки дело о смерти германских подданных для дополнительного исследования.

Икаев остановился.

— Да ну же, не тяните,— слабея, еле выговорил Греков.

Икаев с холодным любопытством поглядел на него и с нескрываемым презрением улыбнулся.

— Вы что это, Митрофан Петрович, кажется, перепугались? Напрасно! Именно сейчас и надо быть решительными и смелыми, как никогда. Немцы требуют в свою разведку не только материалы следствия, но также и арестованных по этому делу большевиков. Чтобы проверить,— медленно проговорил Икаев, внимательно глядя на растерянное, вытянувшееся лицо градоначальника.

— Как же быть? — после долгой паузы спросил наконец Греков.

— Очень просто. Дело я немцам переслал, а большевиков... Глаза градоначальника расширились.

— ...расстрелял этой ночью. Официально же — они бежали из тюрьмы через сделанный подкоп. Вот акт о побеге, вот донесение начальника тюрьмы, вот показания часовых, открывших по беглецам огонь, а вот чертеж и план камеры с местом подкопа.

Греков наскоро перелистал протянутые ему бумаги и нерешительно спросил:

— Вы думаете, этого довольно?

— Абсолютно! А что же еще? Самое главное: были люди, их уже нет. Итак, дорогой Митрофан Петрович, больше храбрости. Вы защищайте меня наверху, а я буду оберегать вас повсюду. К тому же на этих днях я организую разгром тайных, подпольных большевиков. Это будет эффектное дело! Во-первых, очистим от них город, и, во-вторых, атаман еще раз убедится в том, что мы бодрствуем и стоим на правильном пути.

Градоначальник обнял своего друга и без слов смачно, крестнакрест трижды облобызал его.

— Благодарю. Успокоили старика. Вы — гений, Бетховен своего дела, дорогой Казбулат Мисостович. Кстати скажите: эти вот проходимцы, ну вот те, что расстреляны, вправду большевики или так... просто?

Икаев поднял глаза к потолку, задумался и потом ответил:

— Один — это точно. Остальные — нет, но это не важно. Они все рабочие железной дороги, известные начальству как смутьяны и великие подлецы.

Наутро после этого разговора градоначальник, объезжая Ростов, встретил возле собора ехавшего в открытой машине Фрейтенберга. Когда автомобиль поравнялся с фазтоном, Греков, высунувшись наполовину из экипажа и широко улыбаясь, приветствовал майора. Фрейтенберг очень сухо мотнул головой градоначальнику и отвернулся, продолжая разговаривать с немецким офицером, ехавшим с ним. Греков был ошеломлен. Еще день назад этот самый Фрейтенберг и на круге, и в доме атамана, и у себя в миссии был достаточно вежлив с ним — и вдруг... такой оскорбительный кивок головой. Грекова даже передернуло. «Погубил, погубил меня этот проклятый абрек, головорез, азиатская морда Икаев», — забывая свое восхищение перед «Наполеоном», в тоске подумал он.

— И надо же было мне ввязаться в эту дурацкую историю с лакеем... Старый дурак, осел, — стуча пальцами по лбу, забормотал он.

Прохожие не без удовольствия глядели на градоначальника, тыкавшего себя в голову пальцем.

— Чего изволите, ваше высокоблагородие? — не разобрав бормотания Грекова, повернулся к нему кучер.

Этот вопрос отрезвил полковника. Он дико огляделся, покачал головой, тяжело вздохнул, привстал и, крестясь на собор, прямо с фаятона отвесил куполам и сиявшим на них крестам три низких, истовых поклона. Кучер, привыкший к чудачествам своего господина, натягивая вожжи, задержал коней, боясь, как бы градоначальник в порыве молитвенного экстаза не выпал на мостовую. Покончив с поклонами, Греков тяжело опустился на сиденье и, уже успокоенный, натянул на голову фуражку.

Подъезжая к градоначальству, Греков увидел немецкую машину, остановившуюся у подъезда. Из нее, сверкая касками, вышли два незнакомых ему немецких офицера. Немцы прошли в глубь дома. «Завалил, завалил меня, проклятый душегуб,— холодея от страха, подумал Греков.— Отрекусь, свалю все на него. Что называется, и понятия не имел. Черт с ним, с башибузуком, у него небось ни жены, ни семьи. И как он может доказать разговор наш? Свидетелей нет, а о нем, разбойнике, весь город говорит»,— вдруг надумал он. Ему стало легко, и, готовый ко всему, градоначальник вошел к себе.

Оба немецких офицера очень любезно поздоровались с ним. Греков молча пожал им руки, выжидательно глядя на них.

— Мы явились к вам, господин-полькофник, просить вас помогать нам в один дело, потому што это дело ошень есть близкий к вам...— заговорил один из офицеров.

По спине Грекова забегали мурашки. Перебивая немца, он вдруг неистово закричал:

— Нет! Нет! Я ничего не знаю про это дело! Это икаевская работа!

Оба офицера удивленно посмотрели на взволнованного градоначальника, и первый из них, поднимая бровь, спросил:

— Разве театр есть дело Икаев?

— Ка-кой театр? — в свою очередь изумился Греков, глупо уставясь на собеседника.

— Опера. Который есть в Ростоф.

— А при чем здесь опера? — совершенно ничего не понимая, пролепетал Греков.

— Ошень просто, господин полькофник. Майор фон Фрейтенберг и господин майор фон Бенкенгаузен прислал нас просить вас, господин бюргермейстер, чтобы ваш театр поставил для германских офицер и солдат германски опера.

— Как... немецкую оперу? Наш театр? Это можно, поставим, поставим,— обрадованно заговорил Греков.

— Только очень скоро. Солдат скучайт, германски опера его делает весели. Зо!

— Будет, будет. Сам распоряжусь, так и передайте господам майорам,— провожая гостей до самого выхода, обрадованно сказал Греков.— Ух, черти, вот напугали, а я думал...— и, не договаривая, он бухнулся в кресло, долго и сокрушенно покачивая головой.— Эй, кто там, а ну, живо, ведите ко мне этого самого, ну, этого, как его... ну, прохвоста главного из оперы, которого недавно сюда водили,— приказал он вбежавшему на крик адъютанту.

— Кузнецова? Антрепренера? — подсказал адъютант.

— Его, его, душегуба, да чтоб срочно, в чем есть, без промедления. И войскового старшину Икаева попросите тоже.

Антрепренер Кузнецов был вытащен из номера казаками и и предстал перед Грековым в той же голубой пижаме и тех же черных, в полоску, брюках. На этот раз Кузнецов был до того перепуган неожиданным вторжением казаков, что без сил рухнул к ногам градоначальника, шарахнувшегося от неожиданности в сторону.

— Ва... ва... ва...— хватая колени Грекова, заикаясь, замычал Кузнецов, в ужасе оглядываясь на молча сидевшего Икаева.

— Да что ты меня за ноги хватаешь, дурья башка! Что я тебе, архиерей или балерина? Вставай сейчас же, а то прикажу плетей всыпать,— обозлился Греков, загнанный в угол ползавшим у его ног антрепренером.

Кузнецов, покачиваясь, встал.

— Вот что, фендрик, немецкие оперы какис-нибудь знаешь?

Антрепренер по-прежнему тупо глядел на градоначальника и тихо подвывал.

— Да замолчи ты, окаянный, что ты людей пугаешь! Ну! — цыкнул, замахиваясь на него Греков.

Кузнецов смолк и перестал качаться.

— Немецкие оперы, говорю, знаешь?

Антрепренер моргнул глазами, обалдело сказал:

— Так точно!

— Чего «так точно»! — передразнил градоначальник.— Ты назови, какие знаешь.

— «Золото Рейна»,— выговорил Кузнецов.

Градоначальник подумал и, махнув отрицательно рукой, сказал:

— Не надо. Обойдутся без золота. Давай другую.

— «Персифаль».

— Не слышал. Такой не знаю. А еще что есть?

— «Лоэнгрин», — упавшим, жалобным голосом продолжал Кузнецов.

— А-а! Это с лебедем? Видел в Питере в девяносто седьмом году, с Собиновым видел. Это — да! Одобряю! Но только... — градоначальник придвинулся ближе и грозно спросил: — немецкая ли?

— Вагнера. Чисто немецкая, — сказал Кузнецов.

— Ну, тогда валяй! Да ты не бойся, чего ты, как баба, побледнел да закачался? Ничего тебе худого не будет. Это для солдат германских оперу ихнюю пустить надо. Понятно тебе? — похлопав по плечу антрепренера, пояснил Греков.

— Понятно, — ответил Кузнецов.

— Ну, так ты иди домой, да чтобы к завтраму поставить этого самого «Лоэнгрина».

— К-как... к завтраму?! — сказал Кузнецов. Голос его осекся.

— А так, по-военному. Раз-два — и готово.

— Ник-как невозможно, — еле сказал антрепренер.

— Я тебе покажу, куриная морда, «невозможно»! Сгною, арестанта, в яме! — топая ногой, крикнул Греков.

Антрепренер тихо заплакал и, не в силах выговорить ни слова, плача, качал головой.

— Да я тебе в полдня парад всего гарнизона устрою, а ты фигурантов своих за сутки боишься потревожить! Едем сейчас же в театр, я сам с ними поговорю.

Антрепренер продолжал качать головой.

— Это он прав, Митрофан Петрович, — вмешался Икаев, — за сутки поставить новую оперу — это будет, — Икаев засмеялся, — чудо святого Митрофания, а не спектакль. Дайте им хотя бы неделю сроку.

Кузнецов поднял голову и с надеждой воззрился на Икаева.

— Многовато! — почесывая голову, обескураженно сказал градоначальник. Он подумал, пожевал губами и недовольно сказал: — Ну ладно, согласен. Сегодня у нас шестое ноября. Чтобы двенадцатого на сцене был «Лоэнгрин»!

Кузнецов поклонился и, отходя задом к двери, сказал:

— Слушаюсь! Двенадцатого «Лоэнгрин»!

Придя домой, он с маху выпил бутылку коньяка, вызвал к себе администратора Смирнова и, плача пьяными слезами, рассказал ему о приказе градоначальника. Смирнов, сочувственно вздыхая, распил с ним еще бутылку шустовского коньяка, после чего поспешил в театр поведать режиссеру и труппе о назначенной свыше опере «Лоэнгрин».

Приехавший из Новочеркасска от военной миссии ротмистр Мантейфель лично занялся исследованием истории гибели ла-

кея и денщика фон Крессенштейна. Сухой и холодный, он с кропотливой тщательностью копался во всех деталях этого дела. Ротмистр дважды побывал на квартире покойного Крессенштейна, посетил и тюрьму, из которой пытались бежать арестованные большевики, исследовал подкоп, допросил караульных и начальника тюрьмы, поговорил и с семьями убитых арестованных. Раза два его видели в небольшой греческой церкви-подворье, куда он заезжал, охраняемый рослыми баварскими солдатами. Был он и в театре, интересуясь артисткой Раевской, которой долго и горячо аплодировал после одной особенно удачно спетой сцены арии. Он был и у градоначальника, встречался и с Икаевым, всегда любезно раскланиваясь с войсковым старшиной. Икаев был подчеркнуто вежлив с немцем, и только в его черных глазах вспыхивала еле уловимая злая усмешка.

По городу были расклеены афиши, извещавшие о том, что «12-го сего ноября в городском театре для войск е. в. германского императора силами всей труппы будет поставлена опера Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». В означенный день билеты продаваться не будут, о чем администрация театра заранее предупреждает господ горожан».

Восьмого и девятого ноября в фойе и на сцене зала шли репетиции. Артисты и оркестр без отдыха разучивали и повторяли отдельные места оперы. Две костюмерши, плотники, художники и реквизиторы с утра до ночи не покладая рук работали в театре, готовя костюмы, сцены и декорации. Красный, взлохмаченный режиссер ругался с антрепренером и администратором, все время подгонявшими его.

Десятого ноября вечером Греков вызвал по телефону к себе Икаева, находившегося у Раевской.

— Очень необходим мой приезд? — спросил Икаев.

— Настаиваю! Категорически настаиваю на вашем немедленном приезде сюда. Вы нужны. По телефону причины сказать не могу, — ответил градоначальник.

— Хорошо, сейчас приеду. — И, вешая трубку, Икаев сказал Раевской, пожимая плечами: — Кажется, старик уже знает новость. Странно. Я задержал радиogramму. Она у меня вот здесь, — указывая на кармашек бешмета, сказал он.

— О-о! Лишь бы в городе ничего не знали. Мне, милый друг, нужно только еще полтора-два часа. За это время я спущу и немецкий военный заем и обязательства германско-украинского банка, иначе... — артистка развела руками, нервно поднимаясь из-за стола.

— Не знаю, откуда он мог узнать об этом. Разве из Новочеркасска. Но миссия и атаман сейчас, наверно, прилагают все усилия к тому, чтобы никто — ни войска, ни население не узнали об этом. Словом, вы, дорогая, действуйте. Звоните, вызывайте моим именем всех, кого нужно. Я оставляю вам четырех моих конных ординарцев, распоряжайтесь ими по-своему. — Он нежно поцеловал артистку и вышел в коридор.

Спустя минуту конские подковы забили, зацокали под окнами Раевской.

В кабинете градоначальника за столом сидел ротмистр Мантейфель. Возле него высилось пухлое «дело» на немецком языке в синеватой картонной обложке и желтый портфель. У дверей, вытянувшись во весь рост, стоял огромный баварец, в каске, с ранцем на спине и винтовкою в руках. У окна, растерянный, с лицом, покрытым красными пятнами, стоял Греков. Когда Икаев вошел в кабинет, градоначальник вздрогнул, а ротмистр Мантейфель, чуть полуобернувшись, быстро глянул на солдата. Баварец шагнул вперед, становясь у самого кресла немецкого офицера. Икаев внимательно посмотрел на своего бледного, растерянного начальника, чуть ухмыльнулся и, откинув полу черкески, опустил руку в карман. Ротмистр приподнялся в кресле. Икаев медленно достал из кармана свой знаменитый золотой портсигар и, щелкнув крышкой, очень вежливо спросил немца:

— Покурим, господин ротмистр, асмоловских папирос?

Глаза его улыбались, лицо было спокойно и корректно, но зрачки так злобно и хищно сверкали, что градоначальник, слабея, опустился на стул и в страхе закрыл глаза.

— Митрофан Петрович, а вы? Вот господин ротмистр, по-видимому, не хочет наших российских папирос, предпочитает свои. А вы как? Покурите наши донские из знакомого вам портсигарчика.

«Что он, издевается, что ли?» — открывая глаза, подумал Греков и отрицательно замотал головой.

— И вы не хотите? Очень жаль. Ну, тогда я, с вашего разрешения, курну. — И войсковой старшина долго и тщательно раскуривал папиросу, потом глубоко затянулся, пыхнул дымом, пустил колечки, нанизывая их одно на другое, и уже затем сказал: — Вы, кажется, вызвали меня по, — он подчеркнул, — особенно важному делу? Я весь слух, весь внимание.

Греков молчал, то бледнее, то снова заливаясь краской. Немецкий солдат, все в той же настороженной позе, тарачил глаза на Икаева.



— По-видимому, вы, дорогой Митрофан Петрович, лишились языка. Ну, так я подожду, пока он снова вернется к вам,— усаживаясь в кресло напротив Мантейфеля, сказал Икаев.

Лицо немецкого ротмистра нахмурилось. Он медленно поднял на Икаева глаза и с холодным презрением сказал:

— Сейчас вы узнаете, господин Икаев. Прошу вас, господин полковник, успокоиться и сказать необходимое.

Градоначальник судорожно проглотил слюну и, набираясь храбрости, вдруг воскликнул тонким, срывающимся голосом:

— Войсковой старшина Икаев! Господин офицер войск Германской империи прибыл ко мне от майора фон Бенкенгаузена с просьбой...

— С требованием,— холодно поправил его ротмистр.

— ...да, с требованием арестовать вас...— и, уже пугаясь, Греков жалобно договорил: — Каз-булат Мисостович.

— Да? За этим, значит, к вам пожаловал этот доблестный офицер? — спокойно, как бы нехотя переспросил Икаев. — А по каким таким обстоятельствам, желал бы я знать...

— По подозрению... по подозрению... в... в...

— Не по подозрению, а по обвинению в злодейском убийстве солдата великой императорской армии и еще одного немца, подданного Германской империи. Сдайте ваше оружие мне и следуйте за этим солдатом! — вставая с кресла, гневно выкрикнул ротмистр.

Икаев молча сунул окурочек в пепельницу и, улыбаясь, покачал головой.

— Плохо, ротмистр, плохо вы подготовились к роли, если взяли с собою для ареста только одного солдата. Вы этим глубоко обижаете меня. Я на фронте один гонял десяток немцев, а тут, в тылу, в городе, вы решили, что я сдамся одному вашему солдату, хотя бы он и был такой верзила, как этот дурак. Знаете что, пошлите-ка за взводом, а то меньшему числу доблестных немецких солдат войсковой старшина Икаев сдаваться не намерен. — И, закулив вторую папиросу, он снова пустил колечко дыма прямо в лицо побледневшему от негодования Мантейфелю.

— Довольно шуток! Хватит этого балагана! Немецкий военный суд расстреляет вас, как бандита, за преступление против германской императорской армии.

— Какой армии? — словно не расслышав, переспросил Икаев. — Императорской? Кстати сказать, ротмистр, такой армии не существует.

Мантейфель поднял брови, всматриваясь в холодные глаза Икаева.

— Да, да! Так точно! Нечего паялить на меня свои рыбы гла-

за, господин Мантейфель. Нет ее, этой самой «императорской армии», как нет уже и самого вашего им-пе-ратора. Тю-тю!! Бежал ваш кайзер... И империи тоже нет, рассыпалась. Республика у вас, вроде нашей, а вашего брата сейчас в Берлине рабочие и солдаты так же лупцуют, как лупцовали нас в семнадцатом году. Достукались, мать вашу!..— И, встав на ноги, Икаев выбросил к самому носу откинувшегося назад ротмистра смятую радиogramму.

Солдат, не понимая русского языка, видя побледневшее лицо своего офицера, недоумевающе смотрел на него.

— Да все равно, не будь даже у вас революции... Вы что, думали, что Казбулат Икаев так легко и просто дастся вам в руки? Плохо вы меня знаете, голубчик! Э-эй, локонта!<sup>30</sup> Фа-дэс!<sup>31</sup> Фа-дэс! — вдруг гортанно взвизгнул он.

Дверь разлетелась на обе створки, и трое горцев с маузерами в руках ворвались в кабинет градоначальника. Греков спрятался за шкаф.

— Видали! А еще десяток сидят во дворе на конях. Ну что, будете вы читать? — крикнул он, глядя в белое как полотно лицо ротмистра.

Ротмистр молчал.

Тогда Икаев развернул бумагу, медленно и внятно прочел:

— «Сегодня, девятого ноября, в Берлине вспыхнула революция. Солдаты, рабочие и население громят полицейские участки. Полки солдат, выкинув красные знамена, бросив фронт, уходят на помощь восставшим. Другая часть армии без боя сдается англо-французам или уходит в глубь страны. Кайзер Вильгельм бежал в Голландию. Генерал Гинденбург обратился к союзникам с просьбой о мире...»

Ну как, хорошо? Вы думали, что это только у нас, в России, так будет, а у вас тишь да гладь? А большевики-то умнее вас оказались. А вот, кстати, и большевистское радио, мы его перехватили, слушайте и наслаждайтесь.

Икаев вынул из кармана другую телеграмму.

— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В Германии социальная революция. Восставшие вместе с солдатами и матросами, создав Советы солдатских и рабочих депутатов, наступают на Берлин. Фронт дрогнул и распался. По всей стране вспыхнула гражданская война. Кайзер со своей семьей бежал на автомобиле в Голландию. Власть в стране перешла в руки социалистов с Эбертом во главе».

<sup>30</sup> Мблодцы! (осет.)

<sup>31</sup> Тревога! (осет.).

Ну-с? Каково? — И, повернувшись к ошарашенному градоначальнику, выглядывавшему из-за шкафа, Икаев сказал: — Митрофан Петрович, пока об этой телеграмме никому! Я задержал на радиостанции ее опубликование по Ростову. Немцы и атаман уже знают о ней, но, конечно, будут возможно дольше молчать. Вы понимаете, что будет, когда народ узнает о развале, — он иронически подчеркнул, — несокрушимой императорской армии!.. Ауфвидерзеен, герр барон, — раскланявшись с Мантейфелем, издевательски закончил Икаев.

После его ухода наступило молчание. Наконец Греков участливо сказал:

— А может быть, это враки? А, господин ротмистр? Может, это сам Икаев сочинил?

Мантейфель долго молчал, потом поднял голову и проговорил глухим, упавшим голосом:

— К сожалению, это верно. После развала Болгарии и краха австрийцев мы ежедневно страшились и ждали этой роковой катастрофы.

Ночью он застрелился у себя в гостинице.

Скрыть германскую революцию не удалось. Утром одиннадцатого ноября по всему городу были расклеены летучки подпольного большевистского комитета, целиком повторявшие радиogramму, которую читал Икаев. Самоубийство Мантейфеля и вслед за ним лейтенанта Штрауса подтверждали слух о революции. Несмотря на принятые меры, в казарму сорок девятого и пятидесятого полков баварской дивизии попало несколько листовок о бегстве кайзера и событиях девятого ноября. Встревоженные и растерянные офицеры беспокойно прислушивались к разговорам солдат, вышедших, несмотря на приказ, из казармы. Среди солдат кое-где вспыхивали горячие митинговые речи. Фельдфебели попрятались по углам. В штабе дивизии, куда офицеры несколько раз звонили по поводу событий, неизменно отвечали одно и то же: «Пока официальных сведений нет. Держите полки в порядке и дисциплине, сохраняя части по уставу великой императорской армии».

Но уже к трем часам дня «сохранять полк по уставу армии» не удалось. Второй батальон и пулеметная рота сорок девятого полка, связав офицеров и передав командование батальоном младшему лейтенанту Зейфелю, вышли из казарм. За вторым батальоном последовали и другие. Оба полка баварской дивизии, выбрав полковые и бригадный комитеты, направили делегацию в Новочеркасск, к войсковому атаману Краснову, с требованием немедленной эвакуации на родину закончивших вой-

ну и не желающих оставаться на чужбине немецких войск.

Двенадцатого вечером городской театр был пуст. Немецким солдатам уже не было «скучно», и им не нужен был «Лоэнгрин», для того чтобы убить тоску по родине. Немецкие солдаты с красными бантами, без хваленного воинского вида, в шинелях нараспашку, без винтовок толпами ходили по городу. В казармах всю ночь горели огни, слышались речи попеременно с музыкой, песнями и веселыми танцами.

Немецкие солдаты собирались домой.

У ярко освещенного входа в театр, как одержимый, в отчаянии метался Кузнецов. Губы его дрожали. Он с тоской глядел на улицу и снова кидался обратно в пустынный, без единого посетителя, зал.

— Никого, никого! Я вас спрашиваю — когда же наконец кончится это издевательство надо мною? — чуть не плача, крикнул он сочувственно смотревшему на него администратору. — Давай им «Лоэнгрина», успокой их нервы! О-о-о! — снова хватаясь за голову, завопил антрепренер. — Расходов, одних расходов больше пятнадцати тысяч на эту проклятую постановку! А кому она теперь нужна? Кто мне возместит убытки?

Актеры, давно готовые к началу, потихоньку смеялись, слыша хриплые проклятия Кузнецова.

— Да это, может, немцы в первый день так, а потом еще повалят сюда, — желая утешить хозяина, предположил Смирнов.

— Знаешь что, голубь, иди ты к чертовой матери со своим утешением! «Первый день так!» — злобно передразнил его Кузнецов. — Что, я не знаю, что такое революция, что ли? Такое точно я еще в феврале семнадцатого года в Полтаве испытал. В первый день они еще хоть бога помнят, через неделю кишки из нас пускать станут. — Он снова простонал: — Пятнадцать тысяч! Пятнадцать тысяч чистеньких да шесть дней простоя театра!

На Сенной площади, находившейся неподалеку от германских казарм, шел торг. Десятка два немецких солдат, выборных от рот, расположившись вдоль стены большого дома, деловито торговали консервами, сапогами, старым и новым воинским обмундированием, кожами, сбруей обозных коней, артиллерийскими седлами и прочим казенным имуществом. Возле каждого солдата лежал список вещей, которые были разрешены к продаже комитетом. Вокруг, суетясь и напирая, шумела толпа. Казаки из близлежащих станиц, хуторяне, перекупщики, бабы с алчно разгоревшимися глазами, армяне из Нахичевани, несколько хорошо одетых горожан в котелках и бобровых шапках, ок-

ружив немцев, наперебой, стараясь перекричать друг друга, справлялись о ценах, рассматривая на свет и щупая ту или иную вещь.

В воздухе мелькали пачки царских, «николаевских» денег. Других денег недоверчивые немцы не принимали, брезгливо отворачиваясь как от думских, так и от керенских и донских ассигнаций.

Из ворот штаба баварской бригады вышел Икаев в сопровождении двух горцев и двух немецких солдат без погон, в накиннутых на плечи шинелях. Один из них, молодой рыжеусый человек, крикнул прохаживавшемуся в стороне у конюшен дневальному, курившему короткую трубку. Дневальный, не вынимая изо рта трубки, что-то невнятно промычал в ответ. Он распахнул двери конюшни и, скаля зубы, сделал рукой приглашающий жест.

— Сколько всего строевых коней? — спросил Икаев.

— Триста одиннадцать и девяносто четыре обозных, — хорошо выговаривая по-русски, ответил немец.

И все вслед за ним вошли в конюшню, из которой пахло сеном, слежавшейся соломой, зерном и острым конским потом.

У ворот, ожидая Икаева, держа в поводу оседланных коней, виднелось несколько вооруженных всадников-горцев.

Со стороны площади раздавались голоса спорящих, торгующихся, в чем-то друг друга убеждающих людей.

Спустя полчаса Икаев снова появился во дворе казарм бригады. Он вошел в канцелярию полка, высыпал на стол груды новеньких, шуршащих, еще пахнущих краской «каторинок». Немецкие офицеры долго и внимательно считали деньги, потом выдали ему бумагу, украшенную печатями с императорским орлом.

Часа через два человек двадцать горцев, помахивая нагайками и арканами, вывели из конюшен и прогнали через площадь огромный табун коней.

Спустя несколько дней войсковой старшина Икаев заехал к Раевской. Актриса, хорошо изучившая его, заметила, что Икаев был чем-то озабочен.

— Что случилось?

— Много нового, хотя ничего неожиданного. Первое — немцы уходят с Украины. Послезавтра их эшелон уезжает и отсюда. Мы остаемся одни против большевиков. Я думаю, дорогая, вам понятно, что это означает?

Актриса кивнула головой.

— Совершенно очевидно, что вся эта всевеликая донская комедия через месяц прикажет долго жить. На фронте опять

бедлам. Большевики вновь погромили Донскую армию. Вчера под Гнилоаксайской они уничтожили два полка казаков. Наступление на Царицын не удалось. Генерал Постовский отошел от Сарепты, конница Гнилорыбова разгромлена. Я не пророк, но и не такой дурак, как Греков. Мне кажется, что большевики снова заберут Ростов, а у нас с вами много оснований не желать встречи с ними.

Раевская еще раз кивнула головой.

— Надо легко, незаметно и притом спешно заканчивать дела. Все деньги перевести на доллары и фунты, со всех, кто еще не уплатил долей, теперь же получить их. Расчеты заканчивайте к концу ноября.

— Так скоро?

— Нам незачем задерживаться здесь.

— Я готова. Мне нужно только семь-восемь дней,— подумав, сказала Раевская.

— Очень хорошо. За эти дни и я покончу со своими делами.

— А как с градоначальником?

Икаев вместо ответа засмеялся и оглядел себя в зеркало. Раевская окинула его взглядом, в котором не было нежности, любви или чего-нибудь похожего на эти чувства, скорее это был взгляд старшей сестры, гордящейся и любующейся своим делующим успехи братом.

По городу поползли слухи. Говорили о разгроме Донской армии под Аксаем, о паническом бегстве казаков из-под Царицына. На площадях и базарах передавали шепотом слухок о том, что обеспокоенный атаман готовит новую мобилизацию. В течение пяти дней на улицах Ростова дважды появлялись воззвания большевистского подпольного комитета, призывавшие всех трудящихся бороться против Краснова. «Недалек день, когда Красная Армия войдет в Ростов. Дни самодержавного, разбойничьего царствования генералов сочтены. Да здравствует союз рабочих, красноармейцев, крестьян и казаков! Долой Краснова и атаманов! Смерть буржуазии!»

Так заканчивалась листовка, расклеенная по городу 16 ноября, а 19-го в газете «Приазовский край», органе градоначальства, появился приказ № 197, подписанный Грековым.

«Эй вы, подпольные крысы! На днях в городах Нахичевани и Ростове, в связи с маленькими неудачами наших войск под Царицыном, было выпущено воззвание большевиков под заголовком: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Странно. Почему пролетарии всех стран должны соединяться именно в На-

хичевани или Ростове-на-Дону? Не понимаю! Да и места не хватит. В воззвании призыв к избиению имущих классов, низвержению существующего строя и введению советской власти и прочее. Словом — все прелести большевизма. Очевидно, что не в пролетариях здесь дело, а просто приверженцы большевизма, сиречь грабители, желают опять грабить богатых, но должен вас, супчики, предупредить, что теперь это не полагается и категорически запрещено, а потому все те, кто хочет попробовать, не откажите завтра к двенадцати часам дня явиться на Таганрогский проспект к градоначальству, чтобы не подвергать неприятностям людей посторонних. Если вы хотите сражаться — пожалуйста! Найдите оружие, приходите, и будем драться. Один на один, вас двадцать, и нас будет двадцать. Хотите двести? Пожалуйста, и я возьму двести. Если же не хотите сражаться, приходите без оружия, я вас арестую и отправлю с экстренным поездом в милую вашему сердцу Совдепию или еще кой-куда. А вы, остальные жулики, клеветники и брехуны, приезжие и местные, разных полов и национальностей, заткнитесь и займитесь чем-нибудь более полезным, а то доберусь и до вас.

Полковник Греков».

На следующий день весь Таганрогский проспект и квартал, где находилось градоначальство, представляли собой вооруженный лагерь и передовую позицию фронта. По проспекту сновали, то рассыпаясь в цепь, то снова собираясь в кучки, пешие и конные, вооруженные до зубов казаки. У подъезда градоначальства стояла готовая к бою батарея, по углам были расставлены пулеметы, в подвалах и входах магазинов сидели городовые, а по улице, окруженный взводом икаевских горцев, на белом коне взад и вперед носился Греков, размахивая обнаженным клинком.

Квартал был пуст. Дома словно вымерли, и только из-за занавесок и полупритворенных ставней сотни перепуганных горожан с грустным недоумением глядели на бестолково скакавшего Грекова, хриплым голосом выкрикивавшего слова команды. Ровно в час дня градоначальник вынул часы, слез с коня и, стирая со лба струившийся пот, грозно сказал:

— Испугались, подпольные крысы? Жаль, что не появились. Это вам не какой-нибудь Керенский, а полковник Греков! — И уже обыкновенным голосом добавил: — Горнист! Отбой!

Горнист поднял трубу, и весь длинный Таганрогский проспект огласился звуками сигнала.

Громыхая, снялась с передков и проехала батарея. Снялись с позиции пулеметы. Пронеслись тачанки. Прошли пешие сот-

ни и конный казачий наряд. Открылись магазины. Появились люди. Прозвенел первый трамвай, и проспект зажил обычной жизнью.

Окруженный икаевскими горцами впереди донской сотни ехал градоначальник, бросая по сторонам победные взгляды.

А еще через день в той же газете появился новый приказ. На первой странице рядом с передовой было крупно напечатано:

«Приказ № 203 от 20 ноября 1918 года, г. Ростов. Вслед за появившимися на днях большевистскими листовками по городу неизвестными прохвостами расклеена новая прокламация самого лживого содержания с призывом к забастовке высших учебных заведений, приписывая какие-то обвинения нашему дорожному, любимому донскому атаману. Хотели даже устроить митинг студентов и курсисток. Вероятно, устроители забыли об осадном положении? Напоминаю, что оно существует. Напоминаю также, что теперь вообще настало время работать, а не бастовать. Благоразумие учащихся высших учебных заведений взяло верх (правда, лишь после того, как со своим отрядом и пулеметами прискакал туда войсковой старшина Икаев), и митинга не было. Земно им за это кланяюсь (не всадникам, те действовали по долгу службы, а тем студентам, которые оказались благоразумны). Но здесь была выяснена одна, вероятно, очень сочувствующая, Ревекка Эльяшевна Альбум, слушательница Варшавских высших женских курсов, которая призывала к забастовке. Имейте в виду, Ревекка Эльяшевна, что у нас есть донской атаман, выбранный всем донским казачеством, и когда он отказался от своего высокого поста, то все лучшие люди Тихого Дона просили его остаться и тем ясно показали, что лучше атамана у нас нет и что мы «таки да» большевиков не хотим.

Евреи всех слоев и состояний! Обратите внимание на ваших юношей и прикажите им вести себя прилично. Еврейские студенты, учитесь, а не занимайтесь тем, что вам не полагается. Вы хотите выразить протест, что где-то в Киеве кого-то застрелили? Мы подставляем свои головы на фронтах, чтобы дать вам спокойную жизнь. Поезжайте в Киев и протестуйте, если там, по вашему мнению, неправильно действуют. Да не забудьте, что время теперь переживает весь земной шар весьма тяжелое, и возможно, что в Новой Зеландии или еще где-либо кого-нибудь неправильно убили. Так не опоздайте смотаться и туда, а пока на вашей вакансии кто-либо более серьезный подучится. Нет, Ревекка Эльяшевна, не протест вам нужен, нет, вам смута нужна. Разруха родного нам Дона нужна. Не бывать этому — го-



ворит вам старый донской казак и градоначальник. Поняли? Не бывать!!

Я — человек добрый и крови по такому случаю проливать не буду. На первый раз прощаю вас, Ревекка Эльяшевна, но при повторении — не обессудьте!

Градоначальник *Греков*.

В то самое время, когда горожане читали этот сумбурный, анекдотический приказ Грекова, в стороне от станции, за путями, лежал иссеченный шашками труп курсистки Альбум.

— Казбулат Мисостович, люди говорят, что вы купили табун коней у немцев чуть ли не в тысячу голов? — осведомился Греков.

— Тысячу не тысячу, а коней триста купил, — нехотя ответил Икаев.

Греков молча поглядел на него.

— А что это за люди, нельзя ли узнать у вас, Митрофан Петрович? Любопытно знать — кого интересуют мои частные дела?

— Донского атамана, его высокопревосходительство генерала Краснова. Вот, прочитайте, пожалуйста, секретное отношение из войскового штаба.

Икаев взял лист и вполголоса прочел:

— «Его превосходительство атаман Краснов распорядился срочно выяснить, как, каким образом и для каких целей войсковым старшиною Икаевым была произведена незаконная закупка коней у деморализованных, уходивших в Германию немецких войск и где находятся эти кони. Дознание произвести поручается полковнику Грекову, являющемуся непосредственным начальником войскового старшины Икаева. Начальник канцелярии донского атамана есаул Гладков».

Греков неопределенно усмехнулся и, снижая голос, сказал:

— Да вы не беспокойтесь, Казбулат Мисостович. Это пустяки, обойдется. Такие ли мы дела обламывали вместе!

Икаев молчал.

— Триста коней!! Это, знаете, батенька мой, живые проценты. Это же неиссякаемый источник дохода. На одном фураже, простом ячмене да сене золотые дела можно сделать. Был у меня знакомый по Донскому полку, есаул Шорохов, так тот, знаете ли, услышал раз, как солдаты пели песню:

Возле речки, возле моста  
Трава растет шелковая,  
Шелковая, муровая,  
Зеленая да густая...—

да и взгрустнул. Спрашиваю его: «Что с вами, что раскисли?» А он горестно так отвечает: «Слышите, трава-то какая! Эх, да если бы мне да это местечко с травой, сколько бы я денег на ней заработал!» Да, так это я вот к чему говорю. Продайте мне весь ваш табун для градоначальства, деньги уплачу по высшей расценке, и операцию с покупкой проведем по книгам задним числом. И атамана успокоим, и клеветникам носы утрем, а в смысле выгоды — вы же понимаете, сколько экономии на всякой там травке-муравке да овсе-ячмене для этих коней выйдет. Доходы, натурально, пополам.

— Не могу, Митрофан Петрович, увы, и хотел бы, но... не в силах, — перебил его Икаев.

— Почему не в силах? — удивленно спросил Греков.

— Нет уже коней. Я их и двух дней у себя не держал, тогда же и продал.

— Куда продали?

— Всюду. Точно даже и не знаю. У меня этим занимались мои ребята.

— Вот это здорово! Да как же это, батенька, вы поступили, как посмели?

— Очень просто. Взял и продал. И сметь тут нечего, — скупающим тоном ответил Икаев.

Греков обозлился. По его лицу прошла злая гримаса, щеки покрылись пятнами.

— Э-э, не шутите, не шутите так, Казбулат Мисостович! — визгливо выкрикнул он. — Вы, по-видимому, думаете, что это все шутки, пустячки. Ошибаетесь. Предписание донского атамана есть, — он поднял над головою палец, — закон! Высшая для меня инстанция, и я не постесняюсь поступить с ослушниками так, как повелит закон.

Икаев не без удивления смотрел на него.

— Еще не поздно. Есть еще время, плюньте вы на этих коней, передайте их в градоначальство, и закончим неприятный вопрос, — снова упрашивающим голосом сказал Греков. — Черта ли вам в них? Чего упрямяться!

— Да я и не упрямяюсь. Кони эти тогда же партиями и поштучно были проданы...

— Ко-му? — прервал Греков.

— А черт его знает, кому! Кто больше давал, тому. Что я, опись им вел, что ли?

— Позвольте, но ведь при такой продаже кони эти могли попасть черт знает куда! Может быть, даже и к большевикам!

— Может быть... Все может быть... — спокойно подтвердил Икаев.

Градоначальника даже передернуло. Если б Икаев смутился, стал волноваться и попросил помочь замять дело, Греков охотно сделал бы это, но скучающий тон Икаева, его равнодушные, короткие реплики обозлили полковника. «Каков наглец,— хапнул сотни тысяч, провел меня и еще разыгрывает из себя какого-то сноба...» И, не в силах сдержаться, он крикнул:

— Вы... вы... черт знает что говорите! Что вы, не понимаете, что это пахнет изменой?

— Почему изменой? — поднимая на него глаза, спросил Икаев.

— А как же! Не делайте непонятливого лица. Если проданные кони попали к большевикам, то что это, измена или нет, спрашиваю вас?

— Не в большей степени, чем те одиннадцать вагонов казенной пшеницы, которые мы с вами продали подозрительному армянину, комиссионеру Акопяну, неизвестно куда спровадившему зерно. Или, если вам этого мало, то вспомните о четырнадцати пулеметах, исчезнувших вместе с полутораста тысячами патронов к ним...

— Это... это неправда! Они лично мною были переданы для Добровольческой армии генерала Деникина и отправлены на Кубань,— бледнея, сказал Греков.

— Бросьте, Митрофан Петрович, вы отлично, не хуже меня, знаете о том, что они попали не на Кубань, а в район...

— Хорошо, хорошо, хватит об этом, и что вы так кричите? — зажимая Икаеву рот, пролепетал Греков.

— Не волнуйтесь, полковник, стоит ли волноваться по таким пустякам, когда у нас с вами найдутся воспоминания и почище этих. Например, «таинственная смерть греческого подданного Касфикиса». Покажите мне, кстати, его портсигар,— не вы ли у меня его выпросили? Исчезновение харьковских спекулянтов Когана и Каца вместе с их деньгами и товаром; десяток различных хорошо оплаченных шулерами клубных индульгенций; платные, очень выгодные для нас разрешения на открытие разных домов свиданий и прочих подобных увеселительных вертепов и притонов.

Лицо Грекова посерело. Глаза потухли и стали мутными.

— Выпейте-ка воды... да сядьте на стул, а то боюсь, свалитесь на пол,— скаля зубы, посоветовал Икаев.— Да, чтобы не забыть, напому вам о вагоне кожи и двух вагонах солдатского обмундирования, которое немцы передали вам для армии. Где они, эти вагоны, уважаемый Митрофан Петрович?

— З-замолчите... замолчите, вы не отдадите себе отчета, вы

черт знает что говорите! — заикаясь, пролепетал градоначальник и опустился на затрепавший под ним стул.

— Многого я, конечно, сейчас не упомяну, но смерть двух немецких балбесов и ограбление квартиры Крессенштейна тоже значится в нашем общем послужном списке.

— Это... не я, это вы... это вы их убили...

— Правильно, не отрекаюсь, я их зарезал, но... вместе с вами!

Греков похолодел. Он съежился и, втягивая голову в плечи, растерянно сказал:

— Неправда! Чем можете доказать это?

Икаев рассмеялся. Подойдя вплотную к обессилевшему градоначальнику, он вдруг насупил, глаза его сверкнули жестким, холодным огнем.

— Ты, фигляр, клоун, ты что, думал, что я не знал и не видел, как ты предавал меня немцам, как старался отвести от себя подозрения этого болвана Мантейфеля? Все знал, все понимал, все видел и ко всему был готов. Первый, кто получил бы в башку пулю, был бы ты...

Греков зажмурился, пытаясь отодвинуться со стулом назад.

— Сиди смирно, ты дерьмо, а не градоначальник, — Икаев неожиданно сильно и звонко щелкнул Грекова по носу.

— Жулик!.. Разбойник! — плача и задыхаясь от боли, стыда и оскорбления, выговорил Греков, закрываясь от него рукой.

— Жулик — это ты, а я действительно разбойник, — подтвердил Икаев. — Ну, довольно, хватит. Окончим нашу приятную беседу, Митрофан Петрович, вернемся к делу, — миролюбиво продолжал он.

— Уйди, уйди к черту, грабитель! — бессильно прошептал Греков, даже не утирая обильно текшие по сморщенному лицу слезы обиды и негодования.

— Выдержки, характера вам не хватает, дорогой градоначальник, — не обращая внимания на обмякшего Грекова, продолжал Икаев. — Итак, приступим к делу. Так как после нашей дружеской беседы вряд ли нам обоим захочется продолжать дальнейшую высокополезную совместную службу, то я решил просить дать мне двухмесячный отпуск для приведения в порядок своего здоровья, подорванного трудами и неусыпными заботами на благо родины и начальства...

— Смыться вздумал, от большевиков бежите... мошенник, — не переставая плакать, со злорадством сказал Греков.

— Все мы мошенники, и я, и вы, и донской атаман, только я — откровенный, а вы — ханжи и трусы, играющие в благородство. А насчет большевиков — верно, угадали, дорогой Митро-

фан Петрович, не хочу я с ними встречаться, да и вам не советую. На одной веточке болтаться будем.

— Не дам отпуска. Награбил, наворовал, обобрал жителей, а теперь отпуск...

— Именно теперь и надо, дальше поздно будет. И вам советую: утекайте и вы, пока красные еще далеко. Они все припомнят, ничего не забудут.

— Все равно не дам отпуска,— прохрипел Греков.

— Дашь! Какой смысл не давать? Если меня под суд, то за мной пойдут еще некоторые большие, ох какие большие люди...

— Нет доказательств... Брехня... никто не поверит.

— Все поверят, весь Ростов чирикает, все знают, только случая ждут. Так вы уж лучше, Митрофан Петрович, не создавайте им этого случая, не облегчайте дела. Да и вам лучше: уеду я, валите тогда гамузом все на меня. Я ведь не из обидчивых, как-нибудь вынесу, переживу. А если по-другому избавиться захотите — ничего не выйдет. Во-первых, в пять адресов пойдут письма со всеми фактами и доказательствами нашей совместной деятельности «церкви и отечеству на пользу», как говорили в школах гимназисты, а во-вторых, вы даже и не заметите, как какой-нибудь «неизвестный» из моих головорезов всадит в вас несколько пуль из нагана. Вы знаете меня, да и я знаю вас, поэтому давайте лучше кончим по-хорошему.

— А как же с конями? Ведь атаман требует расследования,— уже не противясь, сказал Греков. Он очень хорошо знал своего собеседника, чтобы беспечно отнестись к его «дружеским» советам.

— Полноте, дорогой начальник, мне ли учить вас! Ведь вы когда-то называли меня гением и Наполеоном, я таков и есть, но, оговариваюсь, только в делах, где пахнет порохом и...

— ...разбоем,— успел вставить Греков.

— Ехидная вставка. Я хотел сказать — кинжалом, но по сути это один черт. Пускай будет «разбоем», а вот по части безгрешных интендантских жульничеств, вроде надувания казны на самане, овсе и дохлых кобылах, как талантливо делал ваш приятель есаул Шорохов, я, сознаюсь, профан. Тут уж вы и гений и Наполеон. Подумайте сами, здесь ваш огромный административный опыт хапанья поможет вам...

Греков сердито глянул на Икаева, но промолчал.

— Что, например, если вы ответите атаману, что никакой купли-продажи не было, а была лишь передача больных сапом немецких коней, для того чтобы мы их экстренно уничтожили? Ветеринарный врач за некоторую мзду подпишет акт, вы его препроводите в Новочеркасск, и все будет закончено.

— Знаете, что я вам скажу? Куда уж покойному Шорохову до вас, вы и здесь на своем месте.

— Чему не научишься под вашим руководством, дорогой Митрофан Петрович! Ну, подписывайте приказ об отпуске, и давайте помиримся, а я, в знак примирения и искренней к вам любви, подарю золоченый кавказский набор, седло и шашку, настоящую гурду, всю в серебре, золоте и черни. Идет? — Икаев протянул руку все еще ошалело глядевшему на него Грекову.

Греков пожал ее и отвернулся.

— Итак, снова друзья. Прошлое забыто, и восстановлен мир. Оставляю вам, дорогой Митрофан Петрович, рапорт о болезни, отдайте в приказе. Через день-другой зайду прощаться и кстати занесу обещанные подарки. До свидания! — делая небрежный поклон, сказал, уходя, Икаев и добавил уже от самых дверей: — А от большевиков все-таки бегите, пока не поздно.

Греков остался один. Он долго неподвижно сидел на стуле, тупо глядя на закрывшуюся за Икаевым дверь. Слабость и ощущение не проходили... Вдруг он вскочил и, распахнув ударом ноги дверь, выбежал в переднюю.

— Мер-з-завец... я покажу тебе, убийца!! — разъярясь, заревел он, потрясая кулаком.

Дремавший в углу дежурный казак соскочил с подоконника и, вытягиваясь во фронт, испуганно закричал:

— Виноват, вашсокоблагородие!

Греков в недоумении посмотрел на казака и вдруг визгливо сказал:

— На дежурстве спать? Морду раз-зобью, ско-ти-на!! — и замахал кулаками перед самым носом побелевшего казака.

На душе у градоначальника стало легче.

— Пшел вон, р-р-ракалья! — уже успокаиваясь, крикнул Греков.

Через два дня по ростовскому градоначальству был отдан приказ об уходе по «расстроенному здоровью» в полуторамесячный отпуск войскового старшины Икаева, а через день после этого газеты писали, что в Новороссийск прибыли уезжавшие за границу персидский подданный Абас-Кули-заде с женой, которых до самого парохода провожала группа обвешанных оружием горцев. Заняв на итальянском судне отдельную каюту, персидский подданный и его жена утром следующего дня отбыли в Стамбул.

Спустя неделю в газете «Вечернее время» был опубликован грозный приказ градоначальника:

«Приказ № 242, 9 декабря 1918 года, г. Ростов.

Очень много жалоб поступает на незаконные, я бы сказал, безобразно-свинские действия чинов отряда войскового старшины Икаева. Но что это еще за такой «отряд»?! Кто его разрешил формировать на территории ростово-нахичеванского градоначальства? Я такого не разрешал, а посему предлагаю этому сброду немедленно же сдать оружие в комендатуру штаба, а самим — рассеяться. Чтобы и духу вашего на Дону не было. Вам же, войсковой старшина Икаев, делаю строгий выговор за разные дела и делишки, которые зачем-то и кое-кем-то творятся в вашем «отряде». Надоели мне жалобы на вас, надоели сплетни, надоели слухи о том, что вы грабитель, а я — ваш соучастник. Этого еще не доставало! Вы осетин, а я — донской казак, и оба — офицеры. Держите высоко это звание, а то я ведь не потерплю, положение осадное, ослушника расстреляю, а пока — отстраняю вас от должности председателя военно-полевого суда при градоначальстве. То-то! Это вам не фунт изюму. А вернетесь из отпуска — поговорим.

Градоначальник полковник *Греков*».

Жители Ростова, читая этот приказ, хорошо знали, что войсковой старшина Икаев вместе с певицей Раевской уже несколько дней как выехали из Ростова, а его отряд исчез из города.

Прошло десять лет. В сентябре 1928 года в столице Болгарии, городе Софии, белоэмигрантские газеты «Возрождение» и «Россия» писали о том, что «3 сего сентября, проездом из Парижа, объезжая Балканы, в театре «Славянство» знаменитая русская певица Марина Владимировна Раевская даст свой единственный концерт. В программе Бизе, Бузони, Чайковский, Рахманинов, Глинка, Кюи и старые русские романсы». Афиши с портретами артистки и выдержки из рецензий и отзывов о ее выступлениях в Париже, Белграде, Ницце, Загребе и Бухаресте заполняли улицы города.

Часов около семи в уборную артистки постучали.

— Войдите! — крикнула Раевская, наводя грим и не поворачивая головы.

В уборную вошел какой-то сморщенный, забитого вида старикашка, в рваном, засаленном пиджаке, кривых, залатанных ботинках и несвежем, вывернутом воротничке. Он от двери низко поклонился артистке, шумно высморкался в красный клетчатый платок и, вытаскивая из кармана пучок смятой дешевой гвоздики, смиренно сказал:

— Здравствуйте, благодетельница... высокочтимая Марина Владимировна!

Раевская, наблюдавшая в зеркало за неожиданным гостем, обернулась и удивленно сказала:

— Здравствуйте! Только, простите, с кем имею удовольствие встречаться?

— О-ох! Какое там удовольствие! — горестно вздохнул старик и махнул рукой. — Что я?... Развалина, бывший человек, беженец... А вот вы, Марина Владимировна, все хорошеете, цветете, еще даже лучше, чем в восемнадцатом году.

Раевская пристальной всматривалась в старика, но он положительно не был ей знаком.

— Не узнаете? Да что удивительного, не только что вы — родная мать и та бы не признала. А ведь мы были с вами знакомы, моя красавица, поклонником ваших талантов был. Я — Греков, помните, ростовский градоначальник, друг и приятель вашего... — старик помолчал, подумал и нашел нужное слово: — знакомого Казбулата Мисостовича Икаева.

Раевская уронила пуховку на пол и медленно поднялась со стула.

— Да, да! Я есмь. Когда-то человек и вельможа, а теперь... — и Греков снова махнул рукой, — видите, до чего большевики довели: нищ, наг, в рубище, бывает, по неделям хлеба насущного не имею. А за что? За беспредельную честность и беспорочное трудолюбие. Э-эх, да что и говорить! Вот, дорогая Марина Владимировна, что мог, чем был в силах, как старый поклонник вашего таланта, решил отметить появление здесь великой артистки... — И, отвечивая поклон, Греков протянул Раевской замызганный, смятый пучок гвоздики.

— Что вы, зачем это, совсем не надо было, — искренне, с чувством безгливой жалости замахала руками артистка.

— Не мог. На последние копейки, но не мог иначе. Возьмите, не обижайте старика, — сказал Греков.

— Благодарю вас, — кладя цветы на столик, сказала Раевская, — но, простите, забыла ваше имя и отчество, почему же так это случилось? Ведь для меня не секрет, я, как вы, вероятно, это знали сами, была в курсе многих торговых дел и прочих полезных операций, совершенных Икаевым и вами. Ведь у вас должны были быть большие деньги...

— Дурак, дурак я всегда был, благодетельница, и за это теперь плачусь своей судьбой. Казбулат Мисостович — вот это орел был, гений, Наполеон, — поднимая над головой палец, сказал Греков. — Сколько раз говорил он мне: «Бегите скорее, бегите, пока не поздно». А я... — бывший градоначальник горестно покачал головой, — не послушался, думал — Краснов и Деникин спасут Россию. Вместо того чтобы денежки в валюте держать



да за границу перевести, я, старый дурак, четыре дома себе в Ростове да хутор под Новочеркасском купил. А как большевики нажали, наши все кинули да побежали кто куда, так я, верите ли слову, в одном мундире, даже без чемодана, от Буденного еле ушел. И вот теперь перед вами... не человек, а нищий Иов. Кабы не добрые люди, погиб бы с голоду. Спасибо, есть еще такие, что помогают старику, чем могут.

Наступило неловкое молчание. Отвернувшись и глядя в сторону, Раевская не очень любезно спросила:

— Вы не обидитесь на меня, если я предложу вам... — она хотела сказать «десять», но, глянув на заплатку, отвалившуюся от башмака бывшего ростовского градоначальника, сказала: — двадцать долларов?

— Ма-атушка моя, благодетельница... унижусь, но возьму. Ведь я, — сдерживая рвавшиеся из горла сухие рыдания, воскликнул Греков, — третьи сутки горячего не ел... курить и то не на что. — И, схватив руку Раевской, стал целовать трясущимися губами ее холеные пальцы.

— Не надо... не надо, — вырывая руку, с безгливой гримасой сказала Раевская и, достав из сумочки два кредитных билета, сунула их Грекову.

— Святая... ангел, а не человек! — восторженно глядя на нее, бормотал старик, крепко зажимая в кулаке деньги. — А не знаете ли вы, дорогая Марина Владимировна, где в настоящее время находится наш общий друг, войсковой старшина Икаев? — берясь за шапку, спросил он.

— Знаю. В Париже. У нас там общее дело. Большой ковровый магазин, — спокойно ответила Раевская.

Греков долго молчал, потом вздохнул и тоном почтительной зависти сказал:

— Да-с! Умный человек, хотя и из инородцев. Будете в Париже, привет, пожалуйста, передайте.

Он низко поклонился и, облобызав руку Раевской, вышел.

Артистка тщательно обтерла одеколоном ладонь и пальцы, которые целовал Греков, и сейчас же забыла о нем. Но бывший градоначальник еще помнил о ней. Выйдя на улицу, он спрятал полученные деньги в карман и сердито пробормотал:

— Двадцать долларов. Сквалыга... шлюха паршивая. Весь Дон ограбила со своим жуликом — и на тебе... двадцать долларов.

Он злобно плюнул, не спеша прошел Королевскую площадь и вошел в дом, над входом которого красовалась написанная по-русски большая вывеска: «Меблированные комнаты и ресторация «Тихий Дон» Митрофана Петровича Грекова».

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВЕСЕННИЙ ПОТОК. Военные мемуары</b>	3
<b>Астраханские дни</b>	
На берегу Каспия	4
Мироныч	30
За кордоном	54
Забывтое письмо	103
<b>Дашь Кавказ!</b>	
Комиссар Тронин	140
Старик	162
Бутягин ошибается	172
Весенний поток	218
<b>ГОСПОДИН ИЗ СТАМБУЛА. Повесть</b>	252
<b>ГРАДОНАЧАЛЬНИК. Повесть.</b>	371

**ХАДЖИ-МУРАТ МАГОМЕТОВИЧ МУГУЕВ**

**ВЕСЕННИЙ ПОТОК**

**Военные мемуары. Повести**

**Редактор**

**К. И. Бойцова**

**Художник**

**В. А. Биджелов**

**Художественный редактор**

**У. К. Кануков**

**Технический редактор**

**А. В. Ядыкина**

**Корректор**

**М. Г. Гадзалова**

ИБ № 869

Сдано в набор и подписано к печати 12.01.83. Формат бумаги 60х84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. тип. № 3. Гари. шрифта литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 26,04. Учетно-изд. листов 28,22. Тираж 80000 экз. (1-й завод 1 — 20000 экз.) Заказ № 241. Цена 1 руб. 90 коп.

Издательство «Ир» Государственного комитета Северо-Осетинской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 362040, г. Орджоникидзе, ул. Димитрова, 2.

Книжная типография Государственного комитета Северо-Осетинской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 362011, г. Орджоникидзе, ул. Тельмана, 16.

1 р. 90 к.